

НОВЫЙ МИР

Н 76
171552

1

МОСКВА

1941

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1941 г.

№ 1

Год издания XVII

★ ★ ★

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Джамбул — Сталин, тебе моя песня, стихи	3
Алексей Толстой — Хмурое утро, роман, продолжение	5
Константин Мурзиди — Наследство, стихи	51
Александр Гольдберг — Два стихотворения	52
Анатолий Шншко — Каменных дел мастер, повесть	53
Адам Мицкевич — Стихотворения	113
Б. Вадецкнй — Испытание, рассказ	119
Д. Бергельсон — Телефон, рассказ	143

Е. Верхоробенко — Зимой на выставке	153
Александр Поповский — Процессы жизни	164

Ан. Волков — Горький в борьбе с литературным распадом	178
Е. Янкелевич — Лирика Янки Купалы	192
Л. Тимофеев — Книги о Маяковском	201
Александр Дроздов — Писатели Казахстана	214
А. Кукаркин — Заметки о прозе в журнале «Знамя»	223
Мих. Аплетин — Литературная жизнь современной Франции	231

БИБЛИОГРАФИЯ

Е. Сикар — Лео Киачели. «Гвади Бигва»	238
Л. Тоом — Эстонский журнал «Вийснурк»	240
М. Эфендиев — Альманах Азербайджанской советской литературы	242
И. Явник — О пьесах нелитературных и нетеатральных	245
В. Щербина. — Ал. Шубин. «Свежий ветер»	248
М. Корнев — Мих. Бубеннов. «Бессмертие»	250
С. А. Андреев-Кривич — Лермонтов и Кавказ (о книге Л. П. Семенова)	252

★

Сталин, тебе моя песня

ДЖАМБУЛ

★

Стрелою песню акын пускает в лёт, —
Сто лет прожившее сердце вновь поет;
Сто лет в струнах домбры рождался напев,
Как в сумраке утра прекрасный восход, —
Сталин! — как мой самый прекрасный напев,
Твое имя в устах акына живет;
Лучи солнца твоего — струны мои,
Морем песен они плеснут в небосвод.
С тобой вместе глядел я в окна Кремля
И видел, как Время летело вперед, —
И стадо столетие жизни моей
Минутою краткой в тот радостный год,
Когда одну скатерть постлали для нас
И пили мы чай, ароматный, как мед.

Я вырос в народе, его пищу ел,
Его радостью жил, с ним страдал и пел.
Чванливых баев песней бил, не щадя,
И звучала она так, как я хотел.
Птица-счастье с ней села на руку мне:
В грядущем меня ждал завидный удел.
Но в те дни я рыдал, как Асан-Кайгы,
Как печальный Коркут¹, в тьму могил глядел;
Уходила жизнь, как чужой караван, —
Золотую надежду ловить не смел;
Как хромой верблюжонок в немой степи
Плачет, мать потеряв, — о жизни скорбел.
Не раз меня клекот зловещий будил:
Двухголовый орел над землей летел,
И воронов стая летела за ним —
Среди дня светлый вдруг небосвод чернел,
Среди ночи луна тонула во тьме —
И от страха дрожал, кто был храбр и смел.
Двухголовый орел терзал мой народ,
Стада истреблял, ничего не жалел.

Был черный буран и черный снег мел,
Когда в мир я пришел, мал, чахл, нищ и гол,

¹ Легендарные странники, искавшие счастье: Асан-Кайгы напрасно искал, скитаясь на верблюде, счастливую страну Жер-Уюк, Коркут исходил всю землю — и всюду на всех своих путях приходил к могиле.

Но, Сталин, на праздник меня ты позвал,
 И я богачом на порог твой взошел.
 Был печален часто звук моей домбры —
 И вот в серебре струн я радость обрел.
 Вдруг юное сердце забилося в груди,
 И взглянул я светло на родимый дол.
 Как мех выдры, мне радует глаз моя степь,
 На приволье — верблюды, конь, овца и вол;
 Плещет ветер степной золотой волной,
 Голубой небосвод зарею расцвел.
 В ауле Джамбула друзья собрались, —
 Шумный улей-аул, улей, полный пчел.
 Здесь, в Кастеке, сегодня солнце взошло, —
 Где я всех посажу, кто в гости пришел?
 Украинец, грузин и каракалпак,
 Узбек и башкир — всем дымит мой котел.
 Ну-ка, старый скакун, не раз бравший приз,
 Расправь крылья песни, взлети, как орел!

Над миром сияешь ты вечной звездой,
 Лучезарный, горишь всемирной мечтой,
 По морям твоих мыслей через века
 Плывет наше счастье — корабль золотой:
 Маяк — красное знамя, путь — коммунизм,
 Твоя воля — неусыпный рулевой.
 Моей родине дал ты лучшую жизнь,
 Озарил своим светом ты народ мой.
 На кровавую битву за счастье всех
 Миллионы бойцов ты повел за собой,
 И в грядущее, побеждая врагов,
 Идут лучшие из лучших за тобой.

Мой великий друг мою старость почтил,
 За песни мои он меня одарил:
 На сердце мое он своею рукой
 Орден Ленина, щедрый друг, положил,
 Чтоб на сердце моем, как и в сердце моем,
 Лик великого пламенел и светил.
 Награжден не я, не моя это честь, —
 Это песню народа вождь наградил.
 И от радости степь моя расцвела,
 И, радуясь, внук мой на коня вскочил,
 И радостно в сердце моем зазвучал
 Золотой напев, что столетие жил,
 И у края могилы юным я стал,
 Ощутил в груди поток жизни и сил.
 Словно беркут, готов я взмыть в облака—
 Эй, горе врагу, что мой гнев разбудил,
 Врагу, что на счастье отчизны моей
 Посягнул, ее мир и покой смутил!
 Мои песни — стрелы, я — меткий стрелок,
 Пусть не думает враг, что я телом хил!
 Мое сердце, Сталин, бьется в лад с твоим,
 Ибо ты народ мой к жизни пробудил!

Пер. с казахского Андрей ГЛОБА

Хмурое утро*

Третья часть романа «Хождение по мукам»

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Немного понадобилось Вадиму Петровичу, чтобы кончить с колебаниями, — это немного был отыскавшийся след Кати. Так, на песке у прибора отпечаток босой женской ноги заставит иного человека написать в воображении целую повесть о той — прекрасной, — кто здесь прошла под шум волн большого моря. Ревнивая и мучительная страсть ворвалась к нему, расправилась с его безнадежными мыслями, с его безвольным унынием, и все стало казаться ему — просто и очевидно.

В ту же ночь (после разговора с ландштурмистом) он уехал из Екатеринослава. Чемодан бросил в гостинице, лишь взял смену белья в вещевой мешок. И уже в пути снял офицерские погоны, кокарду, спорол с левого рукава нашивки и выбросил в окошко, — вместе с этим мусором полетело все, что до ночи в Би Ба Бо казалось ему необходимым для самоуважения. Он не сомневался в том, что его ждет заочный приговор военно-полевого суда. Раздвинув ноги, засунув ладони за ременный пояс, он сидел на койке в почти пустом, темном вагоне, — дикая радость наполняла его. Это была свобода! Поезд мчал его к Кате. Что бы там с ней ни происходило, — он продерет-

ся к ней, хоть все тело изорвать в клочья.

В Екатеринославе начальник станции предупреждал, что на половине дороги до Ростова опять сильно шалят бандиты, и это будет последний поезд, отправляемый на восток, и неизвестно даже — пойдет ли он низом, через Гуляй Поле, или верхом, через Юзовку. Там же, на вокзале, старший кондуктор рассказывал обступившим его пассажирам про бандитов; носятся они по степи на телегах, на бричках — четверней, ищут добычи; жгут помещичьи усадьбы, где еще по дурости сидят помещики; дерзко нападают на военные склады, на спиртовые заводы, кружатся около городов; самое разлюбое их место, где они укрываются от карательных экспедиций, — Дибивский дремучий лес по левому берегу Днепра, в этой дуброве темно и днем; немцы, австрийцы и гетманские сичевики не раз пытались его пройти, да оттуда мало кто возвращался.

— Все бы ничего, не будь у атаманов батьки, — рассказывал старший кондуктор басовитым говорком, — а батька у них нашелся, атаман надо всеми атаманами — Махно. Популярный человек. У него целое государство и столица — Гуляй Поле. Этот по мелочам не балуется. Поезда пропускает беспрепятственно, с осмотром, конечно, — коекого ссадят, тут же около семафора шлепнут из нагана. Но на вокзале — буфет с напитками, парикмахер муж-

* Продолжение. См. «Новый мир», №№ 4—5 и 8 за 1940 г.

ской и дамский. В прошлый рейс—подходим к перрону—Махно стоит под колоколом, курит сигару. Я соскакиваю, подхожу, беру под козырек. Он мне — так-то жестко: «Прими руку, я тебе не царь, не бог... Коммунистов везешь?» «Никак нет» — говорю. «Белогвардейцев везешь?..» — «Никак нет, одни местные пассажиры». — «Денежные переоды везешь?» У меня даже в груди оторвалось. «Идемте, говорю, убедитесь сами — багажный и почтовый вагоны пустые». — «Ну ладно, отправляй поезд».

Мучительны были остановки на полустанках, — замолкнувший говор колес, неподвижность, томительное ожидание. Вадим Петрович выходил на площадку: на темном перроне, на путях—ни души. Лишь в станционном окошке едва желтеет свет огонька, плавающего в масле, да видны две сидящие фигуры — кондуктора и телеграфиста, готовые так просидеть всю ночь, уткнув нос в воротник. Пойти к ним, спросить — бесполезно, — поезд тронется, когда дадут путь с соседней станции, а там, может быть, и в живых никого нет.

Вадим Петрович захватывал холодный воздух, все тело его вытягивалось, напрягалось... В ветреной ноябрьской тьме, в необъятной пустынной России, которую он переставал понимать, была одна живая точка—комочек горячей плоти, жадно любимый им... Как могло случиться такое потемнение, что из-за ненавистнического желания мстить, карать он оторвал от себя катины руки, охватившие его в последнем отчаянии, жестоко бросил ее одну, в чужом городе. Откуда эта уверенность, что, разыскав ее и без слов (только так, только так) бросившись целовать ступни ее ног в чулочках, которые уж и штопать-то, наверно, нечего, получишь прощение?.. Такие измены не легко прощают!

Покуда Вадим Петрович так мечтал один на площадке, сердито бормоча и двигая бровями, кондуктор вышел со станции и стал около вагона, равнодушный ко всякому преодолению пространства... Вадим Петрович спросил — долго ли еще ждать? Кондуктор даже не удосужился пожать плечом. Закоп-

ченный фонарь, который он держал в руке, покачивался от ветра, освещая треплющиеся полы его черного пальто. Внезапно погасло тусклое окошко на вокзале, хлопнула дверь. К кондуктору подошел телеграфист, и оба они долго глядели в сторону семафора.

— Гаси, — шопотом сказал телеграфист.

Кондуктор поднял фонарь к усатому, одутловатому лицу, дунул на копящийся огонек, и сейчас же они с телеграфистом полезли на площадку и отворили дверь на другую сторону путей.

— Уходите, — сказал кондуктор Рошину, торопливо спустился и побежал.

Рошин прыгнул вслед за ними. Спотыкаясь о рельсы, налетев на кучу шпал, он выбрался в поле, где было чуть яснее и различались две идущие фигуры. Он догнал их. Телеграфист сказал:

— Тут ямы где-то, — темень проклятая! Песок брали, тут я всегда прячусь...

Ямы оказались немножко левее. Рошин вслед за своими спутниками сполз в какой-то ров. Сейчас же подошли еще двое, — машинист и кочегар, — выругались и тоже сели в яму. Кондуктор вздохнул тяжело:

— Уйду я с этой службы. Так надоело. Ну разве это движение!

— Тише, — сказал телеграфист, — катят дьяволы.

Теперь из степи слышался конский топот, различался стук колес.

— Кто же это у тебя тут безобразничает? — спросил кондуктор у телеграфиста. — Жокей Смерти, что ли?

— Нет, тот в Дибивском лесу. Это разве Маруся гуляет? Хотя, видать, тоже не она, — та скачет с факелами... Местный какой-нибудь атаманишка.

— Да нет же, — прохрипел машинист, — это махновец, Максютя, мать его...

Машинист опять вздохнул:

— Еврейчик один у меня в третьем вагоне, с чемоданами, — не сказал ему, эх...

Конский топот приближался, как ветер перед грозой. Колеса уже загрохотали по булыжнику около станции. Раз-

дались крики: «Гойда, гойда!..» Звон стекол, выстрел, короткий вопль, удары по железу... Кондуктор, — дую в сложенные лодочкой руки:

— И непременно им—стекла бить в вагонах, вот ведь пьяное заведение...

Вся эта суета длилась недолго. Истошный голос: «Садись!» Затрещали телеги, захрапели кони, прогрохотали колеса, и атаманская ватага унеслась в степь. Тогда сидевшие в ямах вылезли, неспеша вернулись к темному поезду и разбрелись по своим местам: телеграфист зажег масляный фитилек и начал связываться с соседней станцией, машинист и кочегар осматривали паровоз, — не утащили ли бандиты какую-нибудь важную часть; Рошин полез в вагон; кондуктор, хрустя на перроне стеклами разбитых окошек, ворчал:

— Ну, так и есть, шлепнули беднягу... Ну, взяли бы чемоданы, — непременно им нужно душу из человека выпустить.

Часика через два кондуктор дал короткий свисток, паровоз завыл негодующе в пустой степи, и поезд тронулся в сторону Гуляй Поля.

Вадим Петрович, положив локти на откидной столик и лицо уткнув в руки, напряженно решал загадку: Катя уехала из Ростова на другой же день после того, как негодий Оноли сообщил ей о его смерти. Встреча ее с ландштурмистом в вагоне была, значит, через двое суток... Предположим, этот немчик утешал ее без каких-либо покушений на дальнейшее... Предположим, она тогда очень нуждалась в утешении. Но на второй день потери любимого человека — написать так аккуратно в чужой записной книжке свой адрес, имя, отчество, не забыть проставить знаки препинания, — это загадка!.. Небо ведь обрушилось над ней. Любимый муж валяется где-то, как падаль... Уж какие-то первые несколько дней естественно, кажется, быть в отчаянии безнадежном. Оказывается — адресок дала до востребования. Значит — просвет какой-то нашла, быстро обошлась без Вадима Петровича, валяющегося с пробитой башкой в канаве... Загадка!..

— Гражданин, документики покажи-

те. — Кондуктор сел напротив Рошина, поставил около себя закопченный фонарь. — Проедем Гуляй Поле, — тогда спите спокойно.

— Я в Гуляй Поле вылезая.

— Ага... Ну, тем более... С меня же спросят — кого привез...

— Документов у меня нет никаких...

— Как же так?

— Изорвал и выбросил.

— Тогда об вас должен заявить...

— Ну и чорт с вами, заявляйте...

— Что же чорта поминать в такое время... Офицер, что ли?

Рошин, у которого мысли были обострены, напряжены, — ответил сквозь зубы:

— Анархист, — не понимаете, что ли...

— Так, понятно... Возил много из Екатеринослава вашего брата. — Кондуктор взял фонарь и, держа его между ног, долго глядел, как за черным окном проносились паровозные искры. — Вот вы, видать, человек интеллигентный, — сказал он тихо. — Научите, что делать? В прошлый рейс разговорился я также с анархистом, серьезный такой, седой, клочковатый. «Нам, говорит, твои железные дороги не нужны, и города нам не нужны, мы это все разрушим, чтобы и помнить об них забыли. От железных дорог идет рабство и капитализм. Мы, говорит, все разделим поровну между людьми, человек должен жить на свободе, без власти, как животное...» Вот и спасибо!.. Я тридцать лет езжу, да наездил домишко в Таганроге, где моя старуха живет, да коза, да две сливы на огороде, — весь мой капитал. На что мне эта свобода? — козу пасти на косогоре? Скажите — был при старом режиме порядок? Эксплуатация, само собой, была, не отрицаю. Возьмем вагон первого класса, — тихо, чинно, кто сигару курит, кто дремлет так-то важно. Чувствуешь, что это — эксплуататоры, но ругани прямой не было никогда, боже избави... Берешь под козырек, тихонечко проходишь вагоном... В третьем классе, конечно, мужичье друг на дружке, там не стесняешься... Это все верно, бывало... Но и курочка жареная у тебя, и ветчинка, и яички, а уж хлеб-то, батюшки,

калачи-то помните? — Он замолк, приглядываясь к искрам в окошке. — Это букса горит в багажном вагоне. Смазки нет, и без анархистов транспорт кончается... Вот вы мне и скажите — что теперь будет? Променили царя на Раду, Раду на гетмана, а его на что менять будем? На Махно? Дурак один взялся ковать лемех, жег, жег железо, половину сжег, давай ковать топор, опять половину сжег, выходит одно шило, он его положил на наковальню, тюк молотком, и вышел пшик... Так-то... Порядка нет, страха нет, хозяина нет. Вы в Гуляй Поле приедете — посмотрите, как живут «вольным анархическим строем». Одно могу сказать — весело живут, такой гульбы отродясь никто не слышал. Весь район объявлен «виноградным». Сколько я туда проституток провез! Да... Скажу вам по-стариковски, извините меня, товарищ анархист: пропала Россия...

2¹

Много хозяйственных мужичков, бежавших летом в атаманские отряды, стали теперь подумывать о возвращении домой. Увязывали на телегу все добро, что по честному дележу пришлось им после удачных набегов, меняли разные местные деньги на николаевские, крепко зашпиливали полог, подвязывали к задней оси котелок и, тайно, иные и явно, придя к атаману и говоря: «Прощевай, Хведор, я тебе больше не боец». — «А что так?» — «По дому скачаю, ни пить, ни есть, ни спать не могу. Когда еще понадобится, клинки, придем», — запрягали добрых коней и уезжали на хутора, в деревни и села, освобожденные от немецкого поста.

¹ См. роман «Восемнадцатый год». Алексей Красильников и Матрена, жена его брата Семена, моряка (ушедшего добровольцем в волжскую флотилию), после убийства германского унтер-офицера, квартировавшего у них в селе Владимирском, бежали к атаману Щусю, присоединившемуся впоследствии к Махно. Там среди пленных Алексей Красильников встретил Катю Рошину и принял в ее судьбе горячее участие. Алексей знал Катю и раньше, — во время империалистической войны он был вестовым у Вадима Рождина. — А. Т.

Задумался об этом и Алексей Красильников. Советовался с Матреной — братниной женой — и даже с Катей Рождиной: не рано ли домой? Как бы чего не вышло. Незаметно в село Владимирское не явисься, могут еще потянуть к ответу за убийство германского унтера. Немцы народ серьезный. С другой стороны — вернуться на пожарище, — придется строить хату, ставить двор, делать это надо теперь же, осенью. Пять молодых сильных коней и три воза барахла, мануфактуры и всякого хозяйственного добра числилось за Алексеем Красильниковым в обозе махновской армии. Все это не столько Алексей, сколько собрала Матрена. Она бесстрашно приходила на собрания, где атаман отряда или сам Махно делил добычу, — всегда нарядная, красивая, злая, — брала, что хотела. Иной мужик готов был и поспорить с ней, — кругом начинался хохот, когда она вырывала у него какую-нибудь вещь, шаль, шубу, отрезок доброго сукна: «Я женщина, мне это нужнее, все равно пропьешь, бандит, ко мне же принесешь ночью...» Она и меняла, и скупала, держа для этого на возу бочонок спирта.

Алексей раздумывал и не решался, покуда не пришла радостная весть, что Скоропадский, оставленный немцами и своими войсками, отрекся от гетманства, в Киев вошли петлюровские сичевики, и там объявлена «демократична украинска республика». Одновременно с этим с советского рубежа двинулась украинская Красная армия. Это уже было совсем надежно.

Алексей, без огласки, ночью пригнал из степи коней, разбудил Матрену и Катю и велел собирать завтракать, покуда он запрягает; сытно поели перед долгой дорогой и еще до рассвета в тумане тронулись грунтом домой, в село Владимирское.

Трудно было бы узнать в Кате Рождиной, ехавшей на возу, в нагольном полушубке, в смазных сапогах, со щеками, обветренными, как персик, прежнюю хрупкую барыньку, готовую, кажется, при малейшем наскоке жизни поджать лапки, вроде божьей коровки. Полулежа на сене, она подстегивала ло-

шадь, чтобы не отставать от передней тройки, которую вел Алексей, пуская иногда рысью соскучившихся карачковых. Задний воз вела Матрена, не доверявшая ни одному человеку — ни пешеходу, ни конному.

Степь была пустыня. Кое-где в складках оврагов белел снег, снесенный туда декабрьским ветром с меловых плоскогорий. Кое-где из-за горизонта поднимались ржавые пирамиды шахтных отвалов. В краю, покинутом оккупантами, еще не начиналась жизнь. Много народу с шахт и заводов ушло в красные отряды и воевало теперь под Царицыном. Многие бежали на север, где у советских рубежей формировались части украинской Красной армии. Дороги заросли, на брошенных нивах стоял бурьян, в котором кое-где желтели конские ребра. В этих местах редко попадалось жилье.

Матрена повторяла деверю: «Держись от людей подальше, хорошего от них не жди». Алексей только посмеивался: «Ух, зверюга... А что была за бабочка — медовая... Хищницей стала, Матрена моя дорогая...»

У Кати для раздумья времени было добыта. Потряхивалась на возу, покусывала соломинку. Она отлично понимала, что везут ее в село Владимирское, как добычу, — для Алексея Ивановича, может быть, самую дорогую из всего, что было у него на трех телегах. Чем иным была она, как не полонянкой из разоренного мира? Алексей Иванович поставит на своем пепелище хороший дом, огородит его от людей крепким забором, спрячет в подполье все свои сокровища и скажет твердо: «Катерина Дмитриевна, теперь одно осталось — последнее — слово за вами...»

Как сожженный войною город, — кучи пепла да обгорелые печные трубы, — такой казалась ей вся жизнь. Любимые умерли, дорогие пропали без вести. Недавно Матрена получила письмо от мужа, Семена, из Самары, где он сообщал, между прочим, что заходил по указанному адресу на бывшую Дворянскую улицу, — никакого там доктора Булавина нет, никто не знает, куда он делся

с дочерью. У Кати осталось только два человека, жалевших и любивших ее, как приставшего котенка, — Алексей и Матрена. Разве могла она в чем-нибудь отказать им?

Ей, пережившей такие годы, длительные и наполненные, как столетие, давно бы надо было стать старухой с погаснувшими от слез глазами. Но щеки ее лишь румянил студеной ветер, и под бараньим полшубком ей было тепло, как в юности. Это ощущение неуязвимой молодости даже огорчало ее, — душа-то была старая? Или и это тоже не так?

Матрена не раз заговаривала с Катей о том, что «бог уж связал ее с ними, один бог и развяжет». Алексей ни разу не принуждал ее к таким разговорам. Но было несколько случаев, когда он жестоко рисковал, выручая Катю из прямой беды: поступал, как мужчина из-за женщины, которую бережет для себя. Катя не могла бы ему отказать, — не нашла бы слов, оправдывающих ее неблагодарность. Но ей хотелось, чтобы это как можно дольше не случилось. Алексей Иванович был привлекателен — грубоватым прямодушным лицом, всегда будто освещенным солнцем; невозмутимый и сильный, с негнувшейся спиной и широкой грудью, с густой шапкой темных волос; смелый и рассудительный в минуты опасности, ласково-насмешливый и добрый с Катей. Но при мысли о том, что настанет день, когда нужно стать близкой ему, — Катя закрывала глаза, и все тело ее поджималось, будто в желании зарыться в сено на возу.

Однажды в обед свернули с дороги к речонке, разлившейся в этом месте в небольшую заводь, с остатками свай водной мельницы и полегшим камышом. Матрена ушла за дровами для костра, Катя — к речке — мыть котелок. Немного погодя туда пришел Алексей. Бросил на траву шапку и рукавицы, присев у воды около Кати, ополоснула лицо и вытерся полой полшубка:

— Руки застудите...

Катя поставила на траву котелок, поднялась с колен, — руки у нее застыли до ломоты, она стряхнула с них капли

воды и тоже стала вытирать их об овчину.

— Руки-то, чай, целовали вам в прежнее-то время, — сказал он напряженно, недобро, выжидающе.

Она ясно взглянула на него, будто спрашивая — что с ним случилось? Катя никогда не знала силу своей красоты, простодушно считала себя хорошенькой, иногда очень хорошенькой, любила нравиться, как птичка, встряхивая перышками (когда на седой росе начнет отсвечивать розоватое солнце, поднимающееся между стволами). Но то, что было ее красотой, что, как сейчас, заставило Алексея Ивановича отвести сухо заблестевшие глаза, — осталось ей неизвестным.

— Говорю — руки-то смажьте, у меня в телеге подсолнечное масло в склянке, цыпки наживете...

Под жестко-кудрявыми усиками на свежих губах его была прежняя усмешка. Катя вздохнула облегченно, хотя и не вполне поняла, как близко на этот раз было то, чего она так не хотела. От дремоты ли в сене на покачивающемся возу, от наступившего ли степного покоя Алексей — как только Матрена ушла за дровами — стал пристально глядеть на присевшую у воды Катю. И он пошел туда, как мальчишка, что слышал вдруг стук валька на мостках, где какая-нибудь соседская Проська, подоткнув юбку, желанно белая икрами, полощет белье, и он тайком пробирается к ней через лопухи и крапиву, жадно втягивая ноздрями все запахи, неожиданно ставшие дурманящими. Но тут Алексей Иванович не то что оробел, — напугать его было мудрено, — Катя взглядом покойных прекрасных глаз сказала: так нехорошо, так не годится.

Он владел собой и не в таких пустых происшествиях, все же руки его дрожали, как после усалия поднять жернов. Он взял с травы котелок:

— Что ж, пойдемте кашу варить. — Они пошли к возам. — Екатерина Дмитриевна, вы два раза были замужем, от чего детей нет?

— Такое время было, Алексей Иванович... Первый муж не выражал желаний, а я глупа была.

— Покойный Вадим Петрович тоже не хотел?

Катя сдвинула брови, отвернулась, промолчала.

— Давно хочу спросить... Практика у вас большая... Как у вас эти сладкие-то дела начинались? Что ж, мужья, женихи-то, ручки вам целовали? Разговоры вокруг да около? Так, что ли? Как это у господ-то делалось?

Подошли к возам. Алексей со всей силой швырнул на землю сбрую, лежавшую на телеге, взял из-под нее дугу и, подперев ею оглоблю, на конце стал подвязывать котелок...

— Вы с господского верха пришли, а я — с мужицкой печи... Вот, встретились на тесной дорожке. Вам назад возврата нет, аминь. Что еще не разворочали — до конца скоро разворочаем... Итти вам некуда, кроме нового хозяина...

— Алексей Иванович, чем я вас обидела?

— А ничем... Я вас хочу обидеть, да слов у меня нехватает. Мужик... Дурак... Ох, и дурак же я, мать твою... Вижу, вижу, — вы только и ждете — задать стрекача... За границу — самое место для вас...

— Как вам не стыдно, Алексей Иванович, разве я что-нибудь сделала — так меня обвинять... Я обязана вам всей жизнью, и никогда этого не забуду...

— Забудете... Вы видели, как Матрена людей боится? Я тоже людям не верю. С четырнадцатого года в крови купаюсь. Человек нынче стал зверем. Может быть, он им и раньше был, да мы не знали. Каждый из-под каждого — только и ждет — днище выщипить... И я — зверь, не видите, что ли, эх, вы, птичка сизокрылая... А я хочу, чтобы дети мои в каменном доме жили, по-французски говорили получше вас, — пардон, мерси...

Подошла Матрена с охапкой хворосту и щепок, бросила их под котелок, висевший на конце оглобли, и внимательно взглянула на Алексея и на Катю.

— Напрасно ее, Алексей, обижаешь, — сказала она тихо. — Коней поил?

Алексей повернулся и пошел к лошадям. Матрена стала укладывать щепки под котелком:

— Любит он тебя. Сколько я ему девок ни сватала, не хочет... Не знаю уж, как у вас выйдет,—трудно вам обоим...

Матрена ждала, что Катя скажет что-нибудь. Катя молча достала крупу, сало, расстелила на земле полог, стала резать хлеб.

— Ты что же молчишь?

Катя, нарезаая ломти хлеба, ниже склонила голову, по щекам ее текли слезы.

3

Плодородные степи Екатеринославщины, падающие к Черному и Азовскому морям, были новым краем. Это была та Дикая Степь, где в давние времена пронеслись на косматых лошадаках, по плечи в траве, скифы, низенькие, жирные и длинноволосые; пробирались под надежной охраной греческие купцы, — из Ольвии в Танаис; двигались со стадами рогатого скота готы, кочевавшие в огромных повозках между двумя морями; от северных границ Китая, подобно тучам саранчи, вторгались сюда многоязычные полчища гуннов, наводя столь великий ужас, что степи эти пустели на много столетий; раскидывали полосатые арамейские шатры хазары, идя от Дербента воевать днепровскую Русь; кочевали с бесчисленными табунами коней и верблюдов половцы в хорезмских шелковых халатах, доходя до степного вала Святослава; и позже топтали их легкоконные татарские орды, собираясь для набегов на Москву.

Людские волны прошли, оставив лишь курганы да кое-где на них каменных идолов с плоскими лицами и маленькими ручками, сложенными на животе. Екатеринославские степи стали заселяться хлебобродами-украинцами, русскими, казачьими выходцами с Дона и Кубани, немецкими колонистами. Новыми были в ней огромные села и бесчисленные хутора, без дедовских обычаев, без стародавних песен, без пышных садов и водных угодий. Здесь был край пшеницы и серых помещиков, хорошо осведомленных о заграничных ценах на

хлеб. Новым был и Гуляй Поле — скучный городишко, растянувшийся вдоль заболоченной и пересыхающей речонки Гайчур.

От станицы до Гуляй Поля было верст пятнадцать стелью. Рошин подрядил «фаэтон», который довез его до большого базара, раскинувшегося на выгоне. Тут же Вадим Петрович стал торговать жареную курицу у нахальной бабы, сидевшей растопыркой на возу среди деревенского добра, привезенного для продажи. Неумелая баба горячилась, то совала под самый нос покупателю свой товар, то хватала у него из рук и бранила его визгливо, и вертелась, озираясь, чтобы с воза не стащили что-нибудь. За жареную курицу она заломила пять карбованцев и сейчас же не захотела отдавать за деньги, а только за шпульку ниток.

— Да ты возьми у меня деньги, дура, — сказал ей Рошин, — нитки купишь, вон ходят—продают нитки...

— Некогда мне с воза отлучаться, спрячьте деньги, отойдите от товара...

Тогда он протолкался к чубастому военному человеку, увешанному оружием, который, шатаясь по базару, потряхивал на ладони двумя шпульками ниток. Мутно поглядев на Рошина, он прошевелил опухшими губами:

— Не. Меняю на спирт.

Так Рошину и не удалось купить курицу. На базаре шла преимущественно меновая торговля, чистейшее варварство, где стоимость определялась одной потребностью; за две иголки давали поросенка и еще чего-нибудь в придачу, а уже за суконные штаны без заплат продавецпил кровь у покупателя. Сотни людей торговались, кричали, бранились, крутясь среди множества телег; здесь же — на табурете или просто на колесе — пристраивались парикмахеры с передвижным инвентарем; моментальные фотографии, с ящиком-лабораторией на треноге, через пять минут подавали клиенту сырую фотографию; куплетисты, слепые скрипачи, собирали в кружок слушателей, не брезгуя залезть в карман к зазевавшемуся дурню... Все эти люди в самое короткое время готовы были сняться с места, разбе-

жаться и попрыгаться, если начиналась серьезная стрельба, без которой в Гуляй Поле не проходило ни одного базара.

Пробираясь между телегами, Вадим Петрович попал в праздную толпу около карусели; на деревянных конях, с немислимо выгнутыми шеями и взлетами ног, крутились, сидя важно, усатые люди в гусарских куртках, в бушлатах, в кавалерийских тулупчиках, увешанные гранатами и всяким холодным и огнестрельным оружием. «Шибче, шибче» — грозным басом повторял кто-нибудь из них. Двое оборванцев из всех сил крутили карусель. Два гармониста играли «Яблочко», бешено раздувая мехи, будто забирая в них всю ширь и удаль души махновской вольницы. «Довольно, слезай» — кричали те, кто дожидался своей очереди. «Шибче!» — ревели крутящиеся на конях. И уже с кого-то слетела папаха, кто-то в восторге выхватил шашку и размахивал ею, рубя причудившегося гада. Тогда стоящие вокруг кидались и на лету стаскивали всадников. Начинаясь возня, под пронзительный свист бухали кулаки, и снова крутилась карусель, и новые всадники подбочивались на конях — с вывороченными красными ноздрями.

Вадим Петрович отошел, не видя здесь разумного человека — с кем бы можно было заговорить. У лотошника купил кусок пирога с творогом и, жуя, зашагал по широкой бульжной улице. Надо было обеспечить себе ночлег. Денег у него осталось немного, и если считать, сколько он заплатил за пирог, — денег нехватит и на неделю. Он рассеянно поглядывал на двухэтажные кирпичные дома купеческой стройки, на лабазы, лавки, размалеванные вывески, жевал и думал тоже рассеянно: после скачка в дикую свободу жизненные мелочи не слишком тревожили его.

Навстречу ему ехал человек на велосипеде, вихляя передним колесом. За ним верхами — двое военных в черкесах и заломленных бараньих шапках. Маленький и худенький человек на велосипеде был одет в серые брюки и гимназическую курточку, из-под околыша,

синего, с белым кантом, гимназического картуза его висели прямые волосы почти до плеч. Когда он поровнялся, Вадим Петрович с изумлением увидел его испитое, безбровое лицо. Он кольнул Рощина пристальным взглядом, колесо в это время вильнуло, он с трудом удержался, жестоко сморща, как печеное, желтое лицо свое, и проехал.

Минуту спустя один из всадников повернул коня, коротким галопом подскочил к Рощину и нагнулся с седла, всматриваясь в него бегающими зрачками.

— В чем дело? — спросил Рощин.

— Ты что за человек? Откуда?

— Что я за человек? — Рощин отвернулся от крепкого запаха лука и сибухи. — Я свободный человек. Еду из Екатеринослава.

— Из Екатеринослава? — угрожающе спросил всадник. — А для чего здесь?

— А для того я здесь, что ищу жену.

— Жену ищешь? А почему погоны спорол?

Дрожа от бешенства, Рощин ответил, сколько мог, спокойно:

— Захотел спороть погоны и спорол, тебя не спросил.

— Смело отвечаешь.

— А ты меня не пугай, я не из пугливых.

Всадник так и шарил зрачками по лицу Рощина, ища ответа. Вдруг выпрямился, узкое, перекошенное ассиметрией лицо его нахально усмехнулось, он ударил шпорами коня и поскакал к велосипедисту. Рощин зашагал дальше, спотыкаясь от волнения.

Но его сейчас же нагнали эти трое. Велосипедист в гимназической фуражке крикнул высоким голосом, застревающим в ушах:

— Нам не хочет говорить, Левке скажет...

Всадники заржали и с обеих сторон конями придавили Рощина. Велосипедист проехал вперед, со всей силой пьяного человека вертя педалями. «Шагай, шагай» — повторяли всадники, заставляя Рощина почти бежать между лошадьми. Вырваться, протестовать было бессмысленно. Остановились на

этой же улице у кирпичного домика с вытопанным палисадником. Окна были замазаны мелом, над дверью висел черный флаг, и под ним надпись на фанере: «Культпросвет народно-революционной армии батьки Махно».

Рошин был так зол, что не помнил, как его втокнули в домишко, провели темными закоулками в заплыванную, замусоренную комнату с таким кислым запахом, что перехватило дыхание. Сейчас же вошел, несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся, улыбающийся человек в короткой поддевке, какие в провинции носили опереточные знаменитости и куплетисты.

— А ну? — спросил он и сел у расшатанного столика, смахнув с него окурки.

— Батька велел спытать — чи это гад, чи нет, — сказал ему криволицый, сопровождавший Рошина.

— А ну, выдь, товарищ Каретник (и когда тот вышел), а ну, сядь.

— Послушайте, — волнуясь, сказал Рошин улыбающемуся толстому человеку в поддевке, — я понимаю, что попал в контрразведку. Я объясню — кто я такой, зачем я здесь, мне скрывать нечего... Я приехал для того, чтобы...

— А ну, подивись на меня, — не слушая его, сказал человек в поддевке, — я Лева Задов, со мной брехать не надо, я тебя буду пытать, ты будешь отвечать...

Имя Левки Задова знали на юге все, не меньше, чем самого батьки Махно. Левка был палач, человек такой удивительной жестокости, что Махно будто бы даже не раз пытался зарубить его, но прощал за преданность. Слышал о нем и Рошин. В первый раз ему стало зябко. Он стоял перед столом, Левка Задов сидел, пышно кудрявый, румяный, наслаждаясь властью над человеком, ужасом, который он внушал:

— А ну, давай балакать. Деникинский офицер?

— Да. Бывший...

— Бывший? Ай, ай, ай... Откуда едешь?

— Из Екатеринослава в Гуляй Поле, — я же вам рассказываю...

— Ай, ай, ай... Зачем ты говоришь

Леве, что едешь из Екатеринослава, когда ты приехал из Ростова...

— Нет, я приехал из Екатеринослава.

Рошин торопливо стал отыскивать билет, на минуту опять похолодев, — а вдруг он его выбросил? Билет оказался в кармане френча вместе с помятой и выцветшей фотографической карточкой Кати. Он протянул Левке билет, и тот долго вертел его и рассматривал на свет. Билет, что ни говори, был правильный, это несколько озадачило Левку, у которого, видимо, уже сложилось убеждение вплоть до приговора. Билет менял всю картину. Левка даже перестал скалиться, толстые губы его брезгливо вздрагивали:

— А для чего, везя в штаб Деникина разведку, вылезашь в Гуляй Поле?

— Я не везу разведку. Я уже два месяца из армии. Я больше не служу. Я разорвал воинский билет. Сюда я приехал, как вольный человек...

Левка не сводил с него черных глаз. Под этим взглядом, в котором не было ничего разумного и человеческого, Рошин напрягал все усилия, чтобы побороть волнение, отвечать обдуманно, и он начал было рассказывать (упрощенно, доступно пониманию) о причинах, заставивших его дезертировать...

— Если ты, сволочь, — перебил его Левка тихим голосом, — будешь мне еще врать, я с тобой сделаю, что Содом не делала с Гоморрой...

Быстрым, воровским движением он взял у Рошина катину фотографию. Улыбаясь, как ценитель женщин, разглядывал ее и, щелкнув по ней ногтем:

— А это что за сучонка?

— Моя жена... Ради нее я приехал... Отдайте мне фотографию...

— Ее положат на твой кровавый труп. — Левка прикрыл карточку толстой, налитой сальцем, рукой. — А ну, давай сведения разведки...

— Ни слова я тебе больше не скажу! — крикнул Рошин.

— Мне скажешь. У меня балакают. — Левка легко приподнялся и, как кот лапой, ударил Вадима Петровича в лицо. Удар пришелся неудачно, — по виску. Рошин упал без сознания.

4

Советская республика представлялась врагам ее обреченной в какие-то самые короткие сроки пасть под ударами. Но она всю изощренность ума, науки, все духовные и материальные силы народа организовала для того, чтобы самой перейти в наступление. Военный план большевиков заключался в том, чтобы, подчиняя все задачам обороны, ни на один час не ослабевать в проведении глубоких социальных изменений, бесстрашно внедряя в жизнь те принципы, осуществление которых лежало за пределами сегодняшнего дня; создать трехмиллионную рабоче-крестьянскую армию; заслониться обороной на севере от Петрограда до Перми, вести наступление на Сибирь и Южный Урал и основное напряжение наступательных операций развить против красновского казачества на Дону и против Деникина на Северном Кавказе.

Российская советская республика, сдавленная со всех сторон, со всех четырех морей белыми армиями и экспедиционными корпусами англичан и французов, создала фронт длиной свыше пятнадцати тысяч километров; к этому за последнее время прибавился сложный и путанный фронт Украины.

С особенной силой на богатой Украине разгоралась гражданская война. Население ее к тому времени было глубоко расслоено недавней оккупацией, гетманской властью и мстительной реставрацией помещиков. Рабочий и шахтерский Донбасс, малоземельное крестьянство и батрачество, тянули к советской власти; богатое крестьянство и буржуазия, боясь ревкомов, комбедов, исполкомов, комиссаров и хлебной разверстки, тянули к самостийной директории и главе ее — батяке Петлюре. Его же поддерживала и та часть интеллигенции, у которой вся огромная тема советской революции укладывалась в ответ: «Геть, проклятые москали!», а старая романтика шаровар с Черное море, оселедцев, казачьих жупанов и кривых сабель заслоняла печальные исторические справки о кровавых жертвах украинского народа, три столетия боровшегося за

свою независимость и три столетия предаваемого носителями этих шаровар и оселедцев.

Петлюра сбросил гетмана, сел с директорией в Киеве, объявил самостийную республику и начал безнадежную борьбу с пролетарской революцией. У него было несколько дивизий из перешедших на его сторону гетманских сичевиков и из стойких, дисциплинированных галицийцев, поверивших, что сбывается старая мечта о соединении их с вильной Украиной, и из всякого сброда отчаянных людей, кормившихся военным грабежом. У него были бронированные поезда, броневики, много оружия и боеприпасов. Но он не был достаточно умен или хитер, чтобы предложить украинскому селянству, расслоенному и бушующему, что-либо вещественное, кроме пышных универсалов. Резервов у него не было.

В декабре в Полтавщине, в городке Суджа, организовалось подпольное советское правительство Украины. Председатель царичинского военсовета послал в Суджу командарма Десятой Ворошилова с тем, чтобы он вошел в правительство. Туда же из Царицына были посланы опытные в партизанских делах командиры и политработники. В Судже был организован Реввоенсовет.

К тому времени регулярная украинская Красная армия, задолго до этих событий формировавшаяся под Курском преимущественно из бежавших от суда и казни украинских крестьян, численностью в две дивизии, начала наступление на запад в направлении Киева и на юг — на Харьков и Екатеринослав. Так как сил двух дивизий было явно недостаточно, расчет строился на поддержку партизанских отрядов. Из них наиболее мощным представлялась армия батяки Махно.

5

Махно гулял. В добытой после налета на Бердянск гимназической форме колесил на велосипеде напоказ всему городу, или вместе со своим адъютантом Каретником пел песни под гармонь, шатаясь по улице. Или появлялся на базаре, злой и бледный, ища ссоры, но

все от него прятались, зная, как легко у него из кармана штанов вылетает револьвер. Дюжие махновцы, не боящиеся ни бога, ни чорта, увидав его около карусели, слезали с деревянных коней и пускались наутек. Батьке приходилось одному вместе с Каретником крутиться до одури.

По всему Гуляй Полю шли разговоры, что батька за последнее время стал много пить, и как бы не пропил армии. Но только немногие догадывались, что он хитрит. Был он хитер, скрытен, живуч, как стреляный дикий зверь.

Махно тянул время. В эти дни ему надо было принимать большое решение. На Екатеринославщине не стало ни оккупантов, ни гетмана с сичевиками, с кем он дрался. Разбежались помещики. Малые города были пограблены. И с трех сторон надвигались, тесня его, новые враги: из Крыма и Кубани — добровольцы, с севера — большевики, с Днепра — петлюровцы, занявшие только что Екатеринослав. Кто из них опаснее? В какую сторону повернуть пулеметные тачанки? Решать надо было, не мешкая. Армия редела, в ней началось шатание. Бойцы из мужичков-хлеборобов говорили: «Вот спасибо, что на Украину идут большевики, теперь можно и по домам, а кому еще не надоело, — шлепай на лоб красную звезду». Ядро армии — «Черная сотня имени Крапоткина» — рубки, отбившиеся от всякой работы ради разгульной воли на конях, кричали:

— ...А захочет батька продать нас большевикам, — зарубим его перед фронтом, и только... Вон уже Петлюра забрал Екатеринослав, а мы все ждем... Проелись вчистую, босы и голы, скоро нам в степи с волками выть... Братва, даешь Екатеринослав!

Третий день в Гуляй Поле сидел матрос Чугай, делегат от главковерха украинской Красной армии, и непоколебимо дожидался, когда Махно проспится, чтобы с ним говорить. В эти же дни из Харькова приехал знаменитейший философ, член секретариата анархистской конфедерации «Набат», тоже чтобы разговаривать с батькой. Члены махновского военно-политического совета, местные

анархисты, ближайшие советчики, рискуя жизнью, ловили, где только могли, батьку и ревниво предупреждали его никого не слушать и держаться высшей свободы личности.

Махно понимал, что, не прими он теперь же твердого, угодного армии решения, — конец его делу, его славе. Только два выбора было перед ним: поклониться большевикам, делать, что прикажет главковерх, и ждать, когда его в конце-концов расстреляют за своевольство. Или, зарубив делегата Чугая, поднимать на Украине мужицкое восстание против всякой власти. Но во-время ли это? Не ошибиться бы...

Мысли эти были настолько тайные, что опасно было их высказывать даже преданным собакам Левке и Каретнику. Ему было тесно от мыслей. Армия ждала. Делегат Чугай и старикашка, мировой анархист из Харькова, ждали. Махно пил спирт, не теряя разума, нарочно дурил и безобразничал, — глаз его был остер, ухо чуткое, он все знал, все видел. Бешеная злоба кипела в нем.

Велев арестовать и отвести к Левке неизвестного человека в офицерской шинели, который говорит, что он из Екатеринослава, Махно вскорости и сам явился в культпросвет, пройдя с велосипедом в камеру, где допрашивали. Левка Задов, неудачно ударив Рощина, сидел за столом, положив кулак на кулак и на них подбородок. Махно оглядел валяющегося на полу человека, поставил велосипед:

— Ты что с ним сделал?

— А ну, погладил, — ответил Левка.

— Дурак... Убил?

— Так я же не хирург, почему я знаю...

— Допрашивал? (Левка пожал плечом.) Он — верно из Екатеринослава? Что он говорит? Деникинский разведчик?

Махно глядел на Левку так пристально и невыносимо, что у того глаза томно подкатились под веки.

— У него должны быть сведения... Где они? Со смертью играешь...

— Так я же не успел, только начал, Нестор Иванович... Чорт его душу знает — до чего сволочь хлипкая...

Рошин в это время застонал и подогнул колени. Левка — обрадованно:

— Да ну же, психует.

Махно опять взялся за велосипед и увидел на столе катину фотографию. Схватил, всмотрелся:

— У него взял? Кто? Жена?

Как у людей волевых, сосредоточенных, недоверчивых, с огромным опытом жизни, — у Нестора Ивановича была хорошая память. Он сейчас же вспомнил первое появление Кати (когда он заставил ее делать себе маникюр) и заступничество Алексея Красильникова, и все сведения, какие ему сообщили об этой красивой женщине. Он сунул фотографию в карман, ведя велосипед, приостановился, — лицо Рошина оживало, рот приоткрылся, втягивая воздух...

— Приведешь его ко мне, я сам допрошу...

Одно твердо сложилось в уме Нестора Ивановича за эти дни гулянья: необходимость вести армию на Екатеринослав, взять его штурмом и поднять знамя анархии над городской думой. Такая добыча воодушевит и сплотит армию. Екатеринослав богат — на целую губернию хватит в нем мануфактуры и всякого барахла, чтобы по селам и деревням выкидывать из вагонов и тачанок штуки сукна, ситца, высыпать лопатами сахар, швырять девкам ленты, позументы, чулки и ботинки: «Вот вам, мужички-хлеборобы, подарочки от батьки Махно! Вот вам вольный строй безвластия, без помещиков и буржуев, без советов и чрезвычайок...»

Все остальное было еще не решено. Сейчас, взглянув на катину фотографию, он вдруг нашел это решение, — оно выскочило у него, как петрушка из раешника. Но он и виду не подал, что все в нем заплясало от торжества... Сел на велосипед и поехал через улицу к длинному деревянному дому с большими окнами и оголенными тополями перед ними. Это была школа, где помещался штаб, его адъютанты и он сам квартировал в одной комнате.

Через час к нему привели Рошина. Впереди него шел Левка, позади — махновец, в енотовой шапке из поповского воротника, с черной лентой наискосок,

подталкивал Рошина в спину дулом револьвера. Махно сидел на ситцевом диванчике, продранном до пружин.

— Это что? — крикнул он высоким голосом. — В стражников, в царских жандармов играете? Отставить оружие! Выдь! — кивнул он снизу вверх желтым испитым лицом на махновца. (Тот сейчас же, топя сапожищами, кинулся за дверь.) Махно поднялся с диванчика, сжал сухой кулачок и ударил Левку в лицо, в губы, в нос:

— Кат! Кат! — завизжал он. — Алкоголик! Сифилитик! Пачкаешь идею! Пачкаешь меня!

Левка Задов, хорошо зная батьку, не стал дожидаться разворачивания его гнева, втянул голову в жирные плечи, закрывшись руками от ударов, выпятился за дверь и прикрыл ее за собой.

Махно снял фуражку, — лоб его был мокрый. Он опять сел на диванчик. Ему нехватало четок, чтобы совсем походить на изувера-послушника.

— Сядьте, пожалуйста, — он махнул длинной рукой, указывая Рошину на стул. — Если вас и придется расстрелять, все равно — позор, позор — оскорблять человеческое достоинство. Возьмите папиросу, закуривайте. Вы разведчик?

— Нет, — глухо ответил Рошин, усмехнувшись и взяв папиросу.

— Добровольческий офицер?

— Я дезертировал. Кончил с этим. Вы же мне все равно не верите, чего я буду рассказывать...

— Мне не врут, — сказал Махно тем же высоким, особенным голосом, который трудно было бы записать на нотные знаки. Рошину он показался похожим на клёкот. — Мне не врут, — повторил он, и глаза его, сухие и немигающие, выражали такое превосходство воли, что трудно было глядеть в них. Навертывались слезы у того, кто хотел бы выдержать этот взгляд. Все же Рошин выдержал. У него после давешнего трещала голова, — преодолевая эту боль, он весь собрался для последней схватки.

— Если вам нужны сведения о Доброармии, — спрашивайте. Но сведения мои старые. Я ушел в отпуск два месяца тому назад. Этой весной я сделал неверный ход, цена ему — жизнь... Вы

собирается меня расстрелять... Так или иначе, не сейчас—после,— мне не убежать пули за мою ошибку...

В глазах Махно появилась и пропала искорка юмора... «Не верит...» Вадим Петрович глубоко затянулся папироской, положил ее на край стола, засунул руки за кушак: «Погоди ж ты у меня...»

— Прежде всего — как я попал в белый лагерь? Прикатился, как яблочко под горку. Ну, что ж... Были мы русскими интеллигентами, значит — соль земли, читали Михайловского, Канта, Крапоткина и даже Бебеля, помимо других утешительных книг. Помню с Алексеем Боровым¹ не одну бессонную ночь провел вот в таких же разговорах... (Как он и ждал, при упоминании этого имени у Махно сейчас же затуманились глаза, точно поглупели, но лишь на мгновение, не больше.) Получалась российская окрошка, замешанная на мужицкой сметане. Полны были восторженных ожиданий. И вот, дождалось, вспорхнули, запели... Февральская революция кончилась кислотой, вместо роскошного праздника — бульвары, засыпанные семечками, да матросня, да серое солдатые, — не великая страна, а тесто, ржаной кисель без соли...

Махно завозился на диванчике и вдруг, сам не замечая этого, сел, будто на какой-нибудь маевке, обхватив худые колени. Даже в глазах его появилось что-то внимательно-собачье.

— Оказалась интеллигенция не у дела. А уж в октябре взяли нас за шиворот и, как котят, — на помойку... Вот, собственно, и все. Доброармия — это всероссийская помойка. Ничего созидательного, даже восстановительного, в ней нет и быть не может. А наломать она может и даже весьма серьезно... Жалко, что поздно все это понял... Но рад, что понял... Так вот, Нестор Иванович... (Как-то само собой вышло, что назвал его по имени, отчеству.) Жить мне не следовало бы, да и не хотелось... Но есть одно существо... Дороже мне всех

философий, дороже моей совести... Это меня и остановило...

— Вот эта? — вдруг спросил Махно, показывая ему фотографию.

— Да, эта.

— Да вы возьмите, мне она не нужна...

Рошин спрятал в карман френча картинку карточку. Взял окурок, закурил. Руки его не дрожали. Он не сбился с рассказа.

— Воинский билет — в клочки, и сюда — по ее следам. А раз уже ухватился снова за жизнь, — подавай опять и философию, и идеологию: мы не ремесленники... Единственно, что для меня приемлемо... Совершенно отвлеченно, конечно, совершенно отвлеченно... Это абсолютная свобода, дикая свобода... Пускай безумная, невозможная, а впрочем... Умирать надо за какие-то пределы фантазии...

— Разведку, все-таки, дайте, где она у вас запрятана? — тихо сказал Махно.

Рошин осекся, отвернулся и слабо, безнадежно махнул рукой. Махно долго не шевелился на диванчике. Вдруг вскочил и стал шарить среди кучи вещей в углу комнаты, — среди оружия, седел, сбруи, бумажных свертков... Нашел несколько коробок консервов, две бутылки спирту, поставил все это на стол и, вертя ключом, стал отдиравать крышку с коробки сардин.

— Я беру вас в штаб, — сказал он. — Ваша жена в шестой роте, у Красильникова, на хуторе Прохладном... Сейчас придет делегат от большевиков. Нехай его думает, что я снюхиваюсь с добровольцами. Ваша задача тень на плетень наводить. Понятно? В карты играете?

Тут Вадим Петрович, действительно, растерялся и только моргал, даже не пытаясь понять — как это все обернулось и что все это значит. Махно, словно сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полсотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами, французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло в комнате.

— Расстрелять я вас всегда успею, а использовать хочу, — сказал он, как бы

¹ Алексей Боровой — теоретик-анархист того времени, популярный среди анархистов, окружавших Махно.

отвечая на растерянные мысли Рошина. — Вы штабист или фронтовик?

— В мировую войну был при штабе генерала Эверта...

— Теперь будете при штабе батьки Махно... На царской каторге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол... Так выковываются народные вожди. Понятно?

Зазвонил телефон в желтом ящике, стоявшем среди хлама на полу. Махно, присев на корточки, крикнул в трубку клёкотным голосом:

— Жду, жду!

6

Делегат Чугай, медлительный человек, очень сильный, в поношенном, но опрятном бушлате, в бескозырке, сдвинутой на затылок, сидел, распустив карты так, чтобы нельзя было в них подглядывать, и блестящими, на выкате, глазами следил за всеми движениями Нестора Ивановича. Широкое в скулах, неподвижное лицо его, с черными усиками, не выражало ничего, лишь гнутый стул потрескивал под его тяжестью. Казалось — возьми такого, подогни ему ноги в матросских штанах, заправленных в короткие и широкие голенища, посади под семь медных змей с раздутыми горлами и молись на него.

Играли в «козла», игру, выдуманную на фронтах, чтобы под смех и шутки забывать о ранах и тревогах. Нестор Иванович, как только вошли гости, не встав даже от стола, не подав руки, предложил было перекинуться в девятку на интерес (за этим-де и позвал). Быстро — не уследить глазами — сдал карты, бросил на стол бумажку в тысячу карбованцев и прикрыл ее банкой с омарами. Но Чугай взял свои две карты и подсунул их туда же под банку.

— Боишься? — спросил Махно.

Чугай ответил:

— На интерес со мной не садись. Давай в козла.

Махно, с картами под столом, откинувшись, сидел спиной к двери, имея позади себя свободное пространство (что немедленно и отметил Чугай). По левую руку его сидел Рошин, по правую —

Леон Черный, член секретариата конфедерации «Набат», — клочковатый, неопределенного возраста, маленький, очень сухой, без легких в птичьей груди, про которого только и подумаешь, что жив одним духом. Мягтый пиджачок его был обсыпан перхотью и седыми волосами, карты в рассеянности он развернул всем на виду.

Идя сюда, он приготовился к жестокой борьбе с Чугаем, намеревавшимся узурпировать Махно и его армию, — явление, полное неисчерпанных возможностей. Мысли Леона Черного были сосредоточены, как динамит в жестянке. Несколько озадаченный тем, что вместо генерального боя с большевиком ему придется играть в козла, он сбрасывал не те карты или ронял их под стол. Он уже четыре раза подряд остался козлом. «Бээшка, бээшка, вонючий!» — кричал ему Махно, смеясь одной нижней частью лица.

После каждой партии Махно обезьяньим движением протягивал руку к бутылке со спиртом и наливал в чашки и рюмки, следя, чтобы все пили вровень. Разговор за столом был самый пустой, будто и вправду собрались друзья коротать ненастный вечер, когда в черные окна сечет дождь, а ветер, забравшись в голые тополя перед домом, качает их и свистит, и воет, как нечистая сила.

Махно выжидал. И Чугай спокойно выжидал, готовый ко всяким случайностям, особенно, когда по некоторым намекам хозяина понял, что этот четвертый за столом, молчаливый, приличный, с синяками под глазами, седоголовый человек — деникинский офицер. По всей видимости, первым должен был взорваться Леон Черный, он уже вытащил грязный носовой платок, судорожно скатал его в клубочек и прикладывал к носу и глазам после каждой рюмки спирту. Так оно и случилось.

— Еще в Париже мы начали спор с вашими большевиками, — ворчливо проговорил он, взмахнув растопыренными картами в сторону Чугая. — Спор не кончен, и никто еще не доказал, что Ленин прав. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-

крестьянское!.. Но — государство, государство! Вместо одной власти—другую. Снять барский кафтан и надеть сермяжный! И у них-то будет бесклассовое общество!

Он мелко засмеялся, прижимая платок к сухоньким губам. У Чугая на лице ничего не отразилось, он только уставился на банку с смарами, придвинул ее и, — захватив вилкой сколько влезло:

— А вы что предлагаете, интересно? Анархию, мать порядка?

— Разрушение! — зашипел на него без голоса, перехваченного спиртом, Леон Черный, и клочки его сивой бородки оцетинились, как у барбоса. — Разрушение всего преступного общества! Беспощадное разрушение, до гладкой земли, чтобы не осталось камня на камне... Чтобы из проклятого семени снова не возродилось государство, власть, капитал, города, заводы...

— Кто же у вас жить-то будет на пустом месте?

— Народ!

— Народ! — крикнул Махно, вытягиваясь к Чугаю. — Вольный народ!

— Что же с крику-то начинать, — проговорил Чугай, — тогда уже надо кончать стрельбой. — Он взял бутылку и налил всем. (Леон Черный оттолкнул свою рюмку, она пролилась.) — Взять да и развалить, это дело нехитрое. А вот, как вы дальше намерены жить?

Леон Черный, — предупреждая ответ Нестора Ивановича:

— Наше дело: страшное, полное и беспощадное разрушение. На это уйдет вся энергия, вся страсть нашего поколения. Вы в плену, матрос, в плену у бескрылого, трусливого мышления. Как жить народу, когда разрушено государство? Хе-хе, как ему жить!

Махно ему — сейчас же:

— Тут мы разошлись, товарищ Черный. Мелкие предприятия я не разрушаю, артели я не разрушаю, крупное крестьянское хозяйство — не разрушаю...

— Значит, вы такой же трус, как этот большевик.

— Ну зачем, в трусости его не упрекнешь, — сказал Чугай и одобрительно подмигнул Нестору Ивановичу (испитое

лицо у того было красное, как от жара углей). — Крови своей Нестор Иванович не жалел, это известно... Здорово живешь, мы его вам не отдадим, за него будем драться.

— Драться? Начинайте. Попробуйте, — неожиданно спокойно проговорил Леон Черный, и клочья бороды на его щеках улеглись. Рассеянно и жадно он занялся паштетом. Чугай покоился на Рощина, — тот равнодушно курил, подняв глаза к потолку. Нестор Иванович оскалил большие желтые зубы беззвучным смехом. «Так, понятно, сговор» — подумал Чугай. Стул под ним заскрипел. Помимо того, что надо было выполнить наказ главковерха — склонить Махно на совместные действия, — в первую голову против Екатеринослава, — Чугай имел все основания опасаться тяжелых организационных выводов в случае неудачного спора с этим анархистом, обглодавшим, наверное, не одну сотню толстенных книг. Не нравился ему и молчаливый денкинец, тоже — по морде видно — из интеллигентов. Что он из баткиного штаба, Чугай, конечно, не верил.

Он плотней надвинул шапочку на затылок:

— Я вам задам вопрос.

Леон Черный, — с набитым ртом:

— Пожалуйста.

— Товарищ Ленин сказал: через полгода в Красной армии будет три миллиона человек. Можете вы, Леон Черный, мобилизовать в такой срок три миллиона анархистов?

— Уверен.

— Аппарат у вас имеется для этой цели, надо понять?

— Вот мой аппарат, — Леон Черный указал вилкой на Махно.

— Очень хорошо. Остановимся на этой личности. Вы, значит, снабжаете Нестора Ивановича оружием и огнеприпасами на три миллиона бойцов, само собой — амуницией, продовольствием, фуражом. Лошадей одних для такой армии понадобится полмиллиона голов. Это все имеется у вас, надо понизить?

Леон Черный отсунул от себя опу-

стевшую жестянку. Лоб его собрался мелкими морщинами:

— Слушайте, матрос, цифрами меня не запугаете. За вашими цифрами — пустота, убогие попытки заштопать гнилыми нитками эту самую Россию; рвущуюся в клочья. Скрытый национализм! Три миллиона солдат в Красной армии! Запугал! Мобилизуйте тридцать. Все равно, подлинная, священная революция пройдет мимо ваших миллионов мужиков-собственников, декорированных красной звездой... Наша армия, — он стукнул кулачком, — это человечество, наши огнеприпасы — это священный гнев народов, которые больше не желают терпеть никаких государств, ни капитализма, ни диктатуры пролетариата... Солнце, земля и человек! И — в огромный костер все сочинения от Аристотеля до Маркса! Армия! Пятьсот тысяч лошадей! Ваша фантазия не поднимается выше фельдфебельских усов. Дарю их вам. Мы вооружим полтора миллиарда человек. Если у нас будут только зубы и ногти и камни под ногами, — мы опрокинем ваши армии, в груды развалин превратим цивилизации, всё, всё, за что вы судорожно цепляетесь, матрос...

«Эге, старичок-то легкий» — подумал Чугай, следя, как Махно, вначале весь вытянувшийся от внимания, опускал плечи и румянец угасал на его впавших щеках: он переставал понимать, учитель отрывался от здравого смысла.

Тогда Чугай сказал:

— Второй вопрос вам, Леон Черный...

— Ну-те...

— Я так вас понял, что общая мобилизация у вас не подготовлена. Но всякому делу нужен запал: бомбе — капсуль, костру — спичка. На какой запал вы рассчитываете? Где эти ваши кадры? Батька Махно? (У Леона Черного забегали зрачки, — он искал подвоха.) Армия у него боевая, правильно, но процент анархистов не велик. Это не ваша армия.

Он покосился на Махно, — не лезет ли рука его в карман за шпалером, но он сидел спокойно. Леон Черный прерзительно заулыбался:

— Наша беседа свелась к тому, что мне приходится вас учить азбуке, матрос.

— Очень желательно.

— Разбойничий мир — вот наш запал, вот наши кадры!.. Разбой — самое почетнейшее выражение народной жизни... Это надо знать! Разбойник — непримиримый враг всякой государственности, включая и ваш социализм, голубчик... В разбое — доказательство жизненности народа... Разбойник — непримиримый и неукротимый — разрушающий ради разрушения, — вот истинная революционная, народно-общественная стихия. Протрите глаза!

Махно во время этого страстного взрыва идей подошел на цыпочках к двери, приотворил ее, заглядывая в коридор, и опять вернулся к столу. Рошин теперь с любопытством приглядывался к фантастическому старичку, — не дурачит ли он?

— Я вижу — вы уже моргаете, матрос, вы поражены, ваши добродетели возмущены! — кричал Леон Черный. — Так знайте: мы сломали наши перья, мы выплеснули чернила из наших чернильниц, — пусть льется кровь! Время настало! Слово претворяется в дело. И кто в этот час не понимает глубокой необходимости разбоя, как стихийного движения, кто не сочувствует ему, тот отброшен в лагерь врагов революции...

Махно, щурясь, стал кусать ногти. Рошин подумал: «Нет, старичок знает, что говорит». Чугай, навалясь на стол, поставил на него локоть и поднял палец, чтобы Леону Черному было на чем сосредоточиться.

— Третий вопрос. Хорошо, эти кадры вы мобилизовали. Дело свое они сделали. Разворочали... Заваруха эта должна когда-нибудь кончиться? Должна. Разбойники, по-нашему бандиты, люди избаловавшиеся, работать они не могут. Работать он не будет, — зачем? — что легко лежит, — то и взял. Значит, как же тогда? Опять на них должен кто-то работать? Нет? Грабить, раззорять — больше ничего. Значит, остаетесь вам — загнать бандитов в овраги и кончить? Так, что ли? Ответьте мне на этот вопрос...

В комнате стало тихо, будто собеседники сосредоточили все внимание на поднятом пальце, загнутом ногте Чугая. Леон Черный поднялся, — маленький (когда сидел, казался выше), неутомимый, как философская мысль:

— Застрели его! — сказал он, повернувшись к Махно, и выбросил руку в сторону Чугая. — Застрели... Это провокатор...

Махно сейчас же отскочил в свободное пространство комнаты, к двери. Чугай торопливо зацарапал ногтями по крышке маузера, висевшего у него под бушлатом. Рошин попятился от стола, споткнулся и сел на диванчик. Но оружие не было вынуто: каждый знал, что вынутое оружие должно стрелять. Глаза у Махно светились от напряжения. Чугай проговорил наставительно:

— Некрасиво, папаша... Прибегаете к дешевым приемам, это не спор... А за провокатора следовало бы вас вот чем... (Показал такой кулачище, что у Леона Черного болезненно дернулось лицо.) Принимая во внимание вашу слабую грудь, не отвечаю... Папаша, со словами надо обращаться аккуратнее...

Махно и на этот раз не вступился за учителя. Леон Черный насупился, будто спрятался в клочья бороды, взял свое пальто, с вытертым когда-то бобровым воротником, такой же ветхий бархатный картуз, оделся и ушел, мужественно унося неудачу.

— Ну, поехали дальше? — сказал Махно, возвращаясь к столу и берясь за бутылку. — Товарищ Рошин, пойдик дежурному, чтобы указал тебе свободную койку.

Рошин козырнул и вышел, уже за дверью слыша, как Махно говорил Чугая:

— Одни — «батяка Махно», другие — «батяка Махно», ну, а ты что скажешь батяке Махно?..

Но тут Рошин поспешил уйти в конец темного коридора.

7

Только приехав домой в село Владимирское, походив по своему пепелищу, присыпанному снежком, потянув ноз-

дрями дымок, тянувший от соседей, поглядев, как жирные гуси, уже хватившие первого ледка, гордо вскидывая крыльями и гогоча, бегут полулетом по седому лугу, — Алексей Красильников понял — до чего ему надоело разбойничать.

Не мужицкое это дело — носиться в тачанках по степи меж горящими хуторами. Мужицкое дело — степенно думать вокруг земли да работать. Земля, матушка, только не поленись, а уж она тебе даст. Всё веселило Алексея Ивановича, — и хозяйственные думы, от которых он отвык в бытность у Махно, и мягонький, серый денек, редко сеющий медленные снежинки, и деревенская тишина, и запах родного дыма. Похаживая, Алексей нет-нет да и поднимал ржавый кровельный лист, гвоздь, кусок железа в окалине, — бросал их в одну кучу. Не нажива, привезенная на трех возах, была ему дорога, было ему дорого то, что, не стесняясь теперь в каждом рубле, он будет строить и заводить хозяйство. От первого кола на пепелище до того дня, когда Матрена выкинет из печи пахучий хлеб своего урожая, — «Новая печь, скажет, а как хорошо печет», — до этого дня трудов — ни оглянуть, ни измерить. И это веселило Алексея: ничего, мужицкий пот произрастает...

Разгребая носком сапога пепел, он нашел топор с обгорелым топорщиком. Долго рассматривал его, с усмешкой качнул головой: тот самый! От него тогда все и пошло. Вспомнилось, как брат Семен, услышав жалобный крик Матрены, бешено выскочил из хаты. Алексей зачем-то воткнул тогда топор в сених, в чурбан около самой двери. Не метнулся он в глаза Семену, — ничего бы и не было...

«Эх, Семен, Семен, — и Алексей бросил заржавленный топорик в ту же кучу. — Вдвоем бы вот как горячо взялись за дело... Да, брат, я уж отшумел, будет с меня...»

Он глядел себе под ноги, думая. В том письме, полученном от Семена еще под Гуляй Подем, брат писал такие слова: «Матрене моей передай, чтобы от баловства какого-нибудь, пожалуйста,

сохраняла бы себя, не нужно ей этого, не то время... Убьют меня — тогда развязана... Время такое, что зубы надо стиснуть. Вас только во сне вспоминаю. Скоро меня не ждите, — гражданской войне и края не видно...»

Алексей встряхнулся, — а ну ее к чорту, дальше носа все равно ничего не увидишь. Снова стал глядеть на тихие дымы — то там, то там поднимались они за плетнями, за голыми садами, над хатами, укутанными камышом и соломой. Мужики приготовились тепло прожить зиму. Ну и правы. Красная армия не через неделю, через две будет здесь. Как это так — не видно конца гражданской войне? Что Семен брешет! Кто еще сюда сунется? «Эх, Семен, Семен... Конечно, болтается на миноноске в Каспийском море, ему кровь глаза и застилает...»

Все же у Алексея неясно было на душе. Вытащил было кисет, — тьфу ты, чорт, бумаги нет... Этим летом один фельдшер рассказывал, что в махновской армии много нервных, — с виду человек здоров, полпуда каши осилит, а нервы у него, как кошачьи кишки на скрипке. «Ладно, нервы, — проворчал Алексей, — раньше мы о них и не слыживали». Он подошел к одиноко торчащей обгорелой печной трубе, попробовал ее раскатать, — крепка ли? Навалился плечом, и она качнулась... «То-то, нервы...»

Алексей поселился с Катей и Матреной у родственницы, вдовы. Было у нее тесно и неудобно. Матрена побелила печь, смазала серой глиной земляной пол, занавесила кружевцами подслеповатые окошечки. Алексей купил муки, картошки и достаточно фуражу для лошадей — у кого воз, у кого два. Он ни с кем не торговался, денег не жалел и даже, если очень просили, давал немножко соли, что было дороже золота. Он знал, что односельчане его деньги считают легкими и три воза добра и пять голов коней долго не простят ему.

Труднее было уломать односельчан относительно постройки дома. Он надумал снести флигель в княжеской усадьбе, которая стояла разоренная и бро-

шенная за голым парком на горе. В барском доме ничего не осталось — одни выбитые окна зияли между облупившимися колоннами. Флигель же, где жил управляющий, был цел. Его нетрудно разобрать и перенести на пепелище.

Но мужички все еще чего-то боялись. В селе не было никакой власти, — гетманскую изгнали, петлюровская кое-как держалась только в городах, красная еще не пришла. Без власти, может быть, с непривычки, было все-таки страшно-вато: как бы кто потом не спросил. Решили избрать старосту. Но в старосты никто не захотел идти, — богатые и умные только махали рукой, уходили за калитку: «Да что вы, да зачем мне это надо...» Поставить на эту должность бобыля какого-нибудь, которому терять нечего, — не хотелось. С советской стороны шел слух про этих бобылей, что из смирных становятся они ой какие бойкие.

Подходящего человека нашли бабы, — одна надоумила другую, и защебетали по всему селу, что старостой сам бог велел выбирать деда Афанасия. Этот дед жил на покое при двух своих снохах (сыновей его убили в гражданскую войну), в поле не работал, смотрел за птицей да вокруг дома и покрикивал на снох. Старик был мелочный, придирчивый. В незапамятные времена служил при генерале Скобелеве.

Дед Афанасий сразу согласился быть старостой: «Спасибо, почтили меня, но уж не отступайтесь — слушать себя заставляю». С седой бородой, расчесанной по-скобелевски на две стороны, в подпоясанном низко кожухе, с высокой ореховой палкой ходил он по селу и высматривал — к чему бы придраться.

Алексей, встречая его, каждый раз снимал шапку и почитительно кланялся. Дед Афанасий, навалив на глаза страшные брови, спрашивал:

— Ну, что тебе?

— Ничего, спасибо, Афанасий Афанасьевич, все на том же месте горюю.

— С мужиками все не можешь поладить?

— Одна надежда на вас, Афанасий Афанасьевич... Зашли бы когда-нибудь.

— Не много ли тебе чести будет, а? Алексей все же заманил Афанасия Афанасьевича: послал Матрену к его снохам — купить гуся пожирнее да сказать, что завтра, мол, справляем именины, звать, никого не зовем, — тесно, а добрым людям рады. Дед Афанасий был к тому же любопытен. Едва зимние сумерки заволокли село, он пришел на именины в жарко натопленную хату, с половичком от порога до богато накрытого стола. Повсюду жгли лучину или салыные фитили в консервных жестянках, — здесь над столом горела керосиновая лампа.

Дед Афанасий вошел суров, как и подобает власти, и, снимая шапку, увидел красавицу Матрену — с поджатыми губами, с черными недобрыми глазами и — эту, другую, про которую в селе ходили всякие разговоры, именинницу, тоже красивую женщину. Обе, и Матрена, и Катя, были одеты в городские платья, одна — в красное, другая — в черное. Дед Афанасий размотал шарф, стащил кожух и быстро сбил бороду на обе стороны:

— Ну, — сказал польщенно, — приятному обществу мое почтение.

Вчетвером сели за стол. Алексей изпод лавки достал бутылку николаевской водки. Начался приятный разговор.

— Афанасий Афанасьевич, именинница наша, будьте знакомы, — моя невеста, любите и жалуйте.

— Вот как? Будем, будем жаловать, женщины ласку любят. А из каких она?

Алексей ответил:

— Офицерская вдова. У ее покойного мужа служил я вестовым...

— Вот как!..—Дед все удивлялся, — было чего потом рассказать бабам. Ему и самому захотелось хвастнуть.—Когда я георгия получил под Плевной, генерал Скобелев меня определил при себе, — тоже вестовым... Под ядра, пули посылали... Скажет, бывало: скачи, Афонька... Ах, любил меня!.. Значит, невеста ваша благородного звания. Трудновато ей будет на деревенской работе...

— Деревенская работа не по ней, Афанасий Афанасьевич. Слава богу,

достатка у нас найдется на рабочие руки...

— Само собой... Ну что ж, выпьем за здоровье невесты, горьким за сладкое. — Выпив, дед кричал, шибко ладонью ерошил желтоватые усы. — Вот, мои снохи пятипудовые мешки таскают. А в первое время, как мужьев угнали на войну, пришлось дурам взяться за мужицкую работу: «Ой, спинушку развалило, — стонут, — ой, рученьки, ноженьки!» Умора! — Дед вдруг засмеялся глупым смехом. — А я с бабами лажу... Меня генерал Скобелев так и прозвал: Афонька — бабий король...

Матрена порывисто встала, скрывая смех, пошла за занавеску к печи — доставать жареного гуся. Катя, не поднимая глаз, сидела — тихая, скромная. Алексей, наливая, сказал душевно:

— Не то нам горько и обидно, Афанасий Афанасьевич. Я бы хоть завтра свадьбу сыграл, да разве могу я устроить молодую жену в такой конуре? Она с Матреной на коечке теснится, я на голом полу сплю... Обидно — сельский мир к нам, как к чужим... Чего они уперлись? Этот флигель без толку стоит на отшибе. Случаем только его ведь и не сожгли. Кому он нужен? Ждут, что князь сюда опять вернется да их поблагодарит?

— Есть такое соображение, — сказал дед Афанасий, разламывая гусячью ногу.

— Чорт сюда скорее вернется, чем помещик... Ну, ладно... Этот флигель я покупаю у общества, я за все отвечаю... (Матрена зыркнула глазами на Алексея, он стукнул по столу.) Покупаю! Я — человек нетерпеливый... Эх, да что там... Ради такой встречи, — Матрена, достань у меня под подушкой в тряпнице одна вещь завернута. (Матрена, сдвинув брови, затрясла головой.) Подай, подай, не жалея. Жальчею жизни ничего нет.

Матрена подала. Алексей развернул тряпочку, вынул вороненные часы с боем и со стальной цепочкой. Потряс их, приложил к уху:

— Случаем достались, как будто знал — для кого доставал. Носите их на здоровье, Афанасий Афанасьевич.

— Что же ты мне взятку даешь? — сурово спросил дед Афанасий, и все-таки рука у него задрожала, когда Алексей положил ему часы на ладонь.

— Не обижайте нас, Афанасий Афанасьевич, дарим от сердца... У меня десятка два этой чепухи, Матрена все на спирт выменивала. А эти, — в них то дорого, что с боем. Чем вам под утро слушать петухов, пружинку эту нажали, — они бьют; валенки надевайте, идите смотреть скотину...

— Ах, — сказал дед Афанасий и разинул рот с редкими зубами, — ах, бабенок моих будить!.. Теперь они у меня не проспят, толстомясые.

8

Дед замотал шарфом жилистую шею, пошатываясь, надел кожух и ушел. Матрена, подвернув огонь в лампе, вместе с Катей убирала за занавеской посуду. Алексей сидел у стола.

— Николаевская это, что ли, крепка, или не пил я давно, — проговорил он глухим голосом. — Матрена, пошла бы скотину взглянуть.

Она не ответила, будто не слышала. Немного спустя взглянула на Катю, усмехнулась.

— Не пойму, не разберу... То ли вы гнушаетесь нами, — опять сказал Алексей. — То ли совсем блаженная...

Матрена огненным взором приказала Кате не отвечать, — щеки ее пылали.

— Да хоть заплачьте, что ли... В первый раз таких вижу, ей-богу. Ее аттестуешь, — хоть поперхнулась бы... Сидит, опустила глаза... Ни рыба, ни мясо, русалка, честное слово... Матрена! — позвал он. — А этого она не понимает, что малые дети на нее пальцами показывают: Алексей на возу привез, в карты ее у Махно выиграл... Это ей ничего... А мне чего! — бешено крикнул он. — Пускай теперь знают — моя невеста!

Катя побледнела, с полотенцем и тарелкой пошла было за занавеску, — Матрена сильно дернула ее за плечо.

— Мы знаем теперь — с какого конца за жизнь хвататься... Я первого че-

ловека убил в четырнадцатом году. — Алексей коротко засмеялся. — Сижу, немец ползет, нос поднял, я — щелк, он и свалился набок. А я жду — вылетит у него душа, али нет? Я много людей убил, ни у одного души не видел... Ну и довольно, спасибо за науку... На угольках дом будем ставить, — первый — деревянный, второй — каменный, третий — под золотой крышей... Напрасно, напрасно, Екатерина Дмитриевна, ведете со мной такую политику. Я вас силой не удерживаю, — не мил, поган, идите на четыре стороны. Невеста! От нынешнего моего жениховства удовольствия ждать не приходится...

Матрена скользнула губами по катиной щеке и в самое ухо: «Дурак, пьяный, не слушай его...» Катя повесила на протянутую веревочку полотенце и вышла за занавеску. Алексей сидел у стола боком, — нога на ногу, — свесив набухшую кровью большую руку, и провалившимися глазами глядел на Катю. Она села на табурет, напротив него. Взгляд Алексея был не пьяный, пристальный, — она опустила глаза.

— Алексей Иванович, нам давно нужно поговорить... Алексей Иванович, я вас считаю хорошим, благородным человеком. За все время нашей походной жизни я видела от вас только настоящую доброту, мужскую, суровую... Я к вам привязалась... Что вы объявили сегодня, — чему же удивляться, я этого давно ждала... Алексей Иванович, здесь, по приезде, что-то случилось... Вы здесь — другой человек...

Алексей захрипел, прочищая горло, потом спросил:

— То-есть как — другой? Тридцать лет был одним, теперь стал другой?

— Алексей Иванович, моя жизнь была, как сон без пробуждения... Ну, вот... я была — бесполезное домашнее животное... Ах, меня любили, — ну и что ж! — немножко отвращения, немножко отчаяния... Когда нас окружила война, — это было пробуждение: смерть, разрушения, страдания, беженцы, голод... Бесполезным домашним животным оставалось, поскулив, умереть... Так бы и случилось, — меня спас

Вадим... Он говорил, и я верила, что наша любовь — это весь смысл жизни... А он искал только мщения, уничтожения... Но ведь он был добр? Не понимаю... Он погиб, и, может быть, для него это хорошо... Для него это хорошо... (Она подняла голову, глядя на привернутый огонек жестяной лампы над столом.) Тогда меня подобрали вы, Алексей Иванович.

— Подобрал! — Он усмехнулся, не спуская с нее глаз. — Кошка вы, что ли...

— Была, Алексей Иванович... А теперь не хочу... Была ни доброй, ни злой, ни русской, ни иностранкой... Русалкой... — Уголки ее губ лукаво приподнялись, Алексей нахмурился. — Сколько меня ни старались посадить за стекло, как парикмахерскую куклу, оказалось, что я просто — русская баба... И с этим не расстанусь теперь... С вами я увидела много тяжелого, много страшного... Выдержала, не пискнула... Я помню один вечер в степи... Распрягли телеги, подъезжали всадники... Около кипящего котла собрались большие, разгоряченные, шумные люди... Завоеватели...

— Это бандиты-то?

— Алексей Иванович, я научилась распознавать партизан от бандитов... Это был отряд Мослокова...

— Помнит! Матрена, смотри. Был такой отряд Мослокова...

— Их все больше собиралось в круг у кипящего котла... Каждый, не слушая другого, рассказывал о славных ударах, как он нагнал и срубил голову, и налетел еще и сшибся... Наверно, они много хвастали... Но это было лучше всякой правды...

— Матрена, это она вот что вспоминает, — бой под Верхними хуторами... Лихое было дело...

— Я помню, как вы соскочили с тачанки. К вам страшно было подойти... Горячая земля звенела кузнечиками, горел закат, билось сердце таким восторженным ощущением... Вот, это было... Когда мы ехали сюда, думала: переждо мной жизнь, бошая, раскрытая... Не на маленьком кусочке земли, — тут только поросята, куры, огород и даль-

ше — глухой забор, и — серые деньки без просвета... (Катя наморщила лоб, — ее бедный ум только хотел выразить это большое, ошутимое, доброе, что ей почудилось в степях, но выразить не мог.) Когда мы приехали, — точно вернулись с праздника... Сегодня вы огласили меня невестой, огласили обдуманно, во-время... Вот, все и кончилось. Дальше — ну что? Рожать... Вы постройте дом, скоро будете зажиточным, а там и богатым... Все это я знала, все это осталось по ту сторону... Было в Петербурге, было в Москве, было в Париже, теперь начинается сызнова в селе Владимирском...

Такая тоска была в ее руках, упавших на колени, в ее склоненной голове с чистым пробором в темнорусых, как пепел, теплых волосах, — Алексей с силой зажмурился... Улетала, не давалась ему в руки эта жар-птица...

— Глупая вы очень, Екатерина Дмитриевна, — сказал он тихо. — Такая у вас путаница... Вроде брата Семена, что ли, хотите в кровях умываться?... Удивили вы меня этим разговором... Нет, все равно, не отпущу я вас...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Иван Ильич и Даша приехали в полк и поселились на хуторе в низенькой мазаной хате. Приемная Телегина, с телефонами, денежным ящиком и знаменем в чехле, находилась рядом, через сени. А здесь было только дашино царство: теплая печь, в которой не варили, но где Даша мылась, как ее научили казачки, — залезая внутрь на расстеленную солому; кровать с двумя жесткими подушками и тощим одеяльцем (Иван Ильич покрывался шинелью); накрытый чистым полотном стол, где ели; зеркальце на стене; веник у порога, и в углублении штукатуренной печи — в печурке — стояли фарфоровые кошечка и собачка.

Два года тому назад Даша и Иван Ильич так же поселились вдвоем, влюбленные и шальные. Даша никогда не забывала того первого вечера на их моло-

дой квартире, с окнами, раскрытыми на влажный Каменноостровский: ей было по-девичьему ясно и покойно, Иван Ильич сидел в сумерках у окошка, она видела, что он смущен почти до страдания, и она первая решила переступить через смущение, — зная, что сейчас доставит ему огромную радость, она сказала: «Идем, Иван». Они вошли в спальню, где на полу в банке стояла огромная охапка мимоз — сладко пахнущих пушистых шариков. Даша отворила зеркальную дверцу шкафа, за ее прикрытием разделась, босиком перебежала комнату, залезла под одеяло и спросила скороговоркой: «Иван, ты любишь меня?»

Даша была несведущая в любовных делах, хотя они занимали ее больше, чем было нужно. То, что произошло в тот вечер между ней и Иваном Ильичом, — разочаровало Дашу. Это оказалось не тем, ради чего было написано столько поэм, романов и музыки, — этой заклинательной силы, вызывающей восторг и слезы, когда, бывало, Даша одна в пустой катинной квартире сидела за черным «стенвеем» и вдруг, оборвав, вставала, сунув пальцы в пальцы, и если бы все тело ее не было в эти минуты холодноватым и прозрачным, как стекло, то, что клубилось и кипело в ней, наверно бы, задушило ее.

Даша вскоре тогда забеременела. Она очень любила Ивана Ильича, но стала гнать его от себя. Потом начались страшные месяцы, — голод и тьма петроградской осени, дикий случай на Лебяжьей канавке, окончившийся преждевременными родами, смерть ребенка, и одно желание — не жить. Потом — разлука.

Теперь все началось заново. Их чувство было сложнее и глубже былой невесомой влюбленности, в которой все казалось загадками и ребусами, как в пестро раскрашенном волшебном ящичке с неизвестными подарками. Оба они много пережили и ничего еще не успели передать друг другу. Теперь любовь их, — в особенности для Даши, — была полна и ощутима так же, как воздух ранней зимы, когда отошли ноябрьские бури и в легкой морозной тишине

первый снег пахнет разрезанным арбузом и печными дымами, прозрачно улетающими в высь. Иван Ильич все знал, все умел, на все мог найти ответ, разрешить любое сомнение. И раскрашенный волшебный ящичек снова выплыл перед Дашей, но в нем уже не своевольные, самодовлеющие ощущения, не ребусы и загадки, — в нем были подарки, радости и горести суровой жизни.

Одно ей не совсем было понятно в Иване Ильиче и стало даже огорчать Дашу, — его сдержанность. Каждый вечер, ложась спать, Иван Ильич делался особенно озабоченным, — переставал глядеть на Дашу, снимая сапоги, кряхтел на лавке, иногда, уже разувшись, говорил: «Дашенька, родная, спи, милая» — и уходил босиком через холодные сени в канцелярию; возвращался на цыпочках и осторожно, чтобы не заскрипела кровать, ложился с краю и сразу засыпал, накрывшись с головой шинелью.

А днем он был весел, жизнерадостен, румян, — убегал и прибегал, целовал Дашу в щеки, в ее русую теплую, милую голову.

— Еще раз здравствуй, мать командирша... Ну что — налаживается у тебя?

Об этом он спрашивал тридцать раз на день. Даше было предложено комиссаром Иваном Горой наладить местными силами полковой театр. С перепугу Даша отказалась было: «Господи, так я же ничего не понимаю...» Иван Гора похлопал ее по руке:

— Справитесь, голубка, научитесь на ошибках, — и не такие дела вытягивали. Лишь бы нам от этой обыденщины отойти. Валяйте что-нибудь революционное, задушевное, чтобы у бойцов глаза щипало.

Комиссар очень заторопил с театром. Качалинский полк, пополненный и переобмундированный из скудных запасов царцынского интендантства, готовился вскорости выступить на фронт. Несмотря на утомительные строевые занятия, на два часа ежедневного политпросвещения, бойцы, отъездившие на хуторах, начинали баловаться от избытка сил. Был созван митинг.

Сергей Сергеевич Сапожков выступил на нем, после стольких лет молчания дождавшись случая раскрыть рот, чтобы выбросить в мир кучу идей, распиравших его. Он сказал о революционной ломке театра, об уничтожении всяких границ между сценой и зрителем, о будущем театре под открытым небом, или — в гигантских цирках на пятьдесят тысяч зрителей, где будут участвовать целые полки, стрелять пушки, подниматься воздушные шары, низвергаться настоящие водопады, и героическими персонажами будут уже не отдельные актеры, но массы.

— Где вы, грядущие драматурги? — размахнув руками, будто силясь взмыть под стропила сарая, спрашивал Сапожков у красноармейцев, весело слушавших его, хотя и туманны были многие его слова и чересчур быстро он низал их одно к другому. — Где вы, драматурги нашей непомерной эпохи? Новые Шекспиры? Софоклы, сошедшие с мраморных pedestалов, чтобы разделить с нами пир искусства, пир творчества? Разве был когда-нибудь так раскрыт перед вами человек? Разве история выбрасывала когда-нибудь столь роскошные груды идей?

Само собой, Даша после такого выступления совсем оробела. Но отступить было некуда. Она поехала вместе с Сапожковым в Царицын за книжками, холстом, красками. Кое-что удалось достать. Сергей Сергеевич надавал ей много полезных, а еще более сумасшедших советов. Решено было безо всякой предварительной волокиты подобрать актеров и сразу начинать репетировать «Разбойников» Шиллера.

Телегин был в восторге не столько от предстоящей постановки «Разбойников», сколько от того, что Даша, наконец, нашла работу, увлечена ею, бегаёт, суетится, разговаривает с красноармейцами, сердится, иной раз плачет от досады, и теперь уже не вернется (как ему в простоте душевной казалось) к напряженной сосредоточенности на одних своих переживаниях.

Приказом по полку в драматическую труппу были отчислены Агриппина, Анисья, Латугин, — ходивший к ко-

миссару, чтобы его не обошли в этом деле, — Кузьма Кузьмич, Байков и еще несколько красноармейцев, гармонистов, балалаечников и певцов.

Вечером в сарае при свете огарка Даша прочла пьесу. В скудном освещении лица актеров едва проступали сквозь пар от дыхания. В щели ворот поднявшийся ветерок наносил снег. Даша читала ясным, чистеньким голосом, стараясь по памяти подражать тому, как читал когда-то Бессонов: одна рука за лацканом черного сюртука, отрешенный от жизни голос, и слова, как кусочки льда, и жадно глотающие их, тяжело дышащие литературные дамы — вокруг на креслицах...

Уже с середины чтения Даша поняла, что пьеса не нравится, хотя в ней были сделаны большие вымарки. Под конец Даша совсем заторопилась. Окончив, сказала после тягостного молчания:

— Ну вот, это — «Разбойники» Шиллера, которых мы должны играть...

Мужчины закурили, один из них — Латугин, — негромко:

— Умственная штучка, заучить — это тебе не полевой устав.

Тогда Кузьма Кузьмич, достав из кармана свежий огарок, зажег его, сел рядом с Дашей:

— Товарищи, Дарья Дмитриевна ознакомила нас с произведением, теперь я его прочту.

И он, взяв у нее книгу, начал громко читать, изображая голосом и всем лицом то отцовскую скорбь старика графа Моора, то шипел с присвистом, и нос его приплющивался, и глаза лезли наискось: «...Я был бы жалким ротозеем, когда бы не смог исторгнуть любимчика сына из родительского сердца, хотя бы он был прикован к нему железными цепями... О совесть! Отличное пугало для воробьев... Плыви, кто может плыть, а кто тяжел, — тони...»

И слушатели воочию видели ползучего гада Франца Моора. Но вот голос Кузьмы Кузьмича крепнул, рукой он ерошил волосы, сбивая их над лысиной, страшно вытягивались губы у него, блестя глаза благороднейшим гневом: «О люди! люди! Лживые, коварные отро-

дья крокодилов! На устах — поцелуй, в руке — кинжал, чтобы вонзить в сердце... Ад и тысячу дьяволов! Пылай огнем, терпенье благородного мужа, превращайся в тигра, кроткая овца...»

Анисья Назарова тихо ахала; Латугин весь подался к свече, озаряющей волшебную книгу, по строчкам которой ползал ноготь Кузьмы Кузьмича. Сам Карл Моор гремел в темном сарае, — взбунтовавшийся человек, понятный взволнованным слушателям. Да еще какие находил слова, чтобы рассказать о своих обидах, вот это — пьеса, бьет под самый корень!

Когда догорел огарок и Кузьма Кузьмич мрачно проговорил последние слова Карла, вспомнившего, идя на страшную казнь, о бедняке поденщике, — Анисья и Агрипина стали вытирать глаза руками шинелей. «Правдивая вещичка» — проговорил Латугин. И все сошлись на том, что Карл зря, сгоряча, неправильно убил возлюбленную Амалию, ее надо было взять в шайку, перековать. В этом месте Шиллера придется поправить, иначе из-за такой мелочи хорошая пьеса не понравится красноармейцам, и могут быть даже вредные последствия среди бойцов. Амалию, тут же у стола, решили не закальвать, а Карл ей говорит: «Иди домой, несчастная», — заплакав горько, она уходит.

Анисье поручили играть Амалию. Карла — взялся Латугин. Подлеца и гада Франца хотели дать Байкову, — побоялись: не удержится, станет смешить публику, красноармейцы, как увидят его бороду, — так и грохнут. Решили: Франца играть Кузьме Кузьмичу, а чтобы он казался помоложе — обвязать его наголо обрывать. Старика графа Максимилиана фон-Моора отдали красноармейцу Ванину, с густым голосом. Остальные роли расхватали Агрипина и молодые бойцы. Кто-то принес паклю и керосину, в сарае стало светло от дымно горящего факела. Не расхозясь, начали репетировать.

Даша вернулась домой только под утро и еще долго рассказывала Ивану Ильичу, — он — босиком, в накинутой ши-

нели, сидя на кровати, хохотал до слез...

— Латугин Карла Моора играет.. (И он прыскал и хрюкал, держась за живот.) Ой, не могу... Да знаешь ли ты — зачем он Карла Моора взялся играть, прохвоститище? Он за Анисьей ухаживает... А ему Шарыгин обещался печенку вырвать... А Кузьма Кузьмич? Франца... Этот может... В чем же они — не в гимнастерках же будут ломаться? Я пошлю завхоза, на хуторе одном какой-то присяжный поверенный из Петрограда застрелял с чемаданами... Разживемся шуртуками и фраками...

— Ты так хрюкаешь, что просто нет охоты ничего тебе рассказывать. Пусти меня. — Даша залезла в кровать и улеглась к самой стене, спиной к мужу. Когда он осторожно подоткнул ей одеяло и прикрыл ноги шинелью, так как печь уже остыла и в хате было свежее, Даша проговорила, засыпая:

— Все будет хорошо.

В полку теперь только и говорили, что о театре. Сапожков прочел лекцию о немецкой литературе времен «Бури и натиска», где сравнивал бурных гениев — Шиллера, Гете, Клингера — с молодыми орлятами, разбуженными приближающимися зарницами Великой французской революции. Сапожкову пришлось столько вопросов, что пришлось объявить ряд лекций по истории конца восемнадцатого века. Он все ночи просиживал при свете коптилки, строча карандашом и бешено выжимая свою память, так как за неимением книг и справочников довольствовался дымом махорки. На лекциях вопросы сыпались, как горный обвал, — красноармейцы хотели всё знать. Упомяни он о чем-либо, — давай подробно. Дернуло его обмолвиться о декабристах, — давай их сюда, рассказывай.

Его слушали по многу часов, перемогая усталость, — иные задремывали и опять встряхивались. Увлекательна была повесть о давно прошедшем времени, о чужой стране, где вот так же люди, возвед на пику красный колпак, пошли напролом одни против всего мира. Голодные и разутые, выдумали новую военную тактику, чтобы победить. И,

победив, были скручены по рукам и ногам теми, кому не догадались во-время отрубить головы.

— О, Максимилиан Робеспьер, Максимилиан Робеспьер! — восклицал Сапжков одним хрипом сорванного голоса. — Ты мог победить, ты мог спасти революцию! Твой роковой день, когда ты сорвал черные знамя Коммуны с парижской ратуши...

Уже пели петухи по дворам, приходил комиссар Иван Гора и гудел:

— Товарищи, через три часа побудка.

2

Суфлируя, Даша прерывала:

— Стоп! Товарищ Ванин, вы изображаете какого-то покойника. Не нужно нарочно кашлять, откуда у вас этот отвратительный натурализм? Горячее, вкладывайте больше души... Все сначала.

Даше попался среди привезенных из Царицына книг театральные журнал со статьей Кугеля: «За неимением гербовой — пишут на простой», наполненный руганью по адресу Художественного театра. Автор вспоминал великих русских трагиков, потрясавших умы и сердца звероподобной гениальностью. Тогда театр был языческим храмом, занавес казался таинственным покрывалом Тانيتы¹. Увы, порода гигантов-трагиков вымерла, последний из них, Мамонт Дальский, променял свои котурны² на колоду карт. Великих потрясателей душ заменил режиссер, ученый господин, предложивший почтеннейшей публике вместо распятой перед зрительным залом человеческой души — настроение, колышущиеся занавески, двери с настоящими косяками и жужжание комаров... «Нет, — восклицал автор, — истинный театр — это косматое чудовище страстей!» Из статьи Даша почерпнула также кое-какие практические сведения, помогавшие ей репетировать.

¹ Танига — богиня луны у древних пуннов.

² Котурны — башмаки на подставках, для увеличения роста, — у древнегреческих трагических актеров.

Латугин и Анисья сидели в стороне, дожидаясь выхода. За эти несколько дней у нее истаяло и осунулось лицо, — еще бы — не легко было влезать в чужую жизнь. Анисья потеряла аппетит, еда стала ей противна. Думала, думала, как ей поверить в Амалию? — и нашла лазейку, увидав в книге изображение этой барышни в широком платье (Амалия грустила, подперев рукой щечку); Анисья долго, со вздохами рассматривала картинку, прикинула: вот тогда, в моем-то горе, куда горчайшем, брела я, спотыкаясь, от села к селу, не видя света от слез, протягивала руку за куском черствого хлеба... Нет, картинка — неправильная. Ей бы, Амалии, — пускай в шелках, бархатах, — анисьино горе — вот как бы заломила руки в коротеньких рукавчиках с кружевами, вот как бы завела глаза!

Так, понемногу, Амалия фон-Эдельрейх, возлюбленная Карла Моора, стала Анисьей. Вчера на репетиции все даже приумолкли, когда она, сняв высокую шапку с нашитой звездой из кумача и коснувшись рукой рассыпавшихся русских волос, села на табурет и заговорила, будто беря рукой за сердце:

«О, ради бога! Ради всех милосердий! Мне уже не нужно любви... Одной смерти прошу я... Покинута, покинута! Понимаешь ли ты ужасные звуки этого слова: покинута...»

Сегодня утром на строевых занятиях отделенный за полнейшую невнимательность Анисьи вкатил ей наряд вне очереди; пришлось вмешаться комиссару, и ограничились строгим выговором. Сейчас она тихо сидела рядом с Латугиным, — в больших синих глазах ее бродила мечта, губы ее, то улыбаясь, то вздрагивая, беззвучно произносили слова.

— Была у нас Саша, девчоночка, с ясенюшками глазами, — вполголоса говорил ей Латугин, — мне четырнадцать в ту пору, ей — семнадцать. Походка у нее, что ли, была особенная? Идут девушки с поля, и она с ними, — полущалочка, кофтенка канареечная, идет с граблями, будто вот сейчас к тебе прильнет... Пропили за хрыча, поникла

моя Саша... А ты спрашиваешь, отчего наш брат мечется? (Он говорил, у Анисьи чуть розовели щеки, будто ее ласкали.) Небывалой жизни ищем, небывалой, непробованной, дорогая моя Анисья. Об одной все думаем, о такой, какую и во сне не увидеть...

— Таких не бывает.

— Тебе знать! В Тихом океане, на коралловом острове такие-то живут.

Анисья посмотрела на его бычье лицо с широко расставленными глазами, и опять в ней что-то дрогнуло, и горячая влажная нежность прошла по ее телу. Но теперь не томление покорное, бабье, — нет, этого уже больше нет, спасибо за то времечко! — теперь ей стало весело, — усмехнулась:

— А ты там бывал?

— Что ж из того... В лоции об этом написано.

— В какой такой лоции?

— В морской книге о разных чудях.

— Несешь ты, Латугин, горе тебя слушать.

— А ты слушай, а я буду врать. А вот тебе правда: задумал я, Анисья, с тобой нехорошо сделать, да была у меня разговор с одним человеком. Сунули меня, как коту мордой, в это самое... Ладно... Человек — царь природы. Спасибо за науку...

Анисья опять, но уже с удивлением, взглянула на него: Латугин так повысил голос, что Даша постучала карандашом: «Товарищи, мешаєте репетировать».

— Под Керженцем у нас скопцы живут, — шопотом продолжал он. — Холостят себя через то, что не могут с собой справиться. Один рассказывал: «Снится мне Жар-птица, снится, — раскрою глаза — серая тоска...» И злодействуют, и жен лупят до полусмерти... Идет он к своему коновалу, белому голубю: «Спаси мою душу», и тот его гасит, как свечу... «Живи, мерин, благополучно, господь с тобой...» Нет, Анисья, кровью умоемся, в трех щелочках вываримся, — поймает ясную птицу, хоть она на край жизни улетит...

Даша стучала карандашом:

— Товарищи, Карл, Амалия, последняя сцена, делайте перестановку...

3

Когда утренняя малиновая, морозная заря проступила за дымами хутора, — около хаты, где помещался штаб полка, соскочил конник, бросил заиндевевшую лошадь и бешено начал стучать в дверь. Иван Ильич сам отворил ему, — конник передал пакет. В тот же день были мобилизованы подводы на ближних хуторах, и полк выступил в поход.

Начиналось окружение Царицына Донской армией, третье с августа месяца. На этот раз генерал Мамонтов брал Царицын в клещи, с флангов. Верстах в пятидесяти севернее города три конных полка генерала Татаркина внезапным ударом прорвали фронт и выскочили к Волге около поселка Дубовка.

На день позже, на юге под Сарептой стала наступать конница генерала Постовского. Сарепту прикрывали части Стальной дивизии Дмитрия Шелеста. Самого Шелеста уже не было: он разругался с Военсоветом, запретившим ему самоснабжение и своеволие, и, опасаясь ареста, кинулся в Москву — жаловаться председателю Реввоенсовета Республики. В Стальной дивизии шло брожение, — одни говорили, что батька Шелест вернется командармом, другие, что батька арестован и «треба всей громадой» итти на Царицын — выручать его, но больше верили слухам, что батька бежал в Астрахань и там собирает вольницу. Тысячи полторы конников, снявшись с фронта, переправились через Волгу и ушли левым берегом на Астрахань. Стальная дивизия была растрепана, генерал Постовский занял Сарепту и навис с юга над Царицыном.

В предвидении этих фланговых ударов военсовет Десятой еще за неделю до того стал сосредоточивать ударную группу из двух кавалерийских бригад: Доно-Ставропольской и бригады Семена Буденного. Но они не успели соединиться, — произошел прорыв, и всю силу удара приняли на себя доно-ставропольцы. На помощь к ним день и ночь гнал коней Буденный.

К месту сосредоточивания ударной группы были брошены качалинцы. Весь

остаток дня и с коротким привалом всю следующую ночь полк двигался в направлении на мутное зарево в морозной мгле. Оно сбивало свет зари; солнце поднялось правее его, лишь ненадолго показавшись между раскалившимися, как медь, слоистыми тучами.

Телегин, Иван Гора и Сапожков ехали верхами, позади них по снежной степи во много рядов растянулись телеги с красноармейцами, пушки и обозы. Вдалеке маячили конные разведчики. Оба командира и комиссар с удивлением слушали сердитые вздохи артиллерийской стрельбы, доносившиеся не так уже издали. Они пустили коней рысью, опередив полк—съехались, остановились и, вынув из планшета карту, стали рассматривать ее. Место, куда приказано было прибыть полку, находилось еще далеко, но слышимость оружейной стрельбы указывала, что фронт придвинулся. Связи у них с ним, не было ни по проволоке, ни по конной цепочке. Такая неясность могла быстро повернуться гибелью.

— Степь проклятая, ползем, как жуки по скатерти, — сказал Иван Гора, — хорошо, если казачишки нас еще не выследили.

— Ну, как не выследили, — сказал Телегин, — у них своя почта, от самых хуторов за нами следят.

Сапожков, нахлобучив папаху по самым брови, ускакал к разведчикам.

Подходили передние воза на тяжело дышавших, косматых от пота лошадях. Иван Ильич приказал соскочившим красноармейцам бежать — махать и кричать отставшим, чтобы подтягивались и держались плотнее. Пробираясь между телегами, он увидел Кузьму Кузьмича, обвязанного по ушам тряпичей, — он правил лошадей; на куче декораций сидела Даша, в башлыке, в нагольном белом кожухе, лицо ее было, как у маленькой, ярко румяное и заспанное. Щурясь от снежного света, она что-то закричала ему, но за скрипом телег, шумным говором он ничего не расслышал. Потом увидел Агришину, сидевшую с тремя красноармейцами, — она тоже что-то начала кричать, указывая vareжкой на небо.

Чего ей там понадобилось? — Иван Ильич запрокинулся в седле. Ясно виднелся самолет—черной птичкой пониже слоистого облака, под которым расходились мгlistые солнечные лучи.

Теперь его увидели все. Иван Ильич, ударив лошадь, врезался между возами: «Рассыпайся!» Огромный Иван Гора, привстав на стременах, заорал басом: «Огонь по самолету!» Мимо Ивана Ильича промчался телега, — Даша со страшными глазами и Кузьма Кузьмич, хлещущий лошадь концами вожжей. Началась беспорядочная стрельба. Свирепо ревуший самолет с отогнутыми крыльями стал уходить за облака, из брюха его посыпались яйца, со свистом понеслись вниз и взорвались на чистом снегу черными кустами.

Многие красноармейцы видели такую страсть в первый раз, — иные телеги ускакали далеко в степь. Протяжно заиграла труба, собирая рассыпавшийся строй. И долго еще молодые ребята опасно поглядывали на облака.

Теперь надо было ждать и самих казачков. Телеги шли ось к оси, тесными рядами. С пушек, ползущих внутри вытянутого четырехугольника, были сняты чехлы. Но казаки так и не появились, лишь однажды далеко на буграх показалось несколько всадников, повертелись и скрылись.

На закате дня впереди залиловели очертания селенья. Оттуда рысцой возвращался Сапожков с двумя разведчиками. Возбужденный и веселый, подъехал к Телегину и Ивану Горе, снял папаху, взъерошил мокрые волосы:

— Все в порядке, на хуторе никого, кроме баб и ребят. Дальше, верстах в пяти, станица, там — казаки...

— Казаки, казаки, утешили тоже, казаки! — сердито перебил Иван Гора. — А где наши?

— Не знаю же, тебе говорят... Наши от станицы отошли, а на хуторе их и не было...

— Хутор надо занимать, — сказал Иван Ильич, — покуда не свяжусь с фронтом — ни шагу дальше хутора не двинусь.

В сумерках заняли хутор, раскинувшийся по берегу запруженного оврага.

Красноармейцы стучали в ставни, кричали устрашающе: «Хозяева, вылазь!» Заходили в опустевшие, еще теплые, темные хаты. Лишь кое-где за печкой обнаруживали бормочущую со страха бабушку или ветхого деда. Все население убежало в станицу. Телегин приказал окапываться. Оба конца улицы загородили сдвинутыми возами. Сапожкова он еще засветло послал с охотниками в глубокую разведку, чтобы за ночь связаться с фронтом.

Ночь прошла тревожно. Хотя казаки небольшие охотники драться по ночам, все же можно было ждать от них всякой пакости. Иван Ильич и Иван Гора ходили из конца в конец хутора, пробирались по еще зыбкому льду на ту сторону пруда. Небо было непроглядно, орудийная стрельба на северо-востоке затихла. Поднимался ветер, тянувший сыростью, мороз спадал и снег уже не хрустел под ногами.

— В мышеловке, ну чисто в мышеловку попали, — гудел Иван Гора, угрюмо шагая рядом с Телегиным, — не смогли довести полка... Позор! Нас ищут, мы ищем, что за хреновина! Кто виноват, ну — кто?

— Брось ты, никто не виноват.

— С кого первого спросят? — с меня. И правильно. Комиссар в степи с полком потерялся, ах, хреновина!..

Гулко раздался одинокий выстрел. Иван Гора с размаху остановился. Были слышны удары его сердца. И сразу началась ураганная стрельба и так же внезапно затихла. В темноте лишь переговаривались люди, выскочившие споронок из хат.

— Нервничают ребята, — сказал Иван Ильич. — Молодежь необстрелянная. Давай покурим.

Перед рассветом он зашел на минутку в хату, осторожно шагая через ноги спящих, ощупью добрался до печки. Дашина рука в темноте отыскала его и погладила по лицу, он прижал к губам ее теплую ладонь.

— Ты что не спишь?

— Знаешь, я о чем, Иван, — если мы долго простои́м на хуторе, — в конце концов можно сыграть под открытым

небом и даже просто в шинелях, не в этом суть...

— Ну, конечно, Дашенька.

— Так горячо у нас пошло — жалко, если они все растеряют...

— Правильно... Я завтра взгляну, — может быть, сарай какой-нибудь найдется... Спи, деточка...

Он опять вышел на улицу и глубоко вдохнул сырой ветер. После стольких лет тоски по счастью Иван Ильич никак не мог привыкнуть к тому, что оно было в двух шагах, в низенькой хате, на теплой печи, под овчинным тулупчиком...

«Не спит, в тревоге... И ведь ни словечка... Только обрадовалась, лапку протянула... Что за удивительная женщина!..»

То, что она отыскала его в темноте и погладила и прижала ладонь к его губам, так взволновало Ивана Ильича, что и на ветру лицо его пылало... Неужели он, все-таки, ошибается? «Нет, дорогой мой, эти глупости — прочь... Подруга — да, да, да... Верная — да, да, да... И на том будь счастлив...»

Он никогда не мог забыть тех темных вечеров в Петрограде, когда, прибегая с добытым пирожком, с конфеткой какой-нибудь для Дашеньки, он внушал ей только отвращение и ужас... Значит, в нем было такое и никуда оно не девалось. Но, боже мой, до чего он любил эту женщину, до чего желал ее!

Из темноты подошел Иван Гора, глубоко засунувший руки в карманы бекешки.

— А если они Сапожкова у нас перехватят?

— Очень возможно. Я на рассвете высылаю вторую разведку.

— Раньше, гораздо раньше надо было все это делать!.. — Иван Гора вытащил руку из кармана и постукал себя кулаком по лбу. — Не оправдал доверия, коммунист! Выдеремся из этой истории благополучно, — все равно не прощу себе... Я бы такого комиссара повел вон за тот амбарчик: прощай, товарищ!

— Иван Степанович, я в такой же мере виноват, если хочешь...

— Брось, брось. Ну — пойдём, давай, закуривай...

4

Всю эту ночь Сергей Сергеевич Сапожков с пятью разведчиками-охотниками колесил по степи в надежде обнаружить какие-либо признаки фронта. Но степь была глуха и непроглядна. Зажигали спичку и ориентировались по компасу. Некормленные лошади приустиали, а та, на которой был навьючен пулемет, захромала и тянула повод. Сапожков приказал спешиться, разнуздать, отпустить подпруги. Из заседельных мешков достали пшеницы, насыпали в шапки, стали кормить лошадей, поставив их спиной к ветру.

— Товарищ командир, я нашел объяснение, почему мы не могли соприкоснуться с фронтом, — сказал Шарыгин, как всегда вдумчиво подбирая слова. — Фронт сконцентрировался... (Он озяб, губы у него плохо шевелились.) Мы подтянули фланги в район боя, и казаки сконцентрировались... Возможен такой факт?

— О, казаки, казаки, лживые и коварные отродья крокодилов! Ад и тысячу дьяволов! — серьезно проговорил Латугин. Трое молодых красноармейцев (мобилизованные на казачьих хуторах) прыснули со смеху. Шарыгин сейчас же ответил:

— Не всегда шутка к месту, товарищ Латугин. Нахальство надо попридерживать в серьезных делах.

Сапожков тихо:

— Будет, ребята, не ссориться.

Лошади позвякивали удилами, с хрустом жуя пшеницу. За спинами у разведчиков посвистывал ветер в дулах винтовок.

— Жри, не балуй, холера! — прикрикнул Латугин, когда лошадь, выдернув голову из шапки, начала ему кланяться.

Давеча, на хуторе, у колодца, где собрались красноармейцы, Сергей Сергеевич Сапожков крикнул охотников в разведку, и первым подошел к нему Шарыгин: «Я иду с вами», причем не удержался, добавил, волнуясь: «Не подумайте, товарищ командир, я не из лихачества выскакиваю, но, как комсомолец, сознательно, так сказать...»

Латугин, который привел к колодцу артиллерийскую упряжку и смеялся с красноармейцами, услышал это, увидал красное, возбужденное лицо Шарыгина... «Ах, чорт курносый, — подумал, — нет, врешь, не обскачешь...» И, подернув плечами, подошел к Сапожкову:

— Не лишний буду у вас, Сергей Сергеевич? А то — сбегая на батарею, отпрошусь.

Всю дорогу он цеплялся к Шарыгину и смешил красноармейцев. Сейчас его обозвал нахалом, и командир сделал замечание. Так! Латугин высыпал из шапки в горсть остатки зерна, бросил их в рот:

— Языка надо добыть, что ж без толку по степи кружиться... Тогда будем знать — где фронт сконцентрировался...

— Правильно, — подтвердил Шарыгин, — дельное предложение.

— Ну, товарищи, по коням!

Сапожков надел шапку, взнуздая лошадь, кряхтя, подтянул подпруги и вскочил в седло. Перед рассветом стало подмораживать и ночь была уже не так темна. Предутренний зеленоватый свет обозначил мутные края облаков. Ребята, нахлестываясь, трусили рысцой.

— Стой! Вон они! — Латугин, роняя шапку, через голову потащил карабин. — Шестеро... Семеро! — В зеленоватой мути только его морские глаза могли увидеть что-то совсем неразличимое. — Да нет же, чорт, — шипел он съехавшимся разведчикам. — Не туда глядишь, вон они — чуть брезжут...

Пока торопливо развьючивали пулемет, послышался топот лошадей, и обозначились преувеличенные, неясные очертания всадников.

— Снохачи, клади оружие, сдавайся! — диким голосом закричал Латугин. Не по-кавалерийски ударил лошадь дулом карабина и поскакал, — догоняя его, поскакал вслед Шарыгин. «Назад, назад!» — надрылся Сапожков. Приостановившиеся было казаки, — видимо, тоже разведчики, — повернули коней и стали уходить. Латугин с седла выстрелил несколько раз; под одним, скакавшим позади (остальные уже едва были видны),

лошадь кинулась вбок и повалилась. Латугин и Шарыгин завертелись вокруг соскочившего человека. «Давай сюда, товарищи», — звал Латугин, возясь с ним около упавшей лошади. Когда к нему подбежали, он уже сидел верхом на казаке и крутил ему руки. «Небольшой, а какой здоровый дядька...» Казак лежал ничком, щекой в снегу и хрипел, морщинисто зажмурил глаза.

Ему приказали встать, толкали его, перевернули на спину. Казак начал ругаться забористо, сложно, бешено, так, будто нарывался, чтобы его скорее прикончили. Сапожков, победнев, ударил его ножнами шашки: «Встать!» Казак, приподняв голову, дико взглянул на него, встал, пошатываясь. Был он невелик ростом, покатый в плечах, с широкой, как сияние, бородой, забитой снегом.

— Типун тебе на язык, матерщинник, куродав! — закричал на него Сапожков. — Перед тобой командир полка, отвечай на мои вопросы.

Казак потянул за спиной скрученные ремнем руки. Круглыми, желтыми глазами, поворачивая бороду, глядел на стоящих перед ним. Вдруг облизнул губы:

— Я тебя знаю, — сказал он одному из красноармейцев, румяному и смешливому, — ты Куркина родной племянник, не стыдно тебе?

— Тю! И я тебя знаю, Яков Васильевич...

— Яков Васильевич, здравствуй, желанный, — сказал Латугин, и смешливый красноармеец опять прыснул. — Чудо бородатое, мы-то вас всю ночь ищем. Какого полка? В составе какого корпуса?

Сапожков, отстранив его, достал карту и начал допрос. Казак отвечал неохотно, потом, видимо, рассудил, что за разговором можно выгадать время, краснопузые немного поостынут, можно будет выпутаться, и разговорился. Из его слов узнали о прорыве фронта генералом Татаркиным и о том, что дальнейшее развитие успеха приостановлено доно-ставропольцами и что сейчас идет кровопролитный бой под Дубовкой, куда стягиваются и белые, и красные.

Конец ниточки был найден. Решили казака отправить в полк с одним человеком, остальным, не щадя коней, итти на Дубовку — рапортовать командующему о прибытии Качалинского полка. И тут только спохватились — где же Шарыгин?

— Мишка, — позвал Латугин, — заснул с конями?

Брошенная лошадь Латугина стояла, наступив на повод. Из-под брюха другой лошади, повесившей худую шею, виднелись странно подогнутые ноги Шарыгина. Он обхватил седельную подушку, прижался к ней лицом.

— Мишка! — с тревогой Латугин взял его за плечи, потянул к себе. — Братишка, чего дуришь?

Шарыгин откачнулся и тяжело повалился на него. Лицо его было землистое. Шинель от груди до патронташа набухла кровью. Латугин опустил его на снег, заголил белый живот его, прижал ладонью кровоточащую колотую рану:

— Ты его угодил шашкой? Эх, Яков, Яков!.. — Латугин сорвал с себя шинель и гимнастерку, от ворота разодрал рубаху, скрутил ее жгутом и живо и ловко стал перевязывать Шарыгину живот.

— Сергей Сергеевич, надо его на хутор везти.

— Позволь, как же...

— Что — как же!.. Я один его доведу и пленного пригоню.

На мертвенном лице Шарыгина выступил пот, закаленные глаза ожили, к ним возвращалось сознание, и изумленные, и страх: что такое произошло с ним, — молодое, никогда не болевшее, сильное тело его сломалось...

— Товарищи, родные, как же мне теперь?

— Снегу, снегу схвати, дурной. — Латугин щипал снег и клал ему на губы.

Покуда возились с Шарыгиным и перевьючивали пулемет с захромавшей лошади, — стало уже совсем светло, южный ветер гнал низкие, растрепанные облака, сеющие мелким ледяным дождичком. За хлопотами не заметили, как с юга, вместе с клочьями тумана,

надвинулись огромные скопления конницы.

От топота ее загудела степь. На рысях проходили колышашщиеся колонны всадников, упряжки пушек, четверни тачанок. Разведчики глядели на них, держа лошадей в поводу. Уходить было поздно.

Разведчиков заметили, десятка два конников отделилось от головы проходившей колонны и вскачь погнало к ним. Оглянувшись, Сапожков видел, как Латугин, серьезный и побледневший, медленно потянул шашку; смешливый красноармеец, неосмысленно щелкая затвором винтовки, все лицо собрал морщинками, как от боли...

Передний всадник, в заломленной бараньей шапке, в плечистой бурке, покрывающей до репиды небольшую лошадку, что-то закричал и указал на разведчиков. Сапожков выстрелил, и тотчас Латугин, падая на него с седла, схватил за руку:

— Г...но! Не стреляй! Свои!

Они подскакивали. Фланговые, окружая, стлались на конях. Высокий человек в бурке налетел на Сапожкова и так потрянул за грудь, что тот потерял оба стремени...

— Ослеп!.. Что за люди, какой чести?

Черные глаза у него вращались, усы взъерошились, он едва удерживался, чтобы рукоятью шашки не стукнуть оробевшего Сапожкова.

— Мы Качалинского стрелкового полка. Ищем связь с фронтом.

— Плохо же вы ищете связь с фронтом, когда он у вас на носу, — остывая, ответил усатый и с треском бросил шашку в ножны. — Садись, езжай с нами.

— У нас раненый, вот в чем дело-то...

— Ах, боже ж ты мой, весь полк у вас такой бестолковый? Подымай раненого на коня, вот к тому здоровому, — указал он на Латугина. — А это что за герой?

— Языка взяли.

— Давай нам языка. (Сапожков заикнулся было, что языка нужно отослать в полк.) Ах, с вами трудно мне

разговаривать. С вами будет разговаривать начштаба бригады, надо же иметь понятие. — Он поправил плечом бурку и пошел крупной рысью, так, будто лошадь выплясывала под ним, поблескивая копытами, кидая снег. За ним поскакали все, — и Латугин с привалившимся к нему Шарыгиным, и насупившийся от стыда и горя в широкую бороду пленный казак, которому развязали руки.

Кавалеристы несказанно удивились вопросу Сергея Сергеевича: что это за кавалерия, идущая так быстро в походных колоннах, теперь уже смутно виднеющихся сквозь туман и дождь?

— Как, что за кавалерия? То же бригада Семена Михайловича Буденного.

5

— Отдохнули немножко, Дарья Дмитриевна? Что-то личико озабоченное? С утра-то и не покушали? Так, так... А я целое ведро молока надоил. Сбегал бы, честное слово, принес, — красноармейцы все съели. Хлеба мы накрошили и втроем прититюшили. Вот как животы набили...

Кузьму Кузьмича распирало от переизбытка жизни. Даша не могла смотреть на его лицо, обритое наголо, — до того оно было неприличное: маленький суетливый подбородок и рот, такой откровенный и голый, будто сам просился, чтобы его прикрыли... Даша проснулась поздно, ни в хате, ни на дворе никого уже не было. В воздухе пахло оттепелью, хлевами, по камышовым крышам цеплялись клочья тумана. Кузьма Кузьмич увидел ее с соседнего двора, живо перелез через плетень и давай вокруг нее притоптывать, потирая маленькие, посиневшие, грязные руки.

— Во-первых — все хорошо, благополучно, Дарья Дмитриевна... Супруг ваш на том берегу пруда. Вы изволили крепко спать, не слышали, — была перестрелка. Казачишки хотели нас пощупать, мы их так стукнули — они кубарем назад в станицу. Пока-что оккупываемся... Бегал я на батарее, — Карл Моор еще не вернулся из разведки.

Проезжала с бочкой Анисья — на ней лица нет, губы сжаты, нос острый, не пожелала со мной разговаривать. Таков обзор внешних событий. Что касается вас, — берите ведро, налейте в ковшик теплой воды из чугуна, идем доить корову. Ничего нет более успокоительного для души и тела, особенно для мечтательной интеллигентки, как прикосновение к коровьим соскам.

Даша засмеялась. Но он настаивал:

— Шиллер — Шиллером, а на нашем дворе хозяева удрали, бросили скотину не поену, не кормлену, не доену. Это не порядок. Идите за ведром.

— Я же не умею, Кузьма Кузьмич.

— Вот типичный ответ. Ничего вы не умели, Дарья Дмитриевна, иголки держать не умели, мужа из-за неумения едва не потеряли навек. А вот мы надоем молока, я вас научу, как наводить молочные блины, на лучинках — яшницу жарить. Придет Иван Ильич голодный, как зверь. И красавица жена подает ему — сковороду, на ней сало шипит, как бешеное. Он накинется, а вы ему еще — блинчиков. Садитесь напротив и глядите на него со спокойной улыбкой, и она ему кажется загадочной, как у Джиоконды. Вот какие жены у командиров Красной армии!

Кузьма Кузьмич настоял на своем, — уж если попала ему идея какая-нибудь, как шип в голову, лучше было с ним согласиться. В полутемном хлеву Даша, подобрав юбку, присела под коровой, — та ее не боднула и не лягнула. Даша помыла теплой водой вымя и начала тянуть за шершавые соски, как учил Кузьма Кузьмич, присевший сзади. Ей было страшно, что они оторвутся, а он повторял: «Энергичнее, не бойтесь». Широкая корова обернула голову и обдала Дашу шумным вздохом, горячим и добрым дыханием. Тоненькие струйки молока, пахнувшие детством, звенели о ведро. Это был бессловесный, «низенький», «добрый» мир, о котором Даша до этого не имела понятия. Она так и сказала Кузьме Кузьмичу — шопотом. Он — за ее спиной — тоже шопотом:

— Только об этом вы никому не сообщайте, смеяться будут: Дарья Дмит-

риевна в коровнике открыла мир неизвестный! Устали пальцы?

— Ужасно.

— Пустите... (Он присел на ее место.) Вот как надо, вот как надо... Ай, ай, ай, вот она, русская интеллигенция! Искали вечные истины, а нашли корову...

— Слушайте, а вы сами-то...

— Я? — От возмущения он даже бросил доить.

— Сидите под коровой и философствуете.

— Душенька, вы с бывшим попом лучше и не связывайтесь спорить.

Он взял ведро и вместе с Дашей пошел из коровника в хату. Там он стал колоть лучинки.

— Философствование есть праздншатание мыслей. Иоганн Георг Гаман, прозванный северным магом, утверждал: «Наше собственное бытие и существование других предметов вне нас никак доказаны быть не могут и требуют только веры...» А если веры нет, значит и мира нет? И вас, и меня нет? И не лучинка это, а — ничто? На ничто яшницу будем жарить?

Он положил лучинки на шесток, из печи выгреб несколько угольков и стал раздувать их.

— Иное дело — философия жизни, Дарья Дмитриевна. Изучи жизнь, познай ее и овладей... Без вмешательства высокого разума жизнь идет по злым путям. Существование мое есть факт, самый несомненный и лично для меня чрезвычайно важный. И так как я безмерно общителен и любопытен, то хочу все видеть и все понять. И скоро пойму многое из того, что совершается вокруг нас и с нами самими, потому что это — не стихия, но руководится человеческим разумом. Я вот не могу добиться поговорить с нашим комиссаром. А мне бы не с ним, мне бы с человеком в штатском пиджачке, вот с такой головой, посидеть бы часок... Дарья Дмитриевна, сбегайте на двор, там в глубине — амбарчик, я его давеча заприметил и даже замок на двери сломал. Принесите муки — ну горсти две...

Завтрак был готов. Вместо Ивана Ильича, которого Даша ждала с мину-

ты на минуту, в хату ворвался красноармеец с винтовкой и набитым подсумком:

— Командир приказал, запрягай, грузись... Собирай барахло. — Он потянул носом, сдвинул шапку на затылок, придерживая винтовку, подошел к печи, взял со сковороды, сколько мог захватить, горячих блинов, стеснительно подшмыгнул и пошел.

— Товарищ, — крикнула Даша, — товарищ, а что случилось?

— Как что случилось? Взгляните на улицу...

Совсем близко, должно быть, на дворе, рвануло с такой силой, что вылетели стекла в обоих маленьких окошечках.

6

План декабрьского наступления на Царицын был разработан военными специалистами в ставке Деникина. На огромную важность овладения этим городом указывал, особенно настаивал на этом один из самых молодых генералов, барон Врангель. Атаман Краснов принял план. На помощь Донской армии была послана освободившаяся после разгрома красных на Северном Кавказе дивизия под командой Май-Маевского, усиленная лучшими боевыми частями корниловцев, маковцев и дроздовцев. Май-Маевский двинулся через Донбасс, чтобы прикрыть тыл Донской армии, которая была открыта ударам с запада, со стороны Украины, и на своих северных границах оставила лишь сильные заслоны. Пятьдесят тысяч отборных донских войск устремилось к Царицыну.

В то же время ставка Главного командования Красных армий Республики разрабатывала план встречного наступления. Вначале этот план многим казался только серьезной стратегической ошибкой. Она заключалась в том, что главное командование рассматривало разворачивающиеся военные события оторванной от глубоких процессов гражданской войны. Ставкой был разработан план так же, как подобные военные планы разрабатывались всегда и везде — на карте, утыканной

флажками, испещренной цифрами высот, кружками населенных мест, извилистыми линиями рек и оврагов, пятнами лесов и болот. По этому плану Восьмая и Девятая Красные армии, стоявшие на северной границе Донской области, вторгались в нее по обеим сторонам Дона, прижимали красноармейских белоказаков к штыкам и пулеметам Десятой и совместно перемалывали Донскую армию в царицынских степях. Разгромив ее, Красные армии поворачивались на сто восемьдесят градусов и двигались на запад, к Днепру, очищая Украину от петлюровцев.

В этом плане упущено было главное: то, что под линиями и кружочками военной карты, под сеткой знаков и цифр кипела классовая борьба со своими особенными законами и возможностями. Точки и линии были различны по качеству: одни могли влить новые силы в красные полки, бригады и дивизии, другие — ослабить их.

План главкома посылал Красные армии не по тем направлениям, которые предусматривались высшей стратегией гражданской войны. Движение их с севера на юго-восток по Дону, Хопру и Медведице, мимо враждебно настроенных казачьих станиц ослабляло силы наступления, затягивало время его, давало противнику возможность маневрировать и перестраиваться.

Таковы были дальнейшие крадущиеся шаги тайного предательства в недрах Высшего Военного Совета Республики, принявшего порочный план главкома к исполнению. Ошибка, на первый взгляд, как будто трудно уловимая, выросла через полгода в грозную опасность.

Декабрьское контр наступление Красных армий началось. Оно происходило значительно восточнее Донбасса, где в заводских и шахтерских районах нетерпеливо ожидали Красную армию, чтобы поднять восстание. Но туда сейчас же с юга вторглась дивизия Май-Маевского с шомполами и виселицами. Правый фланг красного наступления оказался под угрозой. Наступление затормозилось. Всю силу удара снова, в

третий раз с августа месяца, принимала на себя Десятая армия.

Враг был многочисленнее, лучше вооружен и богаче снабжаем. У него был злобный наступательный порыв. Силы оказались слишком неравными. Царичын послал на фронт последнее пополнение, все, что мог,— пять тысяч рабочих. На помощь пришло творчество революции.

Французский народ в 1792 году, голодный, разутый, вооруженный самодельными пиками, для того чтобы победить обученные войска европейской коалиции, придумал ураганный артиллерийский огонь и, противно всем военным уставам, массовую атаку пехоты против знаменитых каре короля Фридриха.

Русский народ создал новые формы организации конной боевой части. Такой была вышедшая из Сальских степей бригада Семена Буденного. Не в одной только храбрости заключалась ее сила. Белоказаки тоже умели рубить до седла. От обозного бородача до знаменосца, с усами в четверть, буденновская бригада была спаяна верностью и дисциплиной. Ее эскадроны, ее взводы формировались из односельчан. Бойцы, когда-то вместе ловившие кузнечиков в степи, рядом шли на конях. Сыновья, племянники — в строю, отцы, дядья — на тачанках и в обозе. С того первого дня, когда Семен Буденный вывел из станицы Платовской отряд сотни в три сабеля, и по сей день у них не было ни одного случая дезертирства. Да и куда бы отъехал такой боец? — не к себе же в станицу или на хутор — на позор и на суд.

По обычаю, не написанному в уставе, в бригаде было два суда: официальный — трибунальский и неофициальный — товарищеский. Провинившегося бойца, — сплеховал ли в бою, не подчинился ли приказу, или дрогнула рука на чужое добро, — судил трибунал. А иногда бойцы сами судили виновных. Собирались где-нибудь подальше от глаз, в сумерках, и начинали свой суд над этим человеком. И случалось так, что трибунал, принимая во внимание то-то и то-то, оправдает, а

товарищеский суд рассудит суровее, и человек пропадал, и не у кого было допроситься об его участи.

По-новому, и опять-таки ни в каких полевых уставах еще не написанному правилу, был построен боевой порядок. Эскадрон разворачивался для атаки лавой в два ряда. Впереди шли опытные рубаки с тяжелой рукой, обычно кавалеристы старой службы, — бывали у них такие удары, что вражеский конь уносил на себе одну нижнюю половину хозяйского туловища. За ними скакали меткие стрелки с наганями и карабинами, каждый охраняя в бою своего переднего. Передние, под завесой огня товарищей, смело и без оглядки врезались с клинками в противника, и не было случая, чтобы вражеская конница, даже вдвое и втрое сильнейшая численностью, могла выдержать такую, слитую из отдельных осмысленных звеньев, сосредоточенную атаку буденновцев.

7

Хутор горел во многих местах. Валил дым среди скученных крыш, выбивалось пламя, выбрасывая под низко летящие облака искры и клочья пылающей соломы. Голуби, кружась, падали в огонь. По хлевам мычала скотина. Разломав плетень, вырвался племенной бык, ревя, носился по улице. Женщины с детьми на руках выбегали из горящих хат, ища — куда им скрыться. Со стороны станицы, из-за холмов, била и била казачья артиллерия...

В середине дня оттуда показались первые цепи пластунов, редкими точечками на большом протяжении, намереваясь охватить и окружить горящий хутор и загнать в огонь Качалинский полк, сидевший в наспех вырытых окопах. Они начинались от кузницы — с краю хутора, тянулись по берегу пруда, где гранатами был взорван лед, и загибали к ветряной мельнице, на кургане.

Вдоль окопов ехали верхами Телегин и Иван Гора, за ними — вестовой комиссара — Агриппина, в заломленной, как она переняла это от казаков, барашковой шапке. Около отделения, сидевшего по пояс в узенькой канавке, на-

хохлившись под такой погодой, или около пулеметного расчета останавливались. Иван Ильич — свежий, румяный, с веселыми глазами, Иван Гора — потемневший и спавший в лице от ночных переживаний, но теперь успокоившийся, когда ясна стала обстановка. Телегин поправлялся в седле, рукой в перчатке проводил по губам, будто для того, чтобы согнать с них улыбку, и говорил, выгадывая тишину среди грохота разрывов:

— Товарищи, вам представляется возможность нанести врагу кровавый урон. Эту возможность нельзя упустить. Стрелять без паники, спокойно, с выбором, — по пуле на человека: такой стрельбы мы с комиссаром ждем от вас. В штыковую контратаку переходить дружно, зло... Позади — огонь, впереди — враг. Приказываю — не отступать ни при каких обстоятельствах.

Комиссар, Иван Гора, мотнув головой, вскрикивал:

— Да здравствует товарищ Ленин! Да похилится и позавалится мировой капитализм!

Сказав, ехали к следующей группе бойцов. Обогнув весь фронт, слезли с коней у ветряной мельницы. Разведка к этому времени установила, что за ночь в станицу вошли крупные силы казаков. По тому, как они, очертя голову, наступали, можно было понять, что появление на хуторе Качалинского полка застало их врасплох при выполнении какого-то другого задания и что они, видимо, решили смести красных с пути одним ударом.

Под крышей мельницы свистел ветер, поскрипывали деревянные шестерни, домовито пахло мукой и мышами. Иван Гора, тяжело вздыхая, нет-нет да и высовывался между оторванными досками, поглядывая, не покажется ли в бурой степи на востоке Сергей Сергеевич. Телегин, кричавший внизу в телефон, взбежал по отвесной лесенке.

— Повторяем царицынскую операцию! — возбужденно проговорил он, поднимая бинокль.

— Какая к чорту операция, окружены, как бараны... А я тебе говорю — убили его, ведь — второй час.

— Сергея Сергеевича не так-то легко убить...

— Ты-то чего больно весел?..

— Драться надо весело, Иван Степанович.

Дым от горящей на гумнах соломы тянул низко над землей в сторону наступающих. Теперь можно было различить отдельные перебегающие фигуры в коротких заграничных шинелях. Передовые заставы, отстреливаясь, отошли к окопам. Весь фронт Качалинского полка, опоясавший неправильной подковой горящий хутор, затаился.

— Ага! Ложатся! — крикнул Телегин. — Нервы не выдержали, желторотые! Смотри, смотри — ложатся цепи... Иван Степанович, беги, Христа ради, скажи посерьезнее, только бы не стрелять... Без моего приказа ни одного выстрела.

— Комиссар! — нарочно испуганно прикрикнул Байков. — Расчет по местам!

Расчет первого орудия, — Байков, Задувйтер, Гагин и Анисья — подносица — поднялись и стали на места. Из-за глиняной стены обгоревшей хаты показался Иван Гора, в шаге позади него — Агриппина. Они шли к отделению, прикрывавшему батарею. Иван Гора начал говорить красноармейцам. Агриппина, вытянутая, как хлыст, стояла рядом с ним, держа в опущенной руке наган.

— ...без особого приказа — строжайше — ни одного выстрела, — донесся напористый голос Ивана Горы. — Товарищи, предупреждаю: за слушание — расстрел на месте...

Байков тряхнул бородой, поседевшей от капелек дождя:

— Братва, бойся этой девки с наганом, шлепнет — глазом не моргнет...

Анисья ответила:

— Зачем над ней смеешься? Агриппина правильный товарищ...

Иван Гора повернул к орудью, такой серьезный, что расчет замер. Агриппина шла, как привязанная, шаг в шаг — за мужем. Первое орудие стояло на невиданном сооружении из сколоченных досок, тележных колес, кругом валялись пилы, топоры, щепки. Иван Гора взгля-

нул на эту диковину, — моргал, моргал, спросил:

— Это что ж такое?

— Наше изобретение, товарищ комиссар, — ответил Байков. — Вроде морской поворотной башни...

— Тележные колеса к чему?

— Для быстрого поворота орудия. Способная вещь...

— Так, так, так. — Иван Гора пошел дальше, Агриппина — вслед. Байков пошел вон на нее:

— В одной с ней драматической труппе, товарищи, а комиссара не боюсь — ее боюсь... Глаза круглые, как у мыши, ну — никакой жалости... Эх, бабы, бабы, за что воюем!..

— Дарья Дмитриевна, отнес... На мельницу не пустили... Он сверху мне покивал: «Да неужто сама Дашенька плакала?» Сама, говорю, да жалко — холодные... «А я, говорит, холодные блины больше люблю... Передай ей тысячу поцелуев...»

— Это вы все сочинили.

— Ей-богу, нет... Происшествие слышали? Наш-то Иванов, ну — врач, до того струсил, мальчишка, — рвота, колики... Комиссар рассвирепел: «Поправить ему нервы!» Приказал раздеть и у колодца облить водой... Слышите — верещит: третью бадью на него льют... Смеху-то! А ведь я тоже трус, Дарья Дмитриевна...

Даша, как в клетке, ходила от окна к двери в хате, где были разложены перевязочные средства и уже пахло карболкой и иодоформом. Кузьма Кузьмич вертелся около нее:

— Ко мне один сон привязался, чуть не каждую ночь вижу: в руках ружье, сердце трясется, как тряпочка, и я стреляю, я нажимаю изо всей силы эту самую собачку, и весь бы я так и влез в это проклятое ружье... А оно не то что стреляет, а вяло, вяло спускается курок, вялый дымишко ползет из дула, а тот — в кого стреляю — без лица, — никогда лица не вижу, — надвигается, ширится... Фу, какая гадость!..

— Почему так тихо? — спросила Даша, хрустнула пальцами, остановилась сколо окошка... Уже начинались ранние

сумерки... Пожары отгорали. Разрывов и надрывающего посвиста снарядов больше не было слышно. Затихла ружейная стрельба. Казачьи цепи придвинулись, подползли, — они почти окружили хутор. Даша отвернулась от окна и опять заходила. — Будет много раненых. Как мы справимся?

— Комиссар придет Агриппину, это большая подмога. Слушайте, я у него и Анисью выпросил: «Ей, говорю, не место около пушки, из чистой романтики она — около пушки...» Так вот, мой сон, — что это такое?

— Вы правду скажите — Иван Ильич здоров? Все хорошо?

— Высунулся ко мне в дыру, — в крыше, — рот до ушей. Абсолютно уверен в победе...

— Ах! — Даша встряхивала головой. Нужно было заставить себя не думать об этих тысячах мужчин, подползающих, как звери. Все равно — этого не понять... Она изо всей силы, точно сказочное чудовище за веревку, тащила свое воображение сюда на эти мелкие предметы, разложенные на столе, — бинты, склянки, хирургические инструменты... Вот иоду мало, это ужасно! Воображение мягко повиновалось, и незаметно, какими-то неуловимыми лазейками, снова оказывалось там, расширив глаза, как два озера... Почему, почему этим людям так нужно убить всех невиноватых, всех хороших, любимых? Ненависть, — что может быть страшнее в человеке? — ненависть окружала Дашу, подступала — выжидающая, неумолимая, чтобы вонзить штык, за который ухватиться руками...

— Нет, это просто бесстыдно — так, — сказала Даша, и дикий взгляд ее раскрытых глаз испугал Кузьму Кузьмича. — Ну чего на меня глядите? Мне тошно, понимаете, так же, как нашему доктору... Не могу вынести ненависти... Деликатно воспитана? Ну, и подавитесь этим...

Она бесцельно переставляла пузырьки и пакетики.

— Тоже не понимаю — для чего мне какой-то сон начали рассказывать...

— Ага, Дарья Дмитриевна, сон в руку... Есть ненависть, очищающая,

как любовь... Ненависть—как утренняя звезда на высоком челе... Есть ненависть утробная, звериная, каменная,—ее-то вы и боитесь... Я тоже ужаснулся, помню, в четырнадцатом году: русских застигла мобилизация за границей, кинулись к последнему поезду... Деткам маленьким ручки отхлопывали вагонными дверями ихние кондуктора... А сон вот к чему, — я его комиссару не стал бы рассказывать, никому, кроме вас, и то уж в такую минуту. Бессилен я, конечно мое путешествие по земле.—Он неожиданно даже всхлипнул. — Ружье мое не стреляет, а только шипит.

— Ненавижу! — вдруг крикнула Даша и щепотью стала ударять себя в грудь. — Я видела, я знаю эти лица: глаза не состоявшихся убийц, угри на щеках от вожделения, отвалившиеся подбородки... Сволочи! Тупые, темные... Таким нет, нет места на земле!..

— Спокойно, спокойно, Дарья Дмитриевна... Давайте лучше посмотрим — всплыла вода в чутюне.

Даша быстро подошла к окошку, — в сизых сумерках пробегали, сутуло нагнувшись, красноармейцы, с винтовками, уставленными, как в атаку. Она разглядела даже лица, напряженные до морщин. Один споткнулся, падая, пробежал и, взмахнув руками, выправился, обернулся, оскалил зубы.

В степи взвилась ракета, раскинула зеленые ядовитые огни. Медленно падая, они озарили приникшие серые спины в окопах и близко, — саженях в двухстах, не более, — поднимающиеся фигуры пластунов. Между ними бежал человек, крутя над головой шашкой. Огни погасли. В мгновенной черной темноте начался крик, усиливаясь, как грозовой ветер! «Урррааааа...»

Телегин снял шапку, провел ладонью по мокрым волосам. Все, что можно было продумать, предусмотреть и сделать, — сделано. Теперь начиналась психология боя. Враг был, наверно, вчетверо сильнее, если считать скопление его резервов, едва различимых в бинокль.

Всматриваясь, он по самые плечи высунулся в пролом в крыше. Хутор

опоясался огнем. У Ивана Ильича все поплыло в глазах... То там, то там по окопам сбивались кучки людей... Он стал было искать шапку. «Чорт, обронил такую шапку...» И затем очутился уже внизу и побежал с кургана к окопам.

Первая казачья атака почти повсюду отхлынула, лишь около кузницы, как и предполагал Иван Ильич, бой разгорался. Там была свалка, дикие крики, рвались гранаты. Он добежал до земляной стены сарая, где находился резерв, но его там не было, — красноармейцы, не выдержав, распорядились сами и кинулись к кузнице на подмогу. Туда же трусил рысцой, согнувшись под тяжестью мешка с гранатами, Иван Гора...

— Комиссар! — крикнул Иван Ильич. — Что делается! Беспорядок! Нельзя так!

Иван Гора только повернул к нему свирепый нос из-под мешка. Через два шага Иван Ильич увидел Дашу, — она уходила в ворота, поддерживая бойца, ковылявшего на одной ноге. Иван Ильич остановился... Поднял руку с растопыренными пальцами: «Так, — сказал он, — так вот я зачем шел...» Повернулся и побежал обратно к батарее.

— На батарее все благополучно?

— Как у господ бога в праздник. Здравствуйте, Иван Ильич.

— Товарищи, — шрапнель... По резервам...

Взобравшись поблизости на крышу, Иван Ильич влип глазами в бинокль. Резервы, которые он давеча заметил с мельницы, приближались густыми массами. Он закричал с крыши:

— Беглый огонь!

В свинцовых сумерках начали вспыхивать один за другим шрапнельные разрывы. Ряды наступающих шарахались и шли. Все ниже и ниже лопались шрапнели над головами их, — цепи шли. Поднялась ракета и повисла, как змея, огненными головками над рядами оловянных солдатиков, осеняя их молодецкий подвиг: погуляйте, братцы, нынче на большевистских косточках... И только погасла — справа на востоке взви-

лись подряд три ракеты, распавшись красными огнями, мутными и зловещими, по всему небу. Телегин закричал: — Ответить ракетами: три красных подряд. Перерыв, — давай белые без счета.

Буденновцы, подойдя в сумерках руслом плоского оврага, бросились на левое крыло наступающих неожиданно и с такой злостью, что в минуту ряды пластунов были смяты, опрокинуты, и началось то страшное для пехоты при встрече с конницей, от чего нет спасения, — рубка бегущих. Белые огни ракет, поднимающиеся с хутора, освещали степь, где повсюду — смерть от свистящего клинка. Люди на бегу бросали оружие, закрывали голову руками, — их настигала черная тень от коня и всадника, и буденновский кавалерист, пружиня на стременах, завалился влево, во весь размах плеча рубил, и катилось казачье тело под конские копыта.

Буденный, когда увидал, что уже по всему полю казачьи массы опрокинуты и бегут, придержал коня и поднял шашку: «Ко мне!» Со съехавшейся к нему полусотней он повернул и поскакал к хутору. Конь под ним был резвый. Семен Михайлович скакал, откинувшись в седле, держа клинок опущенным к стремени, чтобы отдохнула рука, серебрястую барашковую шапку сдвинул на затылок, чтобы ветер освежал вспотевшее лицо и вольно гулял по усам. Кавалеристам приходилось, попевая за ним, шпорить коней. Проскакали по берегу пруда, где в полыньях отражались падающие звезды ракет. Какие-то люди кидались от всадников и прилепали к земле. Не обращая на них внимания, Семен Михайлович указал шашкой туда, где около кузницы все еще не могли расцепиться пластуны с качалищами: та и другая сторона по несколько раз кидалась в штыки, отступала и залегала.

Буденновская полусотня рассыпалась лавой и, отпустив поводья, глядя на подпрыгивающую впереди серебрястую шапку, налетела от пруда с пригорка на пластунов, — ни пулеметная очередь, ни выстрелы, ни уставленные штыки не

могли остановить храпящих от натуги коней. Что попало под клинки, — было порублено. Семен Михайлович осадил коня только на улице хутора.

К нему торопливо шел Телегин. Семен Михайлович не сразу ответил ему, — платком вытер лезвие, платок этот бросил на землю, положил в ножны большую, кавалерийского образца, с медной рукоятью шашку и, поднеся к виску прямую ладонь, сказал:

— Здравствуйте, товарищ, с кем я говорю? С командиром полка... С вами говорит командующий группой комбриг Буденный. Приказываю вам: оставить одну роту для охраны обоза и раненых, с остальными силами и с артиллерией немедленно наступать к станице, занять ее и очистить от белоказаков.

— Слушаю, будет исполнено...

— Минутку, товарищ...

Он соскочил с коня, подsunул ладонь под потник, ударил пальцами по губам коня, норовившего схватить его за рукав, перекинул уздечку и протянул руку Ивану Ильичу:

— Потери большие?

— Никак нет.

— Это хорошо. А что — продержались бы своими силами, кабы не мы?

— Да продержались бы, отчего же, огнеприпасов достаточно.

— Это хорошо. Ступайте.

8

— Боли в области живота окончательно прошли, Анисья Константиновна, я даже не чувствую — где у меня живот... Так это неконструктивно устроено, — самый серьезный аппарат и никакой защиты... Шашка-то вошла не больше чем на вершок — и такое разрушение, такое разрушение... Попить дайте...

Анисья сидела около него — утомленная, молчаливая. Госпиталь помещался теперь в станице, в двухэтажном кирпичном доме. В нем оставались только легко раненные да те, которых тяжело было везти, остальных несколько дней тому назад эвакуировали в Царицын. Шарыгин умирал. Так ему не хотелось умирать, так было жалко жизни, что Анисья замучилась с ним. Она уже не

утешала его,—только сидела около койки и слушала.

Анисья встала, чтобы зачерпнуть кружкой воды из ведра и дать ему попить. Лицо его горело. Большие синие, как у ребенка, глаза, не отрываясь, следили за Анисьей. Она была одета поженскому — в белый халат; золотые волосы, которые он часто видел во сне, завиты в косу и обкручены вокруг головы. Он боялся, что она уйдет, тогда — только закинуть голову за подушку, стиснуть зубы и слушать неровные удары крови, отдающиеся в висках. Он говорил, не переставая. Мысли его вспыхивали, как в догорающей плошке огонь фитиля, — то лизнет по краям и поднимется и ярко осветит, то поникнет и зачадит.

— Некрасивая вы тогда были, Анисья Константиновна, старше вдвое казались... Подопрет рукой щеку и глядит, ничего не видит, — в глазах темно от горя... Однако, я не жалостливый, это я в себе вытравил... Жалостливые люди — самые черствые. Надо один только раз в жизни пожалеть... И стоп, выключил рубильник... Сердце — давай на наковальню, да еще раз его — в горящие угли, да опять — под молот... Такие должны быть комсомольцы... Тогда на пароходе собрал секретное совещание и товарищам разъяснил, что недостойно борцам за революцию вас трогать... Латугин тогда завернул насчет судомойки... Ах, Латугин, Латугин!.. Совсем не нужно это вам, Анисья Константиновна... Подобрала вас революция. Налились вы красотой, — не для него же... Это же тупик... Вопрос этот надо ставить, надо бороться за этот вопрос...

Огонек его лизнул края жизни, изменил близкую темноту и поник. Шарыгин провел по губам сухим языком. Анисья поднесла ему кружку. Он снова заговорил:

— Я знаю, за что умираю, у меня это не вызывает сомнений... Хочется мне, чтобы вы обо мне помнили... Я из Петрограда, с Васильевского острова. Папаня мой столяр, я в ремесленном учился, у папани работал... Он строгаёт — я строгаю, он строгаёт — я стро-

гаю... Оба молчим и молчим... Ушел я работать на Балтийский судостроительный... Там открылось мне самое главное — для чего я существую... Началась горячка мыслей, нетерпение. Высокое поманило, внизу уж ни часу нет сил оставаться... Ну, а там — война, призвали во флот, — от злобы зубы во рту крошились... Как вы не можете понять, Анисья Константиновна, что увидел я живого человека, которого мы сами выдумали, завоевали, сами сделали... Да как же — отпустить вас опять бродить с опущенной головой?.. Зачем тогда революция? Неправильно это... Вы должны быть актрисой... Я каждый вечер у того сарая крутился, видел, слышал... «О, ради бога! Ради всех милосердий... Покинута, покинута...» Будете фронты потрясать... Кончится гражданская война — станет мировой актрисой... По этой дороге вам итти... Слабость вам ни к чему... Он вам будет петь, а вы не слушайте. Анисья Константиновна, хочется мне вам доказать: на личную жизнь вы прав не имеете. Милая... Зачем отвернулась...? Отдохну, соберусь, еще хочу сказать... Что-то я упустил, одно важное доказательство...

Голова его заметалась на подушке, потом он затих и молчал так долго, что Анисья близко наклонилась: зрачков у него не было видно сквозь полуоткрытые веки. Не его разговоры, а в тоске закаченные глаза сотрясли анисьино сердце. Ей стало понятно все, что он старался ей высказать горячечными и смутными словами. Наверно, те двое маленьких также тогда звали ее, напугавшись огня, зашумевшего кругом их скирдочки, где они присели близенько друг к другу. Анисья с тех пор ни разу не вспоминала детских лиц, боялась этого, — сейчас они, точно живые, выплыли перед ней: Петрушка — четырехгодовалый и младшая — Анюта, кудрявые, толстощекие, смешливые, с маленькими носиками... И теперь этот, третий, звал ее. С ним она простится, его она проводит.

Анисья тихонько приглаживала его слежавшиеся волосы. Ресницы его дрожали, и она видела, что синеватые пятна разливаются по вискам его...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Главкомандующий Деникин каждую пятницу вечером играл в винт у Екатерины Алексеевны Квашниной, своей дальней родственницы по материнской линии. Этот винт начался еще в девяностых годах, когда Антон Иванович учился в академии и снимал комнату у Екатерины Алексеевны на 5-й линии Васильевского острова в опрятной — петербургскому — квартире ее в полупитеру. С того времени из четырех постоянных партнеров в живых остались только они двое, заброшенные жестокими временами в Екатеринодар, где Антон Иванович, волей бога, встал во главе вооруженных белых сил, а Екатерина Алексеевна, бежавшая из Петербурга в начале восемнадцатого года, скромно проживала здесь со своей дочерью — тоже Екатериной Алексеевной — младшей.

Главкомандующий не раз предлагал ей под тем или иным предлогом содействие, но она отвечала: «Лучше, что бы это не стояло между нами, Антон Иванович, — деньги портят дружбу». Она брала на дом корректуры изданий Осведомительного агентства, и, кроме того, у нее с дочерью оставались кое-какие ценные мелочи про черный день.

Вечер пятницы был священным, никто, даже начальник штаба генерал Романовский, не смел отрывать главкомандующего от традиционного винта. Ровно в двадцать часов у деревянного неказистого домика с воротами — в отдаленной степной части города — оставалась одноколенная коляска с поднятым кожанным верхом. Главкомандующий приказывал кучеру — бородачу, с георгиями во всю грудь, — приехать за ним в полночь, тихим шагом входил в калитку и поднимался на крылечко, где уже сама собой открывалась перед ним дверь.

Шпики, каждую пятницу посылаемые сюда начальником контрразведки, старались не попадаться на глаза главкомандующему. Один, сидя на крыше, прятался за печной трубой, другой — за старым пирамидальным тополем — на

другой стороне улицы и еще двое — на дворе, за помойкой. Деникин, как военный человек, терпеть не мог шпики. Однажды, с картами в руках, он рассказал по поводу этой печальной необходимости историю про покойного государя. Николай II любил уединенные прогулки в царскосельском парке. Шпики сажали с утра за куртинами и кустами, вдоль тропинок, где мог пройти царь. В зимнее время их заносило снегом и совсем не было видно. Прогуливаясь однажды, он услышал, как за спиной его раздался осыпший голос из-за куста: «Седьмой номер прошел». Николай был крайне раздосадован — почему именно он проходит у шпики под кличкой «седьмой», и сместил начальника охраны, после чего его именовали уже «номером первым».

Войдя в крошечную прихожую, где горела свеча, Деникин стаскивал кожаные калоши с медными задками, снимал, — всегда сам, без чьей-либо помощи, — просторную, солдатского сукна, шинель на малиновой подкладке, приглаживал поредевшие и зачесанные назад волосы свинцового оттенка и подходил к ручке Екатерины Алексеевны. Он брал в свои руки и ласково трепал красивую, слабую ручку Екатерины Алексеевны младшей и здоровался кратко и мягко — «Здравствуйте, господа» — с остальными двумя партнерами: своим адъютантом, князем Лобановым-Ростовским и с Василием Васильевичем Струпе, бывшим начальником отделения какого-то из министерств, старым петербуржцем, приятнейшим человеком.

В гостиной уже был раскрыт стол, с двумя свечами и веером раскинутыми картами на зеленом сукне. Даже мелки и круглые щеточки были традиционные, как в те светлые годы на Васильевском.

Екатерина Алексеевна, в черном поношенном платье, всегда веселая, очень маленького роста, с преувеличенно полной нижней частью тела, катилась на коротеньких ножках к столу. Круглое лицо ее смеялось, большой рот уютно пришепetyвал. Прежде, на Васильевском, она всегда садилась на вертящийся стул от пианино, здесь из-за ее непоседливости под ней непрестанно скри-

пел старый гнутый стул, под который она ставила скамеечку для ног. Прежде чем вытянуть карту, чтобы разместить за столом, она загадывала, и каждый раз так случалось, что ее партнером оказывался главнокомандующий. Она весело хлопала в пухлые ладошки перед своим носом:

— Вот видите, господа, я загадала... Катя, мы опять с Антоном Ивановичем...

— Прелестно, — мрачным голосом говорил Василий Васильевич Струпе, садясь и выбирая себе мелок и щеточку.

Василий Васильевич — хладнокровный, всезнающий, остроумный скептик, с худощавым, строгим, рано состарившимся лицом, был опаснейшим соперником в винт и, как все петербуржцы, относился с серьезным изяществом к этой игре.

— Прелестно, как сказал один титулярный советник, отдавая все козыри, — повторил он, и холеные пальцы его с твердыми ногтями быстро начинали тасовать колоду.

Четвертый партнер, князь Лобанов-Ростовский, несмотря на молодость, был также сильным винтером. Этим да кое-какими личными поручениями главнокомандующего ограничивались его адъютантские обязанности. Для оперативных дел имелись другие люди, современной складки. Как все Лобановы-Ростовские, князь был некрасив, с вытянутым плешивым черепом и величественным лбом при незначительных чертах лица. Если не считать одного недостатка, — дерганья длинными ногами под столом, как бы от нетерпенья по малой нужде, — князь был прекрасно воспитан. Он никогда не выражал своего мнения; если его о чем-либо спрашивали, — отвечал неожиданной глупостью, так как прекрасно понимал, что ни с чем дельным к нему не обратятся; был предупредителен без услужливости, и этим летом в боях, до своего ранения и отчисления, выказал стчаянную храбрость.

Играли, как бы священнодействуя. В этом доме в эти часы о политике и о войне не говорили. Слышалось только:

«Бубны... Черви... Без козыря... Два без козыря...» Потрескивала свеча. Дымилась папироса, положенная на край стеклянной пепельницы. И — наконец:

— Ну, что ж, Екатерина Алексеевна, отдадим...?

— Жалко, ах, как жалко, Антон Иванович...

Екатерина Алексеевна младшая сидела тут же на плюшевом диванчике и, не поднимая головы, вязала и улыбалась... Лицо, глаза и волосы у нее были бесцветные, в изгибе нежной шеи и в красивых руках чувствовалась неутоленная жажда ласки. Екатерина Алексеевна младшая была влюбчива, ей шел двадцать шестой год, все ее чувствительные истории оканчивались печально: то он, наспех простившись, уезжал на войну, то у него неожиданно оказывалась любимая женщина, и он безжалостно сообщал об этом. Теперь она влюбилась в некрасивого, но ужасно милого Лобанова-Ростовского. Он шутивно ухаживал за ней, — это доставляло удовольствие главнокомандующему, относившемуся к Екатерине Алексеевне почти как к дочери. Она старомодно мечтала о том, как он забудет у них свой портсигар, на следующее утро, в отсутствие Екатерины Алексеевны старшей, появится перед окном домика верхом на лошади, войдет, звякнув шпорами, поздоровается (на ней черное шерстяное платье с белым воротничком и манжетками), извинится, и одна из шуточек его замрет на губах, — всмотревшись в ее лицо, он поймет. Они войдут в гостиную, оба взволнованные... Вдруг он берет ее за руки выше локтей, привлекает к себе: «Я вас не знал, — скажет взволнованно, — я вас не знал, вы другая, вы благоуханная...» На этом слове полет фантазии обрывался... Екатерина Алексеевна вязала и улыбалась, не поднимая глаз на князя, сидевшего между двумя свечами, ей было достаточно, что он здесь, и она чувствует запах его дорогого табака...

Таков был маленький мирок, осколочек старой России, где по пятницам отдыхал от тяжелых забот главнокомандующий Деникин.

2

Сегодня главнокомандующий, против правил, прибыл с опозданием, чем-то сзабоченный и несколько рассеянный. Снимая калоши, он наступил на лапу коту, вертевшемуся под ногами, — кот взвыл гадким голосом, Лобанов-Ростовский схватил его и унес на кухню. Екатерина Алексеевна старшая засмеялась. Василий Васильевич сказал: «Коты бьют несносны». Все ждали, что Деникин пройдет в гостиную. Но он задумчиво повесил шинель и продолжал стоять, пощипывая седую — клинышком — бородку. Тогда лица всех стали серьезны, и тревожная пауза длилась, покуда князь, вернувшись, не сообщил, что с котом все благополучно...

— Ага, — сказал Деникин, — ну что ж... Не будем терять времени.

Играл он хуже, чем обычно, сбрасывая не те карты, и все оборачивался к окошкам, хотя они были закрыты ставнями. Екатерина Алексеевна младшая тихонько встала, накинула шубку и вышла на двор — проверить, на местах ли охрана. Шпик, который сидел на крыше за трубой, где свистел колючий ветер, а выше, как сумасшедшая, ныряя в тучи, неслась половинка мутного месяца, — крикнул оттуда, стуча зубами:

— Барिशня, вынеси, Христа ради, водочки...

Около десяти часов подъехал автомобиль. Главнокомандующий положил карты, напряженные глаза его заблестели. Вошел в офицерской шинели, перехваченной на груди концами башлыка, высокий, румяный, надменный генерал Романовский. Сняв фуражку, сухо звякнул шпорами, отдал общий поклон.

— Антон Иванович, я за вами.

— Итак — свершилось?

— Так точно, Антон Иванович.

Деникин заторопился:

— Я вернусь, господа, вы уж простите — такие обстоятельства. — И в прихожей, не сразу попадая в рукава: — Вы-то, князь, оставайтесь, сыграйте роберок с болваном... Так я не прощаюсь, Екатерина Алексеевна...

Партнеры вернулись к столу, но играть не хотелось. Екатерина Алексеевна старшая сдержанно вздыхала. Василий Васильевич, сдвинув густые брови, рисовал мелом на сукне маленькие виселицы и чортиков. Князь подсел на диван к Екатерине Алексеевне младшей, она расцвела и опустила вязанье. Подрыгивая ногой, он стал рассказывать про то, что здесь разыскал необыкновенную гадалку и хочет привезти ее к Антону Ивановичу.

— Она берет у вас волос, сжигает его на свечке, и у нее показывается пена изо рта.

— Что она вам нагадала?

— Предсказала дорогу на коне, представьте, — буду ранен три раза, и все кончится веселой свадьбой.

Дрыгнув обеими ногами и раскачиваясь, точно его трясли за плечи, князь начал давиться смехом. Нежная шея и маленькое ухо у Екатерины Алексеевны порозовели.

— Все так тревожно, право, — сказала Екатерина Алексеевна старшая, вытирая глаза. — Так натянуты нервы у всех... Боже мой, когда мы думали, что так будем жить...

— Да, да, маловато мы думали, — ответил Василий Васильевич и нарисовал топор и плаху. — Россия курьезная страна...

Главнокомандующий сдержал обещание: когда английские часики в футляре тоненько прозвонили одиннадцать, за окнами заквакал автомобиль, и Антон Иванович, снова стаскивая калоши, говорил:

— Я знал, я знал, Екатерина Алексеевна, что у вас сегодня индейка с каштанами... Посему, князь дорогой, доставайте-ка у меня из автомобиля бутылочку шампанского...

Он был очень оживлен, потирал руки, но предложение — докончить робер — отклонил: «А бог с ним, мы с Екатериной Алексеевной заранее капитулируем, спасаем только честь». Он даже взял у Василия Васильевича из золотого портсигара папироску и закурил, чего с ним никогда не бывало. С ужином заторопились. Все прошло в маленькую столовую, где две свечи мягко, по-ста-

ринному, озаряли дешевенькие обои и на столе — на побитых тарелочках — домашние вкусные паштеты и закуски. Не было только любимого кушанья Антона Ивановича — много в горчичном соусе. И не было обычного спокойствия, когда по окончании обеда садятся за стол, продолжая спорить: «Да уж вы мне поверьте — надо было сбрасывать пики...» Или: «Матушка моя, да ведь я знаю, что у него на руках туз, король, дама, а вы меня под столом толкаете...»

Князь, чувствуя некоторую натянутость, самоотверженно овладел вниманием, рассказав об одном дворнике с Петербургской стороны, обладавшем таинственной силой заговаривать зубную боль, ожоги и рожу, он же, между прочим, и предсказал германскую войну, глядя в блюдечко с кофейной гущей. Упоминание о войне прозвучало не совсем уместно. Василий Васильевич сейчас же, взяв графинчик, налил водки:

— Приходится выпить за то, чтобы на Руси не перевелись чудесные дворники...

В это время внесли индейку. Главнокомандующий, откинувшись на спинку стула, строгим взором следил, как несли это блюдо, как его поставили среди тесноты на столе, от него поднялся пар к огонькам свечей, и они слегка заколебались.

— А ведь только в России такие индейки, — сказал он и выбрал себе крыло. Князь поднялся, без звука раскупорил бутылку шампанского и налил вино в чайные стаканы. Антон Иванович медленно вытащил салфетку из-за воротника, взял стакан, поднялся, держась за стул, и сказал:

— Господа, я не могу удержаться, чтобы не порадовать вас... Дело в том, что сегодня утром французские войска высадились в Одессе, греческие войска заняли Херсон и Николаев. Наконец-то долгожданная помощь союзников пришла...

3

В Екатеринодаре приземлился на английском самолете человек настолько странный, что в правящих и влиятель-

ных кругах не знали, как и подумать: то ли это тайный агент Клемансо, то ли просто проходимец, а может быть, и серьезная птица. Фамилия его была французская — Жирб, звали — Петр Петрович, по-русски говорил без запинки, с южным акцентом; паспорт — уругвайский, хотя это обстоятельство указывало не столько на его национальность, сколько на проницательность. Приехал он из Парижа на пароходе, выгрузившем в Новороссийске винтовки, патроны и другое оружие. Документы, предъявленные им военному коменданту города, оказались в блестящем порядке, это были: рекомендательные письма от парламентских депутатов, письмо от министра исповеданий и еще одно от французской герцогини с трудно произносимой фамилией; журналистская карточка газеты «Маленький парижанин» и, наконец, деловые предложения разных контор, начавших в то время возникать, как мухоморы, на гигантских запасах всевозможных товаров и скоропортящихся грузов, свезенных со всего света во Францию.

Сколько ни ломай голову — деваться было некуда: из Парижа в захолустный Екатеринодар, еще хранивший следы мартовских и летних боев, свалился с неба шикарно одетый, вполне европейский человек, в куцой шубейке со скуцезвым воротником, в пестром кашне во всю грудь, с двумя новенькими чемоданами и фотографическим аппаратом через плечо, в невиданно красивых желтых башмаках с такими толстыми подметками на ранту, что даже военный комендант не мог оторвать от них глаз, не говоря уже о публике на улице, где Петр Петрович Жирб шел позади казака с его чемоданами, весело подняв голову в изящно надвинутой светлосерой шляпе.

Иностранца поместили в лучшей гостинице, в номере «люкс», выкинув оттуда приезжего спекулянта Паприкаки вместе с его девкой. На другой день Жирб нанес визит генералу Деникину. Антон Иванович смутился и выслал к нему в приемную генерала Романовского с извинением, что главнокомандующий несколько недомогает, но рад

видеть у себя в городе такого интересно-го гостя.

Жиро заехал с визитом к профессору Кологривову, одному из столпов Государственной думы, группирующему здесь вокруг Деникина атмосферу государственной мысли под именованием «Национальный центр». Профессор Кологривов хорошо знал и любил Париж и продержал милейшего Жиро несколько часов, с восторгом вспоминая обеды в маленьких рестораниках и ночные развлечения на Монмартре (что показалось Жиро несколько старомодным, так как эти места за последние годы перекочевали на другой берег Сены). Он вспоминал запах бульваров и, несмотря на дряблый живот, беспорядочно отросшую бороду и грязные стекла пенсне, изобразил на лице молодое лукавство: «Шер ами, да что говорить, — а этот особенный, неповторимый запах парижских женщин!.. Ах, я готов целовать камни на улицах Парижа. Да, да, пусть это не покажется вам странным, — в каждом русском вы найдете пылкого патриота Франции... Вот о чем вам надо писать...»

Было решено: собраться в частном доме ограниченному кругу представителей «Национального центра» и за завтраком выслушать сообщения господина Жиро о международной политике.

— Шер ами! — восклицал профессор Кологривов, дружески откручивая пуговицы на пиджаке гостя, — вы увидите людей, которые поняли, раньше чем вы в Европе, чудовищную опасность красной мясорубки... Большевизм — это всеразрушающая злоба низов, ярость подонков человечества... Вы, даже лучшие, умнейшие из вас, делаете реверанс в сторону социализма. Чуть! Пошлость, о пошлость! Социализм есть, но социалистов нет, потому что социализм несуществим... Мы это вам докажем! Волею истории Россия призвана быть барьером, о который разбиваются вечные волны анархии, — тем самым мы, платясь нашими боками, даем возможность спокойного развития европейской цивилизации... Ради этого, ради спасения Европы, всего мира от красного призрака мы простираем к вам руки:

помогите же нам... Мы готовы итти на любые уступки, Россия принесет любые жертвы... Вот о чем вам надо писать...

Много хлопот было с этим завтраком, — достань-ка в Екатеринодаре что-либо тонкое, все — сало, гусятина да свинина, не галушками же кормить парижанина. Член «Национального центра» фон-Лизе, известный гурман, посоветовал меню: бульон — пирожки, матлёт из налима в красном вине и на третье — курицу, варенную без капли воды в мочевом пузыре свиньи. Приличное вино достали через спекулянта Паприкаки. Ровно в час на квартире у члена Государственной думы и редактора-издателя газеты «Родная земля» Шульгина собрались шесть человек, включая Петра Петровича. Завтрак, действительно, оказался тонким. Когда подали кофе из жженого ячменя, Жиро начал свое сообщение:

— Несколько слов о Париже, господа... Вы его хорошо знали. Иностранцы оставляли в нем ежегодно свыше четырех миллиардов франков золотом. Немудрено, что испарения его улиц кружили голову даже таким мечтателям, кто смотрел на потоки блистающих автомобилей с высоты мансардных окошек. Увы, мечтателей в Париже больше нет, их трупы, заражая воздух, гниют на Сомме, в Шампани и в Арденнах. Париж более не веселый город, где пляшут на улицах и хохочут во все горло над бородой короля Леопольда или над любовными неудачами русского гранд дюка. Парижу и Франции нехватает полутора миллионов мужчин, — они убиты. Париж наводнен мальчишками, профессионально занимающимися гомосексуализмом, — это в моде после окопов. На террасах кафе печально сидят одни старики, не интересные даже двадцатифранковым девчонкам. По разбитым торцам дребезжат такси, помятые на Марне. В шикарные рестораны и кафе до сих пор еще пускают американских солдат, с темпераментами стоялых жеребцов. Женщины, о! — женщины всегда на высоте: они обрезали юбки по колено и упряднили нижнее белье.

Голоса за столом:

— Яснее, пожалуйста...

— Женщины вечером, — в театре, в ресторане, — прикрывают сверху только то, что не существенно, точнее — все их платье — это две узкие полоски материи, на которых держится коротенькая юбка. Весь шик — в открытых ногах, у парижанок они прелестны. При чем же тут нижнее белье? Для чего-нибудь мы терпели лишения в окопах, чорт возьми! Но все это мелочи. Париж сегодня — это город-победитель. Он мрачен, он плохо подметен, он весь пронизан тревожными и двусмысленными разговорами. Париж выиграл мировую войну, он готовится выиграть мировую контрреволюцию.

Трое за столом тихо сказали: «Браво». Четвертый воздержался, так как был занят катаньем хлебного шарика. Пятый с неопределенной усмешкой неопределенно пожал плечом.

— Париж сегодня — это логовище разъяренного тигра. Клемансо жаждет мщения: раньше, чем будет подписан мир, — а это случится еще не скоро, — Германия испытает все ужасы голодной блокады. У нее навсегда вырвут зубы и обрежут когти. В одной частной беседе Клемансо сказал: «Я убью у немцев самое надежду — стать чем-либо иным, кроме заштатной страны. Гороха и картофеля у них хватит, чтобы не умереть с голоду». Но, господа, пятьдесят лет тому назад Клемансо, кроме унижения стыда под Седаном, испытал унижение страха перед Парижской Коммуной. Однажды, на завтрак журналистов, он предался воспоминаниям и рассказал о своем впечатлении, когда на Вандомской площади увидел осколки колонны великого императора, опрокинутой коммунарами при помощи множества канатов и лебедок: «Я был потрясен не самым фактом разрушения, а идеей, которая воодушевила французских рабочих сделать это. На цивилизацию надвигается смертельная опасность, ее можно отдалить, но она придет и придет в тот день, когда в руки народа дадут оружие. Это будет день нашего реванша за Седан, день, когда нам придется драться на два фронта».

Господа, Клемансо оказался прав: в Париж возвращаются демобилизованные. Они перешагнули через ужасы Вердена и Соммы, и строить баррикады и драться на улицах для них одно развлечение. По всем кабацким, собирая у стойки слушателей, они кричат, что их обманули: те, кто дрался, получили нашивки, кресты и протезы, а те, за кого они дрались, прикарманили миллиарды чистыми денюжками... С крикунами чокаются буржуа, разоренные инфляцией. Парижские предместья взволнованы. Заводы остановлены. Войска парижского гарнизона загадочны. В Германии — хаос революции, социал-демократы едва сдерживают ее напор. Венгрия не сегодня — завтра объявит Советы... Англия бьется в параличе забастовок, — правительство Ллойд-Джорджа старается только лавировать между рифами. Взоры всех обращены на Клемансо. Он один понимает, что смертельный удар всевропейской революции должен быть нанесен здесь, у вас, в Москве: итальянские рыбаки, когда вытаскивают из сети осьминога, перегрызают ему зубами воздушный мешок, — щупальцы его с чудовищными присосками повисают бессильно.

За столом ерошили волосы, снимали запотевшие очки. Когда Жиро приостановился, чтобы откусить кончик у свежей сигары, — посыпались вопросы: — Сколько французских дивизий послано в Одессу?

— Французы намереваются наступать в глубь страны?

— В Париже известны последние неудачи красновского наступления на Царицын? Краснову будет помощь?

— Разделены ли уже сферы влияния в России? В частности, кто намерен серьезно помогать Добровольческой армии — англичане или французы?

Жиро медленно выпустил сизый дымок:

— Господа, вы спрашиваете меня — как будто бы я Клемансо. Я журналист. Русским вопросом заинтересовались некоторые газеты, меня послали к вам. Вопрос о непосредственной помощи войсками осложняет, как всегда,

Англия. Ллойд-Джордж держится иной точки зрения. Прежде всего, он не хочет дразнить гусей. Если он пошлет в Новороссийск хотя бы два батальона английской пехоты, он потеряет на дополнительных выборах в парламент две дюжины голосов. Ну, а затем, англичане всегда охотнее организуют войну, чем в ней непосредственно участвуют. Они любят комфорт. Мои последние сведения таковы: Ллойд-Джордж примчался в Париж на самолете, предпочитая этот способ передвижения возможности взлететь на воздух, потому что из-за штормов Ламанш опять полон блуждающих мин, и—это было на днях— в Совете десяти высказал следующие мысли: надежда на скорое падение большевистского правительства не осуществилась, имеются сведения, что сейчас большевики сильнее, чем когда-либо, а влияние их на народ усилилось. Что даже крестьяне становятся на сторону большевиков. Разумно ли именно сейчас вмешиваться в русские дела вооруженной силой, или уничтожить большевизм голодной блокадой? Принимая во внимание, что большевистская Россия вошла в свои естественные границы времен Московско-Суздальского царства пятнадцатого века и не представляет ни для кого серьезной опасности, — нужно предложить московскому правительству приехать в Париж и предстать перед Советом десяти, подобно тому, как Римская империя созывала вождей отдаленных областей, подчиненных Риму, с тем, чтобы те давали ей отчет в своих действиях... Вот, господа, таково положение у нас на Западе... У вас есть еще какие-нибудь вопросы?..

Через несколько дней после этого завтрака (занесенного профессором Кологривовым в анналы) военный комен-

дант на докладе у главнокомандующего сообщил:

— Аккурат напротив гостиницы «Савой», ваше высокопревосходительство, открылся скупочный магазин, — берут только золото и бриллианты, платят даже чересчур хорошо донскими купюрами... Сомневаемся насчет качества денег: бумажки невенькие...

— Вы всегда сомневаетесь, Виталий Витальевич, — сердито сказал Деникин, просматривая гранки военных сводок, — вот опять потихоньку от меня высекали какого-то еврея, а он оказался не еврей совсем, а орловский помещик... Среди орловских попадают брютеты, даже похожие на цыган... Эх вы...

— Виноват-с, затемнение нашло, ваше высокопревосходительство... Так вот-с, насчет магазина, — патент на него взят екатеринославским спекулянтном Паприкаки, а мы выяснили, что истинный хозяин, вложивший в скупочное предприятие капитал сомнительного качества (тут комендант наклонился, поскольку позволяла ему тучность), — француз, Петр Петрович Жиро...

Деникин бросил на стол гранки:

— Слушайте, полковник, вы мне тут из-за каких-то мелочей, из-за каких-то цупочек, колечек, хотите испортить отношения с Францией! Что вы там еще натворили с этим магазином?

— Опечатал кассу...

— Ступайте, немедля — все распечатать и извиниться... И чтобы...

— Слушаюсь...

Комендант на цыпочках унес за дверь свой живот. Главнокомандующий долго еще барабанил пальцами по военным сводкам, седые усы его вздрагивали.

— Жулье народ! — сказал он, неясно, к кому относя это, — к своим или к французам...

(Продолжение следует)

Наследство

Константин МУРЗИДИ

★

Нам хорошо. Лежит земля большая —
Земля широких дымчатых путей —
Курганами, стенами крепостей,
Столетними дубами окружая.

И кажется, достаточно шагнуть,
И ты коснешься в сумеречном свете
Чужой шинели, ощутив тот ветер,
Что смог ее когда-то распахнуть.

И хорошо мне в этом окруженье,
Где локоть к локтю сдвинуты века,
Где, продолжая старое сраженье,
Уже вступают в новое войска.

Мой дом богат. Я берегу наследство.
Поэтому мне дороги равно
И песенки, заученные с детства,
И образы, любимые давно.

Мой дом богат. За мной — отцы и деды.
Лежит, с утра дорогами пыля,
При нас уже узнавшая победы,
До нас еще обжитая земля!

Два стихотворения

Александр ГОЛЬДБЕРГ

★

ТИШИНА

Тишина, ты лучшая
Из всего, что слышал.

Б. Пастернак.

Нет! Мне всего страшнее тишина
Уединенья, тяжелей увечья.
И если песни хоть строка одна
Находит место в сердце человеческом,—

То этим я обязан лишь тому,
Что слышал смех веселый за стеною,
Что человек сидел передо мною,
Не ведая того, что я пишу ему.

★

ОСЕНЬ

Уж горечью дышит осина,
Осенней тоской опалясь.
Протяжно плывет паутина,
На черные сучья садясь.

Всему — свои сроки суровы,
Законы свои и права.
И падает лист, чтобы снова
Со временем пела листва.

Он все возвратит, что когда-то
Забрал у корней, чтобы жить,
И в мудрости этой расплаты
Взаимное счастье лежит...

Когда я не встречусь с тобою,
Ты вспомни, мой верный дружок,
Не к небу взметенную хвою,
А наземь упавший листок.

Каменных дел мастер

Повесть

Анатолий ШИШКО

★

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В праздники Вася уходил к Девичьему полю. Заливной луг тянулся от Москвы-реки до Новодевичьего монастыря. Давно, еще в Академии прочел Баженов у летописца, как сходились здесь на игрище юнши и умывали себе жен.

Теперь в лугах паслись стада.

Трава была высокая, по пояс. Черницы косили луг. Работая, они пели. Звонкие их голоса сливались с трелью жаворонка. Лежа навзничь, Баженов следил, как плывут над ним облака, и тогда казалось, что он сам, шелестящие березки — все это медленно опускается на дно.

Мечты рано овладели им. В меняющихся облаках он видел очертания далеких стран. Кружились ласточки. Быстрые их тени касались ресниц. Клонило в сон. Закрыв глаза, Вася дремал, убаюканный жужжанием пчел.

Часами мог он бродить по Москве, разглядывая башни кремлевские, тайники и переходы.

Подвечер, лежа на холме, видел Баженов Замоскворечье, все в садах, плоты по Москве-реке.

Ослепительно сверкал на закате Кремль.

Вечер наступит — засадит дома отец жития читать или, помрачнев вдруг, гаркнет:

— Марш за вином!

И летит Васенька кубарем. А на дворе мороз, снег хрустит. Одежонка ветхая, продувает. Стынет над Лобным местом луна, в облака прячется, прогреется — опять выйдет. На Красной площади — ни души. Днем здесь торжище, ночью — молчалив Василий Блаженный. Как ни торопится мальчик, а все ж, постукивая нога об ногу, постоит, подивится и дальше бежит.

У Китайгородской стены — питейный дом. Люди песни гогланят, пьяные на снегу лежат. Худо в кабаке и воздух хмельной, но тепло. Наполнит целовальник флягу, три семитки бросит ему Вася, а на те деньги бумаги купить можно...

Есть у него тетрадь заветная. Там Архангельский и Успенский соборы срисованы, а Иван Великий на каждом листе. И планы разные, как быть должно, если строить. Никому не введома та тетрадь, спит на ней Васенька, днем под ряской носит, у сердца. Нет у него друзей, товарищи — насмешники, водку пьют, поповичи, апостола зубрят, нет у Баженова охоты попом быть, а велят...

И, вздохнув, прячет он флягу за пазуху.

Вот если б Ломоносова увидеть, ему бы показал Вася тетрадь. Да где ж его встретишь, в Питербурхе он, при дворе...

А много лет назад бродил он так же, у Кремлевских стен. Первую ночь в Москве провел крестьянский сын Ломоно-

сов на рыбном рынке, спрятавшись в пустых клетях. И наутро постучался в двери Славяно-греко-латинской академии. В этой Академии три года просидел Васенька, с унынием взирая на решетчатый переплет окна. А Ломоносов стал учен и знаменит. В богословском классе хранилась скамья его, изрезанная ножом. Между скамеек ходил дьячок с указкой и бил зевак по пальцам. И нельзя было плакать, а то на горох поставят, еще в руки камень дадут, и держи его навытяжку.

А монах вопрошает:

— Где ангелы сотворены? Отвечай.

Тяжело Васе одному,—только радости, что по Москве бродить. Тихонько, как вор, крадется он вверх по Тверской. Ох, разъярится отец, а взглянуть хочется...

И вот дом.

Совсем не такой, как в Кремле, во всей Москве единственный. Князя Гагарина дом. В окнах огни, тени движутся. Подкатывают к подъезду колымаги золоченые. Выходят из карет женки в робах, в завитых, будто снегом осыпанных париках. И мужчины в париках. Бархатные на них кафтаны, сбоку — шпажки. Сразу видно: дворские люди. А лучше всего дом: белокаменный, с террасками. Да разве его на морозе срисуеть?..

Бежит Вася обратно, продрог, а в глазах одно: дом с колоннами...

И уже не страшен отец. Недолго ему бушевать, напьется—розгу бросит, начнет чертей ловить. И не уgomонится, пока всех в бутылку не загонит. Всхлипывая, достанет мать кашу из печки, повечеряют, а там и спать. Но перед сном Вася убежал к реке и, глотая снежинки, смотрел затуманившимися от слез глазами на голубую Москву.

Перекликались дозорные:

— Чу-уден град Киев! Сла-авен город Новгород!

Снизу отвечали ленивым басом:

— Велик град Москва...

★

Мечты так захватили Баженова, что он не заметил, как померк день, и очнулся, услышав гулкий удар колокола.

Оседая, звон поплыл над рекой.

Баженов закрыл тетрадь, медленно пошел к берегу.

У ног волновались травы. Ничего не было вокруг, кроме неба и земли, а в сердце, в шуме крови, во всем теле ощущал он свежесть, кипенье сил. Приложив ладони к губам, Вася свистнул.

Эхо прокатилось и смолкло.

На берегу был перевоз. Юноша прыгнул на плот и оттолкнулся шестом. Забурлила, запенилась вода. Хорошо было на реке. Справа синел Воробьевский бор, ближе к берегу, между сврагами, поросшими малиной, виднелся Андреев монастырь.

Колокола его перезванивались с новодевичьими.

Безлюдно было кругом, только рыбаки бродили с неводом у берегов.

— Бог помощь!—крикнул Вася, и рыбаки лениво посмотрели в его сторону. Низко пролетела чайка. И чем дальше уплывал Новодевичий монастырь, тем яснее вырисовывались круглые его башни, стрельчатая колокольня.

Тень от шеста рябью бежала по воде.

Толкнувшись о берег, Баженов вытянул плот на песок и вошел в лес. Закат сквозил между стволами. Жадно вдыхая смолистый воздух, юноша незаметно для себя погрузился в полутьму чащи. Он хотел набрать к ужину грибов. Так, от сосны к сосне, шел он, петляя, как заяц. Хрустели под ногами шишки, порой свист пронесся по лесу, и Вася, вздрагивая, выпрямлялся. Приходили на ум рассказы о разбойниках, живших на Воробьевых горах.

Смеркалось. Он поворотил было назад, как вдруг ему почудилось ауканье. Вася прислушался: тихо. Опять крикнули, по-детски, с испугом. Голоса раздавались справа и слева, — эхо путало, — Баженов выбрался на полянку и увидел трех девочек с кузовками, полными грибов. Прижавшись друг к другу, девочки исподлобья смотрели на Васю. Старшая, лет десяти, тоненькая, с русалочьими глазами, раскрыв рот, замерла от удивления.

Улыбаясь, Вася спросил:

— Пошто шумели? Заблудились?

— Да-а, — протянула старшая, не двигаясь с места, — а все дурка Пашка: идем да идем. Еще волк заест...

— Не заест, — уверенно сказал Баженов, — я дорогу знаю. А много набрали?

Девочка приоткрыла кошелку:

— Во скока. Манька покажь — он не отымет.

Самая младшая поставила лукошко на землю и спрятала руки под передник. На всех троих были платки, повязанные по-бабьи, кумачевые сарафанчики. Девочки были босы и с любопытством рассматривали Васю, обутого в отцовские сапоги.

— Чего ж отымать, я и сам набрал, глядите.

Девочки, как галчата, сунули носы в кошелку.

— Бе-лые, — покачала головой старшая, — а у нас и сыроеги есть.

Вася посмотрел на нее. Была она русая, с черными бровками.

— Звать-то как?

— Груней, — застыдилась девочка, — а это сестренки: Паня да Маша. Она у нас меньшая, — и погладила Машу по голове, — пошли, что ли?

— Пошли.

Идя рядом с Груней, Баженов спрашивал:

— Чьи вы?

— Мы-та? Долговы. Купец он, может, слышал, в рядах торгуем.

— Вона где. А как сюда зашли?

— По-грыбы. Нас дяденька на лодке привез, обещал оборотить с ловли, да все нету. Наш тятя богатей, — болтала девочка, уже освоившаяся с Васей, — вызволишь из лесу, — алтыном подарит.

— Да я вас и так выведу.

Девочка искоса посмотрела на Васю.

— А ты кто ж такой, что алтыном брезгуешь? Барчук?

— Откуда ты взяла?

— Та-ак, — вздохнула Груня, — шуплый ты, в кружок стрижен, сапоги носишь. Отгадала?

— Из духовных, — хмуро бросил Вася, — а только я не пою, батя мой, верно, служит, а я вольный, я сам по себе, — неожиданно развеселившись, сказал Вася, — я вот рисую, ей-бо, смотри.

Не горюй, вон Москва-река, сейчас я вас переправлю, — и, сев на пенек, Баженов раскрыл тетрадь.

— Видишь, — показывал он, — колокольня.

Груня смотрела с любопытством.

— Новодевичья?

— Она.

— И сам малюешь?

— Сам.

— А не врешь?..

— Чего ж врать, я и тебя срисую, сиди только смирно.

Груня захолопала в ладоши.

— Ой, умора, девоньки, — и села на траву, — ну, малюй!

Баженов вынул из кармана уголек. Мельком глянул вокруг: угасая, догорал закат.

Было тихо. В лесу чиркнула птица.

— Синичка-невеличка, куда летишь, что говоришь, все скажи, не откажи! — закричала Груня.

— Не шевелись, — строго сказал Вася.

Девочка смолкла, сидела неподвижно, скрестив на коленях руки. Был внимателен взгляд ее зеленоватых лукавых глаз. «Русалка и есть» — думал Баженов, старательно вычерчивая круглое, в ямочках, лицо Груни. Паня и Маша, довольные, что нашли дорогу домой, взапуски гонялись по берегу.

— Утонете, босявки! — грозила им Груня и, вдруг поднявшись, заглянула в тетрадь. — А ведь схоже, да недосуг мне, тятка хватится — косу выдерет. Ты вот что, — Груня опустила глаза, — ты приходи к нам... Ладно? — и раскрасневшаяся побежала к берегу. — Домой, сестрички!

Посадив девочек на плот, Баженов переправился через реку и теперь следил, как дружно шли они по полю.

Обернувшись, Груня помахала платком.

Вася стоял, смотрел ей вслед, и было такое чувство, словно он сам заблудился в лесу.

2

Пятнадцатилетнего Баженова князь Ухтомский, первый зодчий Москвы, определил к себе, в архитектурную команду. Помещалась она в Охотном ряду,

где торговали жареной требухой, калачами, пряниками. Здесь в маленьком домике сходились все 28 гезелей Ухтомского, и он, являясь, как всегда, точно в семь утра, еще при свечах читал ученикам из Витрувия, разъяснял законы перспективы.

Задав уроки, архитектор садился в карету и уезжал.

Шумела Москва. Раздвигались ее пределы. Через великие грязи Белого города, как по болоту, тянулись вежи будущих улиц. Освобождался Кремль. Ветхости были сломаны и свезены в Никольские лабазы. По проекту славного Варфоломея Растрелли возводили дворец в Кремле, и оттуда доносились крики, ругань, грохот обтесываемых камней.

Сам Ухтомский обновлял здание Арсенала. Работа была тонкая, требовалось художество, и Баженов, закинув голову, смотрел, как его учитель, стоя в подвешенной бадье, расписывал фрески. Карету Ухтомского видели мчащейся с одной стройки на другую. Обновлялась вся Москва. Уже заканчивался Камер-Коллежский вал с кордегардиями у застав, наводили мост через Неглинку, но главным делом Ухтомского были Красные ворота, воздвигнутые по случаю коронации Елизаветы и сгоревшие.

Архитектор повторял их в камне.

Дел было множество. Рушились последние терема, очищались от завали улицы. Шалаши, курные избы, крытые лубьем, с Красной площади переносились в Китай-город. Во избежание пожара только у реки разрешалось ставить кузнецкие горны.

С рассвета шипело раздуваемое мехами пламя, ковали дотемна, пока, оглашая улицы трещотками, не проходила стража. И тогда умолкала расшумевшая за день Москва.

Усталый, Баженов возвращался домой. Итти надо было через Каменный мост, облепленный коробейниками, торговавшими при свечах. Вася покупал бублик или маковку и плелся дальше.

Жили теперь Баженовы в Замоскворечье. Из-за перестройки Кремля отцу Васи, дьячку кремлевской церкви Иоанна Предтечи, отвели домик в Средних

Садовниках. Дом был ветхий, окружен садом. Здесь, сидя под яблоней, Вася учил уроки.

Больше всего любил он тишину вечера, когда замирали птицы и над потемневшею Москвой текли волны колокольного звона. Оставляя книгу на лавке, мальчик выходил за калитку, подолгу смотрел на Кремль.

После переключки стражи все его ворота запирались.

Всплывала луна. Чернели отраженные в реке шпили башен, купола соборов...

А над всем этим высилась звонница.

Вася жалел, что не мог уже бродить по Ивановой площади, грустно смотрел на прохожих. По бревенчатому настилу, утопавшему в грязи, шли столяры, землекопы, каменщики — рабочий народ. В домах зажигались огни. Пылали костры вдоль Москвы-реки. На вырытых в землю колях сушились, как невода, рубахи, люди варили пищу или горланили озорные песни.

К полуночи затихала вся эта неугомная жизнь. Где-то далеко тренькала балалайка и слышался лай сторожевых псов. Запершись на щеколды, задвинутая ставнями, спала Москва.

Не спал Васенька. Лежа на полотах, он видел в окне серебриющиеся кусты черемухи и при мерцании ночника тайком листал книгу. Жутко было. Прислушиваясь к храпу отца, он замирал, вглядываясь в черную, вверх задранную бороду отца, смотрел на мать, даже во сне сохранявшую скорбное, забитое выраженье. Было оно такое доброе, что хотелось вскочить и поцеловать.

Но, боясь разбудить отца, Вася снова углублялся в книгу.

Вместо опостылевших риторик и пиитик пальцы его, дрожа, перелистывали хрустящие страницы Витрувия. Трактат древнеримского зодчего был ему непонятен, но планы, чертежи, рисунки величественных зданий восхищали закономерностью линий, предельной своей простотой и стройностью...

Бледный, с бьющимся сердцем лежал он навзничь и, широко раскрыв глаза, старался мысленно проникнуть в тайну стройки.

Но, по мере того, как входил он в

работу, выяснялось, что никакой тайны нет, а есть математика, расчет, знание материала. Так, на глазах у всех, работал Ухтомский. Измерял ли он землю, или указывал, куда и как класть камень, — все у него было просто, легко. И только когда путали другие, архитектор сердился, топал ногами и, сорвав с себя парик, хлестал им провинившегося по лицу. Работа продолжалась. С удивительной быстротой дом рос, ширился, замирал в предначертанной форме...

3

Поднявшись засветло, Баженов надел приготовленный с вечера кафтан и сел с книгой на ларь. Но не читалось: на душе было тревожно. А вокруг все шло по заведенному порядку: сестра вышивала, мать творила тесто.

Скрипя козовыми сапогами, в горницу вошел отец. С похмелья дьячок был хмур, сердито расчесывал бороду.

Прокашлявшись, отец сказал:

— Сбирайся.

Мать с причитаниями обняла Васю. Так было, когда недорослем отводили его в Академию. И так же, цепляясь за материну юбку, волчонком смотрела сестрица, но тогда Вася шел в духовные, мог заслужить дьякона. Не то теперь. Чувствуя свою вину, юноша стоял перед матерью растерянный, не зная, что сказать, и, поклонившись земно, вышел. Сердце его сжалось, будто уходил он из дому навсегда и все уже было чужое: сад, скамья под яблоней, кусты черемухи.

У ног вертелся пес. С ним они бродили по Замоскворецкому кладбищу, и, пока Вася срисовывал памятники, пес сидел, жарко дыша, поблескивая круглыми своими, умными глазами.

Вася погладил его:

— Ну прощай, Полкан, стереги дом. И оглянулся.

На крылечке, в платке, надетом монашенски, подперев ладонью щеку, стояла мать. Была она, как неживая, а из глаз одна за другой катились слезинки.

— Ладно, — прохрипел отец, — не навек расстаешься.

Хлопнула калитка сада. Вася опять обернулся: крестясь, мать смотрела ему вслед. Но странно, тоски он уже не ощущал: на душе было легко, — уверенно шагал Вася, едва поспевая за отцом.

День был хмурый. По небу плыли низкие облака, уныло горлалил петух. Кое-где дымились с ночи разложенные костры. Дремали у рогаток часовые. Москва еще спала, редкие пешеходы спешили на базар, да на Каменном мосту лежал пьяный, обобранный догола. Стражник толкал его в бок ногой, лежащий, с трудом приподнимая опухшее лицо, мычал.

— Ишь, упился, прости господи, — сказал дьячок.

Вася взглянул на отца. А разве сам он не пил смертной чаши? Но промолчал. Вася всегда терялся, когда отец заговаривал с ним. Так, в молчаньи, пересекли они Красную площадь.

На Спасском мосту, перекинутом через ров, окружавший Кремль, отпирались книжные ларьки. Между съестных лавок бродили собаки. Выглянувшее солнце пригревало: из канавы, заваленной отбросами, тянуло смрадом. На паперти Василия Блаженного, лениво перебирая гусли, сидели слепцы. Юродивый, весь в язвах, грыз железную цепь и, приплясывая, гремел веригами. Вокруг, с подвернутыми подолами, стояли бабы и, подперев ладонями щеки, жалостливо смотрели на юродивого.

Вася достал из бисерного кошелечка грош, бросил его в поярковый трехнищего.

— Примми христа-ради...

Юродивый подпрыгнул, заблеял и утих, разглядывая Васю мутными, в бельмах, глазами.

— Свят-свят-свят, — пробормотал юноша и бросился догонять отца, уже скрывавшегося под аркой Воскресенских ворот.

На площади, рядом с часовней Иверской божьей матери, помещалась Главная аптека, прежде австрия¹, где нынче должна была открыться университетская гимназия. Около лестницы и у входа толпились родители, держа за руки

¹ Питейный дом.

сыновей, одетых, как Вася, в серые кафтаны. Ждать пришлось недолго. Едва на Спасской башне пробило восемь, как двери гимназии распахнулись, учеников построили парами и повели в храм Казанской богородицы.

Церковь была тут же, у Китайгородской стены. Баженов шел в паре с бледным, неуверенно шагающим мальчиком. У него был высокий лоб, добрые, немного печальные глаза. «Как у того юродивого» — подумал Вася и спросил шопотом:

— Мальчик, а, мальчик, как тебя звать?

Идущий рядом вздрогнул, улыбка скользнула по тонким его губам:

— Ни-колай,—запинаясь, ответил он и мелко-мелко закрестился: входили в церковь.

Молебен был долгий. Пели многолетие царствующей императрице Елизавете Петровне, наследнику Петру Федоровичу. Стоя на коленях, Вася просил бога укрепить его в силе и разуме, а выпрямляясь, слышал голос отца, подтягивающего на клиросе басом.

Было душно. Расстегнув кафтан, Баженов оглянулся и увидел позади себя пухлого мальчика, делающего рожки над его головой. Вася погрозил кулаком. В ответ задира высунул язык и скорчил такую рожу, что Баженов едва не прыснул со смеху. Коля сокрушенно покачал головой:

— Как не стыдно!..

— А чего он дразнится! — вспыхнул Баженов.

По окончании молебна воспитанников повели обратно и выстроили шеренгой в университетской зале, где уже сидели в креслах господа-сенаторы и главнокомандующий Москвы, окруженный офицерами с треуголками подмышкой. Среди родителей, робко жавшихся по углам, Вася искал отца и вдруг увидел Ломоносова, медленно всходящего на кафедру.

Все смолкло. Потрескивали в розетках свечи люстр, зажженных для торжественности. В окна лился голубой, прозрачный день. От свечей в зале было жарко. Голос Ломоносова, низкий, задыхающийся, гудел шмелиным басом,

обволакивал сонные, отяжелевшие умы вельмож, — а говорил он горячо и, увлекаясь, округлял ладонь, словно сжимал яблоко.

Затаив дыханье, Вася слушал речь Ломоносова и невольно тянулся на носках, боясь пропустить слово. От волнения руки его заledenели, сердце стучало тревожно, глухо. А когда ректор, сменивший Ломоносова, объявил имя Баженова, как отличившегося в изящных искусствах, юноша вздрогнул, и все поплыло вокруг: белизна стен, лица, вдруг смазавшиеся, как пятна красок.

Пока читали список, Ломоносов задумчиво смотрел на Баженова. Массивное, словно вырубленное из камня, лицо академика было сурово, седые брови сдвинуты. Наклонив голову, он внимательно слушал Ухтомского.

Баженов чувствовал: говорят о нем.

И опять переводил взор на Ломоносова. Был не стар академик, лет за сорок. В зеленом, усыпанном регалиями кафтане, в белых чулках, обтягивающих полные икры, в двурогом, аннинском еще, парике, казался он Баженову чужим, недоступным вельможей. И было грустно, как от несбывшейся мечты: никогда бы он не осмелился показать свои рисунки Ломоносову...

Ректор выкрикнул:

— Фонвизин Денис, Старов Иван!..

Названный выходил из шеренги и кланялся. Тут только Баженов понял, что забыл выйти, а теперь уже было поздно, вызывали других:

— Новиков Николай, Потемкин Григорий!..

Вслед за смутившимся Новиковым шагнул Потемкин, высокий, широкоплечий юноша с дерзкими голубыми глазами. Было видно, что кафтан ему узок, а когда Потемкин поклонился, — затрещали швы. В зале рассмеялись. С любопытством смотрел Баженов на своих будущих товарищей и нетерпеливо ждал конца церемонии.

После представления главнокомандующему учеников повели обедать. Вася опять очутился рядом с Новиковым. Это был тот самый мальчик, с которым он шел в паре на молебен. Но разговор не удавался. Тогда Баженов вы-

нул из кармана бумажку, показал ее соседу:

— Ломоносова вирши. Еще в бытность его в Славяно-латинской академии сложены. Прочешь?

Новиков испуганно съежился:

— Экзекутор смотрит.

Сидящий рядом с ним Фонвизин, круглолицый, с девическими щеками, русоволосый и улыбающийся, протянул пухлую руку:

— А ну, дай...

Баженов узнал в нем своего обидчика в церкви, но желанье завязать дружбу пересилило.

— Погоди, ты не разберешь, я сам скажу, — и, оглянувшись на экзекутора, Вася осторожно пересел к Фонвизину.

Прерывающимся голосом читал он с детства любимое стихотворение:

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели.
В радости запели:
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах, плачут убоги,
Меду полизали,
А сами пропали...

— Ну, каково? — спросил Баженов, аккуратно пряча листок.

Фонвизин молчал. На круглом лице его застыло удивление.

— Премудро, — вздохнул он и повторил в раздумьи: «Едва стали ясти, попали в напасти...» Как бы нам с тобой не попасть, — улыбнулся Фонвизин, указывая глазами на служителя.

— Разговоры! — раздался голос экзекутора.

Все согнулись над своими мисками. Уже с доверием глядя на Васю, Фонвизин сказал:

— Вот вырасту, сам напишу пиесу: трагедию али комедь.

— Добро, — кивнул Баженов, — а только строить лучше. Что ж пиеса, она из букв слажена, пока ее не чтишь — пиеса не живет.

— А на подмостках?

— И то несколько часов, а дворец всегда и виден каждому.

— А музыка? — не сдавался Фонвизин. — Значит, ты и музыку отвергаешь?

Нет, музыку Вася не отвергал. Он любил ее, — не грубую медь литавров, а едва различимую мелодию рожка или скрипки. Проходя вечером по Москве, останавливался у окон, слушал горловые переливы флейты. Музыку он любил и, когда семинаристы пели, подтягивал тенорком.

— Знаешь, — сказал Баженов, — музыка повсюду, только мы ее не слышим. Она — в шуме водопада и в течении реки, и в здании...

Пожав плечами, Фонвизин отвернулся. Баженов сидел неподвижно, смотря прямо перед собой.

— А что, брат, — наклонившись, спросил Потемкин, — чарочку поднесут?

Вася вздрогнул и обернулся: в трапезную, в сопровождении Ухтомского, вошел Ломоносов. Все шумно встали. Сделав знак рукой садиться, академик медленно проходил между столов.

В наступившей тишине Ухтомский сказал:

— Михайло Васильевич, презентую вам лучшего моего гезеля.

Около себя Баженов увидел улыбающееся лицо Ломоносова. Было оно издавна знакомо и вместе с тем такое ласковое, что Вася растерялся от неожиданности.

Положив ему руку на плечо, Ломоносов тихо произнес:

— Премного насышан, благодарю...

Баженов схватил сухую, холодноватую ладонь и, не в силах сдержать порыва, поцеловал. На мгновение в глазах Ломоносова мелькнуло недовольство, но тотчас морщинки разгладились: порыв был от души. Словно в раздумьи, Ломоносов пожевал губами, хотел еще что-то сказать и, кивнув Баженову, торопливо пошел к выходу. Все расступались перед ним, но шел он, ни на кого не глядя, хмурый, с презрительно оттопыренной губой.

Как зачарованный, Вася смотрел ему вслед.

— Ну, отроче, поздравляю, — сказал Ухтомский, — теперь ты студиозус. Учись и знай: языки и счет в нашем деле — суть главное. — Проведя рукой по вьющимся волосам юноши, Ухтомский

вышел, а Баженов продолжал стоять, опустив голову.

Заметив его смущенье, Потемкин усмехнулся:

— Да ты что, никак малюешь? Пустое, брат, дело...

4

Этот день, памятный на всю жизнь, окончился поздно. С наступлением темноты университет осветился разноцветными плашками. На хорах гремела музыка, слышался шум шаркающих ног. Баженов бродил по зале, где была усроена потешная галерея. Между столбов ее, поддерживающих портик с гербом основателя Московского университета — Шувалова, были расставлены гипсовые фигуры младенцев с книгами, географическими картами, глобусами.

Посреди галереи шумел фонтан.

По всему зданию ходил Вася, заглядывал в учительские каморы, поднимался на второй этаж. Отца нигде не было. Остановившись у окна, он смотрел на залитую огнями площадь, на транспарант, изображавший богиню Минерву, воздвигающую на Парнасе обелиск в честь Елизаветы, и думал, что теперь уже не придется посещать школу Ухтомского. Красные ворота будут достроены без него. Баженов слышал грохот литавров и труб, доносившийся с башни университета, но торжества не ощущал, не с кем было поделиться праздником.

Мимо, обнявшись, прошли Новиков с Фонвизиним. Вася кинулся за ними, но мальчики поспешили скрыться в толпе. Он не обиделся, рассеянно посмотрел им вслед. Так было всегда: в Академии и в школе Ухтомского с товарищами Баженов не сближался. Дружил он только с маленьким Казаковым, сыном сенатского писца. С ним они мастерили из досочек рождественские вертепы и продавали их тут же, у Китайгородской стены. Но больше всего любил Казаков рассматривать планы, чертежи зданий. От природы молчаливый и застенчивый, в такие минуты он преображался: говорил громко, восхищенно размахивая рукой.

«Завтра все ему расскажу» — думал Баженов, спускаясь по лестнице вниз,

но, вспомнив о Груне, остановился в нерешительности: «И ей тоже». Он улыбнулся. Мысль о Груне была не случайна. На другой день после знакомства на Воробьевых горах Вася отправился в Никольские лабазы, где торговали Долговы. Отец Груни Лука Иванович насыпал ему полный картуз пряников и разрешил приходить в дом.

Васе вдруг захотелось увидеть Груню, сейчас же, сию минуту рассказать ей про встречу с Ломоносовым.

Накинув плащ, он выбежал на улицу.

Народ не расходился. Привлеченная иллюминацией, огромная толпа стояла на площади. Золоченые колымаги плыли, как лабды, кричали форейторы, звон литавров оглушал. В Кремль нельзя было пробраться. Баженов свернул на Неглинную.

Было холодно, дул резкий ветер. Подняв воротник плаща, он шел, проваливаясь в лужи. В темноте Вася хватался за деревья, росшие по берегу Неглинки. Огней не было, только на Каменном мосту сонно мигали два фонаря, и здесь он остановился, облокотившись на перила.

Была еще скована река, но в сыром воздухе ночи ощущалась близость ледохода. На том берегу сверкал огнями Кремль. Строг и величествен он был в этот час.

Баженов задумался.

Итти к Груне было поздно. А домой — не хотелось. Опять пугливый шопот матери, ворчанье отца. Так уж повелось. С детства мечтал Вася стать архитектором, и чужие люди помогали ему в этом. Когда Ухтомский являлся к отцу, дьячок безбил, кланялся в ноги, но стояло князю уехать, как отец с яростью набрасывался на сына. Он бил его, осыпал руганью...

Когда же окончательно выяснилось, что попом Васе не бывать, отец искося, будто впервые, взглянул на него и отвернулся. С того дня они не разговаривали, встречались и расходились молча. И сегодня, отведа Васю по указу Ухтомского в университет, дьячок не сказал сыну на прощанье ни слова, отслушал молебен и ушел домой.

Мать плакала, она ничем не могла помочь в разладе отца с сыном: любила и боялась обоих. Пугали ее остановившиеся глаза Васеньки, чуть искривленная улыбка, с которой он, как чужой, затаившись, смотрел на пьяного отца. И осторожно выпрашивала: не больно ли дитятко? Нет, он чувствовал себя здоровым, но в душе его не было ничего, кроме ненависти к отцу и мучительной обиды за мать. Не отвечая ей, он хватал шапку и убегал из дому. Куда? Все равно, лишь бы не видеть этих глаз, полных муки, не слышать голоса, который пел ему в детстве еще не забытые слова:

Спи, мой пригожий, сокол мой ясный...

Двери «Катка» хлопали, не переставая. Так назывался кабак, расположенный на подоле, вблизи Тайницких ворот. Здесь гуляли потерянные люди. И отсюда по обледеневшей горке пьяных скатывали к Москве-реке. Сюда заходил иногда Баженов, залпом опрокидывал чару. В грудь ударяло теплом. Юноша шел в Кремль, садился у Приказа, смотрел, как с перьями за ухом снуют писцы в решетчатых его окнах. Серое здание Приказа тянулось от Архангельского собора до Спасских ворот, где вызванивали куранты.

У Красного крыльца сидели гусяры. Тонкой резьбой были покрыты колонки крыльца. Райские яблоки и ангелы с мечами украшали его. Георгий-победоносец разил змия. Змий был жирный, ехидно поблескивал мутным, водочного цвета, глазом и, задыхаясь от пламени, высовывал раздвоенное жало. Грубо и архаично было расписано крыльцо, но в полустершихся рисунках жила запечатленная старина, наивный порыв неизвестных мастеров, живописцев из народа, потерянных людей.

О них пели гусяры.

Здесь, в сердце Москвы, была Русь, то печальное и широкое, что слышалось Васе в былинах странников, в раздумчивом переборе гуслей. И когда он переводил взгляд к зубчатым башням Кремля и выше, в голубизну неба, — солнечный свет, пенье и перезвон колоколов сливались в одно здание.

Баженов пытался зарисовать его. Чертил колонны. Они уходили ввысь. Небо было куполом. И вдруг все здание рушилось. Понурый, шел он дальше, на Никольскую. В кривой, грязной улочке вечно сновала толпа. Бойко выкрикивали торговцы сбитнем, жареными пирогами. Чад и шум кружили голову. Сидя на паперти Заиконоспасского монастыря, нищие тянули Лазаря. Обнажая язы, хватали за полу кафтана, голосили: «По-да-айте слепенькому христа-ради!» А Баженов шел, ничего не замечая, погруженный в свои думы.

И, подняв голову, невольно замедлял шаги. Перед ним был каменный, будто вросший в землю, дом, Академия, где он провел три года. Вася не жалел о них, здесь он познал историю, здесь на языке латиняк говорили с ним древние, и он впервые услышал строгий голос Витрувия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

5

В конце мая, возвращаясь из Италии, Баженов приехал в Париж. День угасал. На фоне перламутровых облаков собор Нотр-Дам чернел гигантским утесом. Блеснула Сена. Вдоль берегов ее, нагруженных бочонками, качивались суда. На мачтах сидели чайки. Скрипя, дилижанс въехал на Королевский мост, и перед взором Баженова открылась мраморная колоннада Лувра.

Солнце золотило крышу дворца.

Охваченный волнением, Баженов громко повторял стихи Тредьяковского:

Приятный брег! Любезная страна!

Где свой Нева поток стремится к пучине...

Стихи были о Петербурге, случайно вспомнились: Петербурга Баженов не любил. А здесь все выглядело иначе... Дилижанс катился по набережной. У Тюильрийского сада цветочницы продавали фиалки. Гремели колеса карет, кричали разносчики. Это был Париж, такой, каким он увидел его впервые, когда приехал сюда учиться...

Давно это было.

Семь лет назад окончен университет, товарищи разбрелись кто куда. Потемкина с Новиковым вскоре же исключи-

ли за леность и нехождение в классы, а Баженова, по ходатайству Ухтомского, определили в санктпетербургскую Академию художеств. Началось главное: языки и счет. Языки он учил люто, до зари. А ночь, весенняя ночь в Петербурге, коротка. В мае — июне вовсе нет ночей: светло, как днем. Странно это было после Москвы. До утра не мог он уснуть, все смотрел в окно на мерцающую белизну улиц. Как не похож Петербург на Москву, как он рвался домой, в тишину бревенчатых переулочков. А Кремль! А гулкие колокольные звоны, он не забыл их, когда, наплывая в синеве вечера, текут они, густые, как мед. Ах, Москва, Москва!

Он долго горевал, потом привык и даже стал находить приятность в прямых, словно разграфленных, улицах столицы. Огорчало Баженова, что все здесь было на иноземный лад. Церкви, и те напоминали кирхи и вызванивали тоненько, как часы.

Иностранное и русское до неузнаваемости перемешалось в Санкт-Петербурге. Без границ был он, и Невская перспектива упиралась вдруг в канаву или рожищу.

И всюду вода: прозрачная, чуть зеленеватая, как петербургское небо.

Каждое утро, отправляясь в классы, Баженов проходил вдоль Невы. На противоположном берегу Растрелли воздвигал Зимний дворец. Была видна низкая, в этаж, кладка, на солнце камень розовел, с порывами ветра доносилось мелодичное перестукивание каменотесов.

Привольем дышала Нева. Ветер гнал стадо белых барашков, с криком резали воздух чайки. Огибая Васильевский остров, из Финского залива шли груженные тесом баржи. Хлопали заплятаные паруса шаланд. Силуэт Петропавловской крепости напоминал корабль. Все текло, менялось в этом городе...

Смутным, как уплывающий корабль, остался Петербург в его памяти.

В Москве он вырос, учился, Петербург всегда был ему враждебен, но сейчас, проезжая по темнеющим улицам Парижа, Баженов думал о родине с волнением, понятным только на чужбине.

Почтальон протрубил в рожок, и карета свернула во двор бюро дилижансов.

6

В трактире «Золотой кролик» Баженов заказал вино и, поднявшись в отведенную комнату, принялся ходить из угла в угол.

Потрескивая, горела свеча.

Останавливаясь у зеркала, Баженов видел свое лицо, смуглое от загара. Было что-то женственное в его облике, в припухших губах и дугообразном взлете бровей. Волосы, зачесанные кверху, вились, он их пудрил, но камзол был в пятнах, кружева манжет порваны. Нет денег: всегда одна песня. Деньги из Академии высылали по третям, неаккуратно.

А за последнее время вовсе перестали присылать.

...Четыре года назад санктпетербургская Академия художеств отправила его в Париж для совершенствования в архитектуре. Вместе с Лосенко, учеником по классу живописи, они жили здесь же, неподалеку от Лувра.

Антон Лосенко, писавший картину «Чудесный лов рыбы», любил по вечерам играть на скрипке. Заслышав музыку, являлись хозяйки мансарды, молоденькие прачки: Жанета и Нинон. Смеясь, они начинали кружиться в танце. Их накрахмаленные юбки мелькали среди разбросанных повсюду чертежей, гипсовых слепков...

А теперь никого в Париже не было. Закончив картину, Лосенко повез ее в Петербург. Шагая по комнате, Баженов с улыбкой вспоминал их проказы в обществе веселых хозяек. Старшая из девиц — Жанета — нравилась ему, Лосенко увлекался Нинон. Вчетвером они пировали в трактире «Золотой кролик» в те редкие дни, когда случались деньги.

Баженов снял со свечи нагар, стал рыться в чемоданах. Давно, еще перед отъездом в Италию, он набросал портрет Жанеты, но сейчас не мог ее вспомнить, и вдруг, закрыв глаза, он представил себе вечер, предаакатную тишину реки, девочку в кумачевом са-

рафанчике, сидевшую на берегу. Где он это видел? На картине? Во сне? Непонятное возбуждение охватило его. Девочку звали Груней. Зимой они катались с гор, летом плели из ромашек венки и, кидая их в реку, следили: чей потонет скорее, — тому и жить меньше. Случалось, что грунин скрывался раньше под водой, и Вася, утешая подругу, говорил: «Не робей, ужо вырасту—женюсь на тебе». Груня улыбалась. А когда она, смеясь, хлопала в ладоши, — голос ее звенел колокольчиком...

Взволнованный, он прошелся по комнате, налил вина.

Это была юность. Он ощущал ее, трепещущую, как голубь в руке, она была в свежести весеннего вечера, в запахе каштанов, проникавшем с улицы.

За окнами прохладно шумела листва.

Баженов залпом выпил вино и опустился в кресло. Значит, все эти годы он думал о Груне, и даже тогда, когда взрослым шел с Жанетой по улицам Парижа, образ русской девочки продолжал жить в его сердце без напоминаний, сам по себе, чтобы сейчас, вдалеке от Груни вспыхнуть и загореться с новой силой...

Зашипев, погасла свеча. Баженов встал, подошел к окну. Париж спал. Луна заливала Лувр серебром. Стоя у окна, он всматривался в хоровод колонн.

Издали они казались ему прозрачными.

Было тихо. Временами проезжала запыленная карета. Свет фонарей колесом проходил по потолку, и все смолкало: трещал сверчок. Напротив, в раскрытом окне, слышалась музыка. Под аккомпанемент клавесин женский голос пел о любви.

7

На другой день, захватив папку с рисунками, Баженов отправился к своему учителю, королевскому архитектору Шарлю де-Вальи.

Было ясное утро. В небе — ни облачка. Все балконы распахнуты, и в окнах с приподнятыми ставнями — оживленные лица. Он шел, раздумывая, как его примет учитель.

Дружба их началась не сразу.

Когда Баженов, еще будучи студентом, в первые дни своего пребывания в Париже, принес Шарлю де-Вальи модель храма богини Весты, француз не поверил:

«Мсье Базиль изволит шутить» — сказал он холодно.

Но убедившись, что это не шутка, что все свободное время студент проводит над сооружениями из дерева античных моделей, архитектор сдержанно похвалил Баженова. Наблюдательность и трудолюбие были достойны одобрения, однако де-Вальи считал, что подлинный художник тот, кто, овладев мастерством, создает новые ценности. Он стал приглядываться к ученику.

После присуждения Баженову золотой медали Парижской академии де-Вальи, настаивавший на этой награде, начал торопить ученика с отъездом в Рим. Будучи иностранцем, Баженов не имел права на Prix de Roma¹. Путешествие в Италию за счет французской академии — отпадало. Де-Вальи написал в Петербург. Уведомленный об успехах пенсионера, президент санкт-петербургской Академии Шувалов поздравил Баженова званием адъюнкта и, выслав тысячу рублей, разрешил ехать в Рим...

Два года, проведенные Баженовым в Италии, не изменили его. Он остался тем же прилежным учеником, каким был в мастерской Шарля де-Вальи. Все утро просиживал за лекциями, а после уроков бродил по улицам Рима, зарисовывая памятники старины.

Наиболее частые прогулки совершал он на площадь Треви, где фонтан Сальви льет свои прозрачные воды. Спускался вечер, зажигались огни книжных лавок. Стоя под арками, Баженов перелистывал шуршащие картонные копии с мадонн Джотто, Рафаэля-Санцио, но больше всего нравились ему гравюры Джаамбатисты Пиранези.

На них было изображено то, что он сам искал в Риме: колонны, руины, портики языческих храмов.

Разглядывая гравюры, Баженов ис-

¹ Римский приз, т.е. поездка в Италию.

пытывал смущенье. Никогда ему в своих зарисовках не достигнуть мастерства Пиранези, где размах фантазии умерялся точным соблюдением канонов. Неудовлетворенность сменялась отчаянием.

Надо было родиться в Италии, чтобы стать вторым Пиранези или Бернини, чья колоннада вокруг собора Петра напоминала мраморную рошу...

Он остановился, облокотившись на перила моста. Шумела Сена. На солнце река переливалась голубизной. Поскрипывали привязанные к сваям ялики.

Набережная бурлила весенним потоком гуляющих. Мелькали в толпе фиолетовые сутаны аббатов. Раскланиваясь у портшезов, они галантно снимали треуголки. Дамы, в мушках и фижмах, обмахивались веерами. У всех на груди были цветы. Сладким дымком чадили жаровни, под мостом проплывали баржи, по бревенчатому настилу дробно стучали кареты. «Гарр! Гарр!» — кричали кучера и щелкали бичами.

Пробираясь сквозь толпу зевак, обступивших уличного фокусника, Баженов свернул во двор. Здесь, на втором этаже, была мастерская Шарля де-Вальи. Окна ее выходили на набережную. Входя по лестнице, Баженов нагнулся и, прижав папку коленом, затянул на тугле развязавшийся бант. Сколько раз, стоя на площадке перед дверью с бронзовым молотком, молодой человек собирался с духом, прежде чем постучать.

Дверь отпер сам де-Вальи.

Француз был в шелковом камзоле, без парика, тщательно выбритый, раздушенный.

Обхватив Баженова за талию, архитектор ввел его в мастерскую, где стоял мольберт, завешенный полотном.

— Сюда, мессере, сюда, — говорил Шарль де-Вальи, увлекая Баженова к окну.

И, отдернув штору, покачал головой:

— Италиянец! Открыватель земель!

Баженов протянул папку.

— Посмотрите. К сожалению, мэтр, я ничего не открыл. Даже самого себя. — Он говорил по-французски легко, дрожащим от волнения голосом, на лице его — загоревшем и обветренном —

проступил румянец. Он был красив, этот русский, с пышными, чуть вьющимися волосами.

Улыбаясь, де-Вальи разглядывал ученика.

— Ах, вот как! — сказал он и, взяв с кресла парик, надел себе на голову. — Но, мсье Базиль, все открытия в архитектуре уже сделаны, нам остается согласовать эти принципы в своей работе. Их немного, мой друг: ясность, закономерность, точная организация пространства. Следуя античным канонам, мы очистим здание от завитушек барокко и вернем миру благородную простоту древнего зодчества. Садитесь! — машинально закончил он, как на уроке, и, развернув папку, поднес к глазам лорнет.

Баженов сел на кончик кресла. В мастерской все было попрежнему и вместе с тем все выглядело иначе, будто расширилось светом окно, за которым, шелестя, поблескивала Сена. Тикали часы. Обгоняя удары маятника, гулко билось сердце Баженова. Сюда, в эту мастерскую, он впервые принес учителю свою модель храма богини Весты. Здесь, на ковре, они измеряли статую Венеры, привезенную из Геркуланума. На стенах, обитых штофом, висели в тяжелых рамах портреты короля Людовика XV и мадам Дюбарри с мальчишеской прической и полуобнаженной грудью.

Внезапно, отбросив папку, француз встал и, скрипя туфлями, прошелся по мастерской. Лицо его было строго, брови сдвинуты. Испуганный, Баженов приподнялся с кресла. Круто остановившись, Шарль де-Вальи пристально, не мигая, смотрел в побледневшее лицо ученика, затем молча приблизился и поцеловал его в лоб.

— Мэтр, — смущенно пробормотал Баженов. Он даже растерялся, видя всегда насмешливого француза растроганным.

Де-Вальи сказал:

— Из нас двоих, мэтр — вы, Баженофф. Ваш учитель склоняется перед своим учеником. Я только ремесленник, вам суждено создать бессмертные творения...

И, не дав Баженову возразить, он заключил:

— Я представлю вас королю.

8

По лестнице с золочеными перилами Баженова ввели в кабинет посланника. Окна были раскрыты. У входа Баженов остановился, почистил рукавом воротник кафтана. Шитый галуном, он потускнел уже, да и сукно из зеленого стало по швам серым.

В этом кафтане он выехал из Петербурга четыре года назад.

С тех пор многое переменилось на родине. Умерла императрица Елизавета, а шесть месяцев спустя — наследник ее Петр Федорович. В итальянских газетах Баженов прочел о внезапной кончине Петра III и о восшествии на престол супруги его Екатерины Алексеевны.

Баженов никогда не видел новой императрицы. Над камином, прямо у входа, висел ее портрет. Он изображал молодую женщину в короне на пышно взбитых волосах. Удлиненное, как на полотнах Эль-Греко, лицо Екатерины приветливо улыбалось. Баженов подошел ближе. Было в нем, в этом румянном лице с резко выдающимся вперед подбородком что-то вызывающее, одновременно девическое и порочное. Погруженный в рассматривание портрета, Баженов не сразу заметил сидящего за бюро советника посольства.

Это был маленький старичок в туго завитом парике, с орденским крестом в петлице фрака. Прищуренными глазами он окинул посетителя и, кашлянув, отложил перо.

— Чем могу служить?

Баженов объяснил. Срок его пачпорта, выданного для проживания в чужих краях, кончился в январе сего, 1765 года. Из Рима он просил продления, но ответа не последовало. В настоящее время он ходатайствует о выписке ему подорожной для возвращения на родину.

— Должен присовокупить, что назначенного мне пенсиона я не получаю уже три месяца.

Резкость тона, каким были произнесены последние слова, заставила советника насторожиться.

— Та-ак, — недоверчиво протянул он, — что же вы, сударь, стоите, садитесь.

Баженов поблагодарил, но остался стоять. Его возмутил высокомерный жест, которым было указано на кресло. Что-то бормоча про себя, старик рылся в папках.

— Не могу взять в толк, где ваша бумага. Помнится, я смотрел ее: Буженинов, не так ли, Сергей Миронов, каретных дел мастер?..

— Моя фамилия Баженов.

— Мм... скажите, пожалуйста. И не родственник?

— Нет.

С минуту советник раздумывал.

— Проверим, — кивнул он и взялся за перо, — ваше имя-отчество?

Баженов сел, небрежно откинулся в кресле.

— Василий, сын Иванов.

— Годов от роду?

— Двадцать семь.

— Занятие?

— Архитектор. Санктпетербургской академии трех знатнейших художеств адъюнкт. Профессор Болонской, Римской, Флорентинской академий. Угодно будет осмотреть мои дипломы?

— Не нужно. Отвечайте, откуда родом?

— Села Дольского, Калужской губернии. Жительство имею в Москве.

— Звание?

— Из духовных.

Советник бросил перо, вынул табакерку, раздраженно постучал пальцами по крышке.

— Так чего ж ты, братец, хочешь?

Баженов вспыхнул. Голос его стал резким, отрывистым:

— Я уже докладывал: желаю возвращения на родину. Не имея чести знать вашего чина, должен заметить, что титул адъюнкта императорской Академии дает мне ранг прапорщика, а следовательно, дворянское, сударь, звание, о чем прошу не забывать!

Советник встал, поправил на груди крест. Поднялся с кресла Баженов.

Мгновение они пристально смотрели друг на друга. Пальцы советника, перебиравшего бумаги, дрожали. Баженов был бледен, стоял неподвижно, стиснув валик кресла.

Советник первый опустил глаза.

— Хорошо, — сказал он тихо, — я доложу о вас князю, а сейчас не вздыхайте, недосуг мне, — и тряхнул колокольчиком.

На пороге появился секретарь.

— Федор Васильевич, я уезжаю, займись с гос-по-дином профессором.

Баженов кусал губы. Собрав бумаги, старик быстро пошел к дверям. Здесь он обернулся и, смерив Баженова с головы до ног, сказал, криво улыбаясь:

— Видно, что пребывание за границей не научило вас, сударь, почтению к старшим, а посему я не советую вам возвращаться в Россию.

Баженов церемонно поклонился.

— За совет премного благодарен, но лучше будет, ежели вы, сударь, останетесь здесь, а я вернусь на родину.

Дверь захлопнулась, и Баженов расхохотался. Но тотчас лицо его стало строгим. «Скотина!» — пробормотал он сквозь зубы. Вынув фуляр, Баженов вытер мокрое лицо. Возвращаясь по приемной, остановился у окна. Он слышал, как прогремела отъезжавшая карета и, обернувшись, увидел молодого человека.

Это был секретарь, провожавший советника.

Молодой человек пристально и, как казалось Баженову, восторженно смотрел на него.

— Вы Баженов?

— Да.

Секретарь протянул руку.

— Счастлив познакомиться. А меня зовут Каржавин, Федор Васильевич.

— Как прикажете вас титуловать? — нето с насмешкой, нето с раздражением спросил Баженов.

Румяное лицо юноши расплылось в улыбку.

— А никак. В настоящее время я переводчик при посольстве, в прошлом сочинитель, художник, аптекарь, — Каржавин махнул рукой, — всего не перечтешь, а родом я из Москвы, сын тор-

говца железом, что из звука фамилии явствует, обучался в Париже негодиям по желанию батюшки и под смотрительством дяди моего, сочинителя и вольнодумца. Однако негодии противны моей натуре...

В словах, в самом голосе Каржавина было что-то располагающее. Баженов с интересом смотрел на молодого человека. На нем был синий, в полоску, кафтан, бледнорозовый жилет, шелковые чулки, туфли с бантами. Напудренный парик открывал высокий лоб с близко посаженными бровями. Взгляд был смелый, решительный, во всей его фигуре чувствовалась сила, уверенность в себе, и только глаза, голубовато-прозрачные, были неподвижны, почти безжизненны.

— А, простите за любопытство, — улыбнулся Баженов, — сколько вам лет?

— Двадцать минуло. Но речь не обо мне, — с жаром продолжал юноша, — я рад, безгранично счастлив первым приветствовать вас на чужбине.

Баженов заглянул ему в глаза.

— Скажите, вы это... искренно?

— Нет, — рассмеялся Каржавин, — по поручению господина советника. Чудак вы! Да если б вы знали, как я ждал вас. Следил издали за вашими успехами и радовался, словно я, а не вы заслужили всю славу. Но расскажите о себе. Какие у вас планы? В Париж надолго?

— Прошусь домой.

— Слышал. Об этом будем говорить. Сделайте милость, садитесь.

Баженов сел, а Каржавин торопливо выбежал из приемной. Через минуту он вернулся с подносом, на котором перезванивались бутылка и два бокала.

— За встречу, — сказал он, улыбаясь.

И, разлив вино, поднял бокал.

— Российского Невтона честь! — провозгласил Каржавин. — Помните, как это у Ломоносова:

О, ваши дни благословенны!
Держайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать...

Медленно отпивая вино, Каржавин рассказывал новости. Растрелли закончил Зимний дворец. В Петербурге говорят: чудо, как хорош. Готовится торжественная инаугурация¹ Академии художеств. Президентом Академии уже не Шувалов, а любимец императрицы — Иван Иванович Бецкий, человек немецкий...

— Читал об этом, — кивнул Баженов.

— И о смерти Петра III читали?

«Испытывает» — подумал Баженов, а вслух сказал:

— Поелику известно мне — государь-император умер от геморoidalной колики. Так было объявлено в манифесте.

Каржавин поставил бокал.

— Да вы, я вижу, Василий Иванович, совсем иноземцем заделались. Убили его! Вилкой проткнули горло! Федька Бярятинский да Орлов Алексей Григорич. За оную услугу братья Орловы пожалованы графами Российской империи...

Каржавин вскочил, возбужденно прошелся по комнате.

— У вас всегда так, — глухо продолжал он, — подлецам чины, звезды, сотни крестьянских душ, а честных людей в Сибирь шлют соболей ловить. Дядюшка мой Ерофей Никитыч за одну челобитную императрице Елизавете был упрятан в каземат, а после едва ноги унес в Париж. Горячий человек, я вас беспременно сведу с ним, истинно-русский, не унывающий духом. И я такой же, весь в него...

«Зачем он мне это говорит?» — недоумевал Баженов и вместе с тем нутром, сердцем чувствовал все возрастающее доверие к собеседнику. Неприятен был только взгляд Каржавина, тяжелый, неподвижно устремленный в одну точку. Чтобы переменить разговор, Баженов спросил:

— А скажите, что слышно о Лосенко?

Каржавин пожал плечами.

— Да ничего. Как попал в Петербург, — так заглох. Писал мне, что

картина его — «Чудесный лов рыбы» — не понравилась. Оно и понятно: хохлов не любят в священном граде Петрополисе. Для сего надо быть сладкогласым утешителем на манир графа Разумовского. При Елизавете — Разумовские, при Екатерине — Орловы. Так есть и так будет, доколе гражданство не вырвет из рук тиранов бразды самочинного правления. А сие будет! — оживился Каржавин. — О том у энциклопедистов между строк узрите... Да-с, сударь, — говорил Каржавин, расхаживая по комнате, — на смену вольтеровым каламбурам идет век русских рассуждений. Читали вы его последнюю речь?

— Читал и много думал.

— А помните такое место: «Вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому!..»

— Очень помню, — ответил Баженов, вставая. Каржавин положил ему руку на плечо.

— Василий Иванович, — сказал он тихо, — не ездите в Россию...

С минуту они пристально смотрели друг другу в глаза. Опустив голову, Каржавин едва слышно добавил:

— Сгинете...

Баженов закусил губу. Он чувствовал, что этот человек говорит искренно, от души.

— За доброту сердечно благодарен, верю вам, знаю, читал и насыщенный о многом из того, в чем вы изволили меня упреждать, а не могу, без родины — не могу. Ласкаюсь послужить ей трудами.

Вздыхнув, Каржавин сказал:

— Ваша правда, — и, подняв голову, улыбнулся, — может, и я вскорости вернусь...

— Счастлив буду, — взволнованно сказал Баженов.

Сообщив, что деньги и паспорт ему доставят на дом, Каржавин проводил гостя до дверей и откланялся.

Разговор с Каржавиным не выходил у Баженова из головы. Он думал о нем весь следующий день, думал и сей-

¹ Открытие, освящение.

час, сидя в карете, катившейся по Версальской дороге.

Карета слегка покачивалась, дребезжали стекла.

Туман почти рассеялся, и за пригорком, отливающим синевой, блеснула золоченая ограда.

— Версаль, — строго сказал де-Вальи.

Экипаж остановился. Дверца скрипнула, и француз, вышедший первым, принял от ученика папку с рисунками. Взяв плащ и треуголку, Баженов последовал за учителем. Аллея платанов вела к решетке с гербами. За оградой расстилался передний двор, заставленный каретами, берлинами, портшезами.

Было полдень. В небе шли волокнистые облака.

Поправляя парик, Баженов стряхивал с плеч пудру. Парадный костюм стеснял его. Атласный, скрипящий от малейшего движенья кафтан был узок в талии. Чтобы не смять кружев, всю дорогу он сидел, вытянувшись, широко расставив ноги в сафьяновых туфлях с бронзовыми пряжками.

Накануне в поисках костюма, Баженов с домоуправителем Шарля де-Вальи объездили десятки лавок Сен-Антуанского квартала. Платил за все учитель. Сейчас он стоял, натягивая перчатки, великолепный в своем гофрированном жакете, с тростью подмышкой.

— Пройдемте в парк, — сказал де-Вальи.

У ворот, где трубила крылатая слава, дежурили лейб-гвардейцы королевы. Они были в сине-красных мундирах, с гетрами до колен. Великаны-гвардейцы не раз вытаскивали Баженова за ограду, когда он, будучи студентом Парижской академии, приезжал рисовать Версаль. Двое часовых, скрестив мушкеты, преградили путь. Де-Вальи вынул из жилета пропуск, протянул его офицеру. Завитой лейтенант отсалютовал шпагой, и ружья опустились.

Опираясь на трость, Шарль де-Вальи шел с Баженовым по главной аллее. Дворец был позади. Мраморная лестница вела к фонтану Латоны. Каскад, бьющий вокруг богини, окутывал ее струящимися потоками. Они остановились у водоема. Брызги кропили лицо.

Баженов молча, сосредоточенно рассматривал дворец.

Он был построен покоем. Со стороны парка Версаль выступал ровным прямоугольником, украшенным барельефами, статуями, вазонами. Верхний этаж блеснул позолотой. Кованые решетки окружали балконы. У перил толпились люди в париках, с лентами через грудь.

Де-Вальи вынул часы.

— У нас еще есть время, — сказал он, — спустимся в партер.

От Латоны расходились две дорожки: Летняя и Осенняя. Направо грохотала аллея фонтанов, налево была видна оранжерея.

Они пошли прямо.

По обеим сторонам расстилался партер.

В рамке его зелени серебрились два искусственных озера. По гладкой, чуть рябящей поверхности плавали лебеди.

— Здесь начинается Королевская аллея, — объяснял де-Вальи.

Аллеи были усыпаны желтым, скрипящим под ногами песком. Статуи нимф сверкали наготой мрамора. Улыбаясь, они указывали в глубину парка, где дымился фонтан Аполлона, выезжавшего на колеснице навстречу своей матери — Латоне. За стриженными боскетами открывался вид на поля Франции, тянувшиеся так далеко, что небо и синева травы, сливаясь у горизонта, напоминали море.

Кругом шумела вода. На солнце дождевая пыль отсвечивала радугой.

— Чудесно, — сказал Баженов. Не отрываясь, он смотрел на дворец, казавшийся отсюда узкой полоской золота. Линия фасада, расчлененная сдвоенными колоннами, боскеты и фонтаны, статуи среди газонов — все, что на огромном пространстве было создано различными мастерами, поражало завершенностью замысла.

Нигде в Италии парки не раскрывали перед Баженовым такой перспективы. Римские сады, вьющиеся по холмам, прятали зданье, здесь все пространство служило единому центру — дворцу. Поднял голову, Баженов увидел пролетевшую над собой ласточку и улыбнулся.

Де-Вальи изумленно посмотрел на него.

— Не кажется ли вам, — сказал Баженов, — что даже эта птица предусмотрена планом?

— Вы правы, — ответил де-Вальи, — лично я предпочитаю английский парк регулярному. Все эти строения, — он указал тростью на беседки, храмики, вольеры, — несравненно выиграли бы на фоне естественной природы. Древние это знали.

Подумав, он добавил:

— А сам дворец слишком перегружен статуями. Вы не находите?

Баженов молчал.

— О чем вы мечтаете? — спросил де-Вальи.

— Ни о чем. Разве можно желать большего, глядя на этот дворец. Архитектор, вычертивший линию фасада, сгруппировавший квадраты флигелей, которые так легки, что их можно поставить на ладонь, — не был мечтателем, он был великим художником, гением, божеством...

Баженов говорил громким, взволнованным голосом. В нем просыпалась жажда видеть, осязать, впитывать в себя красоту, сердце его глухо билось, слезы застилали глаза. Это были одновременно восторг и мучительное чувство бессилия. Ничтожными казались Баженову его чертежи, зарисовки, и сам себе он казался жалким копировальщиком, способным всю жизнь лишь срисовывать и подражать.

Бледный стоял он, почти с испугом глядя на расстилавшийся перед ним парк, на нежные краски неба и строений, слившиеся в недостижимой гармонии совершенства.

— И все-таки вы не правы, мой друг, — вздохнув, сказал де-Вальи, — в мире достаточно места для мечты.

Баженов ничего не ответил. Архитектор положил ему руку на плечо:

— Вернемся.

Они тронулись обратно. Поглядывая искоса на спутника, Шарль де-Вальи, озабоченно поджимал губы. Этот русский был одержим странным неверием в себя, в свои творческие силы. На экзаменах, среди восхищенного шопота

профессоров, он вдруг начинал растерянно бормотать что-то на непонятном своем языке. Руки его тряслись, юноша не мог провести ни одной линии, и, бросив циркуль, выбегал из класса. Огромный талант, может быть, гений, Баженов, как лунатик, ошупью, приближался к какой-то предельной для него черте и неожиданно замирал, охваченный бессилием.

Молча они подходили к Латоне.

Дворца не было видно, холм скрывал его. Поднимаясь по боковой лестнице, Баженов увидел перед собой внезапно возникший дворец и остановился, пораженный.

Пользуясь случаем заговорить, де-Вальи с жаром принялся за объяснения:

— В этом эффекте — секрет планировки Версаля. Вспомните, когда мы шли с вами от дворца, фонтана не было заметно, он закрыт лестницей. Латона вырастает перед вами, когда вы приблизитесь вплотную. Внизу, — продолжал де-Вальи, — статуи и фонтаны огромны, это античный мир, застывший в придворных позах, но если вы посмотрите на статуи сверху, то это не что иное, как пятна, указывающие членение партера.

Баженов перегнулся через балюстраду. Клумбы и радиус аллей, только-что удивлявшие его своей шириной, казались отсюда сдвинувшимися, как на шахматной доске.

Де-Вальи говорил:

— Дворец и парк в полной зависимости от человека и перемещаются по мере движения короля.

Баженов провел рукой по волосам.

— Ибо центр Версаля — король, — закончил де-Вальи.

С минуту Баженов стоял неподвижно, словно прислушиваясь к неясным еще мыслям, возникавшим в ответ на слова учителя. Ему казалось, что теперь он все видит иначе, в каком-то призрачном, отраженном свете. Солнце почти скрылось, и тени на партере рассеялись. Свет, пробивавшийся сквозь облако, падал на землю, как дождь, косым, спелым снопом ржи. «Вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому...» Эти сло-

ва он прочел давно, но только теперь их смысл достиг его сознания.

Баженов повернулся, медленно пошел за учителем.

Взглянувшее солнце ударило в окна дворца.

ИЗ ЖУРНАЛА БАЖЕНОВА

«Париж, Майя, тридцатого дня.»

Как было условлено, король принял нас при выходе. Его величество Лудовик пятнадцатый, христианнейший король Франции и Наварры — изрядного роста, тучен, у него жирная шея, круглые, навывкате, глаза. Разговаривая, он тяжело дышал.

На нем был лилового шелка кафтан, серый, в мелких кольцах парик, через грудь лента ордена св. Духа. В приемной мы были втроем. Господин де-Вальи представил меня королю. Лудовик дальнорук, мой рисунок он смотрел, вытянув руку вперед. Король стоял у окна. Было за полночь. Стриженная аллея уходила в синеву Версальского парка...

Окончив с осмотром, его величество изволил произнести:

«Я оставляю вас архитектором двора» — и протянул мне папку.

Что сделалось со мною, трудно передать. Подталкиваемый учителем, я опустился на одно колено, как требует здешний этикет.

«Сир, — вымолвил я, путая от волнения французские слова, — я безгранично восхищен вашим вниманием и огорчен тем, что недостойн его».

Король приподнял брови:

«Вы отказываетесь?» — удивленно спросил он и, не дожидаясь ответа, грозно пошел к дверям.

Мой бедный учитель стоял, как громом пораженный. Это меня развеселило, и я оправился совершенно. Всю дорогу, сидя в карете, увозившей нас в Париж, Карл де-Вальи повторял, качая головой:

«И вы отказались? Непостижимо! Вы, который так любит Париж, Францию...»

Что я мог сказать!

Да, это верно, я люблю Францию, привык к ней, но родину, Москву, я люблю больше всего на свете».

Уже темнело, а он, не зажигая огня, ощупью взбирался вверх. Привратница сунула Баженову в руки свечу, когда он, осмотрев Нотр-Дам, решил подняться на галерею. Винтовую лестницу окутывал полумрак. Свистел ветер в башенных окнах. Но, погруженный в свои мысли, Баженов не замечал ни темноты, ни холода. Не впервой ему было лазить на колокольни. Медленно взбираясь вверх, он думал о матери, о детстве, проведенном в Москве...

Внезапно Баженов остановился. Над головой блеснуло небо. Дымчатое, оно плавилось на закате. Ветер стих. Стрижи резали воздух. Сняв шляпу, Баженов подошел к ограде.

Под ним, в синеве вечера, лежал Париж.

Голубая лента Сены разделяла его надвое. При свете догорающего дня Баженов ясно различал городские башни, прямоугольник Лувра. Чуть поблескивали черепичные кровли.

Баженов облокотился о балюстраду.

Путешествие окончено. Через месяц он у себя на родине. Наступает пора осуществления замыслов, о которых он думал, бродя в одиночестве по улицам Рима.

С вершины собора Баженов различал старинную дорогу, ведущую в Рим. По ней он ехал неделю назад. Очертания ее терялись в сумерках, окутывающих Париж. А на западе, где, отражаясь в Сене, догорал закат, в самом конце острова Ситэ, вспыхнули окна Дворца правосудия.

Сумерки сгустились. Ничего уже нельзя было разобрать, ни зубчатых стен Бастилии, ни Лувра.

Только колоннада дворца белела в полутьме.

Внизу замелькали огоньки. Баженову они напомнили вечера на колокольне Ивана Великого. Тоской разлуки ждалось сердце художника. Стиснув перила, он жадно вглядывался в исчезающий Париж. «Запечатлеть этот город навеки, донести, не расплескав, сокровищницу искусств и творить там, у себя, в Москве...»

Он видел множество городов: мраморный Рим, Болонью, с ее улицами в аркадах, вокруг расстился необозримый Париж, но Москву он нес в себе, она была частью его души, его сердцем. «Москва» — повторил он в раздумьи и улыбнулся.

Перегнувшись через балюстраду, равнодушно смотрели на Париж каменные химеры, чудовища, населявшие кровли собора. В надвигавшемся мраке они, казалось, готовы были обернуться и прыгнуть на Баженова. Невольно он отступил назад и, чуть не сорвавшись в пролет, ухватился за оскаленную морду химеры. В глазах потемнело, еще мгновение — и он ринулся бы в зияющую огнями бездну. Но, осязая рукой камень, ноздреватый от времени и непогоды, Баженов уже не испытывал страха перед чудовищами. Благодетельство или безумие ваятеля дало им жизнь, в действительности они не существовали. Он был голоден, у него закружилась голова. Надо уйти.

В последний раз Баженов окинул взглядом Париж, надел шляпу и стал медленно спускаться вниз.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

11

Когда его спрашивали: «Как у вас возник замысел Кремля?» — Баженов, хмурясь, отвечал: «Сим я обязан благодетельствам графа Орлова». Говорил он так потому, что слишком зыбка была под ним почва в Петербурге, откуда он, вскоре после возвращения из чужих краев, перебрался в Москву.

В папках архитектор увозил неосуществленные проекты.

Москва встретила колокольным гулом. Баженов ехал по Тверской, и все было, как в юности: ветхие домишки, сады, где цвела черемуха. Снимая шапку, Баженов крестился на золотые купола церквей. После Парижа, Италии, негостеприимного Санкт-Петербурга он был дома, у священных холмов Кремля.

Может быть, в этот вечер, въезжая в Никольские ворота, он на один миг, неуловимый, как вспышка молнии, уви-

дел свой замысел. Глухой удар грома потряс Кремль. Хлынул дождь, весенний, стремительный ливень. Протягивая ладони дождю, Баженов стоял на крыльце Арсенала, улыбающийся, в коротком, до колен, плаще.

Дождь барабанил по крыше.

Все было попрежнему: из-под булыжника выбивалась трава, лениво шлепали по лужам монахи, и так же, октавой, гудел сквозь шум дождя Иван Великий. Мало изменилась Москва. Еще минуту назад клячонка тащила Баженова по грязной Никольской. Посулив алтын вознице, он нарочно поехал в объезд. Высунувшись из кибитки, долго смотрел Баженов на решетчатые окна монастыря, за которыми прошли его отроческие годы.

Войдя в Арсенал, где ему, как главному архитектору артиллерийской конторы, был приготовлен кабинет, Баженов сбросил плащ. Позвонив в колокольчик, велел доложить о себе дежурному и сел разбирать вещи. Их было немного: мешок с бельем, сменные сапоги и папка чертежей. Он вытер папку рукавом, развернул ее.

На титульном листе стояло:

«Прожект увеселительному императорскому на Екатерингофском месте дому».

Ниже шло его объяснение:

«Пропорции сему дому я дал Палладиева вкуса, кой в строении увеселительных домов более других я почитаю; во многих же местах пропорции, данные мною по моему усмотрению».

Задумавшись, Баженов глядел в окно. Мог ли он, каменных дел мастер, равнять себя с великим Палладио, надеяться превзойти прославленного зодчего. А между тем сей проект, заданный учителями Баженова — Кокориновым и Делямтотом — на звание профессора Академии, выполнил он с успехом.

Проект сдали в архив, звания не последовало.

Взбешенный Баженов бросился к Бецкому. Президент Академии выслушал его, небрежно развалясь в кресле. Вид старика с прищуренным глазом, насмешливо поглядывающего на «заморского академика», взорвал Баженова.

Он наговорил дерзостей. И, уходя, бросил фразу Ломоносова: «Легче Академии отставить от меня, нежели меня от Академии...»

Бецкий усмехнулся:

— Ты так думаешь, кутейник?

На другой же день Академия прислала Баженову счет деньгам, истраченным на парадный мундир: 95 рублей, сорок семь с половиною копеек.

В этом мундире он представлялся императрице.

А еще через неделю счет в 200 рублей, на обратную дорогу из чужих краев.

Тщетно Баженов доказывал, что за пятилетнее пребывание за границей ему не доплачивали пенсиону, что из этих скудных средств он выкраивал деньги на приобретение книг для отечественной Академии, что, наконец, не приличествовало русскому архитектору бегать по заказам из-за куска хлеба.

Ответа не последовало.

Рассеянно Баженов перелистывал папку. Вот план Каменноостровского дворца, сооруженного им для цесаревича Павла. А вот миниатюра самого Павла, двенадцатилетнего, курносенького мальчика в завитом парике, с вытаращенными глазами. «Жалкий ребенок» — думал Баженов, вспоминая свои встречи с наследником.

Возводя дворец, он часто беседовал с цесаревичем. Рассказами о замечательных памятниках Европы, архитектор сумел завоевать доверие Павла, любознательного от природы. Наставники занимались им мало. Главный из них, Никита Иванович Панин, канцлер империи, старался внушить мальчику неприязнь к матери. Делал он это тонко, объясняя явления природы или события исторические.

Учителя Павла—немцы, французы—каждый на свой лад развращали восприимчивую душу ребенка, низкопоклонничали, и все это с едва уловимой ноткой презрения к нелюбимому сыну Екатерины. Окружавших его лиц цесаревич не ценил и боялся. Уважал он одного Порошина, но, заметив это, Екатерина поспешила воспитателя удалить.

Вокруг наследника велась какая-то

тайная игра, смысла которой Баженов не понимал и только удивлялся, видя, как придворная карета увозила цесаревича в Эрмитаж, где Павел, разгоряченный вином, танцевал в балете перед императрицей.

Может быть, его хотели известить?

Тогда эта мысль не приходила Баженову в голову, он был ослеплен радушным приемом Екатерины, а собственные неудачи склонен был приписывать интригам Бецкого. Но сейчас, вдали от Петербурга, сидя наедине и взвешивая события, он уже ничему не удивлялся.

Разве не шептались в народе о загадочной смерти Иоанна Антоновича? Шлиссельбургский узник был опасным претендентом на престол. Его убили. Теперь в живых остался Павел. А разве Григорий Орлов, покровитель Баженова, не был одним из участников заговора против Петра III, мужа Екатерины?

Прав Каржавин: так есть и так будет, доколе гражданство не вырвет из рук тиранов бразды правления...

С минуту Баженов сидел неподвижно, закрыв глаза.

Он сам не сумел угодить императрице, мало того, осмелился поспорить с Бецким, любимцем государыни...

И только дружба с Орловым спасла его от немилости.

Баженов усмехнулся: странная это была «дружба». Вельможа в «случае»¹, граф Григорий Григорьевич Орлов проводил свои ночи в спальне императрицы или за картами в трактире Дрезденши, на Невском. Там они и встретились: сиятельный Гри-Гри, как звали Орлова собутельники, и запивший адъютант Баженов. Встретились и подружились в одну из белых ночей, когда Петербург как бы окутан дымкою и все его здания кажутся неосуществленными проектами...

На следующий день всесильный фаворит зачислил Баженова в артиллерийскую коллегию, выписал ему патент на чин капитана и повелел в кратчайший срок представить план петербургского Арсенала.

¹ В фаворе.

— А на Академию плюнь, — посоветовал Орлов.

...Вздыхнув, Баженов перевернул лист.

Это была последняя его работа: проект Смольного института.

Сейчас прожект находился на утверждении императрицы.

Смеркалось. Уже не видно было чертжей. Баженов хотел зажечь свечу, но передумал и подошел к окну. Дождь перестал. На площади чирикали воробьи. Тут он вспомнил, что не был еще у родителей. Спрятав папку в стол, Баженов накинул плащ и вышел из кабинета.

12

В канцелярии Кремлевского дворца Баженов вызвал дежурного. Пока офицер просматривал его бумаги, архитектор сел и огляделся. В приемной было темно. Свеча в закапанном шандале освещала бюро дежурного, стоявшее под аркой. В маленькие окна даже днем не заглядывало солнце. Дворец, восхищавший Баженова в юности, теперь казался ему жалким.

Взглядом мастера он ясно различал основной порок здания. Возводили его не по самостоятельному плану, а приспособляя к фундаменту из аркад, оставшихся от первого кремлевского дворца. Растрелли надстроил его. Этот человек делал чудеса. Над фасадами его зданий, легких, как росчерки пера, стройных и кокетливо-гармоничных, свешивались каменные гирлянды, словно раскачиваемые ветром.

Спрятав за обшлаг пропускной билет, Баженов вышел из канцелярии и остановился перед подъездом. Дворец ему не нравился. Поужим, но более растянутым по фасаду, был Зимний в Петербурге. Оба они не удовлетворяли Баженова. Он мечтал о простоте, строгости линий. Такъв Лувр. Даже Версальский дворец, щедро изукрашенный статуями и вазонами, сумел сохранить монументальность замысла.

А здесь единство стиля отсутствовало.

Всю дорогу из Петербурга в Москву Баженова преследовала мысль о каком-то здании. Пригравшись в карете, он дре-

мал. Снилось Италия. Ветерок с моря шевелил ветви пиний. На холме, ослепляя белизной мрамора, выростала колоннада. От толчков кареты Баженов просыпался, видел черные, крытые соломой деревушки. Поскрипывая, экипаж катился по грязной, в ухабах, дороге. Мелькали березки, колодцы, плетни. Но стоило закрыть глаза, как мгновенно — уже наяву — возникал дворец.

Сейчас, шагая по Кремлевской площади, он опять вспомнил о нем и не мог понять, что же это за здание и где он его видел. Баженов перебирал в памяти многие известные ему сооружения: собор Петра в Риме, Колизей, Лувр, но все это было не то...

Пожав плечами, Баженов направился к Боровицким воротам. Дремавший под аркой ветеран Семилетней войны вскочил, сделал на-караул. Погруженный в свои мысли, архитектор с удивлением посмотрел на старика. Восемь месяцев Баженов носил форму и все не мог привыкнуть отдавать честь.

Было уже темно. Вдоль набережной трепетали огоньки. Как двенадцать лет назад, стоял он на мосту, и перед ним был тот же Кремль, безмолвный в этот час. Река шумела. Тогда она была скована льдом. Опершись на ограду, студент смотрел на Москву, иллюминированную в ознаменование открытия университета...

Много воды утекло с тех пор. Умер и забыт Ломоносов.

На одно мгновение, когда Баженов свернул в Замоскворечье и в лицо ему пахло садами, он снова почувствовал себя школяром, возвращающимся с лекций...

Вот и лавка, куда он прибежал на другой день рассказать Груне о встрече с Ломоносовым. А за лавкой, рядом с церковью св. Климента, их дом. Баженов удивленно оглянулся. Зачем он забрел сюда? Из Петербурга он послал с нарочным два письма Аграфене Лукиничне, но ответа не получил. Слышал Баженов стороною, что отец Груни Лука Иванович Долгов, разбогатев, стал именитым гражданином, президентом Московского магистрата. «Загордели» — усмехнулся Баженов, входя во двор.

Окна были раскрыты. Здесь, на ступеньках терраски, Груня играла в куклы. Едва он завидел знакомое с детства крылечко, как все вдруг встрепетулось в нем. «А может, пропали письма?» В окнах свет, музыка, слышно шарканье ног. «Танцуют!» Он вздрогнул, провел рукой по лбу. «Ну, а хотя бы и так... Нет, не бывать этому» — пробормотал он, бледнея. Уже не колеблясь, Баженов взбежал по лесенке, схватился за висевший на веревке молоток.

На стук дверь скрипнула, и выглянул слуга.

— Лука Ивановича мне. Дома?

Старик с поклоном распахнул дверь.

— Дома, батюшка, пожалуйста, а только они в саду, с господином Каржавиным, а барышни в залке-с, пляшут...

— Каржавин, — переспросил Баженов, — Федор Васильевич?

— Они самые-с.

— А ну, доложи! — Баженов скинул слуге на руки плащ, треуголку и, обернувшись, строго спросил: — Что у вас, свадьба, что ли?

Слуга покачал головой.

— Сами по себе пляшут. Известно: молодо-зелено, погулять-ведено, — и приоткрыл стеклянную дверцу, но Баженов, вне себя от радости, распахнул ее и, перепрыгивая через ступеньки, сбежал в сад. Был он такой же, как и прежде, запущенный и таинственный, но почему-то казался меньше. А вон и беседка, где играли с Груней в прятки. Баженов оглянулся.

Под липами, с едва оперившейся листвой, он увидел хозяина. Долгов был в неизменной своей поддевке синего сукна и замшевых сапогах. Слушая Каржавина, старик шурился, важно поглаживал бороду.

— Лука Иванович! Федор Васильевич!

Оба, вздрогнув, повернулись, и, подскочивший первым, Каржавин горячо обнял Баженова.

— Василий Иванович! Ты?!.

— Я. Постой! Задушишь. Дай с хозяином поздороваться.

Лука Иванович поднялся с лавки. В глазах его, из-под седых бровей, перебежали огоньки. Взмахнув руками, он облапил Баженова, крепко поцеловал в губы.

— Ну, разодолжил! Какой молодец вытянулся. Ерой! Дай поглядеть на тебя, ваше благородие. Давно ли? Поздравляю. — И обращаясь к опешившему Каржавину, Долгов подмигнул: — А я Ваську во какого знал, махонького. За уши дировал. Помнишь? То-то. Все с моей Груняхой куралесили. Ну, садись, гостем будешь. Маланья! — крикнул он стряпухе, — тащи вина. Живо! Да покличь девиц...

Баженов смотрел и не верил: все такой же, руками машет. При имени Груни он вспыхнул весь, но нехватило сил спросить: «А может, давно замужем?» Он даже не слышал, что говорил ему Каржавин.

— Ах, мон-шер, как я рад, — повторял тот, не выпуская руки Баженова, — а мне и невдомек, что ты здесь свой. Ведь я Долговым родня, троюродный племяш Луки Иваныча. Да ты садись. — И, толкнув Баженова на лавку, Каржавин хлопнул его по плечу. — А мы с ним, дядюшка, в Париже познакомились. Что за город! Бель Франс! Пропадаю! — крикнул он. — Ни за грош пропадаю! Отец выгнал. Знать не хочет. А все ты, мон-шер: Москва да Москва, вот тебе и Москва. Ежели б не Лука Иванович, сплошное, брат, мизерабль, с голоду сдох бы...

— Ну, уж ты скажешь, — самодовольно ухмыльнулся Долгов и опять погладил бороду, — крутенок твой родитель, это верно, да и ты хорош, все трень-брень на уме, нет того, чтобы в дело вникнуть, к торговлишке приохотиться. Как отец? Здоров? — обернулся он к Баженову.

Помолчав, Баженов ответил:

— Писал, что здоров. Благодарю.

— А ты не благодари попусту. Отца чтить надо. Вон Федька, даром что в Парыж ездил, а пустобрехом был, пустобрехом остался. Чего зубы скалишь? Правду говорю. Лишит отец наследства, — белугой взвоешь. Триста тысяч денег! Шутка ли...

Каржавин только рукой махнул.

— Не слушай ты его, — сказал он по-французски и дернул Баженова за рукав.

С терраски сбежали две девицы, обе в белом, с завитыми локонами.

— Вот, не угодно ли, — кивнул Долгов, указывая пальцем на Баженова, — Ивана Федоровича сынок. Небось, забыли, сороки. А Груня где?

— Она в саду-с, папенька, за черемухой пошла, — пролепетала Прасковья Лукинична, приседая в реверансе, а Маша, зардевшись, кинулась было за Груней, но Баженов остановил ее.

— Погодите, я сам...

Сердце его билось, в висках стучало, и, не глядя на щебетавших девиц, он бросился в глубь сада. Черемуха росла у забора. Прежде чем свернуть на аллею, Баженов перекрестился: от дурного глаза. И вздрогнул, заслышав легкие шаги. Еще не видя никого, а только различая сухой шелест платья, Баженов понял, что это она, Груня...

Вышедшая из-за кустов девушка остановилась, приложила ладонь к груди. Черемуха выпала у нее из рук. Баженов молча смотрел ей в лицо и не верил своим глазам. Перед ним стояла высокая, стройная девушка, в голубой робе, с жемчугом на шее. Было что-то прежнее в ее лице, в удивленно приподнятых бровях, в косах, лежащих вокруг головы спелым жгутом пшеницы, но глаза, лучистые и улыбающиеся, смотрели поновому, отчужденно...

Подоспевший Каржавин проворно собрал цветы.

— Сестрица, позвольте представить вам друга моего, Василия Ивановича, — и, обернувшись к другу, усмехнулся, — Долгова, Аграфена Лукинична, прошу любить и жаловать...

Баженов молча поклонился. Сердце его вдруг сжалось от охватившего отчаяния: чужая, совсем чужая. Когда он поднял голову, глаза его встретились с насмешливым взором Груни.

— Опоздали, братец: мы уже знакомы...

Каржавин быстро взглянул на нее.

— Не думал, не гадал... А, впрочем, рад.

Груня взяла у него мокрый от дождя букет, бережно расправила цветы.

— Спасибо, Федя. Что ж мы стоим: идемте в залу.

— Танцовать! Танцовать! — обрадованно подхватил Каржавин, пытавшийся скрыть смущенье и, первым вбежав в дом, крикнул: — Ванька! Менует а ля ренн!

В зале бравурно ударили по клавишам.

Не двигаясь, Баженов пристально смотрел на Груню. Она стояла, склонив голову набок, перебирая пальцами ожерелье. В атласной шитой бисером робе, Аграфена Лукинична совсем не походила на девочку, которую он знал, и все же это была она, Груня, русалка с зелеными глазами.

Едва сдерживая волненье, Баженов спросил:

— Помните, как мы воровали здесь яблоки?

Груня улыбнулась.

— Помню. А как Маша плакала, когда вы ее дразнили. Сегодня она вас не узнала.

Медленно они шли по аллейке. Искона поглядывая на собеседницу, Баженов не мог притти в себя от удивления. Неужели эта девушка с веером в руке — Груня? Но голос был тот же, звонкий, проникающий в сердце.

Баженов остановился, заглянул ей в глаза:

— Помните Воробьевы горы? Какие мы были с вами дети...

— Да, — чуть слышно ответила Груня и опустила голову, — а вам должно быть стыдно забывать друзей...

Он не забыл, не мог забыть, все эти годы он думал о ней.

— Я писал к вам, — торопливо закончил Баженов.

Не отнимая руки, Груня смотрела на освещенные окна дома. Свет падал на дорожку, где они стояли, охваченные налетевшим порывом. Вместе с ветерком, шелестевшим листвою берез, доносились звуки клавиш. Баженов поцеловал руку девушки. Решительно высвободившись, Груня быстро пошла к дому.

Баженов преградил ей дорогу.

— Грунюшка, вы сердитесь, вы не рады мне?..

Она раздумчиво покачала головой.

— Мне нужно итти, — сказала Груня, — пустите! — и, вырвав руку, бросилась бежать по аллейке, придерживая шумящие юбки. Плечи ее вздрагивали.

Баженов сделал несколько шагов вперед и остановился. Он видел, как на крылечке Каржавин подхватил Груню, ввел ее в дом. «Вот оно что, — пробормотал Баженов и закусил губу. — Значит, прав Лука Иванович, хоть и пустобрех Федька, а все ж свой брат, миллионщик». Ворот душил Баженова, он растегнул кафтан, устало опустился на скамью. Музыка звучала издалека, сходились и расходились пары. «Что я ей, — думал он, — случайный кавалер, пауза между танцами, да и танцовать-то как следует не умею. То ли дело «братец». — Баженов усмехнулся: — Братец — сестрица, какой вздор!..»

Он поднялся, растерянно глянул вокруг. Где-то неподалеку была калитка из сада на улицу. «Все это пустое, детские бредни» — повторял Баженов, как в лихорадке. Пальцы его дрожали, рука никак не могла нащупать засов.

Калитка скрипнула, и он вышел на улицу.

13

Время плыло над ним облаком, шумело громами, но, странствуя по чужим краям, Баженов никогда не ощущал так ясно его течения, как в этот вечер, стоя у ворот родного дома. Сейчас ему хотелось видеть отца, сестру, забыться в объятьях матери, не думать о Груне. С минуту он размышлял, не двигаясь, охваченный сомнениями. Потом толкнул ногой калитку, вошел в сад.

Он был все тот же, вон и скамейка, где Вася учил уроки, но деревья выросли, а на месте сломанной скамейки торчали два гнилых столба. У конуры лежал кудлатый пес, напоминающий Полкана. Завидев чужого, пес залаял, вскочил, гремя цепью, — дверь открылась, и на пороге показался отец.

Баженов узнал его раньше, чем успел разглядеть цыганское лицо, с черной

бородой, широкие плечи, насупленный, пронизывающий взгляд и вдруг понял, что приходит не следовало, что из этого дома он вышел навсегда.

Но было уже поздно. С причитаниями выбежала мать, суетливая женщина в черном платке. Коснувшись ее сморщенной щеки, Баженов почувствовал, как в груди его что-то дрогнуло. И будто не бывало Парижа, Версальских стриженных садов, а то, о чем он всегда думал, странствуя, — образ матери, — был снова подлинной его жизнью. Но как постарела мать! Как все изменилось дома!..

Жадно оглядывался он по сторонам. На полатях сушилось белье. Здесь Вася читал Витрувия. На трехногом столе поблескивал штоф водки и лежала нарезанная вобла. Шмыгали тараканы. Сальная свеча тускло озаряла печь.

Значит, этот мир существовал рядом с другим, необъятным, все то время, как он учился, путешествовал. Значит, в этой наполовину истаявшей свече и был тот закон времени, которого он, скитаясь, не ощущал в себе...

Посреди горницы, в рваном подряснике стоял поседевший, совсем не страшный отец.

Они обнялись.

Они никогда этого не делали раньше, и теперь, вглядываясь в сгорбленную фигуру дядяка, Баженов не мог вызвать ощущений детства. Да полно, мучил ли отец Васю, не всегда ли, как сейчас, были подернуты влагой его глаза под угрюмо нависшими бровями?

— Я тебе налью, — растерянно бормотал Иван Федорович, и руки его тряслись, и звякало горлышко о стакан.

Улыбался Баженов:

— Налей, налей, отец!..

А мать, не разжимая объятий и содрогаясь от душивших ее слез, все спрашивала: не больно ли дитятко? Ее пугал Васенька, как-то странно смотрящий на отца. Нет, он здоров, только в сердце его не было ничего, кроме пустоты, щемящей обиды за мать, за жизнь стариков в кротовой норе. И никого с ними нет: сестра вышла замуж и живет в Рязани, брат на послухе в Киево-Печерской лавре...

Сидя на табурете, Баженов рассказывал им о Петербурге, о том, как гулки ночью шага на площади святого Петра в Риме. Да, в Риме, ибо их сын, академик, профессор Парижской, Флорентинской...

— Васька, налить?

— Наливай... О чем бишь я?.. Да, так вот в Риме... Рим, отец, совсем не похож на Москву...

Вытирая рот ладонью, ухмыляется Иван Федорович:

— И сивухи, поди, нет?

— Нет, кажется, нет, не знаю...

Пить надо быстро, одним глотком, обжигает, но — легче, и как будто не было неудач, прожекта Екатерингофского дворца, всех неосуществленных прожектов. «Ваше здоровье, батюшка!» Пить надо, если возможен сверкающий Париж и вот эта горница, погруженная в полумрак. А может быть, нет ни Парижа, ни Петербурга, а только одни стены, гулкие пустые залы дворцов, которые он возводил на вымершей земле? Все возможно. А вот когда императрица рассмотрит его прожект Смольного, он создаст, наконец, бессмертное творенье, и у него будут деньги, много денег: триста тысяч!..

— Все возможно, — кивает Иван Федорович.

Размахивая руками, Баженов вскакивает, ему кажется, что он снова в мастерской мэтра де-Вальи и что его слушает вся Парижская академия.

— Ну, а храмы там есть? — ехидно спрашивает дьячок. — Небось, у еретиков погано?

— Храмы есть. В Париже — Нотр-Дам. Главный колокол его весит восемьсот пудов...

Иван Федорович хохочет, живот его волной ходит под рясой:

— Ведь как врет, стервец, во-семьсот, говорит, пудов!..

Баженов смолкает: о чем он может им рассказать. И невольно съеживается, как в детстве, заслышав грозный окрик отца:

— Марш за вином!

Но за водкой его не посылают. Она уже здесь, под полом. Дьячок открывает крышку ската, лезет в голбец, —

мать держит его за подрясник, не пускает: «Уймись, безбожная душа!» Изогнувшись, Иван Федорович ударяет ее в грудь, и она с тихим стоном валится на пол.

Гнев охватывает Баженова.

— Не смей бить мать!

Дьячок застывает с флягой в руке, взъерошенный, как захмелевший сатир с итальянских фресок.

— Ты, — хрипит он, — ты, перечить отцу, родителю? Убью! — взвизгивает Иван Федорович и замахивается флягой. Пронзительно кричит мать, потом падает на колени, пытаясь защитить сына, и ничего уже не помнит Васенька; что-то знойное и мутное, терзавшее его в детстве, как кошмар, с новой силою захлестывает душу.

Со звоном летит оземь фляга.

Два тела, — потное, жирное — отца и напружинившееся издавней ненавистью — сына, — сплетаются в яростный клубок. Гаснет свеча, и борьба длится во мраке, с хрипом, скрежетом, заглушенными ругательствами.

Все кончено. Дьячок связан, корчится на полу, мать подметает стекло. Баженов с рассеченной щекой ищет свой плащ, треуголку. И вдруг, вспомнив, что вещи остались у Долговых, улыбается. Испуганно следит за ним мать. Обнимая ее, Баженов сует в дрожащую руку три рубля, все, что у него есть, порывисто целует седую голову и выбегает в сад, залитый луной. Томительно щелкает соловей, кусты черемухи протягивают свои белые лапы, словно стараясь удержать Васю...

Прислонившись к забору, Баженов вытирает кровь с лица. И снова, в круженьи танца видит Груню, ненавистного Каржавина. Подождите! Он еще покажет им. Он грозит в пространство кулаком.

Пошатываясь, Баженов бредет к себе домой, в Кремль. Луна серебрит зубчатые его стены, он смотрит на них, пытается понять, где он видел другие, в колоннах. Проводит рукой по волосам. Как глупо: напился. Вино жжет грудь, но еще сильнее жжет мысль о каком-то зданьи, вспомнить которое он не в силах весь вечер...

В лунном блеске Кремль. Высоко в синеву неба тянутся едва видимые колонны...

Может быть, в эти минуты, когда на Спасской башне часы гулко вызванивают полночь, ему открывается замысел: ...прозрачные, одна на другую поставленные колонны...

Хмурый часовой долго рассматривает билет капитана артиллерии Баженова.

Выше поднимает фонарь.

Всклоченный, бледный капитан смотрит куда-то вверх. Часовой удивленно закидывает голову и не видит ничего, кроме звездного неба.

14

На третий день прибывший из Петербурга генерал-фельдцеймистер Орлов потребовал к себе Баженова. Архитектор сидел в кабинете за разработкой плана Кремля.

Мысль эта родилась в одну ночь.

На месте расстрелиевского дворца должен был возникнуть новый, четырехэтажный. Стена с двойным рядом колонн охватит собой Кремлевскую площадь на три версты в окружности. Ветхое здание Приказов будет снесено, дабы очистить площадь с древнейшими соборами и колокольней Ивана Великого. С противоположной стороны площадь замкнется декоративной аркой с колоннадой, напоминающей знаменитую рошу колонн перед собором Петра в Риме. Широкая мраморная лестница свяжет Кремлевский дворец с гранитной набережной Москвы-реки. Центром архитектурного ансамбля будет дворец, видимый со всех сторон... Баженов так увлекся, что не слышал звонка из приемной Орлова.

Явившийся адъютант потребовал — итти незамедлительно.

Баженов встал, с минуту пристально рассматривал офицера и опять сел за стол.

Адъютант положил на руку чертежи.

— Господин капитан, его сиятельство приказывает вам следовать за мной.

— Да, да, — кивнул Баженов, — но стены придется срыть...

Через минуту, застегивая на груди жилет, Баженов входил в дворцовую приемную. В зеркалах он видел себя растрепанным, без парика.

Дверь открылась, и Баженов очутился на пороге кабинета.

Сидя за бюро, Орлов писал. Одетый в генеральский зеленого сукна мундир, с голубой лентой через плечо, граф был тщательно выбрит и напудрен. Почти одних лет с Баженовым, Орлов казался старше. Красивое, несколько холодное лицо его было хмуро.

— Ждать заставляешь, — пробормотал он вместо приветствия и, не указав на кресло, потребовал роспись артиллерийского ведомства.

Баженов заявил, что она еще не составлена.

Откинувшись в кресле, Орлов вынул табакерку, щелкнул пальцем по эмалевой крышке.

— Однако, братец, чем же ты здесь занимаешься, — и, оглядев архитектора, презрительно добавил, — бражничаешь? Чтобы завтра же была роспись.

Баженов поклонился и хотел итти.

— Постой, — продолжал Орлов, закладывая понюшку, — всемиловитейшая государыня, по великой мудрости своей и неустанно пещась о благе государства российского, повелела — созвать собор депутатов для заслушивания монаршего Наказа. Собор назначен на июль сего года, здесь, в Грановитой палате. Словом: тебе вменяется привести оное здание в должествующий вид. Разумеешь? Что касаемо твоего прожекта, государыня рассудила поручить возведение Смольного иноземному мастеру, а тебе оканчивать петербургский Арсенал.

Орлов поднял тонкие свои подрисованные брови: архитектор стоял все в той же позе, бледный, сияющий и как будто вовсе не слышал его слов. «Чудно, — подумал Орлов, — окаменел, словно статуя». Баженов провел ладонью по груди, от горла до сердца, тихо сказал:

— Ваше сиятельство, выслушайте меня.

И положил на бюро скатанный в трубку план.



Прошел час, два, а он все говорил громким, взволнованным голосом. Сперва Орлов слушал его с брезгливой усмешкой, но постепенно лицо его прояснилось, одобрительно кивая, он принимался ходить из угла в угол. Остановившись, Орлов недоумевающе смотрел на Баженова.

Темнело. Доносилось пенье военного рожка, но ни сумерки, ни команда сменяющегося караула не могли прервать Баженова, рассказывающего о своем дворце с такой уверенностью, словно он уже был построен, и стоило только выйти на Кремлевскую площадь, чтобы очутиться под его колоннадой...

Часы на камине пробили десять.

Смолкнув, Баженов испытующе смотрел на Орлова. Увлеченный идеей постройки, способной затмить своей грандиозностью храм Соломона, римский Паладин, Акрополь, — Орлов не знал, что сказать. Конечно, строительство дворца обойдется дороже тридцати миллионов, как уже рассчитал этот безумец, недвижно сидящий в кресле, — одна лестница будет стоить миллиона два, но Орлова занимало другое: если ему удастся осуществить баженовский проект, не вернет ли он тем самым расположение Екатерины, приблизившей к себе Потемкина? При этой мысли Орлов стиснул зубы. Лицо его побледнело от ярости, и, чтобы скрыть волнение, он отвернулся к окну.

Заранее согласный на все условия Баженова, Орлов размышлял, что ему сейчас сделать: подойти, обнять архитектора, просто пожать руку?

Помолчав, он спросил:

— Как это ты, братец, додумался?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

15

В девяти верстах от Москвы раскинулось село Коломенское. В старину здесь была вотчина царя Алексея Михайловича. На взгорье, в зелени садов, стояли деревянные хоромы. Солнце золотило маковки теремов. Над од-

ним из них жарко пылал византийский герб. Множество галлереек, переходов было в тех хоромах, и по вечерам, когда стража, отстучав в кологушки, запирала дубовые ворота, долго еще скрипели лесенки под боярскими тяжелыми шагами.

В узкие оконца, затянутые разноцветной слюдой, свет проникал скупо, — сумрачно было в светлицах, где сидели теремные девушки, склонившись над пальцами. Далеко полночь молился царь в своей опочивальне, стоя на коленях перед суздальскими, сурового письма, иконами с почерневшими ликами...

— А вот здесь, — говорил Баженов, отворяя резную дверь, — была думская палата.

Вдоль сводчатой горницы тянулись лавки, крытые алым сукном. На столе с бахромчатой скатертью были расставлены ларцы, братины, деревянные ковши.

Несколько минут все молчали, рассматривая потолок, расписанный знаками зодиака. Начальник дворцовой экспедиции, генерал Измайлов, звеня шпорами, подошел к столу:

— Вещицы прибрать надобно.

— Не извольте сомневаться, ваше превосходительство, они у меня в рестре, — ответил Казаков, заглянув в тетрадь, — вот не угодно ли видеть: за номерами 143, 144, 145?

Баженов усмехнулся. Точность была страстью Казакова. Щеголеватый, в своем черном кафтане, с ловко прилаженной косицей, он напоминал управителя: все у него было проверено, занумеровано. «Пропал бы я без него» — думал Баженов, ласково смотря в озабоченное лицо друга.

Казаков был небольшого роста, ладно сложен, с высоким, открытым лбом и по-детски выпяченной нижней губой, придававшей ему недоверчиво-обиженный вид.

— Жалко, поди, теремов-то, — сказал Долго и, сняв картуз, почесал начинавшее лысеть темя, — а, что скажешь, Вася?

— На разбор Коломенского, почтеннейший Лука Иванович, у господина

архитекта Баженова имеется высочайшее разрешение, — ответил Измайлов, возвращая тетрадь Казакову. И, вздернув плечи, победоносно оглянулся по сторонам.

Долгов разглаживал бороду.

— Да я знаю, а все ж, поди, сердце екает...

— Рассудите сами, — серьезно сказал Баженов, — дворец Коломенский ветх, заваливается. Всякий, кому не лень, тащит по бревнышку, а ведь это выдержанное сушеное дерево. Лучшего материала для модели моей не сыскать...

— Папенька, наденьте картуз, простынете, — перебила Груня.

Баженов искоса взглянул на нее. Аграфена Лукинична была в бархатной безрукавке, надетой поверх розового сарафанчика, и напоминала боярышню. Каблучками желтых, сафьяновых сапожков Груня нетерпеливо постукивала нога об ногу.

— А и то правда, — вздохнул Лука Иванович и, надев картуз, первым вышел на двор, где Каржавин, сидя у челобитного столба, срисовывал дворец.

Подбежав, Груня заглянула через плечо и захолопала в ладоши:

— Ай да Федя! Смотрите-ка.

Была она так искренна в своем порыве, что Каржавин вспыхнул и, чтобы скрыть смущенье, недовольно пробормотал:

— Ну, сестрице верить нельзя. Что вы скажете, Матвей Федорович?

Казаков подошел ближе, прищурился.

— Красками увлекаетесь, живописностью; я уже говорил...

— А, по-моему, хорошо,—раздумчиво произнес Баженов, — Феде удалось схватить дух строения, век его, сие я почитаю за главное.

— Ежели рисунок правилен, — значит красив, при чем здесь век,—не понимаю, — вспыхнул Казаков.

Баженов положил ему руку на плечо.

— Не гомози. Рисунок — рисунком, а живопись — живописью. Идею горячить надо. С помощью фединой фантазии и твоего наистрожайшего плана я

сотворю из дерева модель Кремлевского дворца. Вот и не исчезнет вовсе Коломенское, — обратился он к Долгову.

— Ну, ежели так, — кивнул Лука Иванович, — а не пора ли, други, перекусить? Время седьмой час. Как посудите, ваше превосходительство?

Измайлов наклонил голову в знак согласия.

Все гурьбой пошли к дормезу, в котором приехали Долговы. Кучер Луки Ивановича расстелил на лужайке ковер. Появились копченая рыба, пирожки на меду. Фляги из погребца вынимал сам Лука Иванович и, обтирая их полою поддевки, бережно ставил в холодильник.

День был жаркий, почти летний. Скинув поддевку, Долгов разливал рейнвейн по чарочкам. Сестры Груни, Праксавья Лукинична и Маша, обе в светлых платьях, хочоча, резали каравай.

Привстав с колен, Груня крикнула:

— Федя, что же вы?..

— Сей минут, сестрица, толико вот домалую малость, — и, бросив кисть, Каржавин стал вытирать руки. Он был в одном камзоле, в батистовой рубаше с кружевными манжетами, но без кафтана: боялся замарать красками. Парижский, шитый золотом кафтан висел на ветке дуба.

Баженов задумчиво смотрел на Груню. Была она такая же, как всегда: легкая в движениях, насмешливая и вовсе не хотела замечать его. Скрестив руки на груди, в который раз предавался он грустным сим размышлениям. А, может, и впрямь люб ей Федя? С первой встречи, там, в саду Долговых, Баженов, пораздумав наедине, остудил свое сердце. Значит — судьба. Не было злобы на Каржавина. Сам, по-дружески, призвал его к работе над Кремлем.

Как порешит Груня, так тому и быть.

...Давно утвержден план Кремлевского дворца. Восхищенная широтою замысла, Екатерина сказала: «Мы созданы друг для друга, господин Баженов, я для вас, а вы для меня». И тут же начертала на проекте: «Быть по сему».

С тех пор Баженов успел дважды съездить в Петербург, достроил Арсенал,

и вот снова в Москве, принят у Долговых, как свой, ходит с Груней по модным лавкам, кружится с ней на качелях под Девичьим полем, а все вчуже: ни жених, ни гость... Жук сел на рукав кафтана, Баженов хотел сдунуть его, но жук, раздвоив крылья, улетел сам, и он улыбнулся: рядом стояла Груня.

— Выпейте, — сказала она, подавая чару. Глаза ее лучились, на зарозовевших щеках проступили ямочки.

Он принял вино, поблагодарил.

— Не так, не так, — рассмеялся Каржавин, подходя, — в пояс кланяйся, Базиль Иванович, когда боярышня подносит. А теперь — в сахарны уста.

Груня вспыхнула.

— Уж вы всегда... — и, не договорив, бросилась бежать к своим.

Взяв Баженова под руку, Каржавин выше поднял чару:

— Друзья, первый тост за виновника торжества!

— Стойте, — сказал Казаков, — тут у меня есть поздравительное...

— Слушаем! Слушаем! — хором закричали все.

Казаков вынул смятый лист и ровным голосом начал читать:

Прости, престольный град, великолепно аданье
Чудесной древности, Москва, Россий блистанье!
Сияючи верхи и горды вышины,
На диво в давний век вы были созданы.
Впоследни зрю я вас, покровы оком мерю
И в ужасе тому дивлюсь, сомнюсь, не верю;
Возможно ли, чтоб вам разрушиться, восстать
И прежней красоты чуднее процветать?
Твердыням таковым коль пасть и восста-
вляться,
То должно, так сказать, природе применяться!
Но что не сбудется, где хочет божество?
Баженов! начинай, — уступит естество.

— Дерзай, Баженов: уступит естество! — крикнул Каржавин. — Виват! Все потянулись чокнуться с Баженовым.

— А кто же сочинитель сей? — спросил Долгов, вытирая бороду.

— Право, не ведаю, — ответил Казаков и заглянул в листок, — какой-то Гавриила Державин...

— Пиита отменный. Ну-ка, Иваныч,

по-родственному, я ведь, чай, тебя сызмальства знал, — и Долгов потянулся обнимать Баженова.

— Поздравляю, — коротко сказал Казаков, — а токмо у тебя, Вася, в расчетах Кремля ошибочка вышла. Я проверял.

— Ой, поссоримся, Матвей!

Казаков сдвинул брови.

— Не ври, брат. Ничего такого не будет. Люблю я тебя, земно кланяюсь твоему гению, а ругать буду. Поцелуемся.

Баженов порывисто обнял друга.

Все вокруг просветлело, быстрее неслись облака, — Баженов стоял, огушенный приветствиями, смеясь, плескали в ладоши сестры Груни, а она была вдалеке, и только уголки губ ее вздрагивали, сдерживая готовую прорваться улыбку.

Аграфена Лукинична одна не подошла, не поздравила.

Баженов протянул Каржавину чарку.

— А ну, Федя, налей...

За локоть его тронули, — он обернулся и увидел Груню.

— Не пейте больше, — сказала она так строго, что Баженов смутился и поспешно поставил чарку на траву.

А Груня уже уходила.

У поворота аллеики Баженов нагнал ее.

— Грушенька, за что вы на меня сердитесь? — спросил он, наклонясь к щеке, где дрожал золотой, будто опаленный солнцем, локон.

Груня, не отвечая, покусывала травинку.

По ступенькам, заросшим мохом, они взошли на галерею Вознесенского храма. Это была каменная, новгородской кладки, церковь, построенная по древнему обычаю — шатром. Чудный вид открывался с галереи. У ног текла спокойная Москва-река. Под холмом излучина делала поворот, и река, разлившись, напоминала здесь озеро.

Низко склоненные ивы полоскали свои ветви в воде.

На том берегу был виден заливной луг, где днем паслись стада. Тишина была кругом, только в саду слышался шорох крыльев, перепархивали птицы.

Голосов их не было слышно, день замирал, и над рекой поднимался легкий, как пар, туман.

— Здесь вот, — сказал Баженов, указывая на каменный трон, стоявший в глубине галлерей, — любил сиживать царь Алексей Михайлович. Отсюда следил он за стрелецкими полками, маршировавшими на том берегу.

Помолчав, он спросил:

— О чем вы думаете?

Груня улыбнулась:

— О вашем дворце...

Медленно шли они по узкой стезжке. Был уже вечер. Сквозь густевшую синеву неба проступил бледный месяц. От реки тянуло сыростью. Сняв с себя кафтан, Баженов накинул его на плечи Груне. Рука об руку шли они, позабыв обо всех, и, заслышав громкое ауканье Маши, поворачивали назад. Баженов рассказывал, как жили здесь в давно прошедшие времена. В майские, светлые ночи яблоны вокруг дворца стояли, словно невесты, в уборе мелких, душистых цветов. Слышно было, как, скрипнув дверцей, спускалась по лесенке теремная девушка. Озираясь, спешила она по лунной дорожке к реке. Сады были гуще в те времена, уходили за овраг, в сельцо Дьяково, вились по склонам холма и на много верст окрест наглоняли воздух благоуханьем...

Груня остановилась, сорвала ветку яблоны. Лицо и грудь осыпало лепестками. В эту минуту она была так хороша, что Баженов смолк, восторженно глядя ей в глаза. Усмехнувшись, Груня пошла дальше. Взор ее опять стал строгим, задумчивым...

Идя рядом, Баженов продолжал рассказывать:

— От стонов колодников, пытаемых в застенках, просыпались птицы в соколиной башне. Хрипло клекотали с перепугу охотничьи соколы в кожаных клубочках, надетых на голову. И снова умолкало село. А девушка шла, замороженная тишиной, ничего не различая вокруг. Отсчитывая часы, ударяли стрельцы в медное било. «Посма-атри-вай!» — сонно кричали сторожевые на башнях. Добежав до холма, девушка, перекрестившись, с криком подстрелен-

ной птицы бросалась вниз, в быстрину...

— Много тайн хранит в себе дворец, — закончил Баженов, беря Груню за руку.

Они вышли из-под арки соколиной башни, где давно уже не было птиц, и остановились на берегу реки. Луна заливала их синим, холодноватым блеском.

Опустившись на траву, Груня спрятала лицо в сырые от росы листья яблоны, и непонятно было, то ли она грустит о давно прошедших временах, то ли думает о чем-то своем? Сидя у ее ног, Баженов смотрел на реку, подернутую туманом, на голубые поля, искоса на лицо Груни, бледное от луны.

— Что же вы замолкли? — спросила Груня, и он, вздрогнув, заглянул ей в глаза.

— Вы и так все знаете, — ответил он тихо, — а только об одном хочу сказать: ежели люб вам Федор Васильевич, откройтесь мне...

Груня засмеялась и, вдруг вскочив, крикнула:

— Догоняйте!

Минуту он стоял, ничего не понимая. Сердце, стуча, подсказывало ему, что сейчас вот, сейчас решится главное в жизни, и он, не веря себе, своему счастью, бросился вслед за Груней.

Запыхавшись, она остановилась у яблоны, одной рукой обхватив ствол, и при виде Баженова опустила глаза. Испуганно дрожали ресницы. Голос был тихий, покорный, — с трудом выговаривая слова, Груня прошептала:

— Никто мне не люб, никто, — и, обняв Баженова за шею, крепко поцеловала в губы.

16

Накануне закладки Кремля Баженов, сидя в мастерской, писал торжественное слово.

Окно было раскрыто.

Ветерок шевелил волосы, шелестел бумагами. Тишина июньского вечера нарушалась треском молотков. На кремлевской площади рабочие прибывали щиты с виршами господина Сумарокова.

Поднимая голову, Баженов в задумчивости вертел перо и в сотый раз перечитывал намалеванный на арке стих:

Да процветет Москва подобьем райска крина,
Возобновляет Кремль и град Екатерина...

На торжество закладки Екатерина прибыть не изволила, но этикет требовал обращения к ней, как к присутствующей, и он писал:

«Се ко твоему дому стекаются жители многонародного обиталища видети о нем попечение Премудрая Екатерина...»

Так ли оно?

Дни недавнего разорения, мора чумного невольно вставали в памяти Баженова.

Моровая язва, свирепствовавшая в Дунайской армии Румянцева, переползла в Молдавию, через Украину докатилась до Москвы.

Лето 1771 года было знойное, сухой распротранял заразу.

Город опустел. С наступлением темноты на площадях зажигали костры из можжевельника. Ночью по улицам двигались телеги мортусов. Впереди шел факельщик. Внимательно разглядывая дома, он искал на воротах черный крест, намазанный дегтем. В такой дом входили, выволакивали крючьями одежду, мебель, складывали все это на дворе и сжигали.

Заслышав скрип телег, жители гасили свечи, плотнее задвигали ставни. Будто вымерла Москва. Но никто не спал в эти душные ночи, когда, казалось, горела земля, горел воздух, густой, пропитанный дымом...

Грабежи и пожары вспыхивали в разных концах города. Войск не хватало. Лучшие полки были отправлены в Турцию, а местный гарнизон состоял из инвалидов. Порой они сами грабили заболевших и, заражаясь, разбегались. Глухо волновалось Замоскворечье, где были расположены мануфактуры. Из-за скученности жилья люди здесь мерли сотнями. Ткачи разбивали станки, поджигали хоромы хозяев.

Не в силах поддерживать порядок, главнокомандующий Москвы граф Салтыков бежал. Императрица послала в

Москву Григория Орлова, пушками и глаголями умиротворившего народ. За подавление чумного бунта Орлову была воздвигнута благодарственная колонна в Царском селе, а повешенных свезли за город, где и сожгли во избежание заразы. «Вот оно, истинное попечение о благе народном» — думал Баженов, покусывая в рассеянности перо.

Но о том умиротворенные молчали.

Баженов встал, прошелся по мастерской. Всегда так: вспомнишь — закипит ретивое, и нет уже спокойствия, ясности душевной. Что ему до разорения, — он художник, творит дело вечности...

...В эти грозные дни Баженов не прекращал работы над моделью Кремля. Каждое утро он отправлялся в мастерскую, помещавшуюся в Кремле, возле колокольни Ивана Великого. Здесь, в деревянном сарае, десятки мастеров, резчиков, позолотчиков строили под его руководством игрушечную модель. Она была в аршин высоты и с точностью воспроизводила здания кремлевских соборов и колоколен. Посреди, на земляном полу, высился мраморный прямоугольник дворца со множеством колонн, белевших в полумраке мастерской.

Много бессонных ночей провел Баженов в бревенчатом сарае, едва освещенном фонарем. Минуты подъема сменялись отчаянием: не хватало материалов, один за другим разбегались помощники.

Он осунулся, похудел. Тревожила мысль о семье. Аграфена Лукинична с первенцем Костенькой лето провела в селе Коломенском, а осенью, несмотря на уговоры мужа, вернулась в Москву.

По приезде из Коломенского Баженов поселил семью в замоскворецком доме, взятом в приданое за Груней, а сам затворился в мастерской.

Но Аграфена Лукинична не пожелала жить врозь, заперла дом и перебралась в Кремль.

Сейчас, прохаживаясь по мастерской, Баженов слышал, как, укачивая сына, Груня тихонько напевала:

А мое ли то дитя во высоком терему,
В шитом, браном пологу, во серебряном кругу...

Улыбнувшись, он сел и взялся за перо. Мысли теснились, пережитое вселяло уверенность в окончательной победе. «Ликуйствуи, Кремль! — писал Баженов, — в сей день полагается первый камень нового Ефесского храма, посвящаемого божией в России наместнице, толико же и добродетелями, колико своим саном сияющей. А я, будучи удостоен исполнить Монарши повеления в сооружении огромного дома и всего величолепного в Кремле здания, готовяся зачати оное, почитаю должностью нечто молвить о строениях московских, ибо то к сему дню и к делу сему пристойно, и нечто выговорить и о своей профессии, ибо здание здесь начинается...»

...А началось здание давно, много раньше, чем увидал он зубчатые башни Кремля, ибо то здание — Москва, родина. Нерушима твердыня ее. Разорjali татары Русь, горела Московия в дни нашествия ляхов, горела и позже, когда засыпал он, убаюканный пеньем матери, а устояла земля русская, и венцом сияет над ней Кремль. Стоять зданию вечно, сотни веков после него, а все дело жизни его — не более камня, ежели сумеет он вложить свой камень в стены кремлевские...

С минуту Баженов сидел неподвижно, прислушиваясь к голосу Груни, но не мог вспомнить слов песни, которую пела ему в детстве мать, и, обмокнув перо, продолжал:

«...Иоанн Данилович, сын Даниила Александровича и внук Александра Невского, воспитанный в Москве при отце своем, соделался наследником Российского Великокняжеского престола, возрастая на прекрасных местоположениях Москву, по благословению Петра Митрополита пренес Российский трон из Владимира, а с ним и Митрополит переселился в Москву. Остаток бора, лежащего на горе Кремлевской, окружающего Спасской монастырь, вырублен, а бывшая там монашеская обитель перенесена на Язу и названа Новоспасским монастырем: осталась только посреди дворца одна церковь, называемая и поныне Спас на Бору.

От сего бора назван и Боровицкий мост...»

И будто раздвигались кривые улочки, шумели листвою сады...

«Замоскворечье, — торопливо писал он, — составляло слободы переведенцев, как были переведенские улицы и в Петербурге. Где ныне ряды и гостиный двор, тут было поле, а потом поставлены деревянные лавки, ради торгу. При сих рядах поставлена потом ради торгующих церковь Великомученицы Варвары, отчего улица Варварка и имя получила. Жилище великих князей был Кремль, на коем месте и наша Монархиня ныне дому Императоров Российских основание полагает. Китай стал потом жилищем мешан торгующих, Тверская, Никитская, Воздвиженка, Дмитровка и Петровка первые населены были, и лучшие князи, господичи и дворяне на них обитали, а особливо на концах, ко Кремлю и Китаю касающихся, по близости дворца и рядов. Тверская, лежащая по хребту высшей горы, знатнейшею почиталась улицею, нося потом имя улицы Царевой, как Никитская имя улицы Царицыной. Пречистенка была улица конюшья, касаясь почти самому Боровицкому мосту и, следовательно, конюшему и колымажному дворам. На Девичьем поле косили сено на государские конюшни, а на Остоженке ставили стоги...»

Баженов мельком глянул в окно. Темнело. В небе дрогнула первая звезда.

«Где ныне Земляной город, — писал он, — тут жили мелкие обыватели, а потом стрельцы и всякие ремесленники. По временам Иоанна Даниловича Москва, яко центр российских земель, стала год от года размножаться. Во время великого князя Иоанна Васильевича она воссияла, ибо он увеличил Кремль и обвел его новыми стенами, гордыми украсив их башнями. Во время сына его и внука красоту свою и веление умножала, а внук его царь Иоанн Васильевич воздвиг стены и башни Китая. Царь Борис Федорович Годунов, а по нем царь Михаил Федорович, царь Алексей Михайлович, царь Федор Алексеевич еще Москву и распростирали и украшали. А потом и время и радение обитателей привели ее в то состояние, в коем мы ее видим. Но упadaющие царские

чертоги не могли более стоять без страха и были готовы ко всеконечному разрушению...»

Гулко шагал по горнице отец Баженова. В полуотворенную дверь было видно, как Иван Федорович, наклонясь к невестке, что-то говорил ей.

Потом опять слышалось:

У того ли у дити люля точена,
Люля точена, позолочена...

Бормотанье отца становилось все громче. Не выдержав, Баженов швырнул перо, вошел в горницу.

— Ну, о чем вы тут? Спать пора...

Аграфена Лукинична приложила палец к губам. Осторожно приподнявшись, перенесла сына в зыбку, задержала полог.

Помолчав, она ответила:

— Иван Федорович сказывают: в городе беспокойно...

Дьячок перекрестился.

— Истинно говорю, да и как не быть худу, богоотступное затеяно дело...

Баженов стиснул кулаки, но отец продолжал, не обращая на него внимания:

— Иду это я давеча в Кремль, аazole Тайницкой башни, коя взорвана, — толпа, стоны, слезы сиротские. Боже ты мой, что тут содеялось, как зашумит народ: чего смотрите, святыню преславную рушат! — Иван Федорович сокрушенно покачал головой. — И меня, грешного, спознали, богохульными словесами поносили, умертвить грозилась...

— Ничего, — кивнул Баженов, — пошумят и разойдутся.

Дьячок исподлобья глянул на него, но промолчал.

— Батюшке лучше у нас заночевать, неровен час узнают — камнем забьют, — сказала Груня.

Иван Федорович вздохнул:

— На все воля божья, а только запознил я с вами, ужю пойду. — Перекрестив внука, дьячок отдал поклон невестке за хлеб-соль и, не прощаясь с сыном, вышел.

Стоя в дверях, Баженов смотрел, как увязывал отец в платок кулечки, куда напихала ему Груня всяческой снеди. Спросил, усмехнувшись:

— А не во хмелю, батя, про толпу слышали, уж больно складно вретел!

Дьячок метнул на сына огненный взгляд, весь затрясся:

— Пес брешет, а я царю небесному служу!

И вышел, хлопнув дверью.

Заперев ее на щеколду, Баженов вернулся в горницу. Прошелся по скрипящим половицам.

— Небось, преосвященного вспоминали?

Аграфена Лукинична убирала со стола. На лице ее, поблекшем и осунувшемся, застыла грустная покорность.

— Вспоминали...

Хмурясь, Баженов продолжал шагать быстрее, а в груди разгоралась ярость. Не раз ему грозили, подсылали записки. А совсем недавно, в дни чумного бунта, толпа, ворвавшаяся в Кремль, чуть было не спалила модельный дом. Искали архиепископа Амвросия, приказавшего снять с Варварских ворот икону Боголюбской божьей матери. Ее почитали избавительницей от чумного мора, круглые сутки служили ей молебны и заражались в толпе. Бежавший из Кремля преосвященный Амвросий был настигнут толпой в Донском монастыре и убит. О судьбе его твердил Иван Федорович.

Подойдя неслышными шагами, Груня молча обняла мужа, веки ее дрогнули от слез.

Баженов гладил жену по русым волосам.

— Ну, что с тобой, вот глупая...

Пряча голову на груди его, она промолвила:

— Василек, милый, я так тревожусь за тебя...

В голосе ее слышалось затаенное желание. Он знал, о чем она будет просить, и боялся этого.

Аграфена Лукинична прошептала:

— Давай уедем. Хорошо?

Он кивнул.

— Когда же, Василек?

— Окончу, и уедем.

Минута прошла в молчаньи: слышно было, как тикали часы. Баженов поцеловал жену в лоб.

— Все это пустое, слухи. Что Костенька?

— Спит, — упавшим голосом ответила Груня и вышла.

Задумавшись, он смотрел ей вслед.

«Уехать? Бросить план, модель, работу четырех лет. Невозможно! А сын? Ему опять привиделась ночь чумного бунта, когда он, подперев бревном дверь мастерской, с пистолем в руке защищал свою модель. Баженов сел, закрыл лицо ладонями. «Нет, не мечта, рухнет дело всей жизни. Казаков уехал, все угрюмое становился Каржавин. Может быть, никому не нужен его дворец. От императрицы ни слова, выплату прекратили, но ведь турецкая война не вечна, окончится, как прошла чума, и работы возобновятся...»

Долго сидел он так, не двигаясь. Слышно было, как через ровные промежутки звонили с колокольни Ивана Великого. Горело в Замоскворечьи. За окном билась птица, опалившая крылья на пожаре. Все пыталась взлететь и не могла.

17

На Спасской башне куранты проиграли три, потом четыре, а он писал, не разгибаясь, не глядя в окно. Треща, угасала свеча. Баженов задул ее.

В рассеивающемся тумане возникли башни Кремля.

Орлы над ними плыли в своем еще не загоревшемся оперении.

Прокричал петух.

В доме все спали. Была та тишина утра, когда чуть слышный шорох ветки за окном, первый вскрик птицы — кажутся единственно возможными в этом мире звуками.

В окно заглянул Каржавин.

— Вася, отопри...

Баженов встал и тут только почувствовал сковавшую тело усталость. Потянувшись, он зевнул и снял с двери щекотку.

— Есть новости?

Каржавин покачал головой.

— Тогда садись и слушай.

Стараясь не глядеть другу в глаза, Каржавин сел, а Баженов взял со стола исписанные листки,

— Это мое слово, — улыбнулся он в пояснение и, точно боясь, что его прервут, начал торопливо читать: — «Щедрая мать отечества нашего! я все мои силы и все мое знание употреблю и принесу на жертву твоему повелению. Желая, чтобы сие почтенное художество на сем месте во всей своей славе воссияло и было бы сие жилище достойным обитания Великия Екатерины, и сколько Рим и Италия принесли мне одобрения, толико бы принесли мне похвалы за сие начинаемое мною созидание и столько милосердного снисхождения от моей государыни...»

Сидящий на ларе Каржавин усмехнулся.

Баженов перевернул лист и продолжал, все возвышая голос:

— «Египтяне первые привели архитектуру во преизрядный порядок, но, не довольствуясь только хорошим вкусом и пристойным благолепием первоначальным, едину огромность почитать начали, от чего и пирамиды их, возносяся к небу, землю отягощают, гордяся многолетними и многонародными трудами и многочисленною казною. Греки хотя и все от Египтян и Финикиян ко просвещению своему получили, но, став лучшего и почтеннейшего на свете охотниками и введя сию охоту во весь народ, архитектуру в самое привели изящное состояние. Родились от египетской несовершенной архитектуры три в Греции ордена: Дорический, Ионический и Коринфский: важный, нежный и цветной, разные в них размеры и расположения, но все приведены в совершенные правила, и все огромностям посвящены быть могут. Некоторые думают то, что и архитектура, как одежда, входит и выходит из моды, но как логика, физика и математика не подвержены моде, так и архитектура, ибо она подвержена основательным правилам, а не моде». Сие я почитаю важнейшим! — воскликнул Баженов, вскакивая с места.

Каржавин молча перевел взор на друга. Окно светлело, ширилось. Осунувшееся лицо Баженова, вся его фигура, устремленная вперед, вызывали в Каржавине глухое раздражение. Он нахмурился, крепче стиснул зубы, а Ба-

женов, ничего не замечая, продолжал читать громким, взволнованным голосом:

— «Когда Готы овладели Италией, они, привыкнув к великолепию зданий римских и не проникнув того, в чем точно красота здания состоит, ударились только в сияющие архитектуры виды и, без всякого правила и вкуса умножая украшения, ввели новый род созидания, который по времени получил от искусных хотя и не следующих правилам, огромность и приятство...»

— «Такого рода наша Спасская башня, — махнул рукой в сторону окна Баженов, — но колико она не прекрасна, однако не прельстит толико зрения, как башня Гавриила Архангела. Грановитая палата хороша, но с Арсеналом сравняться не может. Колокольня Ивановская достойна зрения, но колокольня Девичья монастыря более обольстит очи человека вкус имущего. Церковь Климента покрыта золотом, но церковь Успения на Покровке больше обольстит имущего вкус, одна смесь прямой архитектуры с Готическою, а другая созиждена по единству благоволению строителя. Видим мы в Москве некоторые хорошие здания и кроме тех, кои мною наименованы. Все кремлевские башни хороши. Церковь, называемая Николы большого креста, церковь Иоанна Воинственника и может ли ей уподобиться стоящая близ оной у некоторой церкви подобная ей тягостные колокольни, вшедшие в моду подобием обезображающих дома подъездов. Хорошо состроен Архангельский собор, хотя и обрушились его галереи в прежние годы. Царские теремы в Кремле свое достоинство имеют и великолепна церковь на рву у Спасских ворот, хотя приделами после и попорчена. Хороши готические здания Сухаревой башни и Университетского у Куретных ворот дома. Прекрасен берег Аннинского дворца и мосты. Прекрасны еще в Москве дома: Главная аптека и был бы дом сей еще прекраснее, когда бы не было при нем нужной аптеке лестницы. Казенный дом на Сретенке, бывший князя Голицына, на Знаменке графа Воронцова. А всех домов прекраснее дом князя Гагарина

на Тверской. Имеет великолепие и Воздвиженский монастырь! и приятство церкви Варсонофьевская и Воскресения в Кодошове с ее легкою колокольнею... Великая государыня!..» — заметив, что Каржавин его не слушает, Баженов бросил листки на стол.

Согнувшись, Каржавин сидел на ларе бледный, в заношенном парижском кафтане, с ненапудренной головой. Руки его, опущенные вдоль поникшего тела, были так выразительны в своем бессилии, что Баженов невольно спросил:

— Федор, стряслось что-нибудь?

Каржавин устало покачал головой.

— Ничего, Базиль Иванович. Все худое ты уже знаешь: нету денег. А когда пришлют и пришлют ли, — бог весть. — Он помолчал, словно раздумывая, как бы вернее сразить Баженова, и усмехнулся: — Ты вот здесь египтян да финикиян в гробах переворачиваешь, а все это пустое, словеса одни. Не бывать стройке, — продолжал он, отводя глаза в сторону, — вчера экспедиция разочла двадцать каменных дел мастеров, сегодня уходят резчики...

Баженов прошелся по мастерской. Остановившись, хрустнул пальцами.

— Да-да, я знаю. Что же делать, Федор? Писать государыне? Я уже писал. Опять ехать в Петербург?..

И вздрогнул, заслышав вкрадчивый голос Каржавина:

— Не в Петербург, Базиль Иванович...

— А куда же? — быстро спросил Баженов.

Улыбаясь, Каржавин смотрел прямо перед собой.

— В Париж...

Баженов пожал плечами.

— Шутки играть изволишь, Федор. Воля твоя, а мне недосуг.

Все так же, глядя в одну точку, Каржавин проговорил безразличным голосом:

— Нет, брат, не шутки.

И, оглянувшись, поманил пальцем Баженова. Тот подошел, недоумевая.

— На Яике неспокойно, — зашептал Каржавин на ухо склонившемуся Баженову, — казаки восстали. Атаман их Пугачев из Казанской тюрьмы бежал, народ мутит.

— Слышал, — кивнул Баженов.

— Ну вот. В подметных письмах Казань сжечь грозитя, а потом на Москву.

Баженов опустил в кресло. Долго смотрел себе под ноги. Недоверчиво перевел взгляд на Каржавина.

— Врешь, — тихо сказал Баженов, чувствуя, как тяжелый гнев закипает в груди, — и все ты врешь, Федор. Никогда ему до Москвы не дойти.

— А сие видел? — спокойно спросил Каржавин, подавая бумагу, вынутую им из кафтана.

Это был подметный лист, писанный по-славянски, где сообщалось о чудесном спасении благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя Петра Федоровича от рук мужеубийцы и захватчицы престола российского, Екатерины Второй.

— А, может, взаправду спасся? — спросил Баженов.

— Дите ты, Базиль Иваныч. Петра Орловы в Ропше задушили, а этот... Да что толковать! — оборвал он, вскакивая. — Азиатчина заваривается, не похуже Смутного времени.

«Ты же сам хотел этого» — чуть не сорвалось с губ Баженова, но он удержался, крепче стиснул зубы. По-новому, отчужденно смотрел Баженов на друга и не верил его горячности. «Пустобрехом был, пустобрехом остался» — припомнились слова Долгова. Да и Лука Иванович хорош, ездит по городу в карете, жалуется встречному-поперечному, что обмишулился, выдал дочь за голодранца. «Один я противу целого мира» — с грустью думал Баженов.

— А только крутенька будет каша, — продолжал Каржавин, размашисто шагая по мастерской, — да расхлебывают пусть другие, а я — слуга покорный, — он склонился до земли, ладонью, по боярски, касаясь пола, и вдруг, выпрямившись, сверкнул глазами, — и тебе не позволю!

Баженов еще раз перечел лист, вернул его Каржавину, поднялся с кресла.

— Так, — сказал он медленно, словно с трудом выдохнул из груди застрявший комок, и выше вскинул голову, — выходит, твоя правда, Федор, — голос

его крепнул, и Каржавин с удивлением смотрел на оживившееся лицо друга, — а только не разумею я, — строго продолжал Баженов, — отчего должны мы праздновать трусу? Честь капитана последним оставлять корабль. Будь что будет, а я не уйду. Мое здесь все, — он указал на стены, где поблескивал в овальной раме портрет Ломоносова, задержался взглядом на корешках книг, зазолотившихся в первых лучах солнца, твердо закончил: — Пережили чуму, переживем и усобицу.

Каржавин тронул его за плечо:

— Василий Иванович, в последний раз предупреждаю: выслушай меня. Вспомни парижскую нашу встречу. Еще жив де-Вальи, и Лудовик от слов своих не откажется. Слава ждет тебя, Василий Иванович, а здесь раззор один и таланта поруганье. Одумайся, ежели не себя — сына, Аграфенушку пожалей, — и, стиснув руку, испытующе заглянул в глаза, — едем, пока дороги свободны...

Баженов покачал головой. Не выдержав, Каржавин бросил оземь шапку, топнул ногой:

— Не о себе пещусь! Вразумись: ей-то за что страдать?..

Сжав губы, Баженов молча, сосредоточенно смотрел на Каржавина. Таким не случалось его видеть никогда, и вдруг, словно варом, ожгло сердце: а что, если и в Груне он ошибался? А Каржавин выкрикивал, уже не в силах сдержатъ наболевшее:

— Все ты отнял у меня, все... Последнее! Невесту отнял!..

Схватившись за голову, Федор Васильевич выбежал из мастерской, гулко хлопнув дверью.

Шаги его прогремели по доскам и смолкли.

Аккуратно собрав в пачку исписанные листки, Баженов придавил их куском мрамора, постоял немного и на цыпочках вошел в опочивальню. В полузакрытом шторой окне расцветало утро. Свет падал на спящую Груню. Волосы ее рассыпались по подушке, и в ровном дыхании, в безмятежности сна было разлитое такое спокойствие, что Баженов замер, боясь пошевелиться.

Дрогнув ресницами, Груня приоткрыла глаза:

— Василек, ты что?..

Баженов чувствовал, как защемило у него в горле и по губе скатилась соленая капля. Еще мгновение, и он бы кинулся к Груне, стал бы жадно целовать эти руки, плечи и, припав к груди, спросил бы горячим шопотом: «Любишь, веришь мне?..»

Стиснув спинку кресла, он наклонился над постелью:

— Рано еще, спи...

И, поцеловав жену в лоб, вышел.

ГЛАВА ПЯТАЯ

18

Из Парижа Каржавин писал Баженову:

«Любезный друг мой,
Василей Иванович!

Забудь, ежели сможешь, а не осилишь себя — пусть все останется между нами. Проклинай, но не жалей меня. Я уже, слава всевышнему, не коллежский актиариус в чине подпоручика и не сын купца первой гильдии, а опять свободный гражданин Вселенной. В амстердамских курантах читал я позаимствованное из Санктпетербургских ведомостей описание закладки Кремля. Радуюсь и поздравляю. А в Париж я ненадолго, еду отсюда на Мартинику, лекарем, а ежели удасться, то и в Америку. Искать еду правду, ибо сильное имею беспокойство о неустроенности человека на земле. Не о себе пещусь. Пусть ищут милости те, кто недостойны, я же заслужу своими достоинствами, своими трудами, своею наукою...»

Много раз перечитывал Баженов это послание, словно отыскивая скрытый для себя упрек, и, не показав письма жене, уже не расставался с ним.

А все вышло так, как предсказал Каржавин.

Вскоре же после торжества закладки работы прекратились. Прибывшая из Петербурга комиссия признала, что грунт Кремля из-за подтачивающих вод Москвы-реки вовсе непригоден для возведения столь грандиозного здания.

В доказательство члены комиссии упоминали о трещине, образовавшейся в стенах Архангельского собора.

Баженов бросился к Измайлову. Начальник дворцовой экспедиции подтвердил выводы комиссии, сославшись при этом на чрезмерную смету строительства, коя, ввиду затянувшейся войны с Турцией, покрыта быть не может.

— Но сие... временно, — запинаясь, спросил Баженов, — впредь до конца кампании?

Измайлов пожал плечами.

— Ваше превосходительство, — твердо сказал Баженов, вставая, — я бы желал точно знать о судьбе дела, которому отдал годы неустанного труда, все сердце мое и знание...

Он говорил спокойно, но был бледен и поминутно вытирал лоб платком.

Генерал, раскладывающий пасьянс, улыбнулся:

— Ежели не верите, справьтесь в Петербурге. Работы прекращены по высочайшему повелению.

Баженов оперся руками на стол. Голос его был глух, но попрежнему тверд и решителен.

— Благоволите, ваше превосходительство, представить мне сии распоряжения.

Измайлов вынул из бюро лист, протянул его архитектору и опять углубился в пасьянс.

Буквы прыгали перед глазами Баженова.

— Но здесь сказано, что работы откладываются временно. На каком же основании вы распорядились засыпать вынутую землю?

— Измайлов молчал.

— Я вас спрашиваю! — крикнул Баженов.

Смешав карты, генерал медленно поднялся с кресел. Лицо его под напудренным париком побагровело, губы тряслись.

— Ах, вы вот как заговорили? Отлично, сударь, отлично, — Измайлов мям в руках и отшвыривал карты, — ну, так знайте, сударь, что государыне известны все ваши проделки, все ваши махинации со счетами...

— Тогда судите меня, — строго ответил Баженов.

— И будем, не беспокойтесь. Вас и этого вашего приятеля, как бишь его. Каржавина, да, вот именно Каржавина, сбежавшего с казенными суммами...

— Ложь! — вспыхнул Баженов, и лицо его залилось краской. — Да, Каржавин приятель мой, но он честнее всех вас. Наряжайте следствие! Слышите! Я требую! Сам! Я буду жаловаться, — и, схватив со стола папку с чертежами, Баженов выбежал из кабинета.

На площадке он остановился, прислонившись спиной к двери. В глазах рябило, сердце билось неровно, толчками — ярость и бессилие сдавили его, он разорвал ворот кафтана.

Но тотчас, овладев собой, Баженов кинулся вниз по лестнице. У него уже созрел план. Немедленно ехать в Петербург. Потребовать расследования. Жалобу в Сенат. К государыне!.. Он задыхался.

Навстречу с портфелем перепуганный Казак:

— Василий Иванович! Что случилось?

Баженов положил ему руки на плечи.

— Матвей, — сказал он тихо, — спаси, что можешь, главное — не давай разбирать фундамент. А я, — он глотнул воздуха, дико глянул по сторонам и вдруг усмехнулся, — я, брат, сейчас еду...

19

Дрожки прогремели по каменному мосту и, подпрыгивая на ухабах, покатились кривыми улицами Замоскворечья. Было душно. Грозовая туча нависла сине-багровым подтеком и, расширяясь, ползла навстречу.

Ветер и быстрая езда охладили Баженова. Приглаживая растрепавшиеся волосы, он пытался собраться с мыслями, и все уже казалось не таким страшным. Орлов уладит. Только бы заставить его в Москве. Должен уладить...

— Чего-с? — обернулся ямщик.

— Ничего, это я так. Гоня! Полтину на водку. А здорово я его! — рассмеялся Баженов.

Ямщик испуганно покосился на седока, ударил по лошади.

— Но-о вы, залетные!..

Вихрем пронеслись они, вздымая пыль, через Калужскую площадь, и вот уже блеснул в туче золоченый купол Донского монастыря. А вон и сады Демидова, великолепные парники и оранжереи, восхищавшие москвичей.

Подъехав к воротам дома обер-провиантмейстера Походящева, где обычно гостили Орловы, Баженов соскочил с дрожек.

— Жди меня здесь, — кивнул он кучеру и бросился по аллее, ведущей к дому. Справа и слева шелестели дубы, чуть тронутые желтизной. Падали листья.

Позади дома, видимо, со двора, доносились крики, рев, улюлюканье.

Баженов остановился в недоумении. К нему уже спешил камердинер в ливрее Орловых.

— Вам кого, батюшка?

И еще раз подозрительно оглядел Баженова, одетого в серый демикатонный кафтан, вздохновенного, без парика, в запыленных туфлях.

— Мне нужно видеть князя Григория Григорьевича. Немедля! — добавил Баженов и, не обращая внимания на замешательство лакея, взошел на террасу.

— Как прикажете доложить?

— Архитектор Баженов. Да вели подать мне папиру, перьев.

Камердинер ввел его в полутемную приемную, почтительно указал на бюро. Свеча была зажжена. Лакей с поклоном затворил двери и побежал докладывать.

Тут же, не садясь, Баженов вынул из поставца гусиное перо, попробовал на палец — остро ли очинено. И задумался. Пришли на ум слова из письма Каржавина: «Пусть ищут милости те, кто недостойны...» «Ну что ж, — вздохнул он, — значит, не заслужил я достоинства своими трудами, своею наукою...» Подписавшись под прошеньем, Баженов угрюмым взором окинул приемную. У окна, спиной к нему, стоял до странности знакомый человек: в черном кафтане, высокий, худощавый...

— Новиков! — громко сказал Баженов.

Стоявший у окна обернулся. Это был студенческий товарищ Баженова.

— Вася! Василий Иванович, — поправился он, подходя и крепко пожимая руку, — вот так встреча! Какими судьбами?!

Баженов объяснил: на прием к Орлову.

— К Григорию?

— Да.

— А я к братцу, Алексею. Да, видно, не дожидусь, когда их сиятельства соизволят принять. Вот, не угодно ли полюбопытствовать, — и Новиков, взяв Баженова по университетской привычке за талию, подвел его к окну.

На площадке, усыпанной песком, дворовые гоняли огромного медведя. Они били его палками, кололи вилами в бок и, отскакивая в разные стороны, улюлюкали, а медведь, неуклюже озираясь, ревел, вздыбленный, делал несколько шагов на задних лапах и опять тяжело падал, урча от ярости. Пасть его была раскрыта, с красного языка бежала слюна.

— Чего доброго, сырым мясом кормлен, — равнодушно, с оттенком презрения в голосе пробормотал Новиков.

Баженов молча кивнул. Он видел, как со скамьи поднялся широкоплечий мужчина в парчевом кафтане, со шрамом через все лицо. Это был недавний победитель турок при Чесме, генерал-адмирал граф Алексей Григорьевич Орлов.

Скинув кафтан, он засучил рукава батистовой сорочки и, поплевав на ладони, нетерпеливо топнул ногой. Дворовые с криком разбежались, а Орлов, изогнувшись, рывком бросился на зверя, обхватил его за шею и начал душиить. Медведь взревел так, что Баженов вздрогнул. Жилы на лбу Орлова взбухли, рот перекосялся, он был страшен в эту минуту. Скаля зубы, зверь норовил смазать лапой по русой голове обидчика, но тот, увертываясь, все напирал на медведя, отступавшего на задних лапах под хохот и свист дворни.

— Так его! Так! Дави, батюшка, дави! Охо-хо, попался Миша!..

Возбужденный ревом и криками дворовых, Орлов повалил медведя на спину и, ловко отскочив в сторону, махнул окровавленной рукой. Шестеро дюжих молодцов накинули на барахтающегося медведя железную сеть и поволокли его со двора.

— Песенников! — крикнул Орлов.

Давешний камердинер подбежал к Орлову и начал было докладывать, но тот, сморщившись, буркнул:

— Подождет..

Баженов заметил, как стоявший рядом с ним Новиков передернул плечом.

— Ну, мне пора, — сказал он и, отойдя от окна, круто остановился перед Баженовым: — Как живешь-можешь?

Взор был пристален, голос сух.

— Болен, что ли?

Баженов вздохнул.

— Пустое. Здесь вот, — он указал на грудь, — червь. Но сие скрыто от взоров людских.

Новиков усмехнулся, медленно прошелся по комнате.

— То-то, брат, все мы не в своей шкуре ходим. Как медведи, на задних лапах. Слышал я—дворец возводишь, — продолжал он, помолчав, и вдруг, взглянув на помертвевшее лицо Баженова, смутился.—Ну, не буду, не буду: знаю, брат, все знаю, а ведь из пустого раздражения спросил, надоело в лакейских сидеть. Я ныне в комиссии по уложению состою, — пояснил он, чтобы переменить тему, — о среднем роде людей записи веду. Затем из Петербурга прибыл. Вот к этому, — он махнул рукой в сторону окна.

— О среднем роде людей, — машинально повторил Баженов, — это кто ж такие?

Новиков пожал плечами.

— В некотором роде это мы с тобой. Да все пустое, — вздохнул он, — замыслы императрицы величавы — выполнение оных бумажное. До законов ли теперь, когда Пугачев на Москву движется..

— А в чем исход? — спросил Баженов, чувствуя, как вся кровь приливает к лицу. Так бывало с ним в юности, когда Новиков, уверенный в своем превосходстве, испытующе смотрел в глаза.

Помедлив, Новиков ответил:

— Утеснение суть следствие беззакония, но законы без должного просвещения — одна форма. О ней старается комиссия. Ты спрашиваешь, в чем исход, — продолжал он тихим своим, ровным голосом, — содействуй разуму, неустанно смягчай нравы — вот славное поприще просвещенного человека в наш век. А засим прости, недосуг мне: в ложу еду...

Молча Баженов протянул руку. Задержав ладонь в своей, Новиков едва слышно добавил:

— Ежели решился, — введу к братьям.

Баженов покачал головой.

— Как знаешь, Василий Иванович, а только истинный свет у нас, и к нам придешь.

Задумавшись, Баженов смотрел вслед товарищу. Высокий, в мешковатом кафтане, Новиков напоминал пастора. Из оттопыренного кармана высовывалась книга. «Какое-нибудь рассуждение о правилах!» — улыбнулся Баженов. Много теперь развелось этих книжек. Баженову случалось их просматривать, но лень было доискиваться до смысла, масонство не интересовало его. Поиски цели жизни, богоискательство — все это было в духе созерцательного Новикова. Дороги их разошлись. Еще с университетских лет Николай Иванович зачитывался отцами церкви, — спутником Баженова был неизменный Витрувий.

Припоминая юношеские годы, Баженов с трудом мог представить себе Фонвизина, сидевшего с ним на одной скамье. «Где он теперь? Говорят, выйдя из гвардии, поступил в иностранную коллегию, переводит басни Геллерта. Был еще Потемкин, здоровенный увалень, пьяница и дебошир. Учился он плохо, а в свободное время отсыпался где-нибудь под лавкой. После исключения из университета Потемкин хотел постричься в монахи, но поспорил с настоятелем Киево-Печерской лавры и вернулся в военную службу. Прочили в сержанты гвардии, а вот — не угодно ли: генерал-аншеф, любимец государыни, соперник Григория Орлова. Судьба! А

разве его собственная судьба не была беспримерной? Только б осуществить прожект, а там...»

— Их светлость просят вас, — сказал лакей, с поклоном растворяя двери.

20

В кабинете, ярко освещенном люстрой, откинувшись в вольтеровом кресле, сидел князь Григорий. Рассматривая себя в зеркале, он недовольно морщился. В белом пудромантеле, наброшенном на плечи, осунувшийся, без парика, Орлов казался постаревшим. Куафер брил Орлова, едва касаясь пальцами лица, и почтительно приседал, как в менюэте.

— Знаю, — кивнул Орлов входившему Баженову, — наперед знаю, с чем пожаловал.

И, приняв из рук Баженова прошение, сдвинул брови. Кауфер застыл с бритвою в руке, камердинер у дверей — ожидая приказаний. Баженов оглядывал кабинет. На штофных креслах были разбросаны баулы, английские чемоданы, на бюро красного дерева, работы Рёнтгена, стоял графин с вином, недопитые бокалы. В комнате, убранной картинами, бронзой, фарфором, пахло лавандовой водой, жженым волосом. Окна были раскрыты. Ветерок с Москвы-реки колебал свечи в зеркалах. Их было так много, что Баженов, отраженный со всех сторон, не знал, куда скрыться от своих двойников.

— Сядь! Не мелькай, — раздраженно кинул Орлов.

Баженов сел.

Со двора грянул хор песенников:

Во горницы столовой, столовой,
Во светлые пировой, пировой,
Стоят столы дубовы, дубовы,
На них ковры шелковы, шелковы...

Орлов поморщился:

— Опять этот сумасброд. Закрывать окна! Еще свечей.

Камердинер прикрыл створки.

— Осмелюсь доложить, ваша светлость, свечей здесь, почитай, за полсотни будет.

— Дурак! Темно, говорят тебе, — и, вставая, Орлов протянул бумагу Баженову.

— Ничего не могу. Ступай, братец, к Потемкину, — он криво усмехнулся, — ты, кажется, с ним служил али учился. Ну вот. А я не могу. Потерял шаг. Свечей! — топнул он ногой, и камердинер рысцой выбежал из кабинета.

Прижавшись к стене, Баженов с испугом смотрел на шагающего по комнате Орлова.

— Отставлен! — выкрикивал он. — Финита ля комедия! Кто возвел на трон? Григорий. Кто от чумы спас? Я. Кто турок осилил? Брат. Все Орловы, везде Орловы, всегда Орловы! А ныне, в годину испытанья, кто противу супостата есмь? Кто — я спрашиваю? — и, подбежав к секретеру, Орлов начал открывать ящички, выбрасывая оттуда грамоты, дарственные записи, топча их в ярости ногами.

Мертвенно-бледный, с перекосившимся лицом, он весь подергивался, как на шарнирах, бормотал про себя французские ругательства, судорожно разводил руками, смеялся отрывисто, а со двора все громче, пронзительнее, с присвистом, неслась песня:

Прими чару от меня, от меня,
Выпей чару всю до дна, всю до дна...

Взбешенный, Орлов бросился к окну, стукнул кулаком по раме. Стекло разлетелось. И вдруг, обернувшись, взломоченный Орлов дико уставился на куафера.

— Стой! Кто таков? Пароль!..

Парикмахер съжился, задрожал, колени его подогнулись, рукой он шарил на ковре оброненную бритву, а Орлов, запахивая на груди халат и пятясь от парикмахера, схватил со стола горящий канделябр, поднял его над головой.

— Отвечай! А не то...

Баженов бросился между ними.

— Пусти, — задыхаясь, бормотал Орлов, — он меня убить хотел. Я знаю. Подослан. Зарезать! Потемкинским...

— Ваша светлость, помилосердствуйте, я — Жорж, паришных дел мастер...

— Во-он! — закричал Орлов, размахивая канделябром, и с грохотом бросил его об пол.

Куафер выбежал, а Орлов, тяжело дыша, все силился затянуть на горле халат, неподвижно уставившись на Баженова, затаптывающего на ковре свечи. Губы его тряслись, он покусывал сгибы пальцев, тряс головою, бормоча, как в ознобе:

— Сей же час к матушке. Пусть узнает. Я ей всю правду... всю правду. Звони!

Баженов, не веря себе, схватился за колокольчик.

Вбежавшие камердинер и лакей застыли на пороге.

— Мундир! Карету закладывать! — И, рухнув в кресло, Орлов схватился за голову. — Бритвой, — повторял он, вздрагивая и раскачиваясь в тоске, — как того... государя... Петра Федоровича...

Дверь распахнулась, и в кабинет грузно вошел Алексей Орлов.

Григорий вскочил.

— Ты! Чего тебе здесь? Уходи!..

Алексей Григорьевич смотрел на брата исподлобья, словно примериваясь, как давеча, в борьбе с медведем. Ворот рубахи был расстегнут, грудь часто вздымалась.

— В Петербург тебе нельзя, Гриша, — сказал он тихо.

Григорий силился что-то ответить, но под пристальным взглядом брата медленно отступал к стене, озираясь и повторяя: «Алехан, оставь, слышишь, Алехан, — не тронь...»

Раздвинув ноги в спустившихся чулках и упершись кулаками в бока, Алексей продолжал говорить спокойно, глухим голосом:

— Тебе в Спа велено, Гриша, водою лечиться...

— А ты в Петербург?

— А я в Петербург, — усмехнулся Алексей, — к матушке...

— Убивец! — крикнул Григорий, срывая со стены шпагу.

Шея и шрам на лице Алексея Орлова побагровели, он был хмелен, слегка пошатывался. Оперся было на горку с хрусталаем, горка покачнулась, он оттолкнул ее, и она со звоном рухнула на

пол. «Веревок! — скомандовал Алексей лакеям. — Вязать его!» — И, оглянувшись по сторонам, увидел Баженова, нахмурился.

— Уйди, — сказал он шопотом.

Баженов взял со стола свое прошение и вышел.

Дверь захлопнулась.

С минуту Баженов стоял неподвижно. И вздрогнул, заслышав отчаянный вопль Григория.

Раздался глухой шум падения, и все смолкло.

Пот катился со лба Баженова, и он никак не мог найти платка, утирался ладонью. «Господи, помилуй!» — повторял Баженов, крестясь. Нажал на ручку двери. «Войти?» Было тихо. Он прислушался: шелестел листвою сад.

Баженов в раздумьи спустился еще на одну ступеньку и быстро сбежал вниз.

Обернулся, весь дрожа: огни в окнах погасли.

У подъездных ворот, где, положив головы на лапы, дремали каменные львы, дрожек не было. Впрочем, Баженов забыл о них. Все рухнуло. Орлов сошел с ума. Кто теперь защитит его? Что будет с дворцом? Ехать в Петербург? «Ваше величество, — бормотал Баженов, распахивая на груди кафтан, — вот мое сердце, возьмите его, всю кровь...» Он шатался, мысли его путались.

Вдоль Калужской площади сонно мигали фонари. Воздух был тих и также предгрозово неподвижен. Куда идти? Домой? А где он теперь, дом-то? Как взглянуть в глаза жене, Казакову? Нет, в Кремль он возвращаться не мог. «Выпей чару всю до дна, всю до дна» — билось в голове.

Баженов опустился на тумбу, вынул платок. Из кармана выпала бумага. Его прошение. Баженов поднял бумагу, чтобы разорвать ее, но это оказалось не прошение, очевидно, впопыхах он схватил с бюро чье-то письмо.

Подойдя к фонарю, Баженов развернул смятый листок и с удивлением узнал каракули Алексея Орлова.

Бумага была старая, чернила выцветшие.

Не замечая конопляного масла, капавшего из фонаря ему на плечи, на голову, Баженов читал, едва шевеля губами:

«Милосердный братец Григорий! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему Алешке, но как перед богом скажу истину: нет более в живых Петра Федоровича. Погибли мы, когда ты не заступился перед всемилостивейшей государыней, а ей пишу тако: «...Матушка — его нет на свете... Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя. Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Федором Бярятинским; не успели мы разнять, а его и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего...»

21

Работы в Кремле были приостановлены, но фундаментов дворца не ломали. Об этом аккуратно, два раза в день докладывал Казаков. Баженов молча выслушивал его и отпускал кивком головы.

Из окна, приподняв штору, он видел, как Матвей Федорович садился в карету. И опять принимался ходить из угла в угол. Никому нельзя было верить. Казаков строил в Кремле новое здание Сената. Несмотря на междоусобицу, деньги для него нашлись.

А время было тревожное.

Разгромив Казань, Пугачев перешел Волгу. О сожжении Казани Баженов узнал от Новикова, заехавшего поделиться новостями.

— Москва под угрозой, — объявил он, входя.

Обычно спокойный, Новиков был особенно возбужден в этот день. Бросив шляпу на стол, он продолжал шагать по комнате, кисейное его жабо трепетало, как крылья бабочки.

— Ты рад? — спросил Баженов, откладывая в сторону чертежи.

Новиков остановился, удивленно приподнял брови.

— Рад? Помилосердствуй, что ты говоришь! При всем моем свободоловбии я — прирожденный дворянин. Вот полюбуясь, что пишет мне староста: мужики сожгли хлеб в сельце Авдотьино. А ведь это под самой Москвой. Раззор, всеконечный раззор!

Он рухнул в кресло, вынул платок.

— Бедствия неисчислимы, — раздумчиво продолжал Новиков, — но ты прав в одном: не могу скрыть удовольствия при виде правительств нашего, совершенно потерявшего голову. Представь, императрицу уговаривали бежать в Ригу.

Баженов усмехнулся.

— Сие есть плоды беззакония, истине страшная жатва, — повторял Новиков, сокрушенно качая головой, — впрочем, здесь говорили мне, что мятежник повернул к Саранску, может, и обойдется...

— А если нет, — громко сказал Баженов, и Новиков невольно вздрогнул, с недоумением глядя в загоревшиеся глаза друга, — тогда что? Ах, один бы конец, — с тоской закончил Баженов, закрывая лицо руками.

Новиков стоял над ним изумленный, покусывая тонкие губы. Он раздумывал: мог ли этот человек стать полезным для их дела?

И в нерешительности прошелся по комнате.

Тогда у Орловых Новиков не открыл Баженову всей правды. Он, действительно, вел записи в комиссии по составлению нового уложения. Работы комиссии, столь пышно начатые в Москве, перенесены были в Петербург, а с открывшейся турецкой кампанией — и вовсе прекратились. Другие интересы влекли Новикова в Москву, и не одна только забота об изданиях сатирических журналов, о коих Екатерина выразилась, что они злы, и прихлопнула. Были дела поважнее, но открывать их непосвященному он не осмеливался.

Теперь сроки исполнились.

Положив руку на плечо друга, Новиков говорил ровным своим голосом о жалкой судьбе людей, блуждающих во мраке, об истинном свете масонства, которое одно лишь способно привести че-

ловечество к совершенной правде на земле...

— Довольно! — перебил, вскакивая, Баженов. — Все это ложь, словеса одни...

Задыхаясь, с налившимися кровью глазами, он был страшен в эту минуту.

— Там правда! — кричал он, ударя кулаком по столу. — Одна она, мужицкая! И двум не бывать. У тебя хлеб пожгли — беда какая! А про Салтычиху, что живьем мужиков в землю зарывала, — слышал? Про помещичьих детей, что в шарабан дёвок запрягают и катаются на них, да еще в кормушки пряников сыпят, вместо овса? А рекрутчина, а поборы? Долготерпив народ русский, но и он не выдержал, гонит царские полки, дворян жжет, вашего брата, белоручек...

Новиков стоял, опустив голову, и только плечи его вздрагивали, как от ударов.

— Но ведь и ты, друг любезный, дворянин.

— Я, — Баженов усмехнулся, — я, брат, такой же дворянин, как ты — китайский богдыхан. От одних отстал, к другим не пристал.

Он сел и продолжал уже спокойнее: — Почему ей удалось, а Пугачеву нельзя? Отвечай!

— Кому ей? — испуганно, почти шопотом спросил Новиков.

— Императрице всяя Руси. Удалось же Екатерине задушить мужа, сесть на престол. Орловы душили, Панины скамеечку подставляли.

Новиков быстро глянул по сторонам. — А я так думаю, что все это слухи...

— Слухи! — рассмеялся Баженов и, вскочив, бросился к бюро, стоявшему в углу. — Слухи, — повторял он, как в лихорадке, дрожащими руками вертя ключ. Новиков испуганно смотрел на него, не зная, что сказать. Таким он никогда еще не видел Баженова: мертвенно-бледного, с перекосившимся от ярости лицом.

— На, читай! — сказал Баженов, протягивая Новикову письмо Алексея Орлова, и, бросившись в кресло, в изнеможении откинулся назад.

22

Он стал молчалив, задумчив. Лаская детей, подолгу вглядывался в черты лица старшего, Костеньки, расспрашивал его, и вдруг, не дослушав, уходил к себе в кабинет.

Тогда все в доме замирало. Лежа на постели, Баженов, словно сквозь сон, различал голоса детей, тревожный шепот Груни. О чем она думает, проходя на цыпочках мимо кабинета? И слышав шелест ее платья, глубже зарывался в подушки.

Прошло два года со дня отъезда Каржавина, не сказано с женой ни одного слова об исчезнувшем друге, не было от него больше писем, а Баженов не забыл их разрыва, не мог осилить себя...

Когда наступал вечер, входила со свечой Груня. Он закрывал глаза. Поставив, жена молча уходила. В кабинете, с окнами, задернутыми шторами, было тихо. По набережной ехали и ехали возы. Опасаясь приближения Пугачева, дворяне покидали Москву.

Понемногу скрип колес замолк.

Время остановилось.

...Он помнил морозное утро, заснеженное поле Болотной площади, мужичонку в нагольном тулупе, стоявшего на деревянном помосте. Чернобородый мужичонка насмешливо шурился, оглядывая бар с лентами и звездами поверх шуб, зеленые треуголки преображенцев, оцепивших Болото. Размахивая руками, он что-то кричал, но слов не было слышно: трещали барабаны...

О поимке Пугачева Баженов узнал в день своего посвящения в масоны. Поздно вечером Новиков привез Баженова в незнакомый ему дом на Мясницкой.

Здесь заседала ложа «Гармонии».

Пройдя вестибюль, едва освещенный фонарем, они очутились у железной двери. Облачившись в черный балахон, Новиков скрылся. Баженов постучал молотком. Треугольное окошечко в двери распахнулось, — брат, одетый, как Новиков, в шелковый табlier, увидел в темноте «ищущего света» Баженова, взял его за руку и повел с завязанными глазами по коридору.

Дорогой их останавливали.

На все вопросы Баженов, наученный Новиковым, отвечал твердо:

— Да, я жажду света... Ищу истины...

С него сняли повязку, и он увидел себя в сводчатой комнате с жертвенником, на котором трепетало пламя. Вдоль стен, затянутых черным бархатом, с вышитыми золотом шестиконечными звездами, стояли в таблицах братья, держа в руках зажженные свечи. Баженов услышал голос мастера стула, неподвижно восседающего на востоке:

— Отречешься от матери, отца, жены и близких...

Да, он готов. Он уже отрекся, давно исторг их из сердца, и, когда к груди его протянулись острия шпаг, Баженов смело рванулся вперед. Одна шпага кольнула, прочие — опустились, — он выдержал испытанье, как тот легендарный Адонирам, первый строитель Соломонова храма, прообраз всех зодчих.

В знак пренебрежения к дарам земным Баженов опустил в оскаленные зубы черепа золотой и три гривны серебром. Мастер стула сошел с возвышения, обнял и поцеловал Баженова в лоб. Это был Новиков. Баженов узнал его по ободряющему пожатью руки.

Посвящение окончилось.

Отныне Баженов вошел в семью франк-масонов и, отбросив помышления о земном, мог строить храм духа своего. Свечи погасли, братья, шелестя табличками, расселись по лавкам. Может быть, эти люди, которых он не знал, вернут ему веру в добро и справедливость? Разлад и тоска одиночества были нестерпимы. С надеждой вглядывался Баженов в склоненные фигуры братьев, и, словно испытывая, на него устремлялись взоры, сверкавшие сквозь прорезы капюшонов.

В разгар заседания явился запоздавший брат. Пошептавшись с соседями, он встал с лавки, громко произнес:

— Братья Иваницкий и Сметонин, оставьте ложу.

Два человека, молча поклонившись мастеру стула, вышли. Тогда новопри-

бывший откинул с лица кашпошон, и Баженов увидел румяное лицо генерала Измайлова.

Пот струился по его щекам.

— Братья, — задыхаясь от волнения, говорил Измайлов, — благую весть несущим вам, яко голубь Ною: очистилась земля русская, злодей Пугачев пойман, предан сообщниками...

Новиков ударил молотком по столу, давая знать, что заседание логи продолжается, но никто его не слушал. Все повскакали со своих мест, сбросили с лиц кашпошоны. В людях, тесным кольцом обступивших Измайлова, Баженов узнавал именитых дворян Москвы, чьи кареты с гербами он мельком видел у подъезда.

Слышались радостные восклицанья; обнимая друг друга, братья христосовались.

Под распахнувшимися таблиерами поблескивало золото орденов, бриллиантовые пуговицы кафтанов.

Никем не замеченный, Баженов вышел из храмины.

Рухнула последняя надежда.

Бросив на ларь свой таблиер, он стал спускаться вниз. На лестнице его нагнал запыхавшийся Новиков:

— Василий Иванович, ты куда?..

Не глядя на Новикова, Баженов ответил тихо, едва сдерживая готовый прорваться гнев:

— Ты обещал мне свет истины, а сверг в пучину мерзостной суеты.

Новиков опустил голову, а Баженов продолжал допрашивающим тоном:

— Кто они, Иваницкий и Сметанин? Крепостные?

Уже овладевая собой, Новиков говорил:

— Ты сам знаешь, что крепостные не могут быть братьями. Но ты прав, — добавил он смущенно, — эти люди не дворяне, подлого звания...

Баженов усмехнулся.

Все более и более горячась, Новиков говорил:

— Не нам, Василий Иванович, судить о сословиях. Для сего надо иметь голубую Иоаннову степень, я же скромный мастер стула, а ты еще неопит, бродишь в темноте. — И, взяв его за

руку, испытующе заглянул в глаза: — Ты не веришь мне, Василий Иванович?..

Они стояли на площадке, освещенной люстрой. Глядя вниз, в шевелящуюся пропасть лестницы, Баженов ответил:

— Ничему я не верю...

— Напрасно! Только мы — запомни это — можем вернуть тебе славу и значение. — Голос Новикова звучал пророчески, глаза сверкали, и в них переливалось пламя свечей. Он был неузнаваем в эту минуту в своем таблиере, перекинутом через плечо, как мантия, с бледным, обострившимся лицом, на котором рдели два лихорадочных пятна.

— Нас много, и мы сильны, — шептал Новиков, опаяя своим разгоряченным дыханьем медленно отступавшего Баженова, — ибо с нами персона, и мы ее ведем на трон...

— Какая персона? — вздрогнув, спросил Баженов.

Ему казалось, что он впервые видит настоящего Новикова.

Тот скрестил руки на груди, выше закинул голову. Голос был тих, но торжествен:

С тобой да воцарятся
Блаженство, правда, мир,
Без страха да явятся
Пред троном нищ и сир.
Украшенный венцом,
Ты будешь им отцом!..

— Павел! — вырвалось у Баженова.

— Тсс... — Новиков зажал ему рот ладонью, — до срока! Ты был близок персоне, она печется о тебе, ты нужен нам...

Возбужденье Новикова передалось Баженову. Перед глазами мелькнула на мгновение страдальческая полуулыбка цесаревича Павла...

Припомнились их встречи, беседы, постройка Каменноостровского дворца...

А теперь, достигнув совершеннолетия, Павел является законным претендентом на престол, захваченный матерью...

Уже не колеблясь, Баженов крепко стиснул руку Новикова.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

23

Последние дни он спал три часа в сутки, но был свеж, как в юности. Часто, сиживая за чертежами, прислушиваясь к щебету птиц, он переносился под небо Италии. Город замер: тишина и покой. Неслышно скользит гондола. Дремлют отраженные в канале дворцы, граненый фонарь на корме серебрит зеленую, мутную воду. Молчанье прорезает сверчковый ропот мандолины, — ближе, звучнее серенада, страстная, как соловьиная трель.

О чем только не вспомнишь, чертя и рассчитывая.

Иногда он насвистывал, но чаще работал молча, чуть шевеля губами. Не хотел думать о Кремле и не мог. Швырнув линейку, Баженов принимался ходить по аллее коротким, отрывистым шагом.

Остановившаяся, хмурил брови.

«Разве не было расчета? Был. Обвал почвы? Вздор! Укрепить балками, отвести размывающие воды. Расчет был точен, мало того: проверен по модели». Закрыв глаза, он видел свой дворец, анфиладу колонн, лестницу, мраморным потоком сбегающую к Москве-реке. Таковую же, на манер Капитолийской лестницы, он проектировал в Риме, за что итальянцы прозвали двадцатисемилетнего Баженова северным гением...

Но то было в Риме, Париже, где дождем сыпались дипломы, заказы, — здесь, на родине, при дворе и в Академии он был каменных дел мастер, не более. И весь парад с закладкой Кремля, с речами и фанфарами — только предлог показать Европе, как велика казна империи Российской, способной вести войну с турками и одновременно строить новый Акрополь, стоимостью в пятьдесят миллионов рублей...

А обещания императрицы — промкие слова из пиесы, где он, обманутый, сыграл выходную роль. Баженов понял это тотчас же после срытия возведенных им стен, прекращения работ и выплаты денег. Мир с Турцией, Кучук-Кайнарджийский мир был заключен, комедия окончена, и он остался наедине с моделью, над которой работал пять лет.

Баженов сел, провел рукой по лбу. «Сорок семь годов. Старость? Нет еще, но как пусто вокруг, шелестят липы Царицынского сада, сладостный сон навевает листва: отдохни. А дела? Где они, дела-то? — Баженов в ярости топнул ногой: — К чорту!»

И опять взялся за линейку.

— Линию а, — сказал он, — проведем по фасаду, до пересечения...

Множество линий провел он резким, глубоким нажимом. И планы, десятки, сотни планов, один замысловатее другого, слетали со стола: дворцы, усадьбы, церкви. Все не удовлетворяло. Тогда он принимался рисовать в альбоме виньетки, античные вазы, какой-нибудь орнамент, только бы не думать...

Линия жизни была точна, а в зените дней ощущал он надлом. Изменяла рука. Уже без циркуля не решался чертить, по шесть, по семь раз сверял расчеты, стал сомневаться в себе.

Началось это с Кремля.

И вот теперь, когда уже не верил в работу, императрица предложила возвести усадебный дворец. Выслушав, он усмехнулся. Ничего не ответил, ждал почтительно, но равнодушно. Повелуйте. Он готов. Дворец, так дворец. А где?

Ему указали: Черная Грязь, неподалеку от Коломенского. Как ножом, резнуло упоминание места, связанного с рухнувшими надеждами. Еще ниже опустил голову, но промолчал. Черную Грязь он знал отлично: живописнейшее село на берегу речки. Здесь, посреди запущенного парка, стоял шестикомнатный деревянный дом с двухскатной крышей, проходными галлереями и китайскими башенками. Это была усадьба Кантемиров. Екатерина приобрела ее у наследника, графа Сергея, и поселилась в ней с Потемкиным.

Была пора их нежной дружбы.

Сельские пасторали, разыгрываемые крепостными на лужайках Черногрязья, дощатые, наспех сколоченные беседки не удовлетворяли Екатерину. Ей грезилась подмосковный Версаль, но, в отличие от Царского села, в мавритано-готическом стиле.

Все это она высказала «своему архи-

текту» на празднестве по случаю Кучук-Кайнарджийского мира. Упоенная успехами, о Баженове она вспомнила среди грома литавров и орудийных салютов, сидя в своей палатке, украшенной флагами, щитами и турецкими знаменами.

С высоты помоста, где стояло ее кресло, императрица самодовольно оглядывала Ходынский поле с фонтанами, бьющими красным и белым вином, с тушами жареных быков, блестящими позлащенными рогами, с затейливыми крепостями и минаретами. Спросила: кто строил?

— Баженов, ваше величество.

В сопровождении блистательного Потемкина, имея по правую руку героя турецких побед — графа Румянцева, императрица шествовала по полю, приветствуемая господами дворянами. Гремели трубы, хор звонко пел:

Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать...

Справялось двойное торжество: разгром Пугачева и турецкое замирение.

«Маркиз де-Пугачефф, — писала Екатерина в Париж, — бит то ли восемь, то ли девять раз, так что и бить его надоело, все это глупые казацкие истории». Торжествовать победу над Пугачевым было неудобно, а посему праздновался Кучук-Кайнарджийский мир.

Апофеозом празднества была карта Крымского полуострова, расчерченная на Ходынском поле. Две дороги из Москвы, по которым тянулись придворные кареты, представляли собой реки Днепр и Дон. По берегам Дона расположились карусели и балаганы, где балансиры ходили по канату. Посреди дуга, изображавшего Черное море, были составлены в боевом порядке отечественные корабли и турецкие фелуки. Минареты, башни, крепости олицетворяли завоеванные города. Сооружения императрице понравились.

— Отменно, — сказала она, — а делал кто?

— Баженов, ваше величество.

Екатерина закусала губу. Ей не хотелось слышать это имя, произносимое

с почтением. Архитектор, осмелившийся жаловаться цесаревичу на препятствия, чинимые ему при перестройке Кремля, был ненавистен Екатерине. Но она сама поручила Баженову устройство празднества и желала слыть великодушной.

— Позовите его.

Гофшурьеры бросились искать Баженова.

— Вам угодно его видеть, — обеспокоенно спросил Потемкин, — пренесноснейшая личность, имел несчастье учиться с ним вместе в университете Московском.

Екатерина улыбнулась. Ей было известно, чем кончилось образование любезного друга.

Пожав плечами, она сказала:

— Но талант. Не есть ли это правда?

Потемкин притворно вздохнул.

— Не мне судить, матушка, а только вольнодумец он большой...

— И масон, — закончила Екатерина, поджимая губы.

Они стояли в круглой Азовской каланче у входа, охраняемого снаружи и внутри кавалергардами в золоченых кирасах, с белыми страусовыми перьями на серебряных шишаках. Ревниво поглядывала императрица на сына. При мысли о молчаливой встрече, устроенной ей при проезде, и восторженных криках по адресу Павла Петровича бросало в жар. «А вот Гришеньке все равно...»

Потемкин небрежно чистил щеточкой бриллианты. Барское, выхоленное лицо его с надменно выпяченной губой было непроницаемо холодно. Растопырив пальцы, он то приближал, то отстранял от себя перстни, любуясь их блеском.

Толпа царедворцев раздвинулась, показался Баженов. Он был бледен, но держался спокойно.

Екатерина протянула ему для поцелуя руку.

— Мне говорят, знаете, как в сказке Перро, — чей это павильон? Маркиза Карабаса. Чья крепость? Маркиза Карабаса, то-бишь Баженова, и, признаться, мы довольны...

Архитектор поклонился.

— Это только лукавство kota в сапогах, — почтительно, в тон, ответил Баженов, косясь на Потемкина, — павильоны суть машкерадная забава, в то время как Кремль московский был бы истинною славой вашего величества.

— Архитектура—дьявольская штука, господин Баженофф, — чем больше строишь, тем больше хочется.

Высказав желание как можно скорее увидеть план Черногрязского дворца, императрица отбыла, а Баженова оттерли, но, уходя, он успел заметить, как недобрый огоньком блеснул единственный глаз однокашника его университетских лет, генерал-аншефа Потемкина.

И неволью вздрогнул, разглядев в толпе цесаревича.

Демонстративно повернувшись спиной к проходившему Потемкину, Павел сделал архитектору знак приблизиться. Сердце Баженова забилося. Неужели это был тот самый мальчик, единственная его надежда, с которым он вел задушевные беседы о чужих краях?

Павел замер в горделивой позе, положив ладонь на эфес шпаги, бледный, с полуулыбкой на тонких, бескровных губах.

— Господин Баженов, — произнес он глухо, с хрипотцой в голосе, — не могу скрыть восхищения при виде столь великолепного мастерства вашего.

И, не дожидаясь ответа, взял Баженова за руку.

В группе фрейлин стояла супруга Павла, Наталья Алексеевна, молоденькая принцесса Гессен-Дармштадтская, с высокой прической, увитой жемчугами. Раскрывая и закрывая веер, она разговаривала с графом Разумовским.

— Сударыня, — громко сказал Павел, подводя Баженова к жене, — позвольте вам представить величайшего архитектора России.

— Ваше высочество слишком милостивы, — краснея, пробормотал Баженов.

Павел вскинул голову.

— Я только отдаю должное, — отчеканил он, дернув плечом, — другие не делают и этого. Тем хуже.

И, остановив мутный свой, немигающий взгляд на Баженове, повторил:

— Тем хуже...

Наталья Алексеевна взяла цесаревича под руку, и они тронулись. Проходя мимо склонившегося Баженова, Павел сказал, ласково улыбаясь:

— Помните: я ваш друг.

Слова были произнесены тихо, вполголоса, но двое придворных, идущих следом, услышали, молча переглянулись.

«Это мне не пройдет» — вздохнул Баженов.

24

Однако — сошло. Екатерине было не до Баженова. И вовсе не думал о нем Потемкин. Поглощенный делами юга, он писал Екатерине, что «Крым — это бородавка на носу России, с которой пора покончить». В 1783 году, после затянувшихся переговоров с последним крымским ханом Шагин-Гиреем, Крым был присоединен к России, за что Потемкин получил титул светлейшего князя Таврического. И опять гремели трубы, взвивались потешные огни, но все это происходило далеко, и до Черной Грязи, переименованной в Царицыно, где в уединении работал Баженов, долетало слабым эхо.

План был утвержден, материалы подвезены, и стройка началась. Шла она медленно: стал осторожен Баженов. Не доверчиво поглядывал Баженов на выроставшее зданье и вдруг, приостанавливая кладку кирпича, уходил с планом к себе в мастерскую.

Проверив чертежи, опускался на койку, лежал неподвижно, думал. Из сотни планов нужен был единственный, совершенный. Его он искал, припоминая и отбрасывая все, что видел или строил. Единственный! Как это разуместь? Тот, что приходит в конце исканий. А где предел? Он закрывал глаза: мысли, образы, легкие и стройные, проплывали, как облака.

Потом вставал, шел ко дворцу. Испытующе осматривал свое творенье. Советовался с Казаковым. Верный друг был смущен немало.

— Все по проекту, Василий Иванович, не изволь сумлеваться.

Баженов смотрел на него пристально, не мигая.

— А проект — закон? Проект — это мы с тобой, — и, вздыхая, говорил, — ладно, кончайте...

Сгорбленный, боясь обернуться и увидеть свой дворец, поспешно уходил Баженов по Утренней дорожке к пруду. Здесь он садился на скамью, следил за выющимися стрекозами. Но и сюда прибегали за распоряжениями. Не было тишины.

А в тишине рождались замыслы.

Он шел дальше, заложив руки за спину, строгий в своем темном кафтане, белых чулках и пыльных, сбитых туфлях. Не только цудрить голову, но и вязать косу, причесываться было лень, и так, с растрепавшимися волосами, чуть тронутыми сединой, сосредоточенный и угрюмый, шел он тихими, неслышными шагами.

Был полдень. Солнце сквозило между лип, ложась на песок косыми, сочными мазками. Недавно прошел дождь, в аллее было прохладно, пахло свежестью.

На пристани Баженов заметил сторожа. Вокруг него стояли корзины, наполненные чем-то белым. Баженов прищурился — стало ослабевать зрение — и, не рассмотрев, взшел на пристань.

Завидев архитектора, сторож снял шапку, молча поклонился.

— Здорово, старина. Чего здесь делаешь?

— Да вот птицу спущаю...

Тут только разглядел Баженов лебедей. Старик осторожно вынимал их из корзинок. Птицы бились, яростно вертели головами, норовя клюнуть обидчика, но стоило им коснуться воды, как, величаво выгнув шею, они уплывали одна за другой.

— Молчат? — удивился Баженов.

Сторож пососал укушенный палец.

— Лебедь завсегда молча клекочет — это верно, а ежели запоет, — значит, помирает...

Опираясь на дерево, Баженов наблюдал за лебедями. Сперва, робея, держались они стайками, но, почуяв при-

воле, успокоенные, стали разбиваться парами. Было тихо. В настороженной тишине летнего полдня, из-за отяжелевших, склонившихся к воде ив, Баженову рисовалось чистое Версальское озеро. Лебеди там были черные, как агат, но, возможно, были и белые, он не помнил теперь, забыл...

Постояв, Баженов тронулся дальше. На душе было смутно, и ничего не веселило глаз: ни таинственные гроты, ни мостики, повисшие над обрывами. Все здесь напоминало средневековую легенду. Для этого сооружались искусственные руины. Своей запущенностью парк должен был говорить о давно прошедших временах.

Презрительно улыбаясь, Баженов повторял про себя слова Потемкина: «мавритано-готический штиль». Не было такого стиля. Дворец в Альгамбре, готика являлись только элементами в его работе над Царицыным, а главное, к чему он стремился всегда, было подражание древним монастырям, непревзойденной красоте Новодевичьего, спокойствию и величавости Донского. Сии памятники старины почитал он русской готикой.

Таким был заканчивающийся Царицынский дворец.

В усложненном орнаменте стен и восьмигранных крепостных башнях дворца с его стрельчатыми арками проступали мотивы древнерусского зодчества. И все же смешением стилей дворец не удовлетворял его, но то была воля императрицы, и он покорился.

Незаметно он добрал до Золотого снопа. Это было любимое творенье Баженова. Восьмиколонная античная беседка. Посреди на цоколе высилась мраморная статуя богини Цереры. На полуовальном куполе под лучами солнца горел вызолоченный сноп ржи.

Беседка была отделана, побелена и среди зелени являла гармоничную цельность: так строго были рассчитаны ее пропорции. Ко дворцу, к тяжелым его формам русской готики беседка никак не шла, но стояла она далеко от него, на краю усадьбы.

Внизу, в цветущей луговине, мужики убирали сено.

Слепыми глазами богиня равнодушно взирала на деревенскую страду. Ей, рожденной у голубого моря, были чужды березы, окружавшие беседку, здесь она была одинока, как одинокий и непонятый был ее творец, переносивший на родную почву образцы классицизма.

Греческие храмики, поддерживаемые воздушными колоннами, античная строгость линий, смягченная французским голубовато-дымчатым пейзажем, — все это встречал Баженов в садах Версаля, где по-юношески увлекался подобными сооружениями.

Но если вспомнить, что Цереру, мать плодородия, создали древние, то разве не прав он, поместив ее сюда, на край усадьбы, где кончалась услада праздных и начинается труд земледельца? Старинная, глубокая мечта: слить труд народа с искусством... Он усмехнулся: «Робкая попытка, да и позволять ли еще, не осудят ли за вольность?»

Согнувшись, сидел он, уронив голову на руки. Так вот всегда: окончен труд, и не знаешь, нужен ли он?.. А если даже удача, редкая гостья в жизни, то все равно — вставать и уходить и снова искать, снова мучиться...

Шмель сел ему на лоб. Баженов взмахнул платком, вытер потные щеки, осмотрелся. Вокруг него был мир простой и ясный. Муравей тащил соломинку, затихая, дробью рассыпались птахи, трепетала на солнце листва. День был пропитан жизнью, а он не видел ее, некогда было. Все осталось там, в юности: расцвело-отцвело и — забыто...

А ведь так же, с пенья птиц, начинался день юности, был долог день, сулил бесконечный праздник. Пригоршнями, не считая, тратил он месяцы, годы, и неисчерпаемым казалось богатство...

Сейчас дни проскакивали быстро, незаметно сливались с ночами, переходили в туманные, росистые утра, когда, уже заработавшись, не понимаешь рассвета, не чувствуешь себя от усталости. Все чаще сжималось сердце, охватывала дурнота, и мир прерывал свой бег на секунду-другую. Встревоженный, он ложился навзничь, напряженно вслушивался в тиканье карманного брегета...

И, до боли сжимая похолодевшие пальцы, ждал того неуловимого мгновенья, когда оборвется стук в груди, наступит неподвижность.

Подняв голову, Баженов увидел спешившего к нему Казакова.

— Василий Иванович, из Коломенского выехали, вскорости сюда будут. Баженов вскочил.

— Сосны, — крикнул он, — скорее сосны!

И, оттолкнув недоумевающего друга, бросился ко дворцу. Так было с ним всегда: среди отвлеченных мыслей он, сам того не зная, продолжал думать, ни на секунду не забывал о деле. Две сосны заслоняли фасад дворца. Их надо было срубить. И пока звенели пилы, он не отходил от рабочих, нетерпеливо смотрел на подрагивающие кроны, ждал падения.

Треснув, рухнули сосны.

Баженов пошел вдоль дворца, на ходу отдавая приказанья. Казаков с альбомом — за ним. Это был последний осмотр. В несколько минут они обошли здание. Остановившись, Баженов прищурился: фасад был растянут, теперь он ясно видел, но арки великолепны — строгие и величественные.

Стоявший рядом Казаков сказал:

— Василий Иванович, оделся бы...

Кивнув, Баженов торопливо зашагал к мосту. Здесь разметали землю, сыпали песком. Кордегардия, Эрмитажный театр были лично утверждены императрицей, и все же, окидывая их взором, он трепетал, как школяр, — а вдруг не угодил!

Но геометрически-строгие, красные с белым стены кордегардии, витые колонны театра, таинственный, сквозь даль аллеи, фигурный мост успокоили его.

Он пошел переодеваться.

На пороге мастерской Баженова ждала жена. Ее должны были представить императрице, и она только сегодня с ребятишками приехала из Москвы. Подростки Костя и Володя были в новеньких камзолчиках... Баженов потрепал их по щекам, а любимицу Оленьку расцеловал.

— Одеваться, — сказал он и опустился в кресла.

Аграфена Лукинична принесла английский сукна кафтан, черный, с позументами, завитой парик. Он все это надел, рассеянно взглянул в зеркало, которое держала перед ним жена, сдунул пудру, улыбнулся...

— А ну, Грунюшка, загадай.

И закрыл глаза.

Строгая, она взяла из кубышки горсть кедровых орехов, потрясла в руке, разжала ладонь.

— Чет, — прошептала Аграфена Лукинична и, порывисто обняв, поцеловала мужа в лоб. Он прижался головой к груди ее и сидел так, не шевелясь. Слышно было, как под корсажем тукало сердце...

Ласково отстранив Груню, Баженов встал, взял со стола треуголку и тут будто впервые увидел жену. Нахмурившись, смотрел он на парчевую ее робу, на атласные, строченные бисером, туфельки...

— Чего это ты расфуфырилась, матушка?

Аграфена Лукинична вспыхнула.

— Да ведь ты сам наказывал...

— Ладно, — оборвал недовольно Баженов, — сам, так сам, а только не к лицу нам атласы. Володьке нос утри...

И вышел спокойный, уверенный в себе.

По обеим сторонам главной аллеи, ведущей к мосту, толпились рабочие, все в новых рубашках, примасленные, строгие. Когда показался Баженов, а следом за ним Казаков с планом дворца, свернутым в трубку, рабочие молча и почтительно закланялись. Любили Баженова, знали его ласку и справедливость.

Архитектор хлопнул по плечу рослого каменщика.

— Лука, подтяни живот — в гвардию не возьмут...

Он шутил, улыбался, но в глазах была тревога. Казаков, одетый в щегольской, с иголки, кафтан, казался беспечным, но и он понимал, нутром чувствовал, что переживает учитель.

Едва они дошли до моста, как с дороги, клубящейся пылью, донесся стук колес. Баженов выпрямился, снял шля-

пу, твердо пошел навстречу прибывшим.

Впереди дам, в светлых гродетуровых платьях, бежали скороходы, черномазые, лукавые арапчага, в шитых золотом жилетках, алых шальварах, с опахами из павлиньих перьев. За скороходами, опираясь на трость, в излюбленном молдаване, с голубой лентой через грудь, медленно шла Екатерина.

Была грузна матушка и, памятуя о невеликом своем росте, держалась прямо, с неизменно благосклонной улыбкой на пухлых, поджатых губах. Баженов по глазам ее, голубым, с карим отливом, угадал: комплезантна¹ матушка. И, взмахнув шляпой, отвесил церемонный поклон:

— Добро пожаловать, ваше величество.

Опустившись на колено, Казаков преподнес план розовошечному, статному вельможе. Это был Ермолов, недавно, с весны, назначенный флигель-адъютантом и сочувственным непостоянного сердца императрицы. Ермолов удивленно пожал плечами. Подоспевший начальник кремлевской экспедиции, генерал Измайлов, торопливо развернул план. Екатерина кивнула:

— План после. Показывай.

И шествие тронулось. Впереди — Баженов, императрица, опирающаяся на руку Ермолова, позвякивающий шпорами генерал, сбоку Казаков и попарно — фрейлины. Шуршали шлейфы по песку. Шли молча. Из-за дубов, раскинувших изломанные свои ветви, показалась черная крыша дворца, круглые башни... Екатерина остановилась, брови ее удивленно приподнялись. Все замерли. С минуту она рассматривала дворец, недоумевая, как могли осмелиться украсить его орнаментом, повторяющим мотив треугольника, — ненавистную эмблему масонства.

Резко обернувшись, она спросила:

— Что это?

— Главный корпус, ваше величество, — бледная, пробормотал Баженов.

— Огнюдь. Сие — острог, в коем жить арестанту, но не мне...

¹ Снисходительна.

Баженов вздрогнул. Губы его зашевелились, но ни единый звук не вырвался из груди. Глазами он искал Казакова. Матвей Федорович, почуяв недоброе, исчез в толпе. Оглядывая присмившую свиту, Баженов встретился с лицом жены. И в ее испуганном взоре прочел приговор.

Обращаясь к Измайлову, Екатерина сказала:

— Срыть эти казематы до основания.

Генерал щелкнул шпорами, и все, повернувшись, пошел обратно. Любопытные, за минуту до того теснившиеся вокруг Баженова, мгновенно исчезли. Видя, что императрица уходит, Баженов, борясь с желанием заговорить и не осмеливаясь, согласно этикету сделал несколько шагов вперед и дрожащим, не своим голосом воскликнул в отчаянии:

— Ваше величество!

Не оборачиваясь, Екатерина чуть замедлила шаги. Догнавший ее Баженов заговорил, умоляюще прижимая руки к груди:

— Государыня, я достоин вашего гнева, не имел счастья угодить вам, но жена моя ничего не строила, но дети...

Задохнувшись, он смолк.

Екатерина молча протянула руку. Аграфена Лукинична, рыдая, припала к ней. Испуганные стояли Костя, Володя и Оленька. Девочка схватилась за юбку матери. Ермолов брезгливо морщился. Генерал Измайлов, следивший за лицом фаворита, сделал знак подавать экипажи.

Императрица села, рядом с ней опустился на подушки Ермолов.

Генерал захлопнул дверцу:

— Трогай!

Карета загремела по мосту, съехала на дорогу, мягко покатилась, за ней другая, третья, и все смолкло.

Жужжала мошкара.

Баженов стоял на фигурном мосту, смотрел вслед удалявшимся экипажам. Плыли облака, небо, деревья. Очнувшись, он провел рукой по лбу и усмехнулся.

Это было последнее усилие воли. Слезы брызнули из глаз, — схватив-

шись за сердце, он пошатнулся, крепко стиснул руку жены.

— Василек, — прошептала Аграфена Лукинична и, вздрогнув, обернулась.

С пруда донесся лебединый крик, похожий на пенье, хриплый и мучительный, как стон.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

25

А теперь он жил в Петербурге и не думал больше о Москве. С Москвой было покончено. Баженов встал, подошел к окну. Долго смотрел он на неподвижную воду.

Бледный петербургский рассвет дымился над Екатерининским каналом. В линию, как зачарованные, вытянулись дома, не отбрасывая тени. Был май, время белых ночей.

Но волшебства их он больше не ощущал.

Туман плыл над каналом, как испаренья гнилых Понтийских болот. В Риме он видел такое утро из окна трактира. Но Италия далека, недоступна, в Париже — революция. Он стоял и думал о знакомых улицах, по которым с грохотом катились пушки.

А когда он прочел в газете, что пала Бастилия и вооруженные предместья движутся на Версаль, — сердце замерло восторгом. Сбылось!

О! дар небес благословенный,

Источник всех великих дел;

О! вольность, вольность, дар бесценный!

Позволь, чтоб раб тебя воспел...

«Как это дальше?»

Обернувшись, Баженов увидел в зеркале сгорбленную свою фигуру и, махнув рукой, устало опустил в кресло.

Взор его был утрюм, седые брови сдвинуты.

Стиснув лицо ладонями, он силился припомнить ускользавшие строфы. Но припомнить не мог...

Газеты с описанием штурма Бастилии привез из Парижа Каржавин. Это была неожиданная встреча. С глазу на глаз они просидели долгие часы, обме-

ниваясь воспоминаньями. Каржавин рассказывал о путешествии в Америку, о своей неудавшейся женитьбе.

По старой привычке Каржавин вскакивал, принимался ходить из угла в угол, но вдруг останавливался, замирая на полуслове, и тогда Баженов ясно видел, как изменился этот человек, которого он привык ощущать юным.

Каржавин говорил:

— Революция французская, столь счастливо предугаданная Руссо, разобьет оковы рабства, и освобожденные народы двинутся в Россию...

Он был все тот же, единственный из немногих друзей, оставшийся верным мечте, и Баженов благодарно протянул ему руку. Порывисто обняв Баженова, Каржавин закончил со слезами на глазах:

— Я верю, знаю: революция отмстит за тебя...

Ничего не сбылось. Падали, рушились в пламени твердыни королевской Франции, а здесь, в ненавистном Петербурге, в далекой теперь Москве — уныло гудели колокола, сливаясь с кандальным звоном каторжников, бредущих цепью по дороге.

По ней, по этой дороге, проехал в Сибирь Радищев, автор «Вольности», мечтавший, как и Каржавин:

Брут и Тель еще проснутся,
Седей во власти, да смянутся
От гласа твоего цари...

Удивленный, что строчки ожили в нем, Баженов приподнял голову, усмехнулся. Рука потянулась к стакану. Выпил, налил другой. И, вспомнив слова Каржавина, кивнул: «А я, Федя, в отца пошел, крестом закусываю». Или это Новиков говорил ему, чтобы закусывать?.. Мысли мешались. От водки ли, от бессонницы в голове звенело, билось: бежать... бежать...

Сидел, уронив голову на стол, и дремал, или это ему казалось, что он слышит взволнованный, молодой голос Каржавина: «Слава ждет тебя, Василий Иванович, а здесь раззор один и таланта поругание...»

— Поздно! — громко сказал Баженов и открыл глаза. Окно светлело, го-

лубизной наполнялась комната. Он погасил свечу и сидел с минуту неподвижно, крепко сжав руки. Ему опять припомнился тот день, когда он впервые увидел Каржавина в синем фраке, с белым жабо. Подняв плескавшийся через край бокал, юноша крикнул: «Российского Невтона честь!»

А теперь Каржавин ни о чем уже не мечтал.

По возвращении из чужих краев он жил в доме Баженова, опустившийся, равнодушный ко всему человек.

Баженов встал, медленно прошелся по комнате.

Он вспомнил, с каким жаром говорил ему Новиков о «персоне», но вот умерла Екатерина, воцарился Павел, а ничего не изменилось.

Словно в ответ на его мысли, под окном грянул марш. Баженов облокотился на подоконник. Шли войска, четко отбивая шаг. В зеленых кафтанах, с красными обшлагами, солдаты выправкой напоминали гвардию времен короля прусского Фридриха-Вильгельма I. Впереди ехал офицер. Трепетал по ветру бархатный штандарт с вензелем императора Павла под золотой короной.

Две барыньки из флигеля напротив выбежали на балкон, как были, в одних капотах, усталились в лорнетки на офицера. Он прищурился, молодежато подкрутил ус. А солдаты шли, ряд за рядом, — один до смешного схожий с другим.

Баженов вздохнул: три года длилась эта мука.

С утра до вечера по улицам Петербурга шли, маршировали полки. Мимо окон проносился на взмыленном коне Павел, в треуголке, сдвинутой набок, с перекошенным от ярости лицом. И за ним, очумев, скакала свита. Протяжно выли трубы на площадях и набережных, где у полосатых будок намертво застыли часовые. После десяти часов вечера тасли огни и без пропуска нельзя было выйти на улицу.

Баженов отошел от окна, сел и закрыл лицо руками. Эти ночи он проводил один, запершись, никого не желая видеть, кроме любимицы Оленьки. Ра- но утром дочь приносила ему еду, лас-

ково смотрела на отца, глубоко сидевшего в вольтеровском кресле.

— Ну, егоза, — говорил он, и на окаменевшем лице его проплывала тень улыбки, — все прыгаешь? — Оленька молча терлась щекой о морщинистую щеку отца и, поцеловав его в лоб, убежала.

Он смотрел ей вслед, качая головой. Олюшка была похожа на мать, вот такой он встретил Груню на Воробьевых горах. Но об этом Баженов редко вспоминал, другие мысли осаждали его. Попрыгунья Оленька, старший сын Константин Васильевич, младшие — Владимир, Всеволод, Надя и Вера, — все это шумное племя, чьи голоса и смех наполняли дом, были его дети, а он их вовсе не знал, и когда Костя принимался рассказывать, «как у нас в полку», Баженов с удивлением смотрел на черноволосого юношу в преображенском мундире и стыдливо опускал голову: дети выросли без него.

А когда, постучав, входила жена, он растерянно, словно его уличили в чем-то дурном, поднимался из-за бюро.

— Ты что, Грунюшка? — спрашивал он, закрывая рукой чертежи.

Никто, даже самые близкие не должны были их видеть. Ему всегда казалось, что за ним следят, посторонних лиц он не терпел в доме и, заслышав брелчанье клавишин из антресолей Оленьки, недовольно морщился.

Аграфена Лукинична, как всегда, целовала его в плечо, осведомляясь, хорошо ли поживал, что будет нынче кушать. Такой он видел ее каждый день, неторопливую, все улаживающую, незаметную и вездесущую.

Это она, Грунюшка, проходила тяжелыми шагами мимо кабинета, а ее звонкий, к старости ворчливый голос раздавался в поварне и на дворе, где она сама кормила кур. Ежевечерне переваливающаяся фигура жены появлялась с канделябром на пороге кабинета.

— Ты бы отдохнул, Иваныч, — говорила она тихо, сама не веря в свои слова, и ставила канделябр на стол, — хочешь, я посижу с тобой. Нынче я одна, Костя с Оленькой уехали на бал, а Володичка ушел к приятелю.

И, грузно опустившись в кресло, она продолжала нараспев:

— Беда мне с Костенькой. Хоть бы ты с ним поговорил...

— А что такое? — спрашивал Баженов.

Взволнованно по-матерински, с той непередаваемой интонацией, в которой слились тревога и любовь, Аграфена Лукинична рассказывала об амурных шалостях Костеньки, о Володичке, который начал поигрывать в картишки, а Баженов внимательно слушал, изредка задавал вопросы, покачивая в раздумьи головой, но мысли его были далеко.

— Так как же, Иваныч? — помолчав, спрашивала жена.

Баженов удивленно вскидывал голову и, спохватившись, делал озабоченное лицо.

— Да-да, — кивал он, — ты права, надо будет поговорить, только вот что, поговори-ка ты сама, а я, знаешь, как-то оно того, — он шевелил рукой, — мне заняться нужно, ты уж после... Ладно?

Вздохнув, Аграфена Лукинична опрала свой чепец и уходила так же неслышно, как пришла.

Откинувшись в кресле, Баженов думал о Володеньке, который начал поигрывать в картишки, о шалостях Кости и снова брался за циркуль. Часы били полночь. К дому подъезжала карета. Слышались уверенные шаги сына, звон шпор, предостерегающий шопот Груни. И все смолкало. Тикали часы.

И нельзя было остановить время.

Снова Баженов оставался наедине с собой, с ночными, страшными в своей безответности сомнениями. Откуда-то — с глади высеребренного луной канала или из темных углов кабинета — поднимались они, душные, как испаренья гнилых болот. Правильно ли была вычерчена жизнь? Или все, что прожито, — только кошмарный сон, от которого пора наконец очнуться, чтобы хоть перед смертью увидеть свой труд запечатленным в камне.

С детства мечтал Баженов сделаться архитектором, и чужие люди помогали ему в этом. Когда Ухтомский, первый учитель юности, приезжал к отцу, Иван Федорович лебезил, кланялся в ноги,

но отца больше не было, не было в живых матери, и, может быть, никогда ему не говорил Ломоносов тех слов, от которых вспыхнуло и загорелось сердце.

Он боялся этих воспоминаний—ослепительного солнца Рима, дней молодости и несбывшихся надежд. Бог с ними. Но, когда он хотел припомнить де-Вальи, их поездку в Версаль, синеватый уходящий в бесконечность партер, сами собой набежали слезы.

Встревоженный, он шел на зов музыки, в гостиную, где сын принимал друзей. Офицеры вставали, когда входил Баженов, музыка обрывалась. Только-что говорили о разжалованиях, о плац-парадной муштре, о жестокостях сумасшедшего императора, но вот являлся Баженов, друг Павла, и все смолкало.

Может быть, в Москве или где-нибудь в ссылке, в отдаленных поместьях и шли разговоры о матушке Екатерине, но здесь, в доме архитектора Баженова, говорить о ней было запрещено.

А Баженов, посидев часок с молодежью и ничего не поняв в их беседе, поднимался и уходил, опираясь на трость, равнодушный, не замечая насмешливых улыбок.

Проходя через библиотеку, он брал томик Державина, трясущимися руками раскрывал его и, стоя, принимался читать:

Богородица царица
Киргиз-Кайсацкие орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высокую гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает:
Она мой дух и ум пленяет,
Поддай найти ее совет...

Стихи текли, как водопад, шумя, пенясь, сверкая, но то было прославление Екатерины, страшного ее века, и он, захлопывая томик, бросал его в грудку книг, которую собирался и все забывал сжечь.

Самого Державина, разлетевшегося поздравить архитектора с назначением вице-президентом Академии художеств,

Баженов не принял, а стихи Гаврилы Романовича на разлом Кремля, читанные когда-то Казаковым, употреблены были на завивку парика.

Но стоило Баженову взять в руки растрепанные страницы ломоносовских од, как волнение, с детства знакомое, охватывало его. Без очков Баженов уже не различал букв, кликал Оленьку, и та прибежала, раскрасневшаяся от танцев. «Вот, почитай мне» — говорил он, и девушка читала, презрительно, как мать, вздернув верхнюю губку, недовольная, что ее засадили за скучные вирши. Но о том Оленька не смела заикнуться, а Баженов слушал и тихонько улыбался, покачивая головой.

Других песен он не хотел.

Время текло, менялась жизнь, а он, как и прежде, все пребывал в ожидании того, что не случилось за долгие годы и что могло произойти завтра, сегодня же, каждый час.

— Ну да, ну да, — кивал Баженов, бормоча и шаркая туфлями.

Торопливо шел он к себе, садился за стол, брал линейку с наугольником. Здесь, над бумагой, озаренной нагорающими свечами, были начало и конец его жизни.

Был план Кремлевского дворца, и модель его стояла в Грановитой палате, и был план Царицына, он висел в кабинете, над постелью, — план и акварель, — еще был рисунок пером дома Пашкова.

Этот единственный, законченный, дворец был особенно памятен.

Никто не знал, что в кубе зданья, в легких крыльях его фангелей жила душа Лувра, открывшаяся Баженову в Париже, лучшее, что удалось донести, не расплескав...

Как обычно, когда постройка близилась к завершению, страх охватил Баженова, неуверенность в ценности создания. Был ли пашков дом вполне самостоятельным замыслом или вышел из рук де-Вальи, — Баженов не знал и медлил с окончанием, а тут начались преследования масонов, и работу пришлось бросить.

Казаков, верный и терпеливый друг, закончил зданье.

Окруженный каменной изгородью дом стоял на холме, напротив Кремля. Колонны, поддерживающие портик, белели среди зелени сада, где чирикали, заливались иноземные птицы, перепархивая с ветки на ветку.

Дом, сад, подъездные ворота — все было исполнено Казаковым по плану Баженова, все было прекрасно и совершенно, и все же было что-то чужое в пашковом доме, не баженовское..

Он ничего тогда не сказал Казакову, молча обнял его и уехал в Петербург.

Надвигалась катастрофа. По указу Екатерины был арестован Новиков. Захватив с собой списки членов ложи, документы, свидетельствующие о поддержке Павла масонами, Баженов отправился в Гатчину, к цесаревичу.

Павел встретил его на людях грозно:

— Я принимаю тебя, как художника, а не как мартиниста,—кричал он, топая ногами, — об них и слышать не хочу!

А ночью, наедине горячо благодарил Баженова за предупреждение.

26

В день приема у Павла Баженов лег после обеда вздремнуть. Слышно было, как на антресолях Оленька играла новомодный танец вальс. Император запретил его, считая неприличным, вальс танцевали тайно. Под этот кружащийся, мечтательный мотив Баженов уснул, а когда он очнулся, был уже вечер.

Приподнявшись с постели, Баженов позвонил и приказал закладывать карету.

Со свечой в руке вошла жена.

— Едешь, Василий Иванович?

Он молча кивнул. Аграфена Лукинична поставила свечу на стол и хотела выйти, но он удержал ее за руку.

— Сядь.

Удивленная, она опустилась в кресло, провела ладонью по всклокоченным волосам мужа.

— Лысеешь, Иванович?..

— Годы, матушка: шестьдесят два стукнуло. Да не тот, парадный кафтан, — раздраженно сказал он слуге.

Когда платье было принесено, Баженов махнул рукой:

— Сам оденусь. Ступай!

Слуга вышел. Несколько минут длилось молчанье. Потрескивала свеча. Баженов лежал с закрытыми глазами, и оттого, что жена, Грунюшка, здесь, рядом,—было хорошо, как в юности, когда вот так же в горе или радости сидели молча вдвоем.

И сегодня был такой день.

Предстояло законченный план Михайловского замка взять на рассмотрение Павлу. Тяготясь своим пребыванием в Зимнем, где все напоминало о ненавистной Екатерине, Павел торопил с постройкой. Еще не был утвержден проект, а уже на месте закладки день и ночь шли работы.

В последнее время император был мрачен. Духи являлись к нему. Архангел Михаил повелел через часового, которому был голос, соорудить здание немедля.

Михайловский замок, названный так в честь архангела, воздвигали на Марсовом поле, неподалеку от Летнего сада. На этом месте, в деревянном дворце Елизаветы Петровны, построенном некогда Растрелли и сгоревшем, родился Павел.

«Здесь я хочу умереть» — говорил он Баженову.

Через полгода план был готов. Проект замка представлял собой четырехугольную крепость с башнями, подъемными мостами.

Работа была наспех и не удовлетворяла Баженова.

В орнаментовке стен повторялись мотивы Кремлевского его дворца, круглые окошечки и готические башни перенесены были из забытых чертежей Царицына, и, словно окованный тяжестью, Михайловский замок застыл в мучительной неразрешенности стиля.

Иссякло вдохновение, стала изменять рука..

— Девять часов уже, — прошептала Аграфена Лукинична.

Он кивнул. Вставать не хотелось. Но ехать надо было, воля императора—закон. Что он такое хотел сказать ей? Морщась, Баженов приподнялся на локте и вдруг, раскрыв рот, тяжело рухнул навзничь.

Груня бросилась к нему.

— Василек, милый, что с тобою?

Сердце билось неровно, толчками. Глубоко вздохнув, Баженов открыл глаза:

— Ну, чего шумишь, детей испугнешь. Маленько голова закружилась. Полежу, и отойдет. А ты сядь,—и, взяв ее за руку, крепко сжал в своей.

Помолчав, он проговорил полувопросительно:

— Весной в Москву поедем...

— Поедем, батюшка, бесприменно поедем, а только что ж весны дожидать, подай репорт—государь милостив, отпустит.

Он посмотрел на нее строго:

— Нельзя, мать.

И выпустил руку. Полежав с минуту, Баженов встал, оделся с помощью жены и сел в кресло перед зеркалом. Аграфена Лукинична сама завязала ему ленты на туфлях. Задумчиво смотрел он на ее седую, в сбившемся чепце, голову и все хотел сказать главное, но не мог вспомнить.

И, вздохнув, поднялся с кресел.

В кабинет вбежала прощаться Оленька. Она была в белом платье, высоко, под грудь перевязанном лентой, с короткими рукавами, ни дать, ни взять— нимфа с полотна Давида. А на русой головке веночек искусственных роз. Ласкаясь к отцу, Оленька говорила, что ни за что не уснет, пока он не вернется из дворца.

— Я вас буду ждать, папá. Хорошо?

Баженов перекрестил ее и поцеловал в лоб. Оленька надула губки. Ей не нравились эти семинарские манеры папá. Сделав насмешливый реверанс, она взялась пальчиками за кружево юбки и, звонко хохоча, убежала.

Ножки ее в белых замшевых туфельках, с античным переплетом из лент вокруг щиколотки, замелькали по лестнице вверх, а он стоял, сокрушенно качая головой. Дети его тянулись ко всему французскому, а по улицам Петербурга, шлепая пятками, потряхивая в такт косяками, маршировали прусской выправки полки. Непонятное настало время.

Все французское под запретом, все

немецкое насаждалось, а отечественное позабыто.

Только они с Грунюшкой привержены старине.

Аграфена Лукинична жарко топила печь, сама ставила хлебы, аккуратно соблюдала посты и говеть ходила к Николе Звонному, что на 3-й линии Васильевского острова, где сквозь церковную ограду свешивались пыльные кусты акации и было совсем, как в Москве...

Накинув на плечи плащ, Баженов взял из рук слуги треуголку с плюмажем и, напутствуемый женой, вышел во двор. Здесь ждала карета. Кучер, рыжебородый Симеон, открыл дверцу и выкинул подножку.

— Извольте, батюшка, садиться, — сказал он с поклоном.

Баженов занес было ногу на подножку и вдруг, вздрогнув, обернулся. Кто-то, хрипло выкрикивая, пел под балалаечный перебор:

Ах ты, сукин сын камаринский мужик,
Ты за что, про что калашницу убил?..

Резким движеньем Баженов высвободил локоть из рук жены, решительно направился к людской. Отворив дверь, он невольно отступил. В кругу судомоек, ухватившихся за бока, вертелся старик в красной рубахе. Дергая за струны балаалайки, он пел, приплясывая:

Я за то, про то калашницу убил...

— Федор!

Каржавин обернулся и, ослабившись, отдал до земли шутовской поклон:

— А-а, ваше-сиясь, благодетель. Прошу-прошу к нашему шалашу!

Баженов взял у него из рук балаалайку.

— Федя,—сказал он тихо,—и тебе не стыдно, ведь образ человеческий потерял, винопийствуешь, малых сих смущаешь. Идем отсюда!

Пошатываясь, Федор Васильевич, тупо смотрел в глаза и улыбался. Он был хмелен, лицо его, вздувшееся и окаменевшее, было совершенно бессмысленно.

— Никуда я не пойду. Оставь! Мне здесь хорошо...

Ударив себя в грудь, он закричал:

— Что есмь Карржавин? Я спрашиваю? Червь! Н-но...

И, прищурившись, повел пальцем перед носом:

— Сие есть тайна...

27

С тяжелым чувством поднимался Баженов по лестнице Зимнего дворца. Здесь он бывал не раз, и не раз всходил по этим ступеням, залитым малиновым ковром, далекий друг юности Новиков. Павел выпустил его из Шлисельбурга. Теперь Новиков жил у себя в Авдотьине, присмиривший, разбитый горем старик.

На стене приемной висели портреты Ротари, сельские, улыбочные головки, «Чудесный лов рыбы» — Антона Лосенко, а сам художник, спившись, погиб. Умер в нищете Варфоломей Варфоломеевич Растрелли, создатель Зимнего дворца с окнами на Петропавловскую крепость, где сидел автор «Вольности», Александр Радищев.

Гибель этих людей не была тайной для Баженова.

В зеркале он видел себя в зеленом академическом кафтане, с аннинской звездой на груди. Из-под завитого парика смотрело на него чужое, в морщинах, лицо, с глубоко запавшими глазами.

Дежурный нес планы, а сам Баженов шел, опираясь на палку, и только у дверей кабинета отдал ее камер-лакею.

Император не терпел вида немощей.

Семидесятилетние генералы маршировали перед ним в одних мундирах на снегу Марсова поля, падали замерзшие солдаты, никто не жаловался. Жалоб Павел не любил.

Часы на камине пробили десять.

В это время все огни в Петербурге гасли, театры и балы прекращались, а часовые на бельведере Зимнего дворца затыгивали переключку:

«Император спи-ит!..»

Но император не спал. Он нетерпеливо шагал по кабинету и, когда Баженов вошел, остановился.

— А-а, наконец-то, — хрипло пробормотал он, — ну, показывай...

Молча Баженов разложил на столе план. Павел тотчас же склонился над ним. Лицо его под лострой было бледно, губы подергивались, глаза смотрели безжизненно, как у Карржавина, и, казалось, ничего не видели, мутные, в красных жилках. Отстранив план, император вскочил и опять начал ходить из угла в угол.

— Как долго думаешь строить?

Баженов, не получив предложения сесть и не осмеливаясь согласно этикету, чувствовал, как дурнота, предвестник сердечного припадка, подкатывает к горлу. Фигура Павла то уменьшалась, то увеличивалась и вдруг пропадала во все.

— Ну, я спрашиваю!

— Пять лет, ваше величество.

Павел дернул плечом.

— Вздор! Я не могу здесь жить. Год-два!..

Слова он выкрикивал в лицо Баженову, опирающемуся руками на стол. Но странно — хриплый, каркающий голос и звон шпор раздавались из разных углов кабинета.

Сделав над собой усилие, Баженов снова увидел Павла.

Крадучись, как кошка, император подошел к двери, приложил ухо к замочной скважине и, вдруг обернувшись, широко раскрыл глаза.

В них был ужас.

— Убьют, — беззвучно прошептал Павел.

И, резнув себя ладонью под горло, расхохотался.

— Ваше величество...

— Молчи! Я знаю! Чувствую! — выкрикивая, Павел яростно тряс колокольчик.

На пороге бесшумно вырос лакей.

— Бренну!

Растерянно перебирая чертежи, Баженов стоял бледный, не в силах вымолвить слово. С Виченцо Бренна, придворным архитектором и живописцем Павла, они не ладили. Льстивый и вероломный австриец долгие годы работал у цесаревича в Гатчине и Павловске. Здесь Баженов с ним встретился, и оба сразу же, с первых слов, почувствовали друг к другу враждебность.

Вкрадчивой своей походкой в кабинет вошел Бренна.

— Викентий Францевич,—сказал Павел, не глядя на архитектора,—его превосходительство господин Баженов представил мне законченный проект Михайловского замка. Сколько вам потребуется времени, чтобы возвести оное здание окончательно?

— Два года, ваше императорское величество.

Павел быстро взглянул на него и, сев, указал на стол:

— Вот чертежи. Приступайте. Я назначаю вас главным архитектором, а его, — он указал на Баженова, — за-архитектором.

— Государь, — твердо сказал Баженов, — я готов.

Бренна удивленно приподнял голову.

— Несмотря на наши разногласия, о чем я уже имел честь докладывать, — спокойно продолжал Баженов, — в лице господина Бренна ваше величество найдет мастера, способного осуществить замысел. Тем более, что планы, чертежи, расчеты — налицо.

Бренна, которому хорошо было известно враждебное к нему отношение Баженова, с любопытством смотрел на говорившего. Павел одобрительно кивнул:

— Я уверен, что вы поладите, господа.

И встал.

— Я прошу еще об одной милости, государь, — сказал Баженов.

— Что такое? Говори. Буду рад, ежели смогу ее исполнить.

Протягивая ему лист бумаги, Баженов поклонился:

— Примите мою отставку, ваше величество. Я стар, по причине мозговой моей болезни, которую я начал чувствовать уже давно, и по многим трудам и печалям мира сего...

Павел подошел к столу, взял перо и, подписав прошение, вернул его Баженову.

★

Куранты Петропавловской крепости отмерили полночь. В сумерках августовской ночи едва проступали ров и линии бастионов. Вдоль крепостного

вала медленно расхаживали часовые. Промелькнула и скрылась громада Зимнего дворца.

Сидя в покачивающейся карете, Баженов с улыбкой смотрел в окно. Мелькали полосатые будки, дома, погруженные во мрак. Тишина царила в улицах, и только изредка мелькал за плотной шторой огонек свечи. И невероятной казалась за окнами жизнь. Отчего же так легко, празднично было на душе? Впервые он чувствовал себя свободным. Все кончено: труды, томительные ночи, заботы, — пора отдохнуть...

Клонило в сон. И дремой был окутан Петербург. В этом городе он не мог ни жить, ни работать. Закрыв глаза, Баженов опять видел кривые улицы Замошья, их дом в Средних Садовниках. А рядом — Грунин сад. Жизнь, повторяясь, шумела голосами детей, смех Оленьки звенел в аллеях, где он играл с Груней в прятки. Так хорошо ему давно уже не было, и он с нетерпением ждал того момента, когда скажет наконец Грунюшке:

— Ну, старуха, сбылось твое желание, собирайся в Москву...

Свернув с Миллионной, карета выехала на Марсово поле. Кругом горели огни. Словно армия победителей стала bivуаком на огромном его пространстве, от решетки Летнего сада до фундаментов Михайловского замка. Поскрипывая, экипаж бесшумно катился мимо столбиков кирпичей, груды сваленных бревен.

Было видно, как среди палаток и шалашей взад и вперед сновали рабочие, слышались торопливые удары молота, визг пилы, разноязычный говор и шум стройки. Чадя, шипели факелы, порой вспышка озаряла сквозные аллеи Летнего сада с мраморными статуями и расплавленной Невой, чуть поблескивающей сквозь узор фельтоновской решетки.

Каждый вечер, проезжая через Марсово поле, Баженов выходил из кареты, советовался с мастерами, подолгу смотрел на выроставший, еще ему одному только видимый дворец.

Натянув вожжи, Симеон полуобернулся, ожидая приказа остановиться, но Баженов сидел молча, крепко закусив

губы, бледный, с полузакрытыми глазами. Кучер стегнул по коням, и карета опять захохотала, подпрыгивая на ухабах.

На углу Екатерининской тень будочника с фонарем метнулась ей наперерез.

— Сто-ой!

Карета остановилась.

— Кто едет, борода? — осведомился стражник у Симеона.

— Его превосходительство, вице-президент Академии...

— А ну, давай пропуск!

Кучер заглянул в окошечко, Баженов дремал, откинувшись в угол кареты.

— Ишь ведь дела какие, уснумши,— сокрушенно покачал головой Симеон и, кряхтя, слез с козел.

— Батюшка, пропуск требуют...

Баженов не отвечал.

Тогда Симеон отпер дверцу и, просунувшись в качнущуюся карету, тронул за плечо Баженова.

— Барин, а барин...

Стражник выше поднял фонарь.

— Постой-ка-сь, — сказал он, стягивая с себя треуголку, — да никак твой барин помер? Господи Исусе! Так оно и есть. А ну, заворачивай на Съезжую, там разберут...

Москва. 1937—1940.

Стихотворения

Адам МИЦКЕВИЧ

★

ДРУЗЬЯМ РУССКИМ

Вы помните меня? А я, лишь только вспомню
Поляков, гибнущих на плахе иль в темнице,
Тотчас же вижу вас. Вообразить легко мне
В одном гражданстве их и чужеземцев лица.
Где шея гордая Рылеева? Как брата,
Я обнимал его, бывало. Но жестоко
Задушена она петлей царева ката.
Проклятье вечное тем, кто убил пророка!
Бестужев протянул мне дружескую руку.
Не меч и не перо сейчас в руке поэта.
Нет, рядом с польскою прикована на муку
В сибирском руднике рука святая эта.
Быть может, у иных еще и горше участь.
И кто-нибудь из вас за чин, за орден лишний
Жар юности отдал и, совестью не мучась,
Поклоны бьет царю в его передней пышной.
Он речью купленной триумф царя прославит,
И мученичество друзей — ему услада.
А если кровь моя его и окровавит,
Что ж! — пусть кичится ей перед царевым взглядом.
Но если как-нибудь домчится издалека
В край полуночи песнь, что выстрадана мною,
Пусть над пустыней льда звучит она высоко,
Вам вольность возвестив, как журавли весною.
Узнаете меня по голосу! В оковах
Я, как змея, хитрил и лгал в глаза тирану.
Но открывался вам в желаньях тайниковых,
Как голубь, был я прост и не знал обмана.
Сегодня на землю бокал отравы пролит!
Пусть горечь слов моих, злость этой речи горькой,
Пусть горечь слез и ран моей отчизны колет,
Жжет и язвит не вас, а ваши цепи только.
А если кто из вас обидится, — скажу я,
Что то дворовый пес в привычной злобе брешет:
Давно ошейник пса не мучает, а тешит, —
Он руку вольности кусает, как чужую.

ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Мглистый вечер плыл над Петроградом.
 Под одним плащом стояли рядом
 Двое юношей. То был пришлец,
 Польский странник, жертва царской мощи
 И народа русского певец,
 Знаменитый в царстве полунощи.
 Стали близкими с недавних дней,
 Но все дружелюбней и родней
 Души их в парении свободном,
 Словно два альпийских смежных пика,
 Разлученные потоком водным:
 Еле слышен злобный гул воды
 Им, унесшим в поднебесье льды.
 Странник созерцал Петра литого.
 Русский же такое молвил слово:

«Первому из всех царей почет
 Новая царица воздавала.
 Став гигантом, грозно он растет,
 Оседлал лихого Буцефала.
 Рвется к дали всадник чудотворный,
 На своей земле не устоит.
 Тесно, зная, на родине просторной.
 И уже влекут ему гранит, —
 Вырыт по царицыну приказу
 На побережье финском пьедестал,
 И доставлен по морю, и сразу
 Ниц перед монархиною пал.
 Пьедестал готов. Летит из мглы
 Медный жнудержец в римской тоге.
 Прянул конь на самый край скалы,
 Вздрыбился и захрапел в тревоге.

Не таким изваян в старом Риме
 Дорогой народам Марк Аврелий.
 Цезарь тем свое прославил имя,
 Что при нем доносчики хирели.
 Он нашел грабителям узду,
 Разогнал на Рейне и Пактоле
 Варварских захватчиков орду
 И вернулся в мирный Капитолий.
 Ясное, открытое чело
 Мысль о счастье родины являет.
 Поднял руку важно и светло,
 Словно подданных благословляет.
 А другую бросил на поводья,
 Укрощает ярого коня.
 Так и слышишь голоса в народе:
 — Возвратился Цезарь, мир храня.
 Всю толпу окинув добрым взглядом,
 Не спеша, он едет с нею рядом.
 Треплет гривой, пышет жаром конь,

Чует, зная, кто всадник величавый,
 И смиряет сдержанный огонь,
 Бережно ступает крутоглавый.
 И народ, теснящийся вокруг,
 Тянет миллион сыновних рук.
 Конь дойдет и до бессмертной славы.

Петр швырнул поводья скакуну,
 Видно, истоптал он всю страну,
 На уступ скалы внезапно прынул,
 Вздернул ошалевшего коня.
 Конь грызет узду, упор храня, —
 Так бы в пропасть замертво и канул.
 Но стоит от века вся громада,
 Словно глыба горного каскада,
 Скованная вихрем ледяным.
 Встанет солнце вольности над ним,
 Бури ли отыщутся иные, —
 Что стряется с глыбой тирании?»



День накануне петербургского
 наводнения 1824 г.

О Л Е Ш К Е В И Ч

Небо, лютой стужей сожжено,
 Пятнами покрылось, посинело,
 Как лицо покойника, черно,
 Что в избе у печки, разомлело
 И, вобрав не жизни, лишь тепла,
 Плоть гнилым дыханьем изошла.
 Теплый ветер стлался. Дым, воспрянув,
 Строил в тучах город великанов,
 Расползлся чарой колдунов,
 Наземь ник и прятался, и вновь
 Проплывал по улицам потоком.
 Дождь прошел туманной пеленой,
 Стаял снег. И к вечеру по стокам
 Грязь текла стихийскою волной.
 Исчезали санки. Вновь кареты
 Проносились с дребезгом колес.
 Но среди промозглой ночи этой
 Различить их нам не удалось,
 Только отблеск фонарей пролетных
 Реял стайей огоньков болотных.

Тихо наши юноши прошли
 Набережной Невской. Мил им вечер;
 Тут редки с чиновниками встречи,
 Не маячат сыщики вдали.
 Шли, чужую песню напевали,

На чужом болтали языке.
 Вдруг остановились: на реке
 Не услышит кто-нибудь? — едва ли.
 Так прошли вдоль каменных громад,
 Постояли у крутого спуска,
 Где ступени, врубленные в скат
 Набережной, уходили узко.
 Смотрят: человек ли там какой
 С фонарем над черною рекой?
 Сыщик? Нет, безлюдно в околотке.
 Перевозчик? Нет, не видно лодки.
 Не рыбак ли? Только держит, глядь,
 Он фонарик тусклый да тетрадь.
 Ближе подошли. А тот не взглянет,
 Вытянул веревку из реки,
 Записал, считая узелки,
 Сколько вглубь сверх ординара тянет.
 А фонарик, отраженный льдом,
 Осветил листы его тетрадки,
 И едва блеснул тот отблеск краткий
 На лице прекрасном и худом.
 Он читал с таким, казалось, рвением,
 Что, услышав разговор чужих,
 Лишь руки коротким мановеньем
 Пригласил к молчанью также их.
 И не спрашивая, что им надо,
 Он не повернул к ним даже взгляда.
 Но так властно поднялась рука,
 Что пришедшие, на самом деле,
 Всматриваясь и смеясь слегка,
 Прерывать его не захотели.
 Лишь один воскликнул: — Это тот
 Польский живописец сумасбродный,
 Иль кудесник, если вам угодно.
 С красками он дружбы не ведет,
 С каббалой и библиею в дружбе.
 Знать, и духи у него на службе.

Человек, меж тем, тетрадь сложил,
 Встал, забормотавши с видом скрытным:
 — Кто не мертв, до страшных дней дожил.
 Завтра испытанье предстоит нам.
 Потрясет господь ступени трона,
 Потрясет твердыню Вавилона...
 Только б не дожить до новых бед!
 Молвив так, какой-то думой полон,
 Мимо всех по лестнице прошел он.
 Скрылся и фонарный слабый свет.
 И никто не знал, что это значит,
 Эти смодкли, посмеялись те,
 Говорили, что колдун чудачит,
 И через мгновенье в темноте,
 Увидав, что холодно и поздно,
 По домам пошли от ночи грозной..

Лишь один отстал от них, пошел
 За художником вдоль парапета.
 Только свет его фонарный вел,
 Как звезда, мигающая где-то.
 Странно! он лица не разглядел
 И друзей не выслушал как будто.
 Тот безумный голос им владел,
 Речь манила тайной. Через минуту
 Понял, что по слякоти, среди ночи
 Он бежит за кем-то что есть мочи.
 Вдруг фонарик впереди мигнул,
 Но пропал и снова появился.
 То художник за угол свернул
 И на пустыре остановился.
 Путник шаг удвоил и глядит:
 Площадь. В кучу сваленные плиты.
 На одной из этих черных плит
 Встал художник, сумраком повитый.
 Скинул шляпу, плечи выпрямляет,
 Свет фонарный пляшет по лицу.
 И глаза художник устремляет
 В даль сырую, к царскому дворцу.
 Там одно окно мерцает смутно.
 И, сквозь сумрак высмотрев его,
 Зашептал художник бесприютный,
 Словно умоляет божество:

— Царь! Тебе не спится. Утомилась,
 Крепко челядь спит в глухую ночь.
 А тебе господь являет милость,
 Чтобы хоть предчувствием помочь.
 Хочешь спать. Смыкаешь крепче вежды.
 Помнишь, в годы молодой весны
 Светлый ангел, страж твоей надежды,
 Посылал тебе благие сны.
 Зла не зная, был ты человеком.
 Шли года. Тираном становясь,
 Ты стареешь вместе с нашим веком
 И вступаешь с сатаною в связь.
 Где твое спасенье, кто отсрочит
 Гибель, что предчувствие пророчит?
 Завтра же, все доброе губя,
 Новый льстец превознесет тебя.

Кара предстоит лачугам бедным.
 Для царя пройдет она безвредно.
 Ибо гром, разя немую твердь,
 Угрожает вышкам гор и башен,
 Но низам людским приносит смерть.
 И наименее виновным страшен.
 В непробудном пьянстве, в грязной сваре
 Вы уснули тупо, как скоты.
 Завтра гнев господень с высоты
 Вспошлит вас, маленькие твари!

Но, сметая все без колебанья,
Он дойдет и до норы кабаньей.

Слышу!.. Вихри вышли из льда,
Вырвались страшилища и в тучах
Превратились в демонов летучих,
Расковали волны, и сюда
Хлябь морская пенистая мчится,
Сбросив ледяные удила,
К тучам мокрый торс приподняла.
Кандалы раскованы. Сквозь холод
Слышу... бури взмахивает молот.

Говорящий понял, что ему
Кто-то внемлет, и пропал во тьму.
И задул фонарик. Так он сгинул, —
Будто в сердце страх неясный хлынул
Дрожью, непостижною уму.

Перевел с польского Павел Антокольский

Испытание

Рассказ

Б. ВАДЕЦКИЙ

★

1

Из города ветром донесло музыку: на канале подняли шлюзы, вода заливаает Буй, подходит сюда, к деревне.

На брошенных избах—флаги, зияют вынутые окна. В огородах чисто. Вблизи, на заросшем сиренью погосте, плачут старухи.

Павел Никитич глядит в их сторону. Гости, приехавшие издалека, ждут — о чем будет говорить старик? Он видит в толпе дочь и с чувством виноватости вспоминает своего кума, схороненного недавно, — теперь его могилу зальет водой. О чем рассказывать? Раньше только о делах приходилось ему говорить на сходах. И Павел Никитич решает сказать о жизни своей — все, с самого начала.

Воспоминания были бессвязны и неожиданны... Лес, шалаш, в углу бог с книгой, похожей на гармонию. С богом не сошелся из-за киселя. Как-то, не дождаввшись обеда, приложился к горшку и по-свойски просил: «Господи, натяни шкурку на кисель, а то мамка узнает».

На восьмом году в лесном омуте увидел свое отражение, — оказывается, был вислоух, сгорблен. В этот день мир положительно удивлял его. Хрустнули ветки, перед ним вырос лесник. Он шустро сплевывал на ладонь мелкие гвоздики и прибывал ими поганки к толстым стволам. Полная корзина поганок была в руках лесника. А часом позже

шел по лесу купец, лысый, невидный собой, и все ворчал: «Лес порченный, плохой лес у казны». За ним шел жан-дарм, грузный, с сияющей бляхой на поясе, а дальше — отец дьякон и мужики, словно крестный ход. И помнится Павлу Никитичу молебен: белый дымок кадильницы застревает в листве, бежит на дорогу, где лесник завел трактир; в трактире — музыкальный шкаф у стойки урчал и пел: «Деньги ваши — ах, будут наши...»

Жили в деревне черемисы Маринкины, именовались по уродствам: Маринкин Хромой, Маринкин Косой, а его отец — Маринкин Безжильный. Слышал мальчик — когда обзаведется отец избой, будет прозываться Ново-жильный. Было ему, Павлу Никитичу, пятнадцать лет в эту пору. (Павел Никитич опасливо поглядел на дочь: не скучно ли? Кто их знает, молодых?) Обвязали Маринкины ближние деревья платками, накинули на кроны тулупы. Стоял лес, словно у попа на исповеди, покрытый епитрахилью, и молились Маринкины о том, чтобы никто из чужих не селился около, потому что «к лопушнику всякие козявки прилипают, а в жизни на черемиса все грязное валят...» Плакала мать и кричала богу с гармонией:

— Слава те, господи, место наше далеко от дороги: ни нам до людей, ни людям до нас дела нет!

А отчего плакала мать, — Павел Никитич не знал тогда. «Облегчи душу,

облегчи» — говорили люди и лили на голову матери теплую воду. И заулыбалась мать. Заметил он, что прожилки на ее длинных, спокойных руках — совсем как голубые полоски в мыле, и вся она, светлая и ласковая, пахнет мылом и ливнями в лесу.

И вот окропили новый дом. На резном карнизе голубь лесной прихорашивается. Первая нежная пыль и запах смолистого теса в лесу. Еще украшена крыша вышитыми полотенцами и передниками, краснеют вышивки, как рябиновые гроздья; еще держится видимость захолустного счастья, а нужда уже отправляет Маринкиных-сыновей в Чебоксары. В избах глухо и темно, как при покойнике, и в лесу, на закате, багровеет шелуха сосен. Думалось Павлу Никитичу — идет он в люди страдать за мать, за всех Маринкиных. Прикусив губы, ринулся он на плот.

Уже без него посетила в тот год деревню комиссия по воинскому учету. Передавали потом, с каким трудом лакированная коляска пробиралась сюда, как врач, удивленно отсчитывал прибитые к стволам, им же подписанные повестки — вызовы в город. Почтальон не доходил до деревни, и письма мокли под дождем, в ожидании, когда их заберет молодежь, возвращаясь со сплава.

Врач обходил избы, собирал стариков:

— Болит что? Раздевайтесь.

— Почто оскорбляете, — говорили старики. — Что миру с нашего здоровья?

Стояли они, смущенные неприглядной своей наготой.

— Так, так, — говорил врач, не слушая, — ни груди, ни плеч, требуха одна, — спишем с воинского учета.

Врач уехал, а старики, прикрывая руками животы, направились в баню.

Осенью с песнями вернулись сплавщики, и оттого, что никогда не звенели в деревне городские песни, а веселая песня тревожна, как пожар, — в избах захлопывали окна, и у черных киотов никли головами старики. Из чердачных окошек пугливо выглядывали старухи и роняли мелкие слезинки на скрюченные

ладошки. Суетливо хватали они с углов копотные иконки, дробно бежали к дверям и шарахались от разгульных голосов внуков. Наступала на них, раздвигая лесные чащи, сплавная песня:

На волнах столица плывет тесовая,
Шумный город плывет с самоварами,
И чего тут твоя голова бедовая
Затесалась между малыми и старыми?
Удивленья скрывай да помалкивай,
На людей не бычьись и на жизнь не плачь,
Не в диковину, — одинаково
Нам с изюмом, мол, снеговой калач!

Вышли старики встречать, горбясь от обиды, называли сыновей по отчеству, кланялись и глядели исподлобья белевыми глазами в лес. Тянул их в лес темный, как прорубь ночью, неизъяснимый страх перед детьми.

А потом? Стоит ли рассказывать, как сплавливали из Чебоксар готовые срубы с окнами, завешенными ситцем, а заодно с ними — невест. Хотел было пошутить Павел Никитич: бабы ведь пришлые у нас, речные бабы-то, но замаялся, пожевал усы, неохотно сказал: «Остальное сами знаете» — и покосился на дочь. Она родилась в революцию, тоже от пришлой. Работал Павел Никитич тогда объездчиком у лесничего. Хотел было Павел Никитич сказать о тех, кто вышел из села и теперь живет в городе, поглядел на гостей, — замаялся.

Сход был на берегу. Река прибывала к берегу бревна, доски, и пена на камнях, как на вальке, перемывала щепы. Скрежетал экскаватор, и время от времени мелькал за бугром громадный черный ковш. В вечерней мгле еще явно краснел на соснах плакат: «Привет Маринкиным». Сход был пестрый и для всех неожиданный. Сошлись летчики и учителя, палехский мастер и лесники. Маруся Маринкина — техник из Гипрогора — не спустила с отца светлого внимательного взгляда.

Павел Никитич кончил свои воспоминания и неловко сходил с пригорка. В своем брезентовом плаще он казался мускулистым и широким, а сейчас, оставшись в одном пиджаке, не знал, куда девать длинные, сухие руки. К нему,

охмелев, тянулся лесной объездчик Маринкин Тимофей, сбивая скатерть, разостланную на земле, и опрокидывая бутылки с медовым пивом.

— Вот и вспомнили, Павел Никитич! — кричал он. — Вот и сошлись все мы, Маринкины, на родном месте. А еще неделя, — и зальет река, поминай, как звали!..

И тут же кричал палехскому мастеру:

— Спрашиваю я тебя: с чего пригорки да леса рисовать будешь? Признайся, на всем земном шаре нет такого леса! Будет канал, пароход пойдет чинчином, а тебе по родной опушке взгрустнется.

Палехский мастер махнул рукой:

— Уймись, Тема...

И, уже разгорячась, кричал домовитый его брат:

— Какой нам толк с переселенья? Конечно, им — городским да столичным — все равно, — кивнул он на гостей. — Их колея другая, их мир тянет, широта, а как я на новом месте живу? Пока в землю не внюхаюсь, — избу не поставлю. Это не казенная квартира на шестом этаже...

— Тема, весь район переселится, не ты один...

— Тут жить хочу, понимаешь?

— И не совестно, Тема? Какие люди из Маринкиных вышли: инженеры, летчики, а ты все такой, как был!

Гости тихо и снисходительно следили за ними. Рыжеватые молодухи в слежавшихся юбках, скрестив руки на груди, стеснялись подать вид, что им тоже не хочется переселяться. Глядя на гостей, бодрились и старики. Кто-то сказал:

— Все от Маруси зависим. Она у нас от переселенческого управления.

Все оглянулись на нее. Действительно, чудно: выучилась девка на лесовода, на землеустроителя и будет устраивать своих же.

Русая, маленькая, с пушистыми косами, она полулежала на земле и в раздумье или смущении жевала травинку.

К ней, неслышно ступая по траве, подошла мать, статная, в тяжелой белой шали, словно уже собралась в дорогу.

Стесняясь приласкать дочь на людях, она внятно сказала:

— Буюк наш, Буюк...

2

Буйком ее прозвали в ту пору, когда школьницей, озорно-внимательная к миру, остролицая, бегала в отцовском полушубке на занятия в Буй, километров за десять от деревни.

Буй — город живорыбных садков, птичьего гомона и уютных, покойных площадей. На одной такой площади, поросшей ромашкой, — каменный особняк школы, скрытый в липах. Маруся быстро проходила через площадь. Сторож, увидя ее с каланчи, нето тревожно, нето восхищенно глядел вслед. Она запомнилась горожанам своим большим полушубком, стремительной походкой и привычкой помогать взрослым, что бы ни случилось: поломалась на площади телега или заплакал ребенок. Она появлялась незаметно, уверенная в том, что нужна.

Этой заботливости многие не поняли десять лет спустя, в общежитии Лесного института в Москве, где она училась. Студенты носили ей дранье носки, белье, она чинила по вечерам, после занятий. Они говорили между собой о том, что Маруся — «наседка», «мамка по природе», поэтому всегда спокойна, безропотна, и удивлялись ее отметкам на зачетах, ее вдумчивости. Откуда бралось это внешнее спокойствие? От благодушия или от ограниченности желаний? Но студенты знали: Маруся замечает каждое грубое слово, сказанное ими, кричащие галстуки и показно широкие плечи их пиджаков. Знает, что многие студенты уже поженились и мечтают остаться в городе.

Но она вовсе не была молчалива или замкнута, как представлялось им. Она была только сдержанна, ласково-медлительна в движениях и спокойна не по годам. Навязчивых ухажеров она останавливала ясным, чуть насмешливым взглядом.

Она любила, проходя улицей, заглядывать в окна, прислушиваться к разговорам, к песням, — сама петь стес-

нялась. И всегда казалась она необычайно близкой людям и вместе с тем необычайно отдаленной от них.

Редко кто так спокойно, как она, и вместе с тем так ревниво ждал свое будущее.

Перед выпуском Маруся сказала подруге:

— Скоро, Капуша, жизнь начнется, настоящая жизнь.

Она думала о Маринкиных, о лесах, которые надо заново размерить, расчистить, уберечь от пожаров. А лес был связан в ее представлении с забредшим стадом, запахами молока, с простором лугов.

Капуша, институтская подруга, из деликатности не возражала. Они жили в одной комнате, вместе ходили в кино. Маруся смеялась над Надеждой Боголюбовой — героиней фильма «Высокая награда»:

— Капуша, скажи, ну, как это, ни-весть за что полюбить человека? Ну, чем он пленил девушку? Чем?..

— Ну, понравился ей, — урезонивала ее Капуша, — понравился, и все! Как ты не понимаешь?

— Чем? Чего ради? А впрочем, ты права: люди просто сживаются, и это сходит за любовь. Бедный кинооператор (она забывала о режиссере) должен все это принимать на веру и снимать.

Вскоре она еще больше удивила Капушу, заявив:

— Ну да, любовь требует от человека одаренности, вкуса, а у Надежды Боголюбовой этого нет. Многие не знают любви, как не знают северного сияния, климата тропиков. Они, не сознавая того, удовлетворяются суррогатом любви. Помню, у Пушкина сказано:

Любви не женщина нас учит,
А первый пакостный роман.

И, заметив удивление подруги, сказала:

— Путанная я. Да? Нет, Капуша моя, нет, суррогата у нас в жизни еще много, а мы не видим, мы спешим жить. И ты спешишь, Капуша. Замуж спешишь, думаешь, уже нашла челове-

ка? А, может, это так и есть, ты не верь мне.

Неожиданно для всех Маруся вскоре вышла замуж за студента своего курса Мишу Березина.

Был он весь какой-то незапоминающийся, приметный только по чистому воротничку, галстуку, по той обывательской повадке, которая делает людей неприятно похожими друг на друга. Он был сдержаннее других, скупее на слова, и эта сдержанность привлекла Марусю; ей хотелось думать, что за своей сдержанностью он прячет много хорошего.

Впрочем, она отшучивалась, когда речь заходила о нем. Капитолине про-бовала объяснить:

— У меня никогда не будет сильного чувства к человеку. Миша — товарищ (она замаялась, слишком малозначительным показалось вдруг это слово)... хороший товарищ, честный. Надежду Боголюбову в картине помнишь? Отчего она полюбила? А я что же, особенная какая-нибудь? Как-то и неудобно! Миша меня любит.

Она говорила об этом впервые и смущалась.

В общежитии говорили, что Маруся боялась казаться «особенной», стыдилась за сирую влюбленность Березина, за холодность и непричастность свою, потому резко порвала с девичеством и.. «нарвалась». Не пара он ей, а впрочем, мамкой Маруся была, мамкой и осталась, — видимо, полюбила: конспекты ему переписывала и книги доставала, и ходила радостная, когда он больше других успевал на занятиях.

И случилось так, что на практику, домой, Маруся приехала с мужем, и в самое горячее время для переселенцев.

3

Вода подходила не сразу. Вода оккупывалась в холмах, минуя гору, кралась к деревне из леса. Первым заметил ее приближение плотник Филимон, прозванный дедом Лимоном. Ему почудилось, что кустарник сдвинулся с места, за ним — роцца... То были неясные очертания громадных сучьев, ко-

торые нес на себе из леса поток. Удивил деда Лимона писк грызунов, более сильный, чем весной, когда зайцы грызут прошлогодние мерзлые корни, и эта необычная, разлитая в воздухе душистая свежесть, какая бывает после обильного дождя.

Когда двинулись из деревни возы, когда закачались на возах самодельные комоды и табуреты, украшенные узорной резьбой, горы кадушек и узлов, дед Лимон забрался на сухую ветлу, унизанную галочьими гнездами, и поджег ее.

Дерево загорелось, возы прошли, а дед Лимон все стоял, глядя на брошенные избы. Ему хотелось бы видеть, как хлынет вода, как мерно она зальет ветхие избы, хлева. Вместе с острой жалостью к деревне и к себе в нем вдруг возник наивный и тщеславный восторг:

— Смотрите, какие мы, что бросаем! То ли еще наживем!

И казалось деду, что непристойно-буднично покидают мужики деревню. Следовало бы пригласить оркестр или хоть заставить баб плясать вокруг огня, как лет шестьдесят назад плясали они в честь Перуна в праздники, осужденные попом, но в то время еще сохранившиеся.

Был Филимон вдов, бездетен, нелюдим, в хозяйстве обходился без баб, объяснялся книжно: «С бабами во взаимном презрении нахожусь». В прошлом плотничал на стороне, большим мастером считался, к старости вернулся в избу, но в колхоз не вступил, заявив: «Маринкиных не люблю, родню ни во что не ставлю: тупые люди». Он одряхлел, стал черствым, да вот пришлось вместе с нелюбимой родней перебираться. В город итти — стар. И любопытство мучило: как-то жить станут?

Он догнал последний воз, сел, закурил. Рядом ехали племянницы, почти незнакомые ему, — рослые, в старинных «глазастых» передниках, в кубовых кофтах с желтыми лапами. У одной из них, самой морщинистой (он хмуро припоминал ее мать), на переднике были вышиты красные петухи. Она всхлипывала и так сердечно, рас-

троганно взглянула на него, что Филимон заерзал на телеге, забормотал:

— Вот, значит, конечно... ну что ж, милая, что ж...

Он за год ни разу не говорил с ней. И на другом возу, придерживая самовары, сидели по-городскому одетые девки — племянницы его, тоже почти забытые им. Они насмешливо распевали старые бессмысленные частушки:

Дроля, дролечка, побудь
Холостым до зимы,
Без тебя собралась в путь,
Без тебя, родимый.

А еще дальше ехала известная в области лесоводка Маланья, дородная, с широким поясом вокруг талии. С ней сидел ее муж — Кондрат Маринкин, говорливый, быстрый, большой выдумщик. Было время, когда он дружил с дедом Филимоном, изощрялся перед ним в критике жизни и в предложениях по ее благоустройству. Как надо сено метать, чтобы огурцом, а не шляпой выглядел стог. Как речку углубить. Но вскоре дед Филимон выгнал его за докучливость, а бабы изверились в нем и пожалели, что у деловой женщины Маланьи такой «петрушистый» муж. В здешних местах издавна называли болтунов Петрушками.

Ехали шагом. Рядом с возом шел Павел Никитич, довольный тем, что, наконец, выбрались... Прощанье, гости, речи, вся эта шумная пестрота утомила его.

Родня, действительно, была пестрая. И случись Петру Никитичу рассказать о живых Маринкиных, он не нашел бы слов. Когда-то учитель говорил о здешнем мужике: собой лапоть, а склад филозофический. А Павел Никитич думал, что люди теперь разные и во многом непонятные, все городом прельщены. Это и к лучшему — легче дом покидать.

Прошла парная северная весна. Уже отцветали одуванчики и нежный пушок носился в воздухе.

Два дня, ночуя в поле, шли возы и на третий остановились в Суздальке — холмистой деревушке у речки Свежей. Здесь были наняты избы для переселенцев. За пять километров отсюда была отведена для Маринкиных земля.

Начинался сплошной, мало изученный лес. На новый участок еще месяц назад выехала группа Маринкиных.

Места были богатые, но переселенцы, приглядываясь к ним, не переставали хвалить только-что покинутые земли. Маланья певуче рассказывала за чаем:

— Низ нашей местности — черноземный, а верха — сосновые. Ягоды — обору нет. Лес взводистый. Река у нас быстрая, как с горы. Когда дождик опустится и солнце обсушит, грибы немедленно поднимаются...

Ей поддакивали и, как на поминках, твердили все об одном и том же. Но в общем были довольны: умеет Маланья перед новыми знакомыми тон держать.

Новоселов слушали и удивлялись тому, что все они одной фамилии — Маринкины.

Мать Маруси, Ольга Николаевна, объясняла:

— Лесорубы мы издавна, из нашей деревни ложечники, бондари, плотники многим селам известны. У вас не приходилось бывать, извиняйте... И теперь нам лес отводят, а мы для канала обязаны бревна готовить.

В избе было тихо. В окнах — дети, на печи — старуха. В отдалении в вечернем сумраке прогудел рожок пастуха. Во всех избах в этот вечер слушали новоселов.

Позже, когда остались только свои, Маланья завздохала, потянулась к Марусе:

— Ушли, любопытные. Ну, как же, девушка, жить будем? Ох, и хочу я с тобой поговорить, да не смею. Район на нас косо смотрит, в колхозе нашем слабости много, ах, и много. Отцу твоему, Марусенька, достается, а характером не крепок он, ох, не крепок.

И, наклонившись к ней, Маланья зашептала о том, что, говорят в рике, «хуже нет, когда колхоз из родни одной», и что она, Маланья, измучилась с мужем и сама к колхозу не привязана. Хоть сейчас готова уйти в город. Она долго шептала, раскинув платок на могучих плечах. Помешал им дежур-

ный, выкликивавший обозных в наряд на завтра. Вызвали Павла Никитича, и Маланья ушла с ним.

— Отец дойдет пешком? Может быть, телегу ему? — беспокоилась Маруся.

— Дойдет. Сердце его старинное, не испорченное, — сказала мать.

Можно подумать, что мать держится за старину. Маруся глядит на ее покойное, доброе лицо, ладную, не расплывшуюся к старости фигуру. «Пришлая, заречная, — мелькает в мыслях, — какой-то она в девках была?»

Иной раз Маруся относится к этой женщине так, словно их не связывает кровное родство. Ей нравится эта бывалая северянка, такая новая и с такой старой речью. Мать же, не догадываясь о ее мыслях, думает о дочери: «Не больно-то поговоришь с дочкой: сидим, что две чужие гражданки. Какие они неприкаянные студентики с Михаилом, ну прямо, будто в гостинице, а не дома». Она убеждена: только в гостинице муж и жена могут сухо и коротко разговаривать. Мать не тревожится за себя. Она не хочет признаться себе в том, что ей со стариком ничего больше не осталось, как итти куда-то за Марусей, пусть к Угличу, пусть к Уралу. И беспокоятся они не за себя, а только за Марусю — как справится она с делом? К ночи снова собралась у Павла Никитича родня. Все ожидали, скоро ли Маруся расскажет о том, что кому надлежит делать.

Маруся с Березиным составили рабочий план. На Березине — изучение леса, таксация, выбор места для построек.

Вот их земля. Землеустроителю понятна карта холмов, низин и речушек. В нескольких километрах от выделенного им участка третий год зимой тлеют, летом горят леса. Землеустроители свыклись с пожарами, и этот пока неизбежный пожар они называют «плановым». Огонь не гаснет, он хоронится в чащах, его трудно найти.

— Плановый пожар! — смеялась Маруся. — Плановая беда, плановое несчастье, — так, что ли, Михаил?

Она не хотела отдавать огню ни гектара леса. Березин молчал. В институте

не раз говорили о том, что много леса в Союзе пропадает не от вырубки, а от огня, от самовозгорания. Березину запомнился пример: «У Вычегды в 1932 году сторело столько леса, что можно было бы погрузить 30 пароходов». Может быть, и в этом районе благодушно относятся к государственным лесам попутерям?

— Ты обойдешь, Миша, с двумя людьми наш участок, посмотришь таксаию и как справляются на месте с огнем, а лучше всего (она просительно посмотрела на мужа) возьмешь задание у старшины, вольнешся в бригаду пожарников. Рано нам командовать, надо поучиться, а при этом и последить за людьми.

— Я никогда не был на лесных пожарах, — признался Березин.

— Ну, вот и пойди, Миша. Хорошо?

Старшая на работе, она боится обидеть мужа и немного стесняется своего права руководителя. Березин понимает это и все же недоволен: почему не ему принадлежит инициатива и первое слово? И этот школярский марусин тон... и никакой ласки. Он сухо соглашается.

Маруся проводила собрание. Тетки ее взволнованны и молчаливы. Дробенькая, сухая, с быстрым взглядом и унылым носом, тетя Дарья скороговоркой просила:

— Ну что ж, племянница, расскажи, как нами верховодить будешь?

Тетка Анфиса, высокая, с неправдоподобно черными глазами молча и вызывающе подсмеивалась.

— Тетя Анфиса, тебе слово? — спросила Маруся.

— Да что ж, девонька, я так это люблю: этакая, думаю, выросла ты.

— Это не по существу, тетя Анфиса. Тебе, дядя Кондрат, слово.

Кондрат, виновато откашливаясь в усы и поглядывая, нет ли Маланьи, медленно заговорил:

— Первое, надо порядок установить. Ты, Маруся, нас собираешь раз в пятидневку. Мы тебе родня, и мы старшие, нам сговориться надо.

— А может, она себя старшей сочтет, — обрывала Анфиса.

— По годам мы старше, и мы ей дядьки, — пробовал настоять на своем Кондрат.

Маруся прерывала:

— Это тоже не по существу, дядя Кондрат. План принимаешь мой? А на работе я старшая, когда в лесу работаем.

— Ну тогда что ж говорить, — вздыхал Кондрат. — А план твой уже принят. Если бы не ты его составила, — спору много было бы, а теперь, видишь, бабы молчат. Оно и лучше.

Мать Маруси толкнула его:

— Тебе только бы споры, а здесь, видишь, и без споров хорошо. Небось, она поученнее тебя.

Собрание на этом закончилось. И только после него начались расспросы наедине: кому Маруся больше верит, все ли знает о колхозе?

4

Утром Березин и Кондрат Маринкин собрались в путь. Провожатой им дали Мано Гольшеву из Суздальки, школьницу лет шестнадцати. На лесных пожарах ей бывать не приходилось, взяла она с собой книжку и рукоделье. Вышли в полдень. Маня шла, вяло раскачиваясь, щуря глаза, как бы давая понять, что ничему не удивляется, что ее будничным распорядок ничем не нарушен и даже приятно погулять в лесу.

Кондрат Маринкин, долговязый, с клочковатой бородой, весь прокуренный, плелся за ней и что-то ворчал. Миша Березин шагал строго и подтянуто.

Был вечер, когда они обогнули гору и вошли в полосу огня. Маня визгливо и растерянно вскрикнула, а Маринкин пробурчал:

— Ну да! На то и шли! Огонь, как в Москве при Наполеоне, а ты думала — шуточка!

Лес горел. С верхушек, как сквозь громадные колосники, сыпались угли, и снизу выползало на опушку багровое пламя. На ветру огненный прибой, весь в радужных переливах, кидался на луга, минутами его застилал черный дым, и тогда красные зарницы вспыхивали

в небе, а в шипящий поток огня с треском падали груды сосновых шишек. Местами огонь заходил исподтишка, порхал по верхушкам, оттуда сползал к корням. Столетнее дерево вдруг падало, как зверь, на колени, и по его красному стволу, словно по мосту, пламя перекидывалось в глубь леса.

За оврагом, в будке, сидел над бумагами низкорослый старик в брезентовом пальто. У него были добрые, мшистые брови, потный, загорелый лоб; глядя поверх очков на Маню, он сказал:

— Помощники? Ну, ну, ладно, обождите немного.

Он что-то писал. За будкой копошились мужики, углубляя овраг. Пламя отсвечивало в окне, иногда черный дым застирал фигуры мужиков.

— Ну, вот, — сказал старик, протягивая Маринкину путевку, — плановый огонь — пять километров с Ганькиного лога. Весь ваш участок двадцать десятин. На пожарах бывал?

Кондрат что-то пробурчал и поежил-ся.

— Что хрипишь, — не пойму. Молодых все шлют, еще огонь упустят! Огонь-то не упустишь, говорю? То-то! Главное, канавы рой во-время, а объездчика на ночь пришлю, — растолкует, что делать. Ступай, красавица, ступай! Чистенькая какая! — Старик неожиданно повернулся к Мане, зевнул и напоследок крикнул в окно:

— Коля! Помощников больше не видеть? Ну, этим дорогу покажи в Ганькин лог!

Они пошли по черным от ожогов прогалинам. Звезды на небе казались искрами от пожара. Темнота ночи сливалась с черным дымом заболоченных мест. Иногда в тишине слышался им ровный и быстрый топот. Они оглядывались, — топот замирал, и пламя освещало спугнутых лосей и волков.

Провожатый шутил:

— Медведи нынче в плен сдаются, бери только!

Он подсвистывал огню и с удовольствием следил за прыжками пламени, потом жаловался:

— Девчат нет, гармоника нет, в

скучное время вы пришли, а то плясали бы под огонь. В прошлом году, под осень, собралась с деревень молодежь пожар стеречь: за два месяца многие поженялись.

Березин неприязненно подумал: «Нашли радость в пожаре!» Но стыдить не решался. Когда шел сюда, представлял себе людей на пожаре — молчаливыми, горестными, как на похоронах, борьбу с огнем — легкой.

В полночь добрались до участка. Провожатый ушел. Тихо. Кондрат Маринкин сказал, торжественно показывая рукой на чашу:

— Здесь он... Вспыхнет вдруг на самом сухом месте и пойдет гореть ни с чего — с одной жары и засухи. Вот и охраняй тут... нивесть что... туман с богородицей.

На заре он вышел с Березиным в обход участка. Откуда-то гарью тянуло, где-то хоронился огонь. Маня, проснувшись, увидела ровные полосы солнца, падавшие сквозь листву, их белый отсвет на стволах, и вдруг — на одном из них — вспышку огня. Она вскрикнула и палкой начала ворошить дупло. Пошел дым. Маня оглянулась. Теперь она боялась солнца и тишины. У своих ног она увидела яркую змейку огня и отступила. Дерево горело снизу, от можжевельника; огонь успокоил Маню — это был открытый огонь. Хуже, когда он чудится всюду, прячась в легком дыму. Огонь пересек просеку, лениво лизал траву. Маня подсчитала не меньше сотни деревьев, захваченных огнем. Подул ветер. Вернувшись, Кондрат Маринкин сказал, застав Маню у огня:

— Началось... Вот где он прятался!

Непослушными руками он отгребал валежник на несколько саженей перед огнем, расчищая место. Они втроем натаскали к стоянке длинные косы валежника, и вечером Маринкин, лежа за ними, словно в траншее, не мог отвести от огня воспаленных, изъеденных дымом глаз.

— Плановый огонь, — дико и зло кричал он, — сволочи... Лес горит, добро горит, что ты смотришь, эй, ученый?!

— Кто сволочи-то? — пытался быть рассудительным Березин.

— Кто? Мы все... Сторожи огонь, не пусти огонь, а плановый пусть горит? Легче, что ли? Самолеты у нас летают, паровозы ходят, а тут себя заживо жгем, честь свою жгем... Давай тушить!

И тут же понуро сознался:

— Не потушить, десятки километров подчистую каждый год... Всегда горит, даже под дождями горит... Бесшумно. И цветы около не роятся, и зверей нет.

Верхом на пепельно-сером коне с обожженными ногами приехал объездчик. Конь часто бил по жирному крупу хвостом и пятился от огня.

Объездчик на слух ловил движение огня, прижав ухо к земле. Потом он бросал в пламя хворост и следил за быстротой вспышки, проверяя силу огня. Он бросал сухие ветки мерно и последовательно, как хозяйка бросает курам зерно. Он был стар, любил лес и больше всего жалел высокие, вековые ели.

— Сейчас упадет, — говорил объездчик, заслышав знакомый протяжный скрип, и грустно расправлял плечи. Он привычно бросал в золу картофель, которым были полны глубокие карманы его плаща, привычно закуривал у воспламененного дерева, — сжился с огнем. К ночи он распорядился пустить встречный. Маня осторожно подожгла заранее приготовленный валежник и отошла в сторону. Объездчик смеялся: «Будто самовар ставит! Видать, пламени боится». И сам развел огонь.

Ветер подул сзади, пламя качнулось и кинулось вперед, катясь по земле и мгновенно осушая росу.

Объездчик напустил его, как охотничьего пса на добычу. Он следил за его направлением и тушил угли ударами палки. Загнав огонь в ловушку между канав, он сказал: «Сиди здесь!» Потом, размотав рулетку, вымерил площадь.

— Неделю гореть. После вольетесь в артель... — Объездчик долго выписывал ордер на муку, крупу, сахар. — Судя по ветру, на семь ден хватит, — приговаривал он.

Передав ордер, объездчик уехал. Кондрат зло сказал ему вслед:

— Плановик, тоже!..

Третью ночь они лежали, почти не разговаривая друг с другом.

Березин понимал Кондрата и был подавлен не меньше его. Да, действительно, лес горит, и они ничего не могут сделать. А в городе он проводил борьбу с потерями, ратовал за бережливость! Они не пустят огня дальше трех километров, но это разве мало — три километра? Сидеть здесь то же самое, что стеречь врага у амбаров и не мешать ему красть. Жизнь повернулась к Березину совсем новой стороной. Нужны знатоки, специалисты огня, огонь требовал смекалки и ловкости. И Березин думал о временном бессилии человека перед природой, о праве на потери, искал теоретических оправданий случившемуся и растерянно вспоминал злой крик Кондрата: «Добро горит!.. Тысячи горят!..»

Ночью Маринкин встал и начал медленно отсчитывать деревья на опушке. Березин, приподнявшись на локте, тревожно наблюдал за ним. Маня спала. Сумочка, рукоделье и книжка трогательно лежали подле нее. Кондрат Маринкин отсчитывал деревья и бормотал вслух:

— Двадцать пять на четыреста, минимум. Это уже сто изб, а мне бы... — Маринкина, казалось, обуяла жадность, он подсчитывал пни. Потом он лег на свое место и сказал Березину:

— Может быть, так и все в мире: порой за воз дров трясешься, а здесь не иначе, как десять наших деревень сгорело!

На рассвете их разбудили девичьи голоса. Девки в черных платках, в галошах на босу ногу, пекли на углях картошку, кипятили чай и заунывно пели. Рядом лежали грабли. Восемь месяцев в году девки работали в горящих лесах, они же водили старух в заповедные чащи за грибами и брусничкой, жили в шалашах, были прикреплены к лесу, как ремонтные бабы к полотну железной дороги, во время снегоочистки.

Девки возле пней завели хоровод. Натруженно и без улыбки, как за тяжелой работой, они медленно ступали по мху, изредка поводя острыми плечами и поглядывая на Березина. Самая младшая была в ладоши и громко чекачила:

Начальник станции всегда
Да отправляет поезда.
Да отправляет поезда
Начальник станции всегда.

— К вам пришли на расчистку, — сказала она Маринкину, когда он, проснувшись, недоуменно глядел на девок.

— На пожаре-то, дядя, первый раз? — Она присела с ним рядом и заговорила, не дожидаясь ответа: — Когда зачинается пожар, — люблю. Тушу, хожу себе, играючись. Он податливый, огонь-то, пырнешь — и нет его. — И тут же спросила Березина: — Не танцуешь, молодой человек?

Березин, не теряя серьезности, покачал головой.

Она сказала, вздохнув:

— Неудачный ты. Нам бы такого, который танцует, да с книжками бы! Набрели на вас, — думали, к счастью!

Она устало побрела к подругам и сказала им, зевнув:

— Не танцует и собой недоваренный какой-то.

Березина охватила обида. Его, горожанина, ни за что охаяли эти взбалмошные лесные девки. Нашли весельчака на пожарах!.. Это она «ходит себе, играючись», это она «любит, когда зачинается огонь»... Березин внашала себе, что должен указать девкам на их легкомыслие, и не находил слов. Он глупо дулся и заговорил с ними только днем, когда Маринкин повел их по краю черного, уже выгоревшего леса.

Девки сгребали сучья. Угли неприятно скрипели под ногами, и черный, оголенный лес протяжно звенел на ветру сухими ветвями. Черные выступы пней лакировало солнце, и они блестели, как слюда. На верхушках погоревших деревьев иногда неожиданно молодоблескивала зелень, в чаще же было темно и дымно. Березин шел, сги-

баясь, глотая едкий дым. Он проворчал тихо, но так, чтобы все слышали:

— Растерялись на пожаре. От газет отвыкли, одни танцы...

— Это ты растерялся, парень... — серьезно ответили ему.

— Еще бы! И не то видел!

— Скучный!.. — досадливо и уверенно сказала девка.

Она быстро ударяла толстым суком по дымящимся пням. Слышался резкий стук, словно где-то хлопали дверью.

В это время Маня, оставшись одна, стерегла выделенный ей участок. Янтарная теплая смола текла струйками по стволам и воспламенялась на солнце. Маня не успевала бить палкой по солнечным пятнам, они маячили в глазах, огонь прорывался из чащи, и Маня досадливо всхлинула.

Так день за днем проходила неделя, и однажды, когда внутри просеки весь участок почернел и шипел на ветру, люди, угоревшие, злые и бледные от бессонницы, отошли к конторе объездчика.

Они увидели кочевой поселок, палатки, обтянутые брезентом, высокие арбы, деревянные вышки на колесах. Клуб занимал наскоро сколоченную будку, на крыше которой висела антенна.

Расположившись на бревнах, занимался политекружок. Выбранный старик, в новой, ярко вышитой рубаше, читал вслух последнюю газету. Рядом сидел шеф в пожарной каске.

Березин, посрамленный, присел рядом, вслушивался. Учатся... и спокойны, будто все в порядке. Березина восхищали и старик в вышитой рубаше, и каланча на колесах. Растерянным-то оказывался он, Березин. Тут, на роздыхе, он чувствовал силу людей, их спайку, сердечность и стеснительно думал, зачем, собственно, вспугнул тогда девок, разве не нашлось бы у него для них песен и слов? Его потянуло прилечь возле старика, но Кондрат Маринкин уже кричал с порога конторы, махая какими-то бумагами:

— На возврат, отбыли!..

Утром возвращались домой. Березин шел весело и легко, словно отрешив-

шись от наставнической строгости. Теперь он был необычайно скромен. Он хотел казаться «своим», он хотел, чтобы девки опять позвали его плясать, он больше не пугался огня и нарочно прыгал через костры, чтобы показать это. Девки молчали, — они уходили на другой участок, скучали по городу.

Кондрат всю дорогу разглядывал сторевшие участки, вспоминал свою затопленную избу и высчитывал, сколько пошло бы бревен на подпорки к чердаку.

Когда уже подходили к дому, почему-то почудилось им троем, что деревня могла погореть или как-либо измениться, и на мгновение стало странно жить без пламени возле себя.

Деревня встретила их залившимся лаем собак, стрекотом резных флюгеров на крышах, парной теплотой хлезов, обжитостью заставленных посудой крылец.

Маня вошла в избу, бледная и растерянная. Положила сумочку на скамейку, села, вяло поздоровалась с матерью, сказала:

— Вот и я.

В комнате было тихо, как в лесу. Жужжали мухи, солнечный луч прилип к белой стене. Маня вздрогнула, пошатнулась и крикнула:

— Огонь!

5

Березин не застал Маруси в деревне. Неделю назад она перебралась на строительство и целые дни пропадала в лесу, изучая участок.

Березин смущенно сознавал, что, вернувшись с обхода, мало что может сказать о лесе. Вспоминались девки, злые выкрики Кондрата Маринкина, пожар, собственная неловкость. Он дважды начинал лесотехническую запись: «Господствует свежая супесь со включением известняка, в северо-западном углу глубокая песчаная, в восточном — свежая суглинистая, в лесу преобладает мелкотоварник». И здесь же предугадывал марусин вопрос: «А правильна ли таксация и где начинать рубку?»

Все, что касается живой практики, было ему незнакомо, а главное — он не сразу сознался в этом себе — скучно. Интереснее подытоживать чужие сведения и планировать эксплуатацию леса по ним, чем самому бродить по лесным чащам. К тому же и охрану леса Наркомзем поручил им — лесоведам. В здоровом лесу, где почти нет дупел, не селится дятел, а без дятлов разводятся длинноносики и короеды. Его, Березина, обязанность приманивать дятлов, ставить для них в чащах крохотные домики из фанеры. Его обязанность и в сельсовете доказывать необходимость лесоводческих мероприятий. «Как это канительно и нудно! — Березин морщился, мысленно отшучиваясь: — Пусть бы Маруся взяла это на себя».

Думая так, он приходил к заключению, что ему следовало остаться в городе и, во всяком случае, переждать, пока марусина деревня переселится на новое место и устроится там. И вообще, что за нелепость ехать работать к родне? Павел Никитич — марусин отец. Как-то неудобно с ним и жалко его... Почему жалко, — Березин не уяснил себе, но жалость к деревенским людям укрепились в нем за последнее время. И частушки их, скромные припевы о дролечке, — тоже жалостны. В институте он говорил о гражданском долге специалистов ехать на периферию, не засиживаться в управлениях, но вряд ли это требование применимо к нему — Березину. У каждого своя склонность и способность к труду. Марусе тоже, вероятно, надоеет работать здесь.

Он шел из Суздальки на строительство, и эта вынужденная прогулка по лесу тоже раздражала его: хорошо внимание к специалисту — не дали лошади! В институте говорили выпускникам: «Вы держите испытание перед страной». А чувствует ли это деревня? Березин собирался рассказать Марусе все свои опасения. Она поймет: он ничего не мог сделать больше при обходе леса, и ему трудно работать здесь.

За три месяца их совместной жизни они ни разу не повздорили. Березин

готов был жалеть и Марусю, вынужденную проводить все дни в лесу.

Он не удивился, встретив ее вблизи строительства, у новой просеки, с астролябией в руках. Марусю окружала группа колхозников. Он размашисто подал ей руку и, нето балагуря, нето серьезно, сказал:

— Достается тебе, Маруська! А ты не поддавайся! Заездят, как лошадь.

Она смешливо поглядела на него, словно они расстались только вчера, и потянула за собой.

— Торф нашли! Ты похудел, Миша. После расскажешь, когда пройдем насквозь эту сторону.

Она махнула рукой в сторону намеченной просеки по линии, указанной астролябией. В голубой майке, с волнистыми косами, загорелая, она казалась юношески сильной.

И они пошли в чащу. Березин уныло оглядывался на опушку, откуда только-что вышел. За Марусей в отдалении шли мужики. У дороги стоял воз.

Она смеялась:

— Как ты неуклюже ходишь, Михаил. Ты привыкай к лесу. — Березин сердился.

На солнце белая кора берез ослепляла. Маруся ладонью гладила белый ствол, говорила:

— Смотри, гладкий какой, кора — как детская кожа, смотри!

Березин хмурился. Ему непонятно было это марусино настроение: желание бежать вперед, умиление над тем, что срезанный ясень пахнет кислятиной, а из старого полусгнившего дуба сочится дым. Его раздражало удивление Маруси диковинной формы напыльями на деревьях, он торопился: «Копчай таксацию, я ведь устал...» Маруся не отвечала. Они забрели далеко. Треножник давил ей плечи. Поспевают ли за ними мужики делать зарубки, чтобы потом по ним углубить просеку?

Смутно недовольные друг другом, они вышли к заросшей речке. Под ногами белый податливый мох, кочки, стебли водокраса и пунцовые большие цветы, неожиданные в лесной чаще. Маруся легла на землю и слушала —

где-то пульсирует вода, изредка шуршат травы. Над Марусей безлистые бугроватые ветви клена. Откуда здесь клен? Маруся встала и постучала по стволу металлическим метром. Глухой, безжизненный звук. Дерево умирает, стоя. Вскоре оно упадет и перекинется через речку, намокнет и сгниет, как древняя колодина. Потом речку затянет болотистая тина, завалит валежником, течение уйдет в глубь земли, пересечет участок и вырвется в другом месте весной, когда закипают ключи и цепко держится за стволы последний желтый снег. Марусе думалось: «Нельзя ли увести речку?» Она смотрела на Березина и не решалась сказать... Он, наверное, будет рассержен такой затеей, назовет фантазеркой. А почему бы не попробовать вывести из леса к лугам заплутавшийся подземный поток? Ей стало досадно за себя — она, старшая на работе, считается с тем, что подумает муж. А может быть, затея осуществима? Нет, она не хочет срамиться перед ним, она старшая. Она придет сюда одна.

Темнело. Они молча возвращались к повозке, и каждый из них говорил себе: «Надо поговорить, так очень противно». Но Березин сам не знал, за что сердится на Марусю, а Маруся думала: «Ведь ничего не случилось, почему мне тяжело с ним?»

Строительство представляло собой расчищенную площадь земли в шесть-семь гектаров на склоне горы. Здесь были свалены бревна, разбиты палатки, сколочена кособокая, низкая изба, наподобие лесной сторожки. Они вошли в избу. На земляном полу свежее сено. Березин лег к стене, закрыл глаза. Маруся принесла ужин — кринку молока, хлеб, сало. Они молча и напряженно ели в полусумраке. Маруся думала: «Михаилу не по душе лес: он — горожанин, он не понимает леса». Ей было обидно, словно не поняли и оскорбили самое заветное в ее жизни. Она молчала, боясь заговорить, боясь, что в отношениях их не станет прежней простоты, той радостной готовности к труду, которая была в дни их отъезда из города. Маруся сидела около мужа, не

решаясь его приласкать и мучась своей догадкой. Наконец, она спросила:

— Тебе было скучно, Михаил?

Протяжно, подавляя зевоту, он ответил:

— Ну, какая же скука в работе? Конечно, в лесу веселого мало.

— Я этого боялась, — понуро сказала она, — а мне было хорошо!

Они заснули усталые и отчужденные.

Прошла неделя. Они порознь таксировали лес, порознь возвращались и почти не говорили друг с другом. Березин теперь подчеркивал начальнические права Маруси и свое служебное подчинение ей.

Маринкины работали бригадами. Павел Никитич руководил заготовкой бревен. Не обходилось без споров. Одна из бригад упорно отказывалась расчищать лес до весны: «Спилим, где попадется, потом проверим участки». Из Суздальки Маруся получила записку. Маланья писала: «Мое пожилое несчастье совсем не хочет работать. Говорит, что торф находить не к чему, лесу много. И все рассуждает, рассуждает, — голова болит от его слов. Планировщик он у меня, все планирует: почему бы Марусе не провести одну пукту да не поставить углекурение? Он будет возить угли на базар — верь больше, и все про купца говорит, как у того хозяйство было поставлено. Может, и правда, лхой был тот купец на работу, но мой на словах только горазд. И мутит меня, Марусенька, и от махры его, и от слов. Детей от него прижила, да неужели до смерти маяться? Ведь не люблю его, и собой он прыщавый, бугристый весь, не мужчина, а кора одна. И хоть бы понял, что, жалеючи, не ухожу, а то рассуждает с утра до ночи, как шеф над всем миром. Скажи, Марусенька, или рассчитать его, и пусть себе в другую бригаду переводится, или совсем расчет дать, уволить его от себя?»

Березину казалось, что Маруся становится сухой к нему и чересчур внимательной к людям. Делала она все внятно, отчетливо, не торопясь. Если, прощаясь с кем-нибудь, желала здо-

ровья, голос ее звучал убежденно и наставительно, не в пример иным москвичам, которые по телефону говорят «всего хорошего» таким тоном, словно хотят сказать: «Будь ты проклят». Движения ее всегда были плавны: шла ли она по болотистым лесным кочкам, или вдруг, по-домашнему простая, обеими руками раскидывала по плечам пегие к концу, темные у макушки волосы. Неожиданно для Березина она оказалась взрослее и загадочнее. Удивляла ее мягкая требовательность, хитрость и незлобивость в работе, ее терпеливость, словно жить Марусе предстояло вечность и ничто не могло омрачить ее милый, непогрешимый облик.

Между тем, с утра и до ночи последовало ее много неполадок. Приходила родня, и начинались бесконечные пересуды, кому и в какую очередь строиться, жалобы на старые руки и больное сердце. У Кондрата Маринкина племянш Николай — помощник, у Филимона Маринкина никого нет, а избу себе Филимон наметил строить пятистенную; сам плотник, знает рубку в ус, в стойку, в обло и в зуб. Почему бы Филимона не заставить избу строить для всех, а себе в последнюю очередь? А если пошло на то, так на новом месте и фасон избы придумать надо поновее, и поспешить с постройкой, — осень близка.

Иногда вспоминали, что, собственно говоря, Марусе — лесному технику и землеустроителю — не должно быть до всего этого дела. Но тут же оговаривались: это, если по-официальному судить, а если по-родственному да по фактическому знанию, то она всему делу голова.

Однажды подвечер Маруся навестила Филимона Маринкина.

— Дядя Филимон, — сказала она, — народ у нас беден на плотничью выдумку. Понастроят клетушки, амбары вместо изб. Ты вот одинокий, а до всего вкус имеешь...

— Потому многое видел — господам дачи строил, ценить дерево привык, — говорил Филимон самодовольно, — из дерева, как из глины, вещь

сделать могу. Инкрустации к купеческим буфетам Рыбинского богача...

— Дядя Филимон, — мягко обрывала она его, — а ведь неудобно как-то: твой дом дачей будет, а кругом — сараюшки...

— Чего хочешь-то: каждый себе дом строит из дерева, как из глины...

— О глине я слышала, подожди. Неудобно за тебя и за деревню — виду никакого, и совсем не по-советски так строить.

— Помогать не буду. Я, Маруся, не люблю Маринкиных, самые негодные люди.

— Не о помощи речь. Тебя приглашают инженером. Чтобы каждая изба строилась под твоим началом и по стройке тебе начислялись бы трудодни.

Он озадаченно наблюдал за ней, потом радостно обрывал:

— Ладно, ладно, я тебя, Маруся, насквозь вижу! Думаешь, сказала человеку, что он хороший, так и на самом деле зло от него отойдет? Инженером, стало быть, назначаешь?

— Не я назначаю, а народ вот...

— Ладно, чего там народ!.. Все понял. Может, чаю выпьешь? Ох же, и куражистая! А ведь ты мне племянница: твоя тетка моей матери сестра. Куда же ты?..

Маруся ушла, пообещав зайти с председателем. Она не хотела умалять значения Павла Никитича. Дед Филимон чему-то улыбался, топчась по избе. О новой деревне он уже думал доброжелательно. На новом месте и Маринкины казались ему «поновевшими».

В соседней избе расположились в клетки драчливые, одуревшие от долголетия старики Дарья и Никанор Маринкины.

Дарья наскакивала со скалкой на старика, а он хватал горшки и швырял в нее, постылая до отчаяния, когда-то любимую им.

Степенно входил к ним дед Филимон и, вспоминая, как воровал он мальчишкой у Дарьи огурцы и как терпел от нее побои, поднимал одряхлевшую драчунью вровень с собой, тряс, как котенка.

— Лишнее живет!.. По мне, пусть бы дрались, да перед деревней стыдно, — скажут: новоселы дерутся. Так ведь, Никанор? — Он явно сочувствовал старику.

Дед Филимон садился и вспоминал, что в ту пору, когда била его Дарья за огурцы, не забывал он заглядываться на ее белые полные руки, на косы и яркие, сильные глаза. Он глядел на сжавшуюся в комок глухую старуху и говарил Никанору:

— Вечер, помню, лето, лес гудит, мошकारа, она из колодца коромысло несет, не качнется, лапти на ней с красными передками, сарафан черный и косы по ведру бьют.

Дед Филимон успокаивал себя, что не задержится на земле, подобно Дарье и Никанору, — ему было грустно и чуть тревожно...

Смутная тоска по работе, по тому дню, когда запахнет тесом и канифолью, терзала его. И странно немели руки, зудели загрубевшие пальцы с желтыми выпуклыми ногтями, — все от бездействия, от преждевременного примирения со старостью.

Вскоре после разговора с Марусей Филимон вел бригаду класть фундаменты под избы и самолично сколотил из теса кладовую на площадке и огородил ее зубчатым забором. Бабы говорили ему, что воров нет, забор ни к чему, но старик твердил: «Для порядка» — и у себя хранил ключ от кладовой. Однажды Маринкин Евграф, родовитый охотник, принес лебедку с озера, подрезал ей крылья, пустил за забор. Калитка была заперта. Утром Маруся увидела, как через стрельчатый забор суматошно перелетел лебедь. Самка с подрезанными крыльями, взметая щепу с земли, тяжело кинулась навстречу. Шей их сплелись, карие глаза, увлажненные слезами, блестели. Лебедь старательно счищала клювом с сияюще белой покатою спины своей подружки капли мазута. Неожиданно для Маруси он обвил самку шей, упираясь клювом в ее грудь, шумно взлетел и повис на заборе. Он не смог со своей ношей перелететь через забор и теперь, напоров-

шись на острый зубец доски, медленно умирал.

Маруся приставила лестницу, влезла по ней и взяла в руки тяжелые, сплетенные в объятье, пушистые тушки. Самка шипела и кусалась, лебедь закрывал глаза, плакал. Маруся слезла, положила обоих в угол на свежее сено, присела около. Она боялась сознаться себе в том, что поражена и расстроена. Ей представилось, как летел самец с глухого озера за охотником, как выслеживал путь вдоль лесной просеки, неуклюжий и пугливый. Он не хотел, петеряв самку, обзаводиться другой.

Березин, увидев ее возле лебедей, растерянную и жалкую, криво усмехнулся и сказал:

— Все понятно, ребенка тебе надо, Маруся.

И, словно оправдывая ее, добавил:

— А некоторые возятся с кошками, даже спят с ними.

Она чуть слышно ответила, не поднимая глаз:

— Как ты, оказывается, глуп!

Эта мелкая ссора ускорила их объяснение, к которому они втайне давно готовились. В Суздальке, вечером, когда, кроме них, никого не было в избе, Березин подсел к Марусе:

— Маруся, пойми, нельзя родней править, нельзя для всех быть душеприказчицей. Ты строитель, не твое дело, любят ли деда Филимона мужики, уйдет ли от Кондрата Маланья Петровна. Ты ставишь себя в ложное положение.

— Мое дело, Михаил, мое, и, к сожалению, их жизнь не стала твоим делом, — понуро говорила она, закидывая назад русую упрямую голову, как всегда, когда волновалась. — При чем здесь наша специальность, ну, при чем? Представь себе, что здесь нет моей родни, представь, что нас послали в глушь записывать лесные массивы. Мы приехали, а в селе не умеют чинить жнейку, не знают конституции, — неужели ты не расскажешь им о ней?

— Как все это элементарно... — нервничал Березин. — Не об этом

речь. Рассказывай о конституции, чини жнейку, да не погрязай в их бедах.

— Не погрязая, Михаил.

Спор казался ей беспредметным. Не о том следовало говорить. А почему Михаил не видит радости в окружающей жизни и, по его же словам, жалеет людей? Жалеет за серость?

В институте Михаила иногда называли схоластом, начетчиком, «лягавой умницей». Она не соглашалась с этими прозвищами и теперь, но, пожалуй, только из самолюбия. Как она не поняла его сразу? Или ее отношения к нему родились в «приступе» упрощения, навешенного плохой, но популярной кинокартиной?

В памяти возник спор ее с Березиным о строительстве городов. «Тебе важнее строить триумфальную арку, а не чинить мостовую, хотя сам ты везде громишь краснобайство. Почему так? Почему ты сам неохотно берешься за черные работы?» Она говорила это без укора, как бы допуская, что арку строить интереснее, а краснобаев, действительно, много. И запомнился его желчный ответ: «Арка нужна, хорошие ворота украшают дом, — тем более важна городская арка». Тогда ей показалось, что он прав. И вдруг с детской стеснительностью вспомнила недавнюю сцену с лебедями. Почему он обозлился, почему?

Но ведь не чужой же он — Березин? Новый человек, молодой. Почему она ей муж? Неужели он для нее — то же, что для Маланья Петровны — ее «пожилое несчастье»? Маланью засасало жизнью. Неужели связь с Березиным тоже засасывает ее, Марусю, мирит с недостатками, с черствостью его? Странно! И вдруг ей тоскующе захотелось влюбиться в человека, быть даже... маленькой перед ним. Перед Михаилом она — всегда большая, и это-то ощущение превосходства и делало ее снисходительной к нему. И не было любви...

Она лежала на старом диване с выпирающими пружинами и, глядя на Березина, сидящего за столом, мечтала о человеке, в которого хотела бы влюбиться.

6

В этот вечер начальник строительства на канале, академик Ашунян, и председатель колхоза «Новая Волга» Воронцов летели на самолетах в Ярославль. Ашунян вел самолет позади колхозного, ориентируясь по его хвостовому сигналу и предоставив Воронцову держать курс.

Самолет то нырял между облаками, словно в узком проходе ледниковых гор, то шел по синей ложине, то выбирался на откос. Стаи гусей теряли строй и качались в воздухе, как лодки на волнах, поднятых пароходом. Ветер развертывал линию грозовых туч и бился в крыльях самолета, как зверь в силке.

Ашунян вглядывался в пространство: огонек сигнала ровно и дремотно маячил впереди в звездах. Ашунян отклонился в сторону и не сразу сообразил, что принял за сигнал одну из звезд Малой Медведицы; он вел самолет по этой звезде.

Тогда, набрав высоту, он стал кружиться над облаками, стараясь найти колхозный самолет. Но было темно, и Ашунян выровнял по компасу курс на Ярославль.

Внимание его привлекли красные точки на сплошном черном полотнище: горели леса. Ашунян снизился и с высоты ста метров пытался запомнить ориентиры. Он вглядывался в течение канала на месте недавней реки: оно было широко, черно, недвижно. Кое-где на берегу белели палатки. Ашунян обрадовался месяцу, неожиданно засветившему справа. По-домашнему обжитый, привычный открылся пейзаж. Ашунян подумал о том, что в Ярославль лететь поздно и неплохо бы побывать в Угличе, порасспросить, как проходит переселение деревень из районов, затопленных каналом. Захотелось воспользоваться свободным временем, побыть одному и почувствовать жизнь так, словно он ничего не знает об окружающем, о том, что делается внизу, словно он целый год пробыл в облаках. Через полчаса он уже приземлился в Угличе, а в десять часов вечера сидел

в колхозной чайной на пустынной площади, пил чай и вслушивался в разговоры колхозников. Говорили о речке Свежей, которая сто лет прятала свои концы в лесу (так и выразились: «прятала концы»), Маруся вывела ее, речку, на свежую воду (так и сказали: «на свежую воду»). Маруся предложила вывести речку из лесу, углубить ее поток у Черного яра (Ашунян не знал местности) и, если речка окажется засушливой, если недра не станут питать ее, пришить рукав речки к каналу. Говоривший это часто повторял «ей-богу» и обещал кончить божбу, называя себя «небожителем». Ему не верили.

— А зайцем не будет наша Свежая? — тревожился один из собеседников. — Без прав то-есть? Если все колхозы захотят отводить от канала речушки, что скажет начальство?

Вопрос относился уже прямо к Ашуняну. Он слушал, не выдавая себя.

Дальше они удивили его упоминанием о нескольких тетках, которые были недовольны Марусей. Речь шла о Дарье Кособокой, об Анне и об Анфиске Вологодской, что сбежала от мужа. Все они не хотели переселяться, и всех их Маруся уговорила. «Девка-то, — объяснял все тот же небожитель, — хоть кого уговорит! Ласковая, доходчивая, и всем племянница. Тетки взревновали ее друг к дружке, тетки от нее полной сердечности ждут: расскажи им все планы строительства да посули поблажки при этом. А Маруся придет в неурочный час и скажет: «Тетушка Аня, пойдем в лесок, поковыряемся». Пойдут, и, смотришь, тянет Анна еще одно бревно с напыльвом, как-раз к воротам. Ходят тетки за ней, что мамы за Иванов-царевичем, ей-богу, ох, извиняйте, забылся».

— Извините меня, — учтиво прервал их беседу Ашунян, и говорившие разом повернулись к нему, будто только сейчас заметив нового человека. — О канале я рассказать смогу, я начальник строительства (небожитель закивал головой, словно давно это знал), а о колхозе вы разъясните мне. Какой колхоз, какие тетки?

С минуту его разглядывали — от ботинок до старой кепки, — раздумывая, какую пользу может принести им этот человек, крупный, с угловатым лицом и по-летнему одетый. Понравился его прямой, спокойный взгляд и то, что нет очков и рука жилистая, сильная. Об академике Ашуняне слышать им не приходилось, как и о том, что в академии его ценят не только как знатока леса, но и как востоковеда и лингвиста. Переглянувшись, они вытолкнули вперед небожителя, самого, очевидно, расторопного среди них, и тот уже другим тоном, стараясь быть обстоятельным, сообщил:

— Мы из колхоза Старобуевского, новоселы, нового названия не установили. Среди нас и единоличные имеются. Приехали по колхозному делу, насчет арматуры. Труб нам, проще говоря, обещали. Ну, тетки, наши сродственницы, — тетки и есть, а Маруся-техник — тоже мне племянница.

— И мне. Мы, извиняюсь, все одной фамилии, — значительно добавил один из колхозников.

Академик Ашунян ночевал в доме колхозника вместе со своими новыми знакомыми. А утром в кабинете председателя райисполкома он принимал уполномоченных по заготовке леса для канала, инженеров строительства, оказавшихся здесь, и выслушивал почти одинаковые жалобы их на председателей сельсоветов, которые не идут навстречу специалистам и даже тормозят работу. Переселенческие колхозы, по их словам, ничем не лучше цыганских таборов. Техников-лесовиков заставляют строить дома вместо того, чтобы заготавливать по их указаниям лес для канала.

— А как же Старобуйский колхоз? — допытывался Ашунян. — Говорят, дома строит и наш план выполняет?

Кто отмалчивался, а кто тихо поясняя, что инженером в том колхозе Маруся Маринкина, умница и родная им, своя.

— Не поймешь, — шутил Ашунян, — одни думают, что плохо, когда своя: дескать, заведется семейственность,

начнутся поблажки; другие думают — хорошо.

А уезжая, сказал двум техникам, больше других опечаленным его приездом:

— У вас все данные стать чиновниками. Людей боитесь, леса боитесь, домов в лесу не поможете выстроить, господка какие... Кампании ждете? Помогите, мол, высокие специалисты, лесному колхознику.

Провожали Ашуняна группой, почтительно и хмуро. А когда выкатили из сарая (на загородном поле) новенький одноместный самолет и Ашунян сел за руль, некоторые из провожавших подумали: конечно, такой, как он, и дома, и канал, и колхозы выстроить сумеет, но им-то каково? И вздохнули.

Марусю Маринкину Ашунян вызвал к себе в управление телеграммой.

★

Вечер. Большеголовый седеющий человек грузно сидел перед промадным окном, за которым — лес. Комната в коврах. Книжные полки до потолка. Старинная тахта, ружья, несколько грузинских гравюр на стене. Он держал в руке за нитку серебряный кинжал, подобно тому, как держат на весу безмен, и время от времени стучал по лезвию карандашом. В комнате — долгий, дрожащий гул, сухой и нежный; замирая, он напоминал звук расстроенного клавесина.

По словам сторожихи, академик Ашунян часами «слушает кинжал». Сторожиху пугала его сосредоточенность, в которой чудилась ей глубокое горе. Сейчас она стояла за дверью, не решаясь сказать о приезде инженера Маринкиной. Да и сама девушка в палевом платъице, с голыми икрами, золотоволосая и тихая, не походила на обычных посетителей Ашуняна: не курила, не спешила, не держала подмышкой портфеля; плетеный баульчик был у нее в руке.

Наконец, сторожиха приоткрыла дверь:

— Арташез Георгиевич, к вам.

Слегка наклонившись, обязательный и строгий, он встретил Марусю у двери и заговорил, не протягивая руки:

— Вы из Суздальки? Быстро! Садитесь, пожалуйста, не хотите ли чаю?

Стройность и даже грация почудились Марусе в его грузной и подтянутой фигуре. Успокоительны чуть насмешливая интонация голоса и четкий армянский акцент. Ей кажется, с ним можно говорить не только о строительстве, о переселенцах, и даже нехорошо начинать с этого. Она смотрела на него в упор.

Ашунян же словно продолжал уже начатый разговор:

— Вы перевезли в Суздальку всех своих родичей, подчинили себе всех теток и дядей? Вы примерный строитель, товарищ Маринкина! (Он предпочитает слово «товарищ» имени и отчеству.) А я, знаете, все ссорюсь с итеэровцами, они боятся всего, что выходит за рамки их заданий, их практики. Попробуйте с ними побеседовать о литературе! Мало читали, но обо всем смеют свое суждение иметь и вас же обругают за отставание от жизни, если вы раньше их не успеете это сделать... Да, да, если не успеете обругать их! Мне кажется, некоторые и на «Анну Каренину» стремятся пойти не потому, что хотят понять Толстого, а потому, что это модно и билеты достать трудно. Как это так — не видеть «Анны Карениной»? Такие люди вашу деятельность не смогут оценить, для них ваши неисчислимые тетки — частное дело, не имеющее отношения к переселенческой стройке, а между тем не так-то просто управиться в наше время с теткой! Как думаете?

— Вы правы, наши инженеры часто очень односторонне развиты.

Маруся уклоняется от разговора о себе.

— Раньше встречался какой-нибудь инженер-путеец, мнил себя Колумбом, талантливым одиночкой, имел много времени, знал, не знал, а умел потолковать о музыке и живописи, а в общем отвратительный был тип, я вам скажу, чеховский всезнайка, скептик, опустошенный интеллигент. Но не о том

речь, ваш пример — поучителен. Вы подняли на ноги колхоз, придумали отвести воду в поле из глухих лесных речушек, рубить лес в елку, а некоторые инженеры — представители нашего управления — в деревнях ноют и даже не считают себя в праве вмешиваться в работу сельсоветов. Больше того, они считают, что в деревне их не замечают, — и это советские специалисты? Они ведь не только техники, они и пропагандистами должны быть.

— И я так считаю, — грустно сказала Маруся, думая о своем споре с Березиным.

— А это значит, — продолжал Ашунян, спокойно шагая по комнате, — что они жизнь мало знают и мало ее любят. Подлинные жизнелюбцы, — я имею в виду, конечно, не тех, кто любит только модные галстуки и ботинки, — сами вмешиваются в деревенские дела. Их не придется упрашивать, у них доходчивый, веселый ум и хорошая, нужная нам тоска о настоящем человеке. Они не страховщики, не чистоплюи; они знают, как растут кадры, умеют требовать, умеют помогать. Ну, да что я вам мораль читаю, товарищ Маринкина! Я вызвал вас, чтобы расспросить о вашем участке: не находите ли вы, что лесхозы за мелкотоварник списывают здоровенные массивы, потому что в вашем участке не совсем правильно проведена таксация, не совсем верно описать леса?

— Зачем так осторожно, Арташез Георгиевич? — улыбнулась Маруся. — Говорите прямо: мы провалили таксацию!

— Вы не заслуживаете таких категорических выражений. Я употребляю их только по адресу более толстокожих и в тяжелых случаях. Но если хотите, — да, провалили. И пожары у вас. Почему не тушите?

— Я доверила пожары мужу.

Ашунян заметил, что Маруся потупилась, и заторопился:

— Ну, что касается пожаров, их трудно тушить. Мы поможем, пришлем самолет, разобьем ваши пожары. Клинь клином вышибем...

Она детски-доверчиво смотрела на него.

Ей смутно представлялось, как будут бомбить лес. Правда, в институте говорили о «противопожарной роли воздушной волны при падении... бризантного действия бомб на огонь», но учебная формулировка была суха и не будила воображения.

— А как с мужем быть?

— А мужу вынести выговор. Пусть внимательнее работает. Скоро приеду к вам, навещу.

Оставшись один, он запер дверь и долго и неподвижно сидел, потом, выключая из памяти все, о чем говорил, взялся за книги. Академик переводил Гафиза. Довольный тем, что никто его не тревожит, он читал Саади:

О друг, оболочку вещей позабудь,
Ищи ты в вещах и явлениях лишь суть,
Кто знания, щедрости, веры лишен,
Одна оболочка без сущности он.

«Эстет, — говорили об Ашуняне приятели, — востоковед, и вдруг — специалист по лесному хозяйству!»

И в Наркомлесе замнаркома шутили во однажды спросил Ашуняна:

— Что вам интереснее: Саади или таксация?

Академик молчал, и тогда замнаркома вспомнил, что перед ним бывший командир полка, участник боев с дашнаками, во всем земной, бывалый человек, и вряд ли уместна его шутка.

★

Через неделю к Маринкиным приехал Ашунян с начальником переселенческого комитета. Они оставили машину у пригорка и по росе, поживаясь от холода, направились в сельсовет.

— Вы увидите нечто редкое для нашего района, — говорил Ашунян хмурым лекторским тоном, — вы увидите слаженную работу и перевыполненный план. Заметьте, никакой сутолоки при этом. Переселенцы не будут вам жаловаться на вас же самих и на свои неполадки. Их крепко держит в руках девушка без особых достоинств и без опыта в работе, но... необыкновенно хоро-

шая девушка. И заметьте, с этим участком нам не приходилось много возиться, вы сюда не присылали агитаторов, я не присылал инженера, из центра не пересылали жалоб, а дело идет!.. Они в два месяца построили избы, и, знаете, коттеджи, — не какие-нибудь русотяпские пятистенки с печью в сажень и полатами у окон. В речке углубили русло и выводят ее из леса. Это ведь надо уметь. И нас с вами ни разу не приглашали. Они в нас мало нуждаются, Исай Львович.

Начальника переселенческого комитета, впрочем, мало устраивало это свойство новоселов — не приглашать начальство. Он не возражал Ашуняну, но немного побаивался такой их самостоятельности. Незаметно они дошли до избы сельсовета. На пороге стояли Павел и Кондрат Маринкины. Они молча, без особого любопытства к приезжим поклонились, и Исай Львович для официальности сухо спросил:

— Где председатель совета?

— Кондрат, — сказал Павел Никитич, не поворачивая головы, — сходи за Марусей — пусть придет.

— Да ведь она у вас техник, а я спрашиваю председателя, — оборвал его Исай Львович.

Старик помолчал, шагнул вперед и сказал:

— А чего скрывать, дочка у меня и по сельским делам больше моего смысла. Я — председатель, а без нее говорить неудобно. Может, вопросы какие будете задавать.

Кондрат ушел. Ашунян пошутил:

— А раньше, когда дочка училась в городе, вы самостоятельнее, небось, были. Вот и не к добру наука.

Они пошли в избу. Павел Никитич шел следом и, словно оправдываясь, говорил:

— Почти все из молодых в город ушли, там остались, а она своя, наша, и из города. Ну, конечно, за нее и уцепились, а то, что дочка она мне, — это еще не играет главной, я вам скажу, роли. Коли что неправильно скажет, мы не согласимся. А только пока довольны. Инженер она хороший и нам первый помощник.

Вскоре они сидели за новым, только что выструганным столом и рассматривали лесные карты, составленные Березинным. Пришла Маруся, стеснительно поклонилась приезжим и села к окну. Скрывая любопытство и, словно нехотя, зашел в избу Березин.

— Неправильны ваши сведения, — говорил Ашунян, что-то отчеркивая на карте. — Не густолесник здесь, а топь, торфяное болото с зарослью вокруг, и здесь пожар.

Березин покраснел.

— Днем прилетит самолет и разбомбит вам этот участок, затушит, но все же, товарищи, карты надо уметь составлять. Зачем посылать наших людей по ложному следу. Подумаешь — прерия, тайга! Свои двадцать квадратных километров не можете разведать толком.

— Мы недавно здесь, не успели, — бормотал Кондрат.

— Отлучиться бы колхозникам, на гору съездить, за самолетом поглядеть, — обратился к Павлу Никитичу дед Филимон. — Как они, — он показал на академика, — пожар тушат.

— Как думаешь, разрешить? — спросил Павел Никитич Марусю.

Она чуть шевельнула губами:

— Смотри сам.

— Ну, езжайте, ребята, — вдруг с лихостью сказал Павел Никитич и поглядел на деда Филимона так, словно за ним стояла в комнате толпа.

Ашунян говорил Марусе мягко, боясь показаться назидательным:

— В дороге люди становятся инициативнее, их меньше сдерживает привычка и обстановка. Крайне полезно отойти от насиженных мест. Не думайте, что квакеров в Америке гонит только нужда. Нет, они подвижнее нашего крестьянства, любят переезды. Вам кто читал землеустройство в институте — Корягин? Ну, он — без фантазии, он — педант. Вы найдете в книге Ермакова о строительстве городов интересные сведения. Заметьте, в русских деревнях деятельные люди жили на просторе, на многоземелье, селились ближе к реке, к улову. Обидно видеть наши колхозы в двадцати-тридцати километрах от канала лишенными воды. Надо провести к

ним рукав, воды от этого не убудет. Канал — это, если хотите, водная ярмарка, притягательное место для колхозов, лучшая охрана леса, район лесных насаждений.

Обидно встретить на канале такой переселенческий колхоз, где люди тоскуют по своим прежним местам. Это значит, что мы тоже горемычки, горе-администраторы. У вас много таких... тоскующих?

— Есть, — улыбнулся Павел Никитич.

— Чего же они хотят?

— А вот послушайте.

Они неслышно подошли к избе Дарьи Маринкиной. Изба пахла мхом, тесом, сыростью. Ашунян наклонился к окну. Из угла, где, должно быть, стоит черная от времени божница, доносилось:

— К свету доступ закрыт нам господом нашим. И в лесах дремучих отцы наши схоронены. Помяни, господи, деда Ивана и Арину и прости нам, что оставили могилы их в Буе.

Она плакала, наслаждаясь слезами, шумно сморкалась.

— Каждый день в это время молится, — говорил Павел Никитич, — кроме нее, нет у нас тоскующих. Убивается старуха, да что сделаешь? Такой уж лесной обычай убиваться, и не будь вокруг ни пня, ни жердочки, все равно Дарья голосила бы о лесах дремучих.

Над крышами, снижаясь, тяжело пролетел самолет. Колхозники и приезжие стояли на открытой горке около горевшего участка. Только по тому, как изломом летали над лесом птицы и порывами ветра выносило иногда из чащи теплую и дымную волну, можно было догадаться о том, что лес горит. Ночью в небе мелькали красные блики. В дождь несло из леса гарью, жженой корой.

Кондрат Маринкин вспоминал, как два месяца назад, сторожа с Березинным участком, он не хотел мириться с «плановым пожаром» и жалел лес, себя, государство. Он следил за самолетом и готов был осудить летчика, почему так долго кружится. Тушить пожар с самолета, собственно, — нехитрое дело, давно бы надо догадаться об этом.

А летчик кружил, то исчезал за горизонтом, то появлялся снова. И вдруг над лесом, в том месте, где хоронилось болото, бесшумно взлетели густые клубы дыма. Внезапным шквалом со всех сторон взметнулись сосновые иглы и мелкая щепка.

В воздухе на миг стало мутно, и самолет почти скрылся в черной завесе.

Кондрат вытирал лицо, и, вглядываясь в даль, заметил мелкую трещину в темной, ранее сплошной стене леса. Оттуда теперь выбивался белый пар, а во всем громадном лесном пространстве стоял неумолчный взбудораженный писк и клекот.

— Пошли, — сказал Павел Никитич. Мимо Кондрата промелькнуло несколько человек с топорами. Он недовольно, словно его умышленно опередили, побрел за ними. Черная и гладкая поляна открылась в лесу. Ровные, словно руки сложенные стволы, плотно заваливали болото. На ближнем, чуть покоробленном дереве сидела обезумевшая белка и зализывала обожженную лапку. Из зелени прытко глядел испуганный лосенок. Кондрат свистнул и покачал головой. Ему откликнулись колхозники из чащи.

7

Когда в семье заходила речь о мариусином муже, Павел Никитич обрывал:

— В ее личные дела не вмешиваюсь.

Ольга Николаевна поясняла:

— Жилец он у нас, а об отношениях нам ничего не известно.

Маланья всплескивала руками, поднимала плечи, мрачнела:

— Да что же ты, Павел Никитич, никак от дочери отрекся? Почему открыто не признаешь: не пара она ему!

— Не вмешиваюсь, — повторял Павел Никитич с явным желанием вмешаться.

— А знаешь секрет, почему не пара ему? — подзадоривала Маланья.

— Кому бы и знать, как не нам, — обижалась мать.

— Потому — мелок. Я таких людей видала. Много их в городе толчется. Поглядишь — с виду приличный человек,

гладкий, рассудительный, а копнешь — труха. Жить не успел, а уже мертвый, и умишко его от мертвости, как бы сказать, и хотелось бы его взьерошенным увидеть. Прилизан да подобран, тьфу...

— Холоден, что толковать, — вздыхала Ольга Николаевна.

— Не вмешивайся, говорю, — багровел Павел Никитич. — Подожду. Сама скажет. Или вот заболела, или в отъезд соберусь, — тогда спросить можно. Она проста, проста, да с характером: сама знает.

— Ну, вам виднее, — шумно поднималась Маланья и уходила, рассерженная. Но при встрече с Марусей не решалась заговорить о Березине.

В грозу Павел Никитич простудился. Еле добрался домой, лег на печку. Маруся была в Суздальке. День пролежал — легче не стало, мучил кашель. Он приоделся и пошел в медпункт на пути к Суздальке. Осматривала его козоглазая молодая докторша.

— Да, да, — сказала она обрадованно, — ноги должны побаливать, в суставах ломить. Устраним, обязательно устраним, выпьете аспиринок с кофеинчиком.

«Что фельдшер земский с касторкой, — подумал Маринкин, уходя от нее. — А говорят, наши врачи на земских не похожи. Похожи, — он удивленно присвистнул и зашагал энергичнее. — Пока подучатся. Эта докторица ласковая, да и раньше такие бывали. Ничто разом не меняется, все делается постепенно... Маруся, вот девка! Моя дочь, я — ее отец!»

У него был жар, стучало в висках.

В пути опять настиг дождь. Маринкин свернула в чайную (ютилась чайная вблизи Суздальки), сел за стол у мокрого окна, подозвал подавальщицу:

— Девка, отец есть?

— Помер, а что?

— Помер, — протянул он и почему-то подумал, что, живя уже шестой десяток, мало что сделал для Маруси. Мысль эта показалась ему обидной, и он сказал:

— Отец — это, девка, все, от отца скрывать нечего, отец — это...

И раскашлялся.

— Да вы погрейтесь на кухне-то, эх течет с вас!..

Из кухни крикнули:

— Отец, шагай сюда, не бойся!

— Вот я и говорю, что отец... — бормотал он, выйдя в темную, сырую кухню, и вдруг повалился набок, скрюченными пальцами хватаясь за рубаху.

— Клавка, беги к новоселам, — крикнула, не очень торопясь, степенная повариха и приложила на лоб старика мокрое посудное полотенце. — Никак отец марусин?

В девичьей комнате стыдливо лежал он с воспалением легких, просил табачку, бредил, а около него сидела Маруся, озабоченная и теперь щедрая к нему. И он в бреду проговаривался о своей давней тревоге: «Березин леса не любит, и лес для него только тогда хорош, когда расчищен, разбит на аллеи, как у немцев, и нашей семье он чужой, обозреватель он, да, да... Обозреватель, не труженик. А заметь, Марусенька (он высказывал в бреду свое сокровенное), по тому, как относится человек к лесу, человека узнать можно. И жизнь-то, Марусенька, чем не лес? А Березину в парке гулять с тросточкой... Срежь ему, Марусенька, тросточку, подари. Стригач Березин, быстро стрижет в жизни. Есть такие, все у них быстро и гладко... — Старик хрипло смеялся и устало договаривал: — Ой, да срежь ты ему, Марусенька, тросточку!»

Деревня застраивалась. Лось, выходя на опушку, не узнавал местности: была она белая от опилок, с назойливо и странно торчащими из ям крестами бревен. Лось вскидывал рогами и опрометью кидался в лес, чтобы потом обернуться и уже из чащи, из-за ближних деревьев, высматривать людей и постройки.

Был июнь, в лесу синим туманом застилалась черника, полз по земле лесной плаун, душил цветы. Травы, словно высейные, густо поднимались по холмам, аккуратные северные огороды медленно вычерчивались на скалах и в междулесье, поздно зеленели. Переваливались грузовики, прибывшие с канала за лесом, становилось людно... И, не глядя один на другого, выходили на свет оглу-

шенные временем Дарья и Никанор, шевелили губами.

Березин работал на заготовительном участке, отбирал деревья для вырубки. В личном деле его был записан выговор за небрежную таксацию, и Березин говорил, поджимая губы: «Что ж, жена мужа учит, — я не обижаюсь, заслужил, мы новые люди и должны понимать». А в душе зрела обида, мучило желание договориться с Марусей, бросить тепок, Маринкиных и уехать в город, в аппарат лесхоза, где умеют бережно воспитывать кадры и создают им условия для работы...

Разговор этот произошел после выздоровления Павла Никитича. Березин сидел с Марусей наедине (последнее время они редко виделись) и, не зная, с чего начать, тихо говорил:

— У брода, в конце двадцатой просеки, что-то густоват лес. Мы не велели рубить, но ты поглядела бы все-таки. Сухостоя нет, а густоват...

Маруся была попрежнему свежая, подобранный, по-милому важная. Как она могла так ясно и спокойно глядеть на него, словно между ними ничего не случилось? Она сказала:

— Погляжу.

И только. Березин сгорбился и, опустив глаза, спросил:

— Техник я плохой, а муж нелюбимый. Почему не отпустишь меня?

— Я сама хотела тебе предложить уехать, Миша, хотя права не имею тебя отпускать. Замены нет, работы много. В общем, уезжай, Миша. Я буду в ответе.

— Будешь довольна даже? — вдруг озлобился Березин.

— Буду довольна. Ошиблась я, далекий ты мне, сам знаешь. Только во всем я виновата, не ты, Миша.

— Нет, я виноват, — неожиданно сказал он, еще больше обидевшись от ее слов.

— Не будем спорить. Любви-то ведь нет, Миша...

Он досадливо махнул рукой.

— А другие как живут? Тебе надо что-то особенное. Не будь этих Маринкиных, мы жили бы в городе, все было бы иначе...

И, желая казаться старшим, он сказал:

— Ты, Маруся, прекрасный работник, новый тип девушки. — Да, да, я всегда так думал. Но ты еще боишься жить для себя. Ты мамка, как тебя называли в институте.

— Нет, я живу для себя.

— Не знаю... — Он замялся. — Ну, значит, отпускаешь меня? Когда можно выехать, товарищ начальник?

— Пойдет машина в город, тебя захватит.

— Это к Ашуняну за визой на отъезд? Путевку отметить? Ты, по крайней мере, не ругай меня, Маруся, ни дома, ни в городе: я в аппарат хочу перейти.

А через несколько дней, за обедом, когда все были в сборе, Ольга Николаевна шептала Маланье:

— Отпустила она его, отпустила...

Маланья влюбленно глядела на Марусю и от избытка чувств молчала. Павел Никитич не подавал виду, что замечает в семье перемены. Ольга Николаевна значительно сказала:

— Горенку марусину убрать надо.

В этот же вечер, придя домой, обиженно и немощно закричала Маланья на Кондрата, запричитала:

— Ну, и постыл же ты мне, ну, и неинтересен! Ой, неинтересен! И спросить с тебя, потребовать нечего, и долго ли я с тобой маяться буду?

А Маруся озадачила Ольгу Николаевну, сказав мимоходом:

— В командировке Березин, скоро вернется.

И когда у матери задрожали губы и сразу тусклым, одрябшим сделалось лицо, Маруся повторила с внезапно нахлынувшим так не свойственным ей злобным раздражением:

— В командировке, да, да!..

Она забралась на сеновал и там, вся сжавшись, спрятавшись в сене, впервые плакала, кусая губы и стыдясь себя больше, чем когда-либо.

...Им так все просто, они так довольны, думала она о родных, а ей каково? Она скрывала от них свою ошибку, не могла жить с Березиным и одновременно старалась чем-либо не выдать се-

бя. И с ним она расставалась внешне спокойно, и во всем, во всех своих чувствах и поступках, была одна, как одна в своей ошибке, одна в своей гордости... И теперь одна...

А через месяц академик Ашунян сообщил Марусе о том, что Старобуевский колхоз выдвинут на сельскохозяйственную выставку. «Показателями для этого, — писал Ашунян, — служили: умелый вывод лесной речки в деревню, быстрое и добротное строительство домов, лесозаготовки и лесопоставки. Приедете на выставку, найдете в Ярославском павильоне свой портрет. Местные газетчики уже дважды спрашивали меня о ваших примечательных качествах. А что я мог им о вас сказать, кроме того, что испытание вы выдержали, институтскую практику сдали? Сказал бы, да не хочу. Пусть сами познакомятся с вами. Боюсь, что не сумеют написать, — обычно у газетчиков все героини на одно лицо, и все ортодоксальные до скуки».

Она грустно подумала: разве расскажешь что-нибудь про себя? Вот Березин ушел, оказался «не тем». Вот она одна-одинешенька, и тетки иногда надоедливы, и жизнь однообразна.

А ей уже двадцать пять лет, и никто ее по-настоящему еще не понял и не любил. И так и останется одной с невысказанностью своей и с мнимым своим благополучием. Может быть, и неплохо поехать в Москву, побывать на выставке? Ей вспомнился институт и Капуша в их студенческой комнате. Она отчетливо помнила эту комнату — как стоят кровати, и вид из окна, и свои разговоры с Капушей о деревне, о замужестве. Как случилось, что за лето работы в деревне не довелось ей увидеть ни сдного врага, шпиона или вредителя (кто в институте говорил о них, как о чуть ли не обязательном атрибуте деревни), а пришлось найти чужое, бюрократическое в своем же товарище, в муже?

Она взгрустнула по одиночеству своему и невысказанности. Тем не менее, все пережитое за лето наполняло ее гордостью. Колхоз крепок, тетки (она не называла их иначе) дружны и выдвигают ее на выставку!

В таком настроении она приехала в сентябре в Москву, побывала в институте, и с одной из первых делегаций прошла на выставку.

Она рассматривала выставку ревниво, придирчиво, и не все из того, что увидела, понравилось ей.

Павильон Средней Волги был увешан таблицами. Да и кучи картошки скучны и быстро надоедают. Она понимала, что изысканнее, оригинальнее показать картошку на выставке трудно. И все же была в этих картофельных кучах какая-то безвкусица. На минуту ей представилось, как бы она поступила в этом случае: пожалуй, выставила бы две, три картофелины, не больше... Раздражали не всегда уместный орнамент и пышность оформления. «Показывать надо без внешней эффектности, — думалось ей, — просто, как сама жизнь».

Маруся вышла на многолюдную аллею и пошла к синему павильону Таджикистана (издали он казался горной вершиной в облаках), и все, что пришлось ей дальше увидеть, взволновало ее и заставило забыть время.

Снежный хлопок из орошенных пустынь казался прекраснее роз и горной памирской резеды. Со стены спускался к нему мохнатый белый ковер, крепче тугого волокна, из шерсти, смешанной с алайским древесным шелком. А ниже в беспорядке лежали, загадочные в недавнем прошлом, древние корни амбры, на ностое которой восточные мастера писали свои миниатюры. И здесь же, в дымчатом легком халате, стояла загорелая женщина, спокойная и внимательная, и давала объяснения посетителям. «Эти растения вывел наш колхоз. Их не было, их родили вновь, да, я, Ашумбекова, вывела исчезнувшую породу. Исчезнувшую было, да! Поглядите снимки, — кишлак, отец мой, это я в парандже. Да, не удивляйтесь, я не так давно скинула паранджу. Наш кишлак дальний, глухой».

Маруся, улыбаясь, вышла на аллею. О железную загородку терлась мордой добрая, послушная корова с громадным, отвислым выменем. У коровы замороченный, рассеянный взгляд — скучает по лугам, мычит.

— А вы знаете, какую борьбу выдержала я за мой удой? — услышала Маруся. Светлая ясноглазая девушка в сиреновом платье рассказывает кому-то о себе. Маруся отошла от загородки. Теперь она шла в толпе, как на демонстрации, и, казалось, понимала то невысказанное и непоказанное, что таилось в экспонатах и таблицах к ним. Ей показалось, что на выставке представлены не вещи, не экспонаты, а вереницы людских судеб, самые затейливые превратности в борьбе, — может быть, из-за тощего деревца, из-за хлопка, выращенного в пустыне...

Может быть, она, Маруся, напрасно терзается невысказанностью своей? И Маруся неожиданно ощутила себя на выставке, как в тесном товарищеском кругу, как в лучшие годы своей жизни в институте. Хотелось вернуться к Ашумбековой и к девушке в сиреновом платье у загородки. С новой силой, лихорадочными толчками изнутри, поднималось в ней любопытство к миру, страстное и негерпеливое. И обида за себя: мало знает, мало пережила, а уже грустила об одиночестве!..

К выставке везли новые экспонаты. Спускался дымный московский вечер. Зажегся матовый свет фонарей, неустанно прибывали толпы. С выставки увели коров и коней, где-то по-сельскому мирно прогудел рожок пастуха, и за аллеями, ближе к селу Ростокину, у бензиновых колонок и чадных гаражей толкались обозы, картавили гуси, пахло сеном и молоком.

Маруся спешила навстречу людям, заглядывала в крытые грузовики и уже жалела о том, что не может никому помочь, что надо уходить, а ее не зовут остаться.

Телефон

Рассказ

Д. БЕРГЕЛЬСОН

★

I

В корчме у пограничной полосы, где начинались дремучие, болотистые леса, висел на стене полевой телефон.

Охранял его красноармеец Федор Зозуля. Он был курнос, волосы у него были жиденькие, совсем светлые, водянистые глаза задумчивы. В минуты глубоких размышлений верхняя губа Зозули и его вздернутый нос смешно ползли вверх.

По телефону он говорил серьезно, почти ожесточенно, выказывая суровую преданность служебному долгу, и часто отчитывал дежурного с соседнего поста, когда он звонил не по делу.

Охраняя телефон, Зозуля чувствовал себя хозяином. Ведь он хорошо понимал важность порученного ему поста.

В Красной армии Зозуля научился бегло читать. Но с тех времен, когда он был малограмотен, у него сохранилась привычка останавливаться перед плакатами или воззваниями и читать их вслух, не смущаясь тем, что товарищи смотрят на него с удивлением.

В разговоре он пользовался то русскими, то украинскими словами. Когда дело касалось революции и всего связанного с ней, — в ход шли русские слова, усвоенные за годы службы в Н-ском полку. Украинские слова служили для выражения того, что относилось к полям, лесам и человеческой природе; к ним он привык, когда работал у харьковского помещика сначала пастухом, потом конюхом.

Зозуля считал себя человеком очень нужным для Красной армии, и в самом деле был таким, — он храбро дрался на всех фронтах...

Шли бои с легионами Пилсудского.

Вначале пост охраняли, кроме Зозули, восемь красноармейцев. Болотистые леса укрывали остатки разбитых банд, грабивших всех без разбора, и часто глухой лесной шум прорезали человеческие вопли.

Корчма была грязная. Вокруг голого стола сидели восемь красноармейцев и, поставив винтовки между колен, слушали суждения Зозули о том, почему француз дал деру из Одессы, а вот англичанин все еще сидит в Архангельске.

Летом белополяки грозили окружить леса. Восемь красноармейцев были отозваны на отдаленный пост, в корчме остался один Зозуля.

К своим обязанностям он относился со страстностью человека, который до всего дошел собственным умом.

Красноармейца-связиста, который принялся объяснять ему, как обращаться с телефоном, Зозуля внимательно выслушал и сказал:

— Все понятно, товарищ! Ты в телефон говоришь, а тебе отвечают. Батарея для него, что коню корм: кончилась одна, вставляй другую. Верно я говорю? Ты мне этих батарей побольше оставь, а дальше не учи, сам знаю!

Телефон, как полагал Зозуля, имел прямое отношение к Красной армии и к революции. А раз так, то его надо охранять. Конечно, он — не живое существо, но и не мертвый предмет. У него свои повадки.

Скажем, в поле ни ветерка, — тогда в аппарат говори тихо, без натуги, как с людьми разговариваешь.

А ежели рвет и мечет ветер, тогда кричи, что есть мочи, пока тебя пот не прошибет!

Одна беда — в корчме скучно. Среди евреев Зозуля никогда не жил и языка их не знал.

Телефон стал единственной утехой Зозули, как бы полудошевленным другом-приятелем, к которому можно подойти несколько раз на день, поговорить по-хорошему, вспомнить о Красной армии, о революции. Правда, частенько телефон был похож на глухого, у которого к тому же ослабела память.

Подойдешь, покрутишь ручку:

«Дзинь, дзинь!»

Прямо в ухо кричишь ему:

— Это я, Федор Зозуля! Пост номер три на сто первой версте! Громче! Что ты не ив чи шо?

Прошло две недели. Зозуля спал возле телефона, в углу корчмы, накрывшись грязной шинелью. По ночам он выходил за дверь и стрелял в воздух — пусть знают, кому надо, что пост охраняется. От скуки он перечитывал лоскутки газеты, из которых свертывал себе цыгарки. Его тянуло на беседу с людьми, хотелось сказать, что он дело понимает и себя в обиду не даст. Полк его ушел, но не за море же! Пусть только кто-нибудь отважится на то, чего делать не полагается, — он, Зозуля, сейчас же к телефону... Поэтому не след ему и дремать.

У Зозули вертелись на языке слова, которыми хорошо начать беседу:

— Всякому хочется лучше жить, — верно я говорю?..

Но в корчме никто не откликался на его разговор, все словно языка лишались и смотрели на него как-то странно. А когда он смолкал и уходил

на кухню, раздавался сердитый окрик по адресу молоденькой служанки:

— Зельда! Где у тебя глаза?..

— Зельда, что тебе наказывали?..

Это означало:

«Почему ты не идешь на кухню? Живей поворачивайся, присмотри за ним!»

А говоря между собою о Зозуле на непонятном ему языке, все сходились на одном:

— Никогда чужого не тронет!

— Хоть золото валяйся у него под ногами!

И еще говорили о нем:

— Верит в их дело, как в бога!

— В том-то и беда!

— Красные так и говорили о нем: «Зозуля наш. Он в Красной армии один из первых!»

— Скорей бы господь убрал его отсюда!..

II

В корчме доживал свой век маленький сивый дед. Он плохо слышал, колени у него тряслись и подгибались, от него дурно пахло. Каждый день старик взбирался на скамеечку, заводил стальные часы и внимательно рассматривал календарь: не показывает ли он, что наступил пост. Если пост, — надо поститься.

Зельда, девушка-подросток, с густыми черными волосами и большими темносерыми глазами, была его внучкой. Отец и мать ее погибли во время погрома. Зельду взяли в корчму как родню, а работать заставляли непосильно: наемной служанке постеснялись бы давать столько работы.

Хозяева — муж и жена, — бездетные, молчаливые люди, были с утра до ночи заняты своими корчмарскими делами и заботой об участке земли. Вид у них последнее время был подавленный.

С тех пор как красноармейцы повесили на стене полевой аппарат, в корчму никто не захаживал. Не останавливались темные люди, пробиравшиеся за границу. Пропали люди, пропал и доход — за самоварчик, за постой, за харчи.

Сидя за столом, хмурые корчмарь и корчмарка лопотали на своем языке и сердито косились на Зозулю, когда он кричал в телефон. Умолкал он, умолкали и они и только тяжело вздыхали. По сочувственным взглядам Зельды Зозуля понимал, что хозяева хотели бы его поскорее выжить.

Однажды, желая показать, что он им вовсе не враг, но и не боится их, Зозуля заговорил, подмигивая в сторону аппарата:

— Телефон — умная штука. На пользу революции служит... Висит себе тихонько на стене, а сам за тысячи верст слышит, что это скривь робитесь!..

Корчмарь и корчмарка переглянулись.

— Нате, радуйтесь! — процедила сквозь зубы корчмарка, глядя в потолок. — Разговорился!..

— А тебе что? — прикрикнул на нее корчмарь. — Пусть болтает хоть до пришествия Мессии!

Зозуля, ничего не поняв, все же почувствовал, что его слова задела хозяев.

И продолжал им назло:

— Через телефон, можно сказать, со всей Красной армией разговариваешь, с революцией, с Москвой, с самим Кремлем! Только крикни в него: «Красноармеец в опасности!», и сразу придет подмога. Телефон, можно сказать, — наше, красноармейское дело.

— Подумаешь! — пробурчала корчмарка, а потом, не выдержав, крикнула по-русски: — Подумаешь! За границей ни одного дома без телефона не найдешь!

— Може буты, — согласился с нею Зозуля. — Только наш телефон — це иное дело. Шо в наш телефон чуты, того в ихний не услышишь!

— Заткни глотку! — рассердился корчмарь на жену и этим окриком положил конец разговору.

Зозуля чувствовал, что только Зельда понимает его. Ее большие глаза прятали затаенную усмешку.

Ни один новый человек не появился за эти дни в корчме, за исключением владельца смолокурни Харчевни-

кова. По приказу штаба, Харчевников развозил на своих лошадях провиант по красноармейским постам. Глаза у него были злые, как у человека, только-что очнувшегося от дурного сна.

Едва он подъезжал к корчме, хозяева выбегали ему навстречу, засыпая вопросами:

— Степан Васильевич, скажите, едут ли еще люди через границу?

По виду Харчевников хранил спокойствие, но в душе его бушевала ярость.

— Едут ли?.. — ворчал он, не глядя на корчмаря и корчмарку. — А то как же? Едут понемножку.

— Попржнему едут? И каждый день, Степан Васильевич?

Харчевников отвечал со вздохом:

— А ежели через день едут, то и это не плохо.

— Значит, окольной дорогой едут?

— Известное дело, окольной. Мимо кейдановской корчмы. Не по небу же им ехать!

— И много проезжих в кейдановской корчме?

Харчевников внимательно осматривал колеса своей телеги, набирал полную грудь воздуха и, отчеканивая каждое слово, сердито отвечал:

— В кейдановской корчме золотыми пятерками расплачиваются!

— Почему же про нас забыли, Степан Васильевич?

— Про вас? — Харчевников украдкой кинул взгляд на Зозулю. — У вас завелась вот эта напасть!

— Да он — один тут.

— Все едино... у него под рукой эта штуковина...

— А что в городе слышать, Степан Васильевич? Что говорят? — спрашивал корчмарь, подмигивая в сторону Зозули. — Долго еще они у нас пробудут? Длинные козырьки¹, слышать, идут.

— Идут-то, идут, только пока не дошли!

— Золотое дно была наша корчма. Что теперь будет, что будет?

— А кто его знает, что будет!

¹ Прозвище польских легионеров.

Потом корчмарь и корчмарка снова сидели у стола и снова тяжело вздыхали, словно похоронили близкого человека. Звуки их непонятного языка сливались в ушах Зозули в сплошное монотонное гуденье.

Чтобы скрыться от жениной руготни и не видеть Зозули у телефона, корчмарь уходил в полутемную клуню и сидел там часами в полном одиночестве.

Тогда корчмарка принималась точить дряхлого, наполовину выжившего из ума деда.

Сворачивая цыгарку, Зозуля искоса поглядывала на хозяев. Ему чудились в их разговоре какие-то угрозы Красной армии, оставившей его здесь охранять пост. Выходило так, что Зозуля дает маху, если допускает такие вещи. Его давно разбирала досада: неужто армия забыла о нем? С ближайшего поста почти перестали звонить, словно там было не до него. Случалось и так, что телефон трещал безмолву; Зозуля подбегал, снимал трубку, называл свой пост, но никто не отзывался.

Одиночество тготило Зозулю. Прежде, бывало, на час-другой останавливался у корчмы верховой разъезд, проходили воинские части. Теперь же — ни души.

Чтобы скрыть беспокойство, Зозуля, как бы в забывчивости, говорил самому себе вслух:

— Да! Большие, мабуть, бои идут... Скоро, верно, и тут почуем.

Иногда ему случалось забрести в клуню, где, весь в пыли, копошился корчмарь. Зозуля пытался вызвать его на разговор:

— Что, хозяин, працуешь? Ну, ну, работай!.. Сколько тебе хлеба треба, возьми, а прочее принадлежит всем, як и земля. Теперь это не то, что прежде... Был я батраком у помещика, працувал на него, а больше тому не бывать, так говорим мы, большевики. Так говорит сам Ленин, — значит, это верно. Так говорю и я, Зозуля...

Но корчмарь в последнее время был особенно зол.

Выражение его лица, казалось, говорило: «Болтай, болтай! Мне до этого дела мало!»

На душе у Зозули становилось все тревожнее. Он возвращался в корчму, садился за непокрытый стол и, положив голову на руки, грустно напевал сквозь зубы да поглядывал на старого деда, который неподвижно сидел на скамье.

— Чудак же ты, дед, ей-богу! — пытался он расшевелить его. — Иные старички любят всякие были да небылицы рассказывать. Как трудно жилось нашему брату, про то они дуже гарно рассказывали. Или про ваших же евреев, как попы всякое про них выдумывали и народ дурачили. А ты, не обижайся на меня, старичок, глаза пучишь и непонятное бормочешь, и прямо от тебя, уж ты не сердчай, дед, тоска смертная идет! Ты бы хоть на нас, красноармейцев, поглядел и порадовался... Начали мы с голыми десятью пальцами, доброй винтовки не было...

Но дед молчит, трясет дряхлой головой, будто ничего признавать не хочет: «Нет, нет, не согласен, не согласен!..»

Когда Зозуля, немного погодя, снова выходит на кухню, старик, по примеру хозяев, торопит Зельду:

— Ступай живей на кухню! Посматривай за ним!

Зозуле слышно, как Зельда огрызается на него. Похоже, она заступает за Федора Зозулю.

В корчме все чаще и чаще бранили Зельду. Корчмарка больше всех донимала девушку, хотя Зельда делала всю тяжелую работу по дому. Как-то, возвращаясь после обхода поста, Зозуля увидел Зельду во дворе, возле кухонной двери. Она прижималась головой к косяку, плечи ее вздрагивали.

— Вот свињи! — выругался Зозуля. — Вот сукины дети! Вконец изведут девуку! Ну, о чем ты?—Он взял Зельду за плечи и повернул ее к себе.

Девушка подняла на него глаза. Ее густые черные волосы отливали сухим блеском, а лицо было мокро от слез.

— Замучили! — проговорила она, опустив плечи.

Зрачки ее глаз сузились и глядели куда-то мимо красноармейца.

— И пожаловаться некому! — грустно добавила она.

— Как это некому?

Получалось так, что он, Зозуля, чего-то не доглядел, — не за тем ли оставила его здесь Красная армия, чтобы он никого не давал в обиду. Зозуля разволновался. К тому же, войдя в дом, он сразу заметил, что кто-то без него хозяйничал у аппарата: трубка не висела на крючке, а болталась на шнуре у самого пола.

— Это что такое? — угрожающе спросил он. — Кто посмел трогать?

Телефонная трубка жалобно раскачивалась.

— Не трогать, говорю, телефон! — накинулся Зозуля на корчмарку. — Я стою на посту!.. И вот еще что: девушку не обижайте, вам говорю! Когда нашему брату, красноармейцам, однажды пришлось отступить на деникинском фронте, мы женщин и детей с собой в теплушки брали. В седло к себе сажали!

Здесь корчмарка дала волю своему языку. Она набросилась на Зельду, на мужа, кричала ему, что он лежебока: почему никуда не пойдет искать защиты, почему ничего не предпримет? Опять в корчме поднялась горячая, шумная, непонятная перебранка. Зозуля, махнув на все рукой, снова занялся телефоном, единственным другом своим, соединявшим его с Красной армией, сулящей избавление и ему, и всем трудовым людям на свете. Возможно, товарищи вынуждены были оставить соседний пост и перейти на другой, еще более отдаленный. Пусть в аппарате слышны только смутные звуки, но и они были дороги и милы Зозуле.

Эх, очутиться бы снова там, среди своих, вместе с ними погибнуть, если этого потребует революция, биться среди сотен таких же, как он сам, красноармейцев, крепко зажав в руках винтовку... Это куда легче, чем изнывать здесь, в тоске, одинокому, на далеком посту.

Больше всего Зозулю тянуло к те-

лефону по вечерам, когда ему чудились нето отдаленная орудийная пальба, нето крики «ура», а может быть, и громкая песня, словно красные полки шагали где-то недалеко под ликующие звуки горнов, барабанов и медных тарелок.

Вечерами ему мерещилось, будто со всех сторон надвигаются гулкие болотистые леса, кишашие бандитами, а он, Федор Зозуля, остался один, совсем один. Лишь по телефону можно снестись с другим миром, ярким и светлым, озаренным огнем борьбы: там с винтовками в руках люди бьются за свои права, против напирающих со всех сторон врагов. Туда пролегли через огромные пространства телефонные провода. Иногда этот далекий мир отзывался, иногда молчал. Все зависело от погоды и от того, насколько дальние люди были загружены работой.

Но почему же в последнее время все назойливей мучила мысль, что этот мир с каждым днем все больше и больше отдаляется, что он совсем забыл про него, Федора Зозулю?

Иногда начинало казаться, что с отдаленного поста отвечают новые голоса, чужие, умышленно невнятные, и словно издеваются над ним... Похоже, что и здесь, в корчме, насмешливо поглядывают на него, когда он кричит в трубку.

В поздний час, когда Зозуля, совсем утомленный, уходил от аппарата, разом смолкали разговоры. Зажигали свет. Никто будто и не замечал красноармейца. Только Зельда время от времени вскидывала на него глаза. Хотела что-то сказать ему?

Зозуля отвечал ей теплым взглядом. Между красноармейцем и молодой девушкой мало-по-малу устанавливалось взаимное понимание.

III

Корчмарь и корчмарка долго возились в своей хате. Дед, почти впавший в детство, дремал на скамье. По дряхлости своей он уже не отличал дня от ночи. Зозуля один сидел у стола и брнчал на балалайке, которую остави-

ли ему товарищи красноармейцы, уходя отсюда.

Вдруг он услышал позади тихий оклик:

— Товарищ Зозуля!

Красноармеец перестал тренькать, и его вздернутый нос вопросительно уставился в потолок.

— Чего?

— Товарищ Зозуля, — просунув голову в дверь из кухни и прижимаясь плечом к косяку, спросила Зельда, — в Красную армию можно поступить сестрой?

— А то как же, милая! — весело подмигнув, ответил Зозуля.

— Правда?

— Конечно, можно! Пустяковое дело.

— А я думала, трудно...

— Трудно? Ничего трудного нет. Я самолично знавал одну сестрицу. У нас служила в полку.

— Такая... как?

— Такая, в самый раз! Мы тогда сквозь деникинский фронт к Чернигову пробирались... Был у нас бронепоезд, а с ним два эшелона. Деникинцы разобрали впереди путь. Мы из вагонов повывлазили со всем нашим обозом, поставили орудия и суток семь из них по Деникину бухали. Он в городе засел. А нас в ту пору сильно сыпняк трепал. Люди в полку были один к одному, все видный народ, хорошо меж собою сжились. Ну, а здесь то один, то другой от сыпняка валится, одним словом, беда! Был у нас наводчик Абраша Черных, парень, як бронза, песенки всякие сам придумывал... Конечно, зло возьмет, сама понимаешь, когда такой вот помирает. Пуше всех наш доктор злился, Менделем его звали. Сурьезный был человек, он к нам в полк на коростенском фронте прибыл, прямо за родного стал, свой парень, строгий, а сердечный. «Либо, — говорит, — мне камфоры достаньте, либо я заведующего госпиталем пристрелю, да и себя заодно!» Вот и вызвались двое, решили к белякам пробраться в город и раздобыть камфоры. Одного Ионей звали, он тоже из евреев был. Молоденький совсем. А с ним сестричка милосердная — монашкой вырядилась. Пашей звали.

Вот и пошли. Любо было смотреть на них — вроде, как просватанные!

— И... достали?

— Та ни... Потом мы все узнали... Сначала их били — так, не дюже крепко. А после раздели догола, углем на спине полосы разметили и стали сдирать одну полосу за другой. Все пытали, — скажите, откуда часть пришла, сколько в ней бойцов? Одну полосу содрали, другую... Молчат...

— А дальше?

— Дальше? Чего уж — дальше? Несмышленная ты, сестричка!..

Зельда задумалась.

— А я, — сказала она, как бы продолжая начатую мысль, — все ждала, когда же красные снова мимо пройдут? Думала с ними уйти.

И она рассказала Зозуле, где ее дядя, корчмарь, недавно пропадал несколько дней.

— Он в город ходил. Сперва, говорит, большевики поляков чуть не до Варшавы гнали, но теперь, будто полякам французы помогают. Красных теснят со всех сторон. Они отступают по железной дороге и по трактам. А у нас здесь — леса да болота, и к нам, говорит, большевики больше никогда не придут.

— Кто так сказал?

Зозуля отшвырнул балалайку и подскочил к телефону.

— А ты не верь! — сказал он, волнуясь. — Собака бреше, а вѣтер несе!

Все эти дни телефон часто позвякивал, словно потешаясь над Зозулей. Он подносил трубку к уху, ему казалось: кто-то зовет его издали, хочет повздать о важном, о не терпящем отлагательства. Но тут же со всех сторон вривались холодные, бездушные голоса и мешали слушать. Разнообразные звуки, слабые и сильные, сливались в сплошную неразборчивую разноголосицу и не позволяли уловить тот единственный голос, которого Зозуля ждал. Как ненавидел Зозуля эти сторонние звуки!

Хозяева в его присутствии попрежнему молчали. Только Зельда не сводила с него глаз, когда он вешал трубку; она замирала вся, ей хотелось знать, добился ли он ответа. А хозяева день

ото дня заметней волновались: видимо, что-то скрывали. Они безумолку тараторили по-своему, и нельзя было понять: радуются они чему-нибудь или преурекаются друг с другом.

Зозуля жил, как в тумане.

Однажды вечером в корчме совсем не зажгли света. Корчмарь и корчмарка всю ночь не смыкали глаз. Притворяясь спящими, они чутко прислушивались к шуму леса. В эту ночь шум был необычайный: то ли раздавались человеческие голоса, то ли ветер завывал в лесу.

Шум все нарастал, и к утру была явно слышна стрельба.

Зозуля, часто отрываясь от телефона, хлопал выходной дверью и выбегал из дома, прислушивался. Вернувшись, снова бежал к трубке.

— Это я, Федор Зозуля!

— Отвечайте же!

Телефон был глух и нем, — как ни надрывался Зозуля. Ответа не было. Один только звук, слабый, невнятный, далекий, возникший, казалось, в глубине дремучих лесов, тянулся к нему, но даже этот щемящий звук был мил и дорог Зозуле.

Весь следующий день Зозуля провел у телефона, не отходя от него ни на минуту: звонил и звонил.

Он догадывался, что хозяйева говорят о нем.

И он не ошибался.

— Смотрите, как старается!

— Пусть себе кричит, — покойника из гроба не поднимешь!

— Нам-то что? Пусть кричит.

Напряженным, хриплым, надтреснутым, умоляющим голосом Зозуля взывал у телефона:

— Отвечай же!

— Говори же!

И в этих усталых выкриках слышна была неутолимая боль: «Братцы, не покидайте!.. Хоть одно слово, родные!..»

К вечеру, прижав трубку к уху, Зозуля не услышал ничего: даже полувнятного, слабого звука.

Ему стало ясно: где-то порваны провода.

Зозуля вышел на дорогу и прислу-

шался, сверля глазами мглу нависших сумерек.

Было тихо. Вернулся корчмарь и что-то шопотом стал рассказывать жене, поджидавшей его у ворот. Та слушала его, просветлев, и косилась на красноармейца.

В корчме зажгли огонь; в этот вечер тщательно протирали ламповые стекла, громче обычного разговаривали, не считаясь с присутствием Зозули.

Назло хозяевам Зозуля вернулся и принялся звонить.

IV

Во двор вынесли из корчмы столы и скамьи.

Хозяева суетились, как перед праздником.

На дворе проветривались подушки, перины и одеяла. Из сундуков вытащили припрятанную одежду.

Обметали стены. Тщательно мыли топчаны и шкапчики. Скребли полы.

Скоблили и чистили так, будто ждали приезда важных господ.

Зозуля смотрел на всю эту суету с удивлением и печалью.

Из корчмы выкинули все немудрое имущество поста.

— Вы что же это делаете? — закричал он всердцах.

Но его не удостоили ответом.

Чем больше в корчме скребли и мыли, тем яснее становилось ему, что его вместе с телефоном собираются выжить.

— Вот дьяволы! Вот гады!.. Ох, и нарветесь же вы! — грозил он.

Корчмарка проворно белила стены и будто нечаянно забрызгала мелом телефонную трубку. И Зозуле казалось, что аппарат с упреком смотрит на него.

Чувство покинутости сделалось еще острее. До чего одиноки и всеми брошены он, Зозуля, и его аппарат, по которому, словно слезы, текли мутные мелевые капли.

— Сюда не лазить! — прикрикнул он на корчмарку. — Не нужно, говорю, в моем углу убирать! Я сам приберу, слышь ты?..

Но женщина не хотела слышать. Она опускала швабру в ведро, и аппарат покрывался новыми пятнами.

— Не смей, говорю! — рассердился Зозуля.

Он схватился за винтовку. Жилы вздулись у него на лбу, мускулы напряглись. Перепуганная насмерть корчмарка стскочила от Зозули и смотрела на него широко раскрытыми глазами.

Губы ее быстро шевелились.

— Не трогай его! — пробурчал хозяин. — Оставь в покое его угол, пусть его...

В корчме снова стало тихо.

Зозуля тщательно смыл с телефонного аппарата пятна, приговаривая вполголоса:

— Ну, и нарветесь же вы!.. Ну, и попадет же вам за это!

Возле Зозули не было никого, кроме деда, который, по обыкновению, сидел у печи и что-то беззвучно шептал:

— Трогать он никого не трогает, — закричал Зозуля старику на ухо. — За чем его беспокоить?

Дед смотрел на него и причмокивал губами.

Охваченный тоской, Зозуля побрел в свой угол и никуда не выходил, охраняя телефон.

Через несколько дней приехал Харчевников. Он привез двух человек, чтобы отсюда доставить их к границе. Зозуля рассматривал приезжих, стиснув зубы.

Приезжие—помещики, важные, грузные, с холеными лицами—сидели неподвижно, не снимая тяжелых шуб, и зорко следили за своими вещами. Даже между собою они не перекинулись словом.

Зозуля разглядывал их с яростью, со свирепым огоньком в глазах.

«Вот гады! Вот пиявки! Награбили всякого добра и теперь тикают!..»

Испуганные помещики избегали взглядов Зозули, стоявшего у телефона. Они рвались поскорее убраться отсюда.

А на следующий день появились новые телеги, приехали новые люди.

Робко, украдкой, Зельда знаками вызвала Зозулю во двор. Он нашел ее

за клуней, где она выколачивала матрац.

— Хозяйка говорит, что провода перерезаны, — шопотом сообщила ему девушка.—А ты, она говорит, зря звонишь. Только людей дурачишь, будто телефон работает...

— Так и говорит?

— Да! Она сказала еще, что красные теперь очень далеко отсюда. Не успели даже сообщить тебе, чтобы и ты уходил, так шибко удирали. И потом, говорит она, не сегодня-завтра придут сюда поляки. И они тебя повесят.

— И все это она говорила?

— Говорила. Может, тебе и впрямь лучше уходить?

— Не, девонька, так не годится. По уставу — не бросай поста, пока тебя не сняли.

Омертвевшими руками Зельда принялась выколачивать матрац.

Зозуля сворачивал цыгарку дрожащими пальцами.

— Думка у меня одна, сестричка, — сказал он немного погодя. — Я ходил далеко в лес, побывал и там, откуда слышна стрельба, а поляков нигде не видел. Верстах в двенадцати отсюда провода перерезаны, а дальше, к нашим, они, сдастся мне, в порядке. Надо мне, видишь ли, снова связь наладить. Да вот проволоки нету...

С минуту оба молчали.

— Я и подумал, — шепнул Зозуля, — не сможешь ли, сестричка, гвоздей раздобыть? И топор — я приметил его в клуне. И плоскогубцы небольшие...

Испытывая глубокую ненависть к постояльцам и ни разу не обмолвившись с ними ни одним словом, Зозуля продолжал обращаться к своему онемевшему другу. Он проделывал это всякий раз, когда в корчме набивалось много народу.

Гости пугались не на шутку, кусок не шел им в горло, они сидели, боясь слово молвить.

Хозяевам приходилось успокаивать их:

— Кушайте на здоровье, кушайте, не обращайтесь на него внимания... Это он попусту звонит. Пусть себе звонит!

Зозуля отозвал корчмаря в сторонку:

— Вот что, земляк, я скажу тебе. Наши — красные, значит, — совсем не-вдалеке отсюда. Скоро здесь будут. Об этом мне сообщили. Вот я и говорю: телефона со стены не снимать. Как висел, так пусть и висит. Не вы его вешали, и не вам его трогать. А ежели кто из приезжих про меня пытаться станет, ты говори: свой, мол, человек, проживает у тебя давно. Помни, хозяин: наши, красные, вернутся со дня на день, и тогда смотри...

Хозяева не верили ни одному его слову.

И все-таки сомнение заползло им в душу: «А кто его знает... Может, и в самом деле лучше не ссориться с ним».

Но корчмарка продолжала беситься: — Пусть уважение выказывает! Хоть бы по хозяйству помог!

Однажды она велела ему внести в корчму вещи приезжих, и сама была не рада. Лицо Зозули налилось кровью, руки грозно поднялись, как бы для удара.

Но он не ударил.

— Эх, вы! — только вздохнул он. — А мы-то думали, из вашего брата толк выйдет...

Каждый вечер Зозуля уходил в болотистый лес. За спиною мешок с инструментами, за поясом — топор и дощечки подмышкой.

До утра пропадал.

Что делал в лесу Зозуля?

По ночам он снимал со столбов про- вода, тянувшиеся в сторону неприятеля, и чинил линию, которая вела в корчму.

V

Старый дед в ожидании поста все лазил на скамейку смотреть в календарь — и вот наступил «иом кипур»¹.

Корчма была переполнена, все комнаты заняты приезжими. Возницы нагружали множество тяжелых тюков и сундуков.

Зозуля наблюдал за всем этим с чувством горькой обиды, с болью в душе. Но жаловаться было некому.

Вечером в корчме накрыли большой стол. Один из приезжих, молодой купец, потребовал, чтобы зажгли свечи.

— Кончился пост, — настаивал он.

И пренебрежительно добавил:

— Что, мы заплатит не можем, что ли?

Здесь, вблизи границы, у него развязался язык:

— Плевал я на все! Благодарю покорно! Я, знаете ли, привык к шелковому белью. Сейчас его ношу и впредь буду. Нате, посмотрите — чистый шелк!

Среди постояльцев был русский молодой скрипач, тихий, молчаливый. Он ни с кем не разговаривал и все держал в руках свой драгоценный тщательно упакованный инструмент.

Одновременно с ним приехали толстый поп, помещик и старая помещица.

Была среди приезжих одна мамаша, расплывшаяся женщина, в каракулях, с тремя такими же полными, как она сама, дочками, тоже в каракулях.

Дочки прижимали к носу надушенные платочки, боясь вдохнуть спертый воздух корчмы.

Два долговязых еврея, затеяв бесконечный спор, не позволяли зажечь свет в корчме раньше, чем наступят глубокие сумерки, и время от времени зазывали постояльцев в соседнюю комнату молиться:

— Пойдемте, пожалуйста. Ну, что вам стоит?

Купец, хваставший шелковым бельем, отшучивался.

Смеясь, он цедил сквозь зубы:

— А что я за это получу? Сколько я на этом заработаю?

Все же в конце-концов он поплелся за ними в соседнюю комнату, где перед столиком с горящими на нем свечами стоял с «талесом» на плечах один из приезжих и пел молитвы.

Корчма то-и-дело оглашалась причитаниями: словно покойника оплакивали.

Богатая мамаша в каракулях, не присаживаясь, бродила по соседней комнате.

Зозуля стоял в дверях и с яростью в душе разглядывал горящие свечи и молящихся. За всем этим он угадывал

¹ День всепрощения грехов.

что-то враждебное себе и товарищам красноармейцам, всем своим надеждам на будущее.

Взвалив на спину мешок с инструментами, он, крадучись, вышел из корчмы и ушел в лес налаживать связь.

Ему оставалось только в нескольких местах соединить провода — совсем недалеко от дома.

Весь вечер в корчме шло веселье. За длинным столом, накрытым белой скатертью и уставленным яствами, при свете керосиновых ламп и свечей, шло пиршество, время от времени прерывавшееся песнопениями.

Девушки в каракулях упростили скрипача распаковать свой драгоценный инструмент. Купчик, тот, что признавал только шелковое белье, взялся напоить попа и возниц. Первым опьянел, однако, сам корчмарь.

Вдруг одна из девиц вздрогнула — телефон, висевший на стене позади нее, звякнул.

— Это вам, должно быть, показалось! — успокаивала ее корчмарка. — Не обращайтесь внимания!

Но среди шума и криков, наполнявших корчму, не прекращались слабые, короткие телефонные звонки.

— Зельда! — заорала корчмарка. — Возьми мешок и завесь телефон! Слы-

шишь, что тебе говорят? Скорей тащи сюда мешок!

Но молодой девушки уже не было в корчме. Едва телефон ожил, она выбежала из дома и бросилась разыскивать Зозулю. При свете молодого месяца Зельда бежала по лесу, не переставая звать красноармейца.

Она спотыкалась, налетала на деревья, падала, снова поднималась на ноги и все не переставала звать.

В корчме плясал перепившийся корчмарь. Шум все усиливался, пение становилось громче, раскатывался веселый хохот, все дробней притоптывали каблуки.

Когда Зозуля вбежал в корчму, ему пришлось выстрелить в воздух, чтобы водворить тишину.

Телефон звонил громко и настойчиво.

Зозуля подошел к аппарату, снял трубку и ласково прижал ее к уху. Так прижимают к сердцу близкого человека после долгой разлуки. Отчетливо и уверенно, как привык к этому в Красной армии, он рапортовал в телефон:

— Це я у телефона, Федор Зозуля! Пост номер три на сто первой версте! Полная хата спекулянтов! Всех задержу. Дальше воны не поедут, будьте спокойны! Шлите отряд!

ЗИМОЙ на выставке

Е. ВЕРХОРОБЕНКО

★

МОРОЗНЫЕ ВЕЧЕРА

Вечер. Горизонт покрыт удивительно синими, точно на плакате, продолговатыми тучами, изрезанными багровыми полосами. Синева ложится на крыши строений, на палисадники, и они тонут в мягкой матовой мгле. Выше — небо светлозеленое, постепенно переходящее в темное, лиловое.

Я стою у гигантского металлического башмака. Надо мною висит знакомая есему СССР скульптурная группа: тракторист и колхозница держат на вытянутых руках тяжелый, полновесный сноп. Снизу эти фигуры, поднятые на 65-метровую башню Главного павильона выставки, кажутся легкими и изящными. И только здесь, на вершине башни, узнаешь их истинные масштабы. Чувство такое, какое, вероятно, испытывает муравей у ступни слона. Обхватывая ботинок, я едва достаю до края носка этой недвижимой многотонной ноги. Взираюсь выше по деревянной лестнице наподобие лилипута, поднимавшегося на плечи сказочного Гулливера. Передо мною мужская рука, толщиной в два телеграфных столба.

Лезу еще выше, становлюсь в раковину уха и замираю. Надо мною свешиваются чудовищной величины колосья полновесного урожая. Они сплетены невероятным узлом.

Над головой медлительно проплывает ширококрылая серебряная птица. Это —

60-местный самолет. Он пролетел так низко, что слышно, как в его моторах работают поршни. Заиндевший самолет освещается снизу голубоватыми полосами прожектора и от этого кажется призрачным. А луч прожектора скользит по башне, вонзается в сиреневое небо, и вот уже начинает дымиться тучка, словно обожженная его холодным пламенем.

Выбираюсь из-под колосьев и смотрю вниз. Широкие плечи обеих фигур покрыты какой-то крупной чешуей. Лица с немигающими глазами спокойны и необычайно гладки.

Огромные гипсовые буквы «СССР», установленные на одной из плоскостей этой башни, осыпаны снегом. Ниже идут слова: «колхозы окончательно закреплены и упрочены, а социалистическая система хозяйства является теперь единственной формой нашего земледелия».

Эта цитата из доклада товарища Сталина на XVIII съезде ВКП(б) начертана золотыми буквами. Она повторяется на языках народов нашей страны. Башня как бы олицетворяет собою единство советских держав, в дружную семью которых недавно влились еще пять равноправных сестер.

Земля, укрытая свежим снежным покровом, лежит где-то далеко-далеко внизу. Там, в глубине, наклонно стоят высокие бронзовые сосны, с вечнозелеными пышными вершинами. И дальше, во весь горизонт, раскинулись необычай-

ные ландшафты, — в подмосковном основном бору столпились десятки великолепных белых строений, напоминающих картины всех времен и столетий.

Тишина. Необычайная тишина сейчас царит на выставке. Лишь изредка послышится хруст снега под ногами редкого прохожего да треснет обломившийся сучок. Поблескивают морозные ромбики на матовых шарах ламп, освещающих выставку. Пятигранные светильники одеты снегом, словно заячьими шапками.

На глубоком, темном фоне неба, среди множества фронтонов и колонн, увенчанных монолитами красного гранита и зеленого базальта, среди мозаики, хрупкого, прозрачного фарфора и лоснящегося мрамора четко вырисовывается титанический монумент, созданный Меркуровым. Сразу узнаешь бесконечно знакомые и дорогие черты величайшего из людей нашего времени.

За монументальной статуей Сталина в сумраке виднеется мощная дуга павильона «Механизация», чем-то неуловимо напоминающего Крымский мост. Под стеклянной крышей павильона, по углам, на приподнятых над асфальтом бордюрах, были размещены бережно накрытые брезентовыми чехлами самолеты и комбайны. На гусеницах, подняв тупые радиаторы, присели тракторы, похожие издали на маленьких красных лягушат. Они замерли, словно приготовившись прыгнуть со своих железобетонных пьедесталов. О, такие тракторы — стоит их только подучить — сумеют и прыгать, и плавать, и ломать тонконогие березы и ели, и прорываться через колючую провсложу в тыл врага...

Левее, над притихшим каскадом павильона «Поволжье», вздыблен оснеженный конь; на темносинем небе четко вырисовывается знакомый силуэт Чапаева. Кладет на восток зубчатые лиловые тени Дальневосточный павильон. Рядом с высской сосной стоит величавая, полная силы статуя красноармейца, зорко смотрящего в даль. Он держит на поводу чутко настроенную немецкую овчарку.

Зубчатые тени стен павильона падают

в бассейн, наполненный снегом. Фарфоровые стерляди, лежащие белыми брюшками на розовых кораллах в середине бассейна, кажутся примерзшими.

Отчетливым ярким пятном выделяется на белом фоне темноголубой свод павильона Армении.

У павильона Казахской ССР намело большие сугробы. Среди них высится скульптура Джамбула. В вечерних сумерках он стоит, как живой. И кажется, сейчас дрогнут высоко изогнутые брови народного певца и грянет чудесная песня его, написанная здесь же, на мраморном цоколе, так, словно ее слова срываются одновременно со звуками домбры:

*Ликуйте
и
пойте, народы.
Над нами
Великого Сталина
имя
и
знамя, и клич
большевистский
его боевой,
и
слово,
и воля,
и гений
его.*

Эти слова сверкают на фасаде павильона под тонкой коркой льда, похожей на слюду.

Запрудная часть выставки тонет в снегу. Ею завладели галки и грачи. Не умолкают ни на одну минуту их карканье, хлопанье крыльев и щелканье клювов. Через Каменку проложены легкие деревянные настилы — мостики. Когда по ним проходит человек, молодой ледок, едва затянувший пруды, не выдерживает и расползается. Струйки трещин разбегаются во все стороны, постепенно теряясь в снегу. Одну из площадок откоса занимает повисший на узорчатых деревянных подпорках огромный шар, светящийся и отливающий серебром. Он покрыт зеркальной амальгамой и отражает небо. Издали трудно понять, какие облака нарисованы на нем, а какие отражены.

На замерзшем пруду у пристани стоит катер-газоход. Летом его демонстрировали посетителям выставки как буксир, приспособленный для мелководных рек. Такой катер может буксировать 20 баржей-дощаников, грузоподъемностью в 10 тонн каждый. За катером видно полукруглое здание с сетками для почтовых голубей. Сизокрылые с розовыми носиками и лапками, они горделиво расхаживают по площадкам и воркуют.

Здесь есть и другие крылатые обитатели — казарки, белые пекинские утки и серые гуси. Сейчас всюду на снегу видны их трехпалые следы. А весной, как только пруд очистится от снега, появится потомство, и в прозрачной зелени пруда замелькают перепончатые красные лапки утят.

Чуть поодаль отсюда, в вольерах, застучат хвостами бобры. Они будут достраивать свой домик, не законченный летом 1940 года: для них работники выставки поставили на воду домик-сруб, но бобры его забраковали и начали строить свой. Пока что бобры без работы: их выловили вместе с зеркальными карпами и хранят до новой весны в утепленных бассейнах павильона «Охота и звероводство».

Темнеет. Белый город выставки приобретает еще более фантастический вид. Окруженные сугробами павильоны сверкают и искрятся. Синие звезды снега перемигиваются со звездами, зажигающимися в небе. Кажется — сложи воедино тысячи этих узорчатых снежинок, и получишь прелестный простенок для павильона «Сибирь».

Воздух, — особенно там, где дуют сквозные открытые ветры, — заштрихован, пронизан неуловимыми блестками и иголками снега. Они похожи на блестки половы, летящей от комбайна, который собирает и молотит хлеб. Может быть, именно поэтому в такую морозную, звездную ночь исчезает ощущение пустынности на выставке — так и кажется, что где-то здесь, поблизости, ходят люди, что сейчас, сию минуту, притихшие площади огласятся громким говором, веселым смехом и детскими восторженными криками...

САДЫ ПОД СТЕКЛОМ

Но можно обойтись и без этих иллюзий. Внимательный наблюдатель сумеет распознать под внешне спокойной и безразличной зимней маской выставки не угасающее, не останавливающееся ни на одно мгновение движение жизни: поля и огороды, сады и плантации сельскохозяйственной выставки живут, растут и развиваются круглый год, и целая армия опытных работников заботливо пестует их. Ведь это совсем не так просто — взрастить под московским небом сотни видов растений, привыкших к самым различным климатам — от заполярья до субтропиков.

Зима вначале была скупой — снега выпало мало. Ветер подхватил его, как гагачий пух, и унес к стенам павильонов, обнажив опытные поля. Тогда на поля вышли работницы Арефьева и Андреева. Они ходили с плетеными корзинами вдоль стен павильонов и собирали снег. Потом этот снег высыпали на участки, где были посеяны озимая пшеница и хмель. Сколько корзин надо было принести, чтобы создать на этих участках снежный покров, толщиной в 20 сантиметров! Но зато посевы были спасены от холодов...

Большие прямоугольные стекла теплиц мороз разрисовал мохнатыми узорами, похожими на стебли хвощей и плаунов. Внутри теплиц, однако, зима несколько не ощущается. Пахнет влажной землей и свежей зеленью. Работницы разрыхляют коричневые комья земли. Они готовят землю для пикировки, перемешивая ее с дымящимся навозом. Подносят воду в оцинкованных ведрах. Она теплая, ее только что почерпнули из опрятного голубого резервуара.

Термометр показывает 20 градусов тепла. Сложная система подвесных и подземных труб и электропечей функционирует день и ночь для того, чтобы теплолюбивые южные растения могли безболезненно развиваться. В течение шести часов в день непрерывно горят десятки ламп, мощностью по 500 ватт — искусственное освещение дополняет тусклый свет зимнего солнца; без этого вегетация растений была бы невысказима.

И хотя по ту сторону тонких стенок теплиц воеет метель и крепчает мороз, здесь наливаются соками помидоры и огурцы — всю зиму с каждого квадратного метра огорода, спрятанного под стеклом, снимают по 9—12 килограммов свежих овощей.

Люди, работающие в теплицах, рассказывают о растениях, как о чем-то родном и живом. Они говорят, что растения «отлично себя чувствуют», — об этом мастера тепличного овощеводства узнают по темпам роста растений, по степени утолщения стеблей.

Учитывается все — даже то, сколько «глотков» воды потребует тот или иной кустарник.

Сейчас агрономы готовят новую рассадку для высадки в так называемую «выгоночную ангарную» теплицу, чтобы уже в феврале 1941 года снять там обильный урожай высокосортных ранних огурцов. Самую большую площадь в ангарной теплице займет знаменитый отечественный клинский огурец. А летом 1941 года в этой теплице на высоких двойных шпалерах будут демонстрироваться яркозеленые огурцы «телеграф». Сочные плоды «телеграфа» достигают полуметровой величины.

Другие теплицы ласкают глаз сотнями оттенков цветов. Эфирно-масличные культуры чередуются с эвкалиптами, розмарином, анемоном. Изумительно выглядит на фоне огоньков герани, горького померанца, кустарников гвайюлы матово-зеленый злак с нежными листьями. Это — лимонное сорго.

В теплицах также готовят к посеву и семенной материал. Семена сдаются в контрольную станцию Тимирязевской сельскохозяйственной академии для анализа их свойств и проверки качества. Одновременно сортируют семена группы древесных пород. В начале нового года будут стратифицированы¹ семена липы, татарского клена, скуммии, лоха, яблони и груши. Их посеют в ящики и будут содержать в состоянии необходимой влажности и температуры.

Но еще интереснее в эти зимние дни побывать в павильоне Грузии. Здесь, в

просторной и жаркой оранжерее, совсем забываешь о том, что лето уже давно закончилось. Постоишь минут пять в пальто, и тебе начинает казаться, будто спину греет полуденное солнце. А как чудесно пахнет!

Воздух напоен терпким, устойчивым, как говорят на выставке, «гремучим» ароматом. Пронзительно пахнет лимонная вербена. Тонкий запах излучают, точно усыпанные снегом, цветущие в горшках саженцы апельсина, субтропическая хурма, густые темнозеленые лимоны и грейпфруты.

С одного из апельсиновых деревьев слетают воробьи. Шум их крыльев необычайно громок. Это происходит потому, что помещение, словно колоколом, накрыто огромным стеклянным куполом. А за стеклами мерно колеблется бесконечная, волокнистая, косая бахрома влажного, пушистого снега. Падая на стекла, снег быстро тает, и змейстые синие струйки сбегают вниз.

Приятно встретить воробьев в этом удивительном саду. Но работники оранжереи относятся отнюдь не доброжелательно к непрошеным гостям, проникающим сюда через малейшие отверстия: воробьи портят завязи плодов. Поэтому их ловят на хлеб мышеловками и изгоняют всеми возможными средствами. Но бороться с воришками трудно: только их выгонят, а через час другой они снова тут как тут.

— А ну вас, крылатые идолы! — сердито ворчит на них работница павильона, занятая кропотливой работой: погружая в кувшин с водой вату, она бережно оmyвает листик за листиком лимона.

Пухлые листья после этого становятся изумрудно-яркими, будто восковыми. Среди них свисают такие же светлозеленые, но грузные, словно осыпанные синькой, плоды. Это — грузинский лимон с тонкими извилистыми ветвями. Он плодоносит круглый год, — одновременно на разных ветвях цветет, дает завязь, зеленый, затем зрелый желтый плод. Вот и сейчас это невысокое дерево несет на своей великолепной кроне больше 800 красивых желтых и зеленых плодов.

¹ Опробованы.

Некоторые листья лимона неестественно велики, не похожи на те, которые выросли на его родине, в солнечной Грузии. Дело в том, что зимой в этом помещении бывает мало солнечного света; поэтому растение, чтобы сохранить и аккумулировать его лучистую энергию, деформирует свои листья.

Но какая судьба постигла те нежные южные деревья, которыми мы все любовались минувшим летом на открытом воздухе? Ведь все эти абрикосовые деревья, крупноплодные кизилы, яблони, груши, черешни крымских и кавказских сортов не в состоянии перенести московские морозы!

Садовники выставки позаботились и об этих своих питомцах. Их укутали в войлочные одеяла, обули в валенки из рожи и глины и перенесли в оранжерею. Заведующий оранжереей товарищ Глебов ухитрился разместить на площади в 1300 квадратных метров более двух тысяч деревьев. И им здесь насколько не тесно.

И вот, в теплой оранжерее уже набрякли вздутые, сомлевшие, клейкие почки. Налились розовые почки цветов персика и миндаля. Пчелы, взятые из омшанников выставки, начали в тепляках свою кропотливую работу. Светясь в лучах электроламп, они выются в субтропической оранжерее, опыляя лимоны, апельсины и мандарины. Уже зазеленело редкое растение авокадо, содержащее в своих плодах огромное количество различных витаминов. Оно далеко протянуло свои зигзагообразные, истомленные теплом оранжерей ветви, и на ветвях уже появились завязи.

Хорошо себя чувствуют в тепле финиковые, кокосовые пальмы и камфорные лавры. Ожило после пересадки и нежное фисташковое дерево. Оно прихворнуло, и под ним, между корнями, «подмышкой», установлен гигрометр — прибор, измеряющий влажность воздуха.

Недавно работница теплицы Васильева подняла на вздувшемся бугорке земли семечко подсолнуха. Она хотела разгрызть его. Зубы скользнули по скошенным черным крыльям жучка, выбравшегося из своего зимнего обитали-

ща, — его-то и приняла Васильева за семя. Жучок прервал свою спячку, обманутый искусственным тепличным климатом — он решил, что уже настала весна...

В один из зимних вечеров, шурша кожаным пальто, стремительно вошел в оранжерею пилот Мамед-Зай. Он снял шлем и повесил его на гвоздь у двери. Шлем упал на пол, а гвоздь... вспорхнул и улетел. Удивленно блеснув белками, Мамед-Зай обругал стрекозу с желтым брюшком, похожую в тени на согнутый ржавый гвоздь.

Потом Мамед-Зай расстегнул военную сумку и вынул из нее металлическую коробочку. Он передал ее садоводу выставки Дедову. Тот покрутил длиннейший ус и произнес непонятные слова:

— Блостофага-псемес.

Семидесятилетний сторож Василий Иванович Страхов сказал, заглянув в коробочку: «Ха, блажь какая. Ее и не видать...» (Василий Иванович очень интересуется всеми проблемами садоводства и утверждает среди своих коллег-сторожей, что через год заткнет за пояс любого ученого растениевода).

Пучеглазая блостофага действительно до смешного мала. Она способна выбраться в отверстие, проколотое булавкой; поэтому коробочка затянута надежной микроскопически тонкой сеткой. Но крохотное это насекомое играет огромную роль в садоводстве. Только блостофага, только она одна среди всех насекомых мира, способна оплодотворять цветы инжира, перенося пыльцу с одного цветка на другой. И чтобы посетители выставки в 1941 году смогли полюбоваться сочными синеватыми плодами инжира, пришлось доставить это нежное насекомое на самолете из далеких субтропиков.

Пилот Мамед-Зай, осмотрев удивительный сад, раскинувшийся под стеклянной крышей, застенчиво попросил подарить ему на память пару только что срезанных листиков саженцев. Ему охотно их подарили. Он сунул листики к себе в записную книжку и убежал. А трудолюбивая блостофага, выпущен-

ная на свободу, уже принялась за свою работу. Она осторожно прокалывала своим тончайшим хоботком фиолетовые замкнутые цветы инжира, перенося пыльцу с одного цветка на другой. И семидесятилетний сторож, шевеля своими мягкими губами, повторял без конца одну и ту же трудную фразу, стараясь ее запомнить:

— Перепопчатокрылая бластофага-псемес проводит капрификацию...

Круглые сутки дежурят садоводы в оранжерее. Каждый день рабочие подкармливают цитрусовые.

Декоративные деревья, подстриженные пальмы, шелковистые листья лотоса и банана, апельсиновые и лимонные деревья блестят под ярким электрическим светом. Они здесь в полной безогасности. Каждую извилинку их ветвей и изумрудных листьев знают и холят агрономы.

Когда ворвется весна в оранжерею, знойное солнце вытеснит отсюда искусственный теплый воздух. Корни нежных субтропических растений очистят, а сами растения вынут из земли вместе с объемистыми ящиками-кадками. Их можно будет переносить и ставить под отвесные лучи жаркого летнего солнца. Все деревья потянутся к нему, оживут и станут еще более сочными и красивыми. Тогда они предстанут перед восхищенными взорами посетителей, пришедших на выставку в 1941 году.

НА СКОТНЫХ ДВОРАХ

Как только наступили заморозки, скотные дворы, коровники, свинарники, овчарни выставки опустели. К их стеклам точно приклеили черную копировальную бумагу, — прочтется здесь легковой автомобиль, блестя фарами, и в слепых стеклах отразятся молнии, стрелы, зигзаги, скобы, дугой вверх и вниз. Огненные чиркающие блики возникают, колеблются и гаснут мгновенно на холодном стекле.

В конских стойлах прохладно. Пахнет карболкой и йодформом. Конюшни продезинфицированы и превращены в карантин для «живых экспонатов» 1941 года. Они выметены и посыпаны пес-

ком. На одном из бумов в стенке видны следы лошадиных зубов. В железной цепи еще торчит пучок белоснежных волос. Это память о знаменитой «Чайке», которая минувшим летом поражала любителей коневодства. «Чайка»... Как будто бы это имя совсем не подходит лошади. Но посмотрели бы вы, как эта гордая красавица проходила по конюшне, поднимая свою тонкую морду к окну, откуда лился солнечный свет! В эти минуты невольно вспоминались крылья чайки, просвеченные солнцем.

А вот здесь, рядом с «Чайкой», стоял жеребец «Ворон». Казалось, что он весь до кончиков ушей одет в темнофиолетовый плюш. И нигде на нем ни одного пятна другого цвета, — дохматые щиколотки, и те лиловеют. А круглые копыта, черные, тяжкие, точно чугунные гири.

Здесь же, у конюшни, резвился жеребенок. Он перебирал ногами, морщил губу, тянулся к коре березки, вздрагивал, качал головой, становился на дыбы, и, прислушавшись, каменел, — живая натура скульптурной группы, поставленной у павильона «Животноводство».

Жизнь здесь замирала постепенно.

Колхозники и колхозницы, дежурившие в скотных дворах, заметно волновались, готовя своих питомцев в дальний путь. В конюшнях нарастал говор и шум. Мелодично гремели звенья металлических уздечек-змеек. Поодиночке выводили сытых, лоснящихся коней, каждый из которых—рекордист. Уехала знаменитая «Баядерка», победительница четырехлетнего приза (дерби), побившая мировой рекорд на дистанцию 4800 метров (6 минут 38,7 секунды). Уехали «Куколь», «Нежная», «Украдка», «Яхонт», «Непобедимая». За «Непобедимой» ушел всесоюзный рекордист рысистой породы, жеребец «Начальник». На его белой, красивой, остроухой морде блистала серебряным набором уздечка. Весь он в серых яблоках, постепенно меркнущих у темных ног, на сгибах которых проступают едва приметные пятна. Его пушистый хвост фатой опущен до самых лодыжек.

Потом начали отправлять быков и коров.

Вывели из стойла огромного бычину «Ориона» весом в 950 килограммов. Его мощная голова тонула в складках мышц и жира. Морда пряталась в лохматой, местами завитой шерсти. Широкая грудь будто скована сплетением мускулов и жил. Шел он медленно, осторожно ступая тонкими, не по нему, ногами. Копыта их — лаково-черные, раздвоенные, точно щегольски начищенные.

Наклонив голову, «Орион» тяжело переступал с ноги на ногу, и чудилось, что непомерно могучая шея его способна сбросить на землю льва. Он шумно втягивал воздух, поворачивал по сторонам голову, изредка силно кашлял. Потом остановился у грузовика, боясь подняться на это шаткое сооружение. Втянув свой огромный живот, от чего резко выступили лопатки, «Орион» протяжно и необычайно громко мычал, и было это мычанье похоже на рык дикого зверя.

Слабо дергая за канат, его тянул вперед маленький старикашка с седенькой, острой бородкой. «Орион» упирался. Тогда к нему подошел бригадир. Он привязал тонкий кусок веревки к прорезу в нос быка кольцо и спокойно ввел его по доскам на грузовик. За быком шла его мать, корова «Орбита», весящая 525 килограммов и дающая 12 339 литров молока за 300 дней. А сестры «Ориона» — «Орхидея» и «Отрада» — весят по 595 килограммов, и даже младший брат, годовалый бычок «Олень», уже «тянет» 220 килограммов.

Потом уехала знаменитая «Вита» — корова, которая за 300 дней лактации дала 11 350 литров молока. Отправили по домам серо-украинских, калмыцких, красно-немецких, ярославских, холмогорских коров и быков. Телят, едущих домой, грузили на платформы, прямо в небольших домиках с кормушками для каждого.

В свинарнике чистили и готовили к «посадке» великолепную свиноматку «Беатрису», которая дает в среднем по 16 поросят на каждый опорос. Рядом

с нею прогуливался производитель «Лафет» весом — 400 килограммов.

Обреченно глядели заросшие до лавьющейся шерстью мериносы. Бежали вслед за людьми просяще блеющие овцы, ревели жалобно ослы. Подвывали мохнатые овчарки и плоскомордые, дрожжащие на ногах, как на пружинах, гончие. Лаяли чернобурые лисы, взвизгивали волкодавы, метались по клеткам еноты, и прыгали белки. И только задумчивые пестрые олени не принимали участия в этой суматохе. Олени терпеливо ждали своей очереди — они одинаково хорошо чувствовали себя во всякой обстановке.

Наконец, весь скот был отправлен домой. А было его немало — 597 голов крупного рогатого скота, 262 лошади, 420 свиней, 750 овец, 8 ослов, 14 мулов и 12 верблюдов. В обширных скотных дворах стало тихо.

До самой весны здесь будет царить молчание. Но как только растает снег и Главвыставком утвердит новых кандидатов на выставку, сюда прибудут новые отары каракульских овец, стада свиной, стайки ангорских кроликов с длинными лохматыми с кисточкой на концах ушами. Затем уж прибудут еноты, соболи, серебристо-черные лисы и, наконец, крупный рогатый скот и лошади.

И снова этот интересный городок заживет своей шумной беспокойной жизнью...

В МОСКВУ!

Этот белый город принято называть городом чудес. Всякий раз, когда над Главным павильоном выставки взвизгивает красный флаг, мы находим здесь новые и новые удивительные вещи — одну чудеснее другой. И пока армия агрономов, садовников, электротехников, монтеров заботится о сохранении тысяч старых экспонатов, зимующих на выставке, по всей стране идет подготовка новых, которые мы увидим весной.

Чтобы понять, какую роль сейчас играет этот город в жизни нашей деревни, надо осознать две цифры: 1 337 700 звеньев и бригад, колхозов и машинно-тракторных станций, животноводческих

ферм и других организаций соревнуются сейчас за право участия на выставке; 1 223 000 передовиков сельского хозяйства претендуют на это право. Соревнование идет по всей стране — от субтропиков до крайнего севера. Отовсюду шлют документы, отчеты, фотографии, иллюстрирующие опыт лучших работников социалистического земледелия.

Недавно в адрес выставки был прислан большой этюд. На нем изображен лучший чабан колхоза «Красный пахарь» Октябрьского района Киргизской ССР Куран Мамадиев. На склоне горы видно огромное стадо рогатого и мелкого скота. На первом плане — чабан. Он щурится, глядя на солнце. Загорелая грудь открыта. Хотя он стар, хотя все лицо его покрыто морщинами, а борода и усы седые, — он сумел сохранить все поголовье.

В павильон Курской, Воронежской и Тамбовской областей привезли огромную, в два человеческих роста, хрустальную вазу, — здесь готовится выставка замечательных изделий из хрусталя цветного и алмазного гранения.

Из Казахстана привезли цветную пряжу, красивые ковры, отполированные распилы трехсотлетних деревьев с четко обозначенными годичными кругами, слюду, апатиты.

Работники павильона Грузии также покажут весной новые экспонаты. Здесь будут выставлены чучела горных оленей, образцы грузинского туфа, молибденита, садахлинского мрамора.

Сибирские косторезы присылают для своего павильона искусные миниатюры. Здесь же будут помещены образцы художественного чугунного литья, панты маралов, шкурки соболя и лисы, медвежьей шкуры.

Работники Барнаульской государственной селекционной станции прислали образцы выращенных ими многолетних трав. Мастер комбайновой уборки, орденносец Клим Кульков из Степной МТС, Ключевского района, сообщал, что он сжег двух комбайнов «Сталинец» убрав в течение месяца 1 500 гектаров.

Исполнительный комитет Алтайского краевого совета депутатов трудящихся уже утвердил сотни кандидатов на выставку. Среди них — знаменитый новатор агротехники товарищ Ефремов, а третий раз участвующий на выставке, и целая плеяда его последователей — звеньевых, добившихся высоких урожаев.

К участию в выставке 1941 года активно готовится полностью вся Бурят-Монгольская АССР, располагающая ныне четырнадцатью МТС. Как далеко ушла эта молодая республика от тех страшных времен, когда группа крестьян подавала челобитную царю, жалуюсь на управителя Балаганского округа:

«Иван Похабов чинил нам великие обиды и всякие насильства и во всем изгоняет и утесняет... и нас ясачных иноземцев бьет и мучит и животы наши грабит и всякими страстями угрожает».

В те времена бурят-монголы даже не помышляли о сельском хозяйстве. Но вот прошли годы, бывшие кочевники и охотники не только познакомились с новым для них делом, но и в совершенстве освоили его.

Но сельское хозяйство теперь процветает не только на полях Бурят-Монголии. Оно продвинулось гораздо дальше на север.

Два месяца провел в дороге директор заполярного совхоза Норильского комбината Николай Иванович Иевский. Он мчался на оленях, летел на самолете, ехал в поезде. Наконец, прибыл в Москву и вошел под бело-золотые своды триумфальной арки выставки.

Его дары, привезенные в Москву, как будто бы выглядели весьма скромно: обыкновенные овощи, какие можно приобрести на любом колхозном рынке. Но достаточно прочесть лаконичную объяснительную записку директора, и вы совсем иными глазами будете глядеть на эти экспонаты. Вот что рассказывает записка:

«Овощно-животноводческий совхоз Норильского полиметаллического комбината расположен на территории Таймырского национального округа, Красноярского края, в зоне тундры и веч-

ной мерзлоты, на семидесятой параллели. Нигде в мире на таких северных широтах не культивируются овощи в открытом грунте. Здесь восемь месяцев тянется зима и два месяца продолжается полярная ночь.

За короткое лето под моховым покровом вечная мерзлота оттаивает всего на 10—20 сантиметров. В низинах же на нее натываются сразу под моховой подушкой, и только на открытых, освоенных участках, где мха уже нет, мерзлая земля оттаивает на 0,75 — 1 метр.

Почва на буграх, как говорят в Сибири, «голимый» песок, в низинах же типичный бесструктурный подзол. Он совершенно не пригоден для земледелия без удобрений...»

Но даже в таких суровых условиях работники совхоза победили бесплодие. Все население совхоза однажды собралось на огородах, чтобы посмотреть на цветущие огурцы. Пожалуй, даже длинные змеи северного сияния меньше привлекали зрителей, чем эти скромные желтые цветочки.

Но мало вырастить огурцы в зоне вечной мерзлоты, мало заставить их цвести, надо добиться, чтобы эти цветы дали завязи, надо оплодотворить их.

Как известно, пчелы за Полярным кругом не водятся. И вот, работники совхоза решили опылить каждый огуречный цветок вручную. Они перенесли пыльцу с цветка на цветок мягкой и острой кистью.

Это была кропотливая и трудная работа. Но замечательный урожай огурцов с лихвой возместил затраченные усилия.

Выяснилось, что особые климатические условия Заполярья имеют не только отрицательные, но и положительные стороны. Лето здесь очень короткое. Но зато солнце летом не заходит совсем и светит днем и ночью. Поэтому овощи созревают быстрее. А сорняки здесь вовсе не растут.

От первых робких опытов работники совхоза перешли к систематическому освоению тундры. В 1939 году они возделали 60 гектаров земли, а в 1940 году — 78. Овощные плантации в от-

крытом грунте в 1939 году занимали 14,7 гектара, а в 1940 году — 48,0. Кроме того, в совхозе созданы парники в 2 500 рам, из них тысяча односкатных. Это дало возможность строителям Норильского комбината получать свежие овощи круглый год. Совхоз дает 3—5 тысяч пучков редиса в год и столько же салата. Лук — перо, чеснок — перо, щавель отпускались всю зиму. Огурцы в Норильске начали есть 15 мая, когда тундра еще спала под голубоватым покровом снега. А сейчас севооборот в парниках перестроен так, что огурцы созреют еще раз — в декабре.

Весной овощи, привезенные из-за Полярного круга, займут свое место в павильоне «Сибирь»; работники совхоза по праву получат один из стендов этого павильона.

Лучшим эпиграфом к этому стенду явились бы знаменательные, полные большевистской прозорливости и страсти слова Сергея Мироновича Кирова: «Нет такой земли, которая в умелых руках при Советской власти не могла бы быть повернута на благо человечества».

ЧТО МЫ УВИДИМ ВЕСНОЙ

Пройдет еще несколько месяцев, растает снег, зазеленеют поля, плантации и сады выставки, закончат свою большую и сложную работу агрономы, художники, животноводы, землекопы, скульпторы, и величественный белый город вновь широко распахнет свои ворота перед тысячами гостей.

Гости увидят много нового. Интересно будет побывать, например, в «мексиканском» уголке. Здесь, среди пальм, магнолий и филодендронов, на большой клумбе будут цвести кактусы. Да, да, именно цвести, — это не оговорка. Темнозеленые шарообразные, бородавчатые растения выбросят яркие стволы, которые покроются цветами, похожими на хризантемы. Эти кактусы вырастил Х. Шноре, садовод-опытник, мичуринец, участник выставки 1939—1941 годов.

У себя на родине в Днепропетровске

он подготовил для выставки много ценных цветочных и садовых культур. Подлинное украшение коллекции Шноре — четырех-пятiletние лимонные деревца комнатно-кадочной культуры, с обильным урожаем оранжево-золотистых плодов.

Из Калмыцкой АССР присылают в павильон «Поволжье» яркую цветную пряжу, меха, коженные изделия, огромные полосатые мелитопольские арбузы, исполинские бирючукские грушеобразные дыни с толстой и корявой кожурой. Любуясь ими, можно подумать, что кто-то взял слоновое ухо и завернул в него сладкую ароматную сочную массу. Сверху же небрежно завязан сплетенный пеньковый жгут.

Очень много нового мы увидим в павильоне «Механизация». Свыше 320 сельскохозяйственных машин было размещено здесь минувшим летом. А в 1941 году их будет значительно больше. Гости увидят под стеклянным арочным сводом самые различные, порой причудливые по своей форме машины: культиваторы, растениепитатели, коноплеуборочную машину, похожую на прялку, ползущий по земле льнокомбайн, изящный трактор «Универсал № 2», приподнявшийся на цыпочках шипов, чтобы не смять растений, самолеты-опылители, электродоильный агрегат, трехколесные автомашины и мечту многих москвичей — малолитражку «Ким», свободно делающую 60 километров в час по грунтовым дорогам.

Аллеи остролистого клена и синева-то-зеленых лиственниц приведут посетителя выставки к павильонам новых советских республик.

Павильон Карело-Финской республики был создан минувшим летом. По форме он напоминает гигантский корабль; в трюмах этого корабля собраны ценнейшие сокровища новой союзной республики. А сейчас целый отряд архитекторов, художников, инженеров трудится над оформлением еще четырех павильонов, — Советской Молдавии, Советской Эстонии, Советской Латвии и Советской Литвы.

Приятно будет заглянуть в «оазис тишины» в Павильоне юннатив.

Здесь, в небольшом зале, поместится круглый резервуар, выложенный белым, как клавиатура рояля, кафелем. В резервуар нальют прозрачной воды. В нем будут медленно, размеренно покачиваться красные и золотые рыбки, касаясь носами сидящих на дне фарфоровых лягушек. Справа и слева польются из желтых клювов утят струи фонтанов.

Зал будет залит электрическим светом; лампы искусно упрячут в нишах, и свет отразится в призматических стеклах, которыми украшены зеленые колонны, напоминающие стволы пальм.

В гигантских клетках с живыми растениями засвищут, защелкают птицы.

Всюду расставят в кадках поразительные растения. Здесь будет топорщиться африканская агава, похожая на исполинского спрута с острыми щупальцами-листьями. Широколистый, плотный и мясистый, весь в трещинах и иглах, кактус распустит свои разлапистые жесткие листья, точно краб с клешнями, выглядывающими из зелени вод. Бананы и пальмы довершат озеленение этого оазиса.

В своем замечательном павильоне юннаты покажут много интереснейших вещей. Тут можно будет познакомиться с конструкцией «светового сторожа», от которого не сможет укрыться даже человек-невидимка: как только он попадет в полосу освещенного макета двора, всюду раздастся пронзительный звон. Поразителен и моторчик «лилипут»; он весит меньше трехкопеечной монеты. Сделал его бакинский пионер Моцесов. В павильоне будет все: движущиеся модели молотилок, локомотивов, комбайнов, орпинтограф — любопытная установка для наблюдения за поведением домашней птицы, и сотни других машин и конструкций.

Но самыми привлекательными уголками выставки, как всегда, будут сады, раскинувшиеся под открытым небом.

У павильона «Виноградарство» мы будем любоваться прекрасными виноградниками. Неподалеку отсюда раскинется фруктовый сад, где можно бу-

дет увидеть всякие чудеса, вроде грушевого дерева с березовыми листьями. Дальше пойдут роши дейций с овальными розовыми цветами. Засветятся белыми перистыми венчиками пекинские либустрины с плотной листвой. Виноград обовьет умерший, точно костяной, ствол березки, спускаясь широкими плетями в золотистых листьях. Они сплетутся кружевными, чеканными узорами. В их тени будет ютиться мох, усеянный мелкими цветами, похожими на полипы, кораллы и ракушки, прилипшие ко дну морских парусников.

Карабкаясь по искусственным скалам и стенам, обильная зелень покрывает всю землю выставки. В зелени этой будут прятаться сочные плоды. Аллеи деревьев сольют свои вершины лист в лист. Созреют плоды на приземистых кустах японской мушмалы. В тени кокосовых и финиковых пальм притаятся огромные валуны дынь и арбузов. Рядом улягутся похожие на летние шляпы пестрые «чалмовые» тыквы. А справа и слева засверкают алмазами и рассеченными гранями хрусталя ветви голубой, лиловой и серебристой туи.

В воздухе заколеблются, ощупывая стволы дубов, развевающиеся по ветру, словно морские водоросли, ветви тамариса. Засияют анемоны, станут раскачиваться на ветру фиалки, точно бархатные бабочки, пытающиеся слететь с тончайших стеблей.

Дорожки, усыпанные песком, пройдут мимо дворцов с непомерно толстыми, сплошь розовыми колоннами и тонюсенькими синими пилястрами. И над всем этим, как змеи, переплетутся лианы, поднимутся к небу голубые и черные бамбуки.

В Мичуринском саду в открытом грунте под московским небом созреет виноград. Сочные сливы густо покроют тонкие ветви молодых деревьев. Появятся абрикосы, мохнатые от нежных волокон рейнкгоды. Груши созреют на склоненной рябине, рябина — на груше, помидоры — на картофеле.

А вокруг заколосится рожь и пшеница, ячмень и овес — золотой дождь, мелянопус, саррубра, лютесценс. Хлеб, хлеб, хлеб. И снопы тут свяжут такие, что в пору скульптурной группе тракториста и колхозницы, возвышающейся над золотыми ярусами башни Главного павильона.

ТИШИНА. СНЕГ

А пока-что выставка безмолвна. Большие хлопья снега, как гагачий пух, летят наискось, укутывая черный кафельный куб павильона «Нефть». Они бесшумно соскальзывают к земле. Если же свалит снег с вершины сосны сизокрылая галка, он упадет тяжело, с каким-то особенным булькающим шумом. И снова станет тихо.

Снегу насыпало и в чаши, сплетенные из бронзовых колосьев, на павильоне «Зерно». В снегу еще более тонкими кажутся лиловые и синие колонны под многоярусными дугами давно опустевшей чайханы.

Рабочие и работницы выставки убирают снег деревянными лопатами, чтобы не попортить асфальта и хрупких резервуаров фонтанов. Возвращаясь с работы, они оживленно спорят, озорно и весело бросают друг в друга снежки. Но белый город так велик, что голоса их тонут в нем.

Процессы жизни

Исследования профессора К. М. Быкова

Александр ПОПОВСКИЙ

★

Веками и тысячелетиями пред человеком стояла необъяснимая тайна. Что такое внушение? Чем объяснить тот факт, что внушение подчас оказывает благотворное влияние на здоровье? Какие процессы возникают в организме при этом?

В конце восемнадцатого века в Вене, Париже и Мюнхене прославился немецкий врач Франц-Антон Месмер. Накладывая магнит и поглаживая больного, он достигал удивительных успехов. «Все, что он совершал, — свидетельствует очевидец, академический советник Остервальд, — дает основание предполагать, что он подсмотрел у природы один из ее самых таинственных движущих моментов». Месмер совершенствует свой метод и отказывается потом от всякого рода пассов. Больные собираются вокруг лохани, берутся за руки и исцеляются. Пристрастная комиссия специалистов объявляет Месмера обманщиком, его изгоняют из Парижа, но на смену ему приходит целая плеяда врачей — горячих сторонников внушения. Среди них немец Фрейд, француз Шарко...

Клиника одержала победу, но внушение не прививалось. Врачи и ученые отказывались к нему прибегать. Как, в самом деле, опереться на метод, относительно которого ничего не известно, а механизм и свойства внушения наукой и практикой мало проверены? Где гарантия, что излечение одного недуга не повлечет возникновение другого? Не

правы ли те, которые утверждают, что воздействие внушением приводит к угнетению воли больного, ослабляет защитные свойства организма?

Врачей не удовлетворяли уже рецепты, они искали доступ к страдающему органу, чтоб непосредственно воздействовать на него. Новыми путями, не совсем ясными, клиницисты приблизились к заветной мечте человечества — силой словесного внушения изгонять болезнь из организма. Новая методика творила чудеса. Внушением делали нечувствительными всякого рода операции, вызывали запоры и поносы, молоко и слезотечение. Произвольно ослабляли и ускоряли пульс, снижали у диабетиков сахар в крови, повышали кровяное давление, изменяли температуру тела.

Короткая фраза: «Вы ничего не видите и не слышите, мир звуков и красок умер для вас» — порождает глухоту и слепоту. Внушив испытуемому, что он лежит в снегу, значительно увеличивают обмен веществ у него. Невинная бумажка, подобно горчицинику, вызывает на коже ожог. Замечание врача: «Вы съели пищу с удовольствием» — изменяет качество и количество желудочного сока.

Клиника крепко держалась за новую методику; с ее помощью лечили бессоницу, утрату аппетита, рвоту у беременных, алкоголизм, морфинизм, нервную астму, заикание, запоры, нервные расстройства зрения, травматические невроты.

Иногда нормальные люди под влиянием внушения ощущали себя вылитыми из воска, из железа, стекла, чувствовали себя то сильными, то слабыми, беспомощными людьми. У них менялось поведение, вкус, почерк и облик. Они пьянели от воды, страдали от воображаемого запаха тертого лука. Их объявляли Наполеонами, Фридрихами Великими, и они как бы переносились в минувшую эпоху, говорили ее языком, мыслили теми понятиями, забыв о существовании железных дорог и авиации.

«Восприимчивость человека к внушению, — утверждает знаменитый Дюбуа, — неизмерима. Она вмещается во все акты жизни, вводит в заблуждение наше представление и создает иллюзии, против которых нам трудно защититься, даже напрягая все силы ума... Подумать только — большинство нормальных людей настолько податливы и легковерны, что мы можем внушить им сон среди бела дня, хотя бы у них не было потребности в отдыхе. Под влиянием внушения они становятся марионетками, можно кожные покровы и внутренние органы их лишить всякой чувствительности, вызывать раздвоение личности и бредовых явлений...»

В этих словах много преувеличения, но значение внушения бесспорно.

Поколения врачей убеждались, что все процессы жизнедеятельности регулируются высшими нервными центрами. Практика клиника приводила множество примеров, когда воля к выздоровлению приносила исцеление, а жажда страданий — физические муки. Разговоры о тошнотворных запахах, о ризиновом масле или о чем-либо подобном вызывают у некоторых тошноту и даже рвоту. Общение с людьми, страдающими чесоткой или вшивостью, причиняет другим мучительный зуд. Студенты в продолжение курса обнаруживают у себя симптомы всяких болезней. У многих больных прекращаются боли при появлении врача или даже при одном приближении к его приемной. Уход врача в соседнюю комнату повышает страдания больного. Это дало основание распространенному мнению, что

каждый носит в себе своего врача и что верное средство расстроить здоровье — вечно думать и беспокоиться о нем.

Были случаи, когда люди выздоравливали от того, что принимали двадцать жирных улиток после еды, предварительно растертых в ступе, напивались кровью змеи или съедали птичье сердце.

Было ясно для всякого, что подобное «лечение» обязано своим успехом воле к здоровью, столь сокрушительной, что рядом с этой направленной силой все лечебные средства беспомощны.

Клиническая практика обогащалась новыми и новыми идеями:

— Оставьте думать о болезни, — стали уговаривать больных врачи, — вы внушили себе, что у вас печень болит. Поменьше прислушивайтесь к ней. Вы совершенно здоровы.

Действия врачей, казалось, противоречили данным науки: не было еще Павлова и его школы. В физиологии господствовала ложная теория, что внутренние органы независимы от коры полушарий — органа, формирующего наше сознание; область мысли и духа человека оторвана от растительного мира его.

Но практическая медицина не сдавала раз взятых позиций; больным стали прописывать странные рецепты:

— Перемените обстановку, она источник ваших страданий... Какая-нибудь мелочь в домашнем окружении вредит вам больше тысячи простуд... Откажитесь от привычек, переезжайте в другую квартиру...

К этим наставлениям — больше для формы — присоединяли лекарство, лишнее всякого лечебного свойства.

О психоневрозах заговорили знаменитые специалисты, клиника находила новые доказательства важной роли самовнушения. Известный русский гинеколог Снегирев описал удивительный случай самовнушения. Приглашенный на роды ко двору сербского короля в Белград, он не нашел у будущей матери признаков беременности. И движения плода, и родовые страдания были лишь кажущимися...

Проблема «самовнушения» овладела всеми помыслами ученика Павлова Константина Михайловича Быкова. То ли увидел он в ней узел, переплетение всего того, что было проделано им в лаборатории, то ли явилась нужда у постели больного осмыслить результаты многих лет труда и исканий, — он весь отдался идее раскрыть физиологический смысл самовнушения. Надо быть справедливым — врачи плохо ему помогали. Оставалось надеяться только на себя.

Быков стоял перед «самовнушением», как некогда Павлов перед «разумом» и «душевной слепотой». Понятие, заимствованное из области психологии, лишенное плоти и крови, стояло на пути физиологии. Как экспериментировать этой абстракцией? С чего начинать?

Известно, что через кору мозга можно воздействовать на любой орган, можно возбуждать и подавлять его деятельность. Но как этого достигнуть самоубеждением?

Мы никогда не говорим себе: «Я хочу заболеть истерией, лишиться возможности управлять своим телом, увидеть себя в язвах, быть одержимым мучительной рвотой». Из такого самовнушения вряд ли что-нибудь вышло бы. Клиника утверждает, что самовнушение есть бегство в болезнь, но ни один больной не сознался еще в этом. Не возникает ли это страдание помимо воли человека? Не следует ли искать причину в силах, окружающих нас?

Ученый занялся делом, не свойственным физиологу, — он стал штудировать патологические случаи, известные в клинике под рубрикой «психоневрозы». Неблагодарная задача — с твердой почвы эксперимента перешагнуть на путь зыбких умозаключений! Но Быков был верен себе, — он не делал различия между клиникой и лабораторией.

Анализ множества случаев, наблюдения и свидетельства литературы убеждали Быкова, что самовнушение нуждается в физиологическом объяснении. Факты говорили о тяжелых страданиях людей, жаждущих вернуть утраченное здоровье, и о жестоком враге, невиди-

мом и страшном, преследующем этих несчастных.

Вот здоровый и крепкий садовник. Он жалуется на острые боли в желудке, пробуждающиеся у него при виде красной герани. Книга с алым обрезом причиняет ему острые муки. Едва книга отложена, — боли стихают. Болезнь возникла во время работы: садовник переносил горшки красной герани в тот момент, когда случайное расстройство причинило ему страдания желудка. Врачи утверждают, что садовник внушает себе эти боли, а он винит в своих муках все оттенки красного цвета...

Быков вспоминает опыт, проведенный одной из помощниц Павлова. Она впрыскивала под кожу собаки фармакологическое средство, вызывающее рвоту, и убеждалась, что собаку потом вырывало всякий раз, как только она завидит ассистентку, услышит побрякивание шприца или как только ей придвинут тазик для рвоты...

Спящему приснилось, что в дом пробрались грабители. Он пробуждается с сильно бьющимся сердцем, задыхается от испуга, раскрывает окно, жадно вдыхает свежий воздух. Через час-другой наступает улучшение, припадок проходит. На следующую ночь он просыпается в ту же пору, уже без всякого повода; снова сердцебиение, удушье и жажда глотнуть свежего воздуха. Так длится долго, без перерыва...

Опять сходство с опытом из лаборатории. Собака, у которой обильная порция мяса и высокая температура помещения вызвали одышку, также задыхалась при нормальной температуре, не съев ни крошки мяса. С высунутым языком и налитыми кровью глазами животное часто дышало, жадно заглатывая воздух, которого ему не хватало. Эти страдания были воспроизведены... тиканьем маятника метронома, совпавшим однажды с подлинным страданьем.

То, что в клинике казалось непонятным, в лаборатории было давно обосновано.

Если бы не свидетельства врачей и ученых, — кто поверил бы тому, что

вид алой герани может сделать человека инвалидом? Но то, что так поражает клинициста, Быкова ничуть не удивляет. Разве он не был свидетелем таких же явлений у себя в лаборатории? Красная лампочка вызывала расширение кровеносных сосудов животного, метроном — их сужение. Свисток вызывал судорожные движения селезенки, один вид станка подхлестывал деятельность почек и печени. Таких примеров он приведет сколько угодно...

— Бегство в болезнь, — подводит итоги ученый, — самовнушение суть болезненные явления, навязанные организму извне.

Нам понятно теперь, какие сокровища таят в себе письма, пожелтевшие от времени, уединенная скамейка у близкой могилы, сувениры и фотографии далекого детства. Не содержание писем, заученных наизусть, не примелькавшийся облик, не чувство тоски по усопшем волнуют! Волнует свойство этих вещей будить ощущения, чувства особого рода. Никакая память не восстановит так ярко картины страсти и скорби, счастья и горя, как эти предметы. Таковы временные связи и такова сила условных раздражителей.

Проследим историю того, какими путями ученик Павлова Константин Михайлович Быков пришел к этим значительным выводам. В чем сила этих временных связей, безграничное влияние их на организм?

★

Холодным январским днем молодой человек переступил порог Института экспериментальной медицины и с бьющимся сердцем спросил знаменитого Павлова. Он ожидал увидеть сурового ученого, строгого, молчаливого, с нетерпением во взоре, и напряженно обдумывал, как с ним держаться, что ему сказать и с чего начать.

Раздались быстрые шаги по лестнице, и смущенный провинциал увидел того, кого с таким волнением ждал...

— Здравствуйте, Константин Михайлович! — как старому знакомому, по-

жимал ученый руку приезжему. — Как поживаете? Хорошо доехали? Устали, небось?

«Откуда он знает мое имя, отчество, — думал растроганный приемом молодой человек. — Неужели это Павлов?»

Как, в самом деле, не растеряться, — знаменитый ученый с первого письма запомнил его.

— Что же вы молчите, — тормозил его Павлов, — рассказывайте... Что нового в Казани? Говорят, физиологи у вас превосходные?.. И вы, верно, такой же?.. Пойдемте, я покажу вам, что у нас нового...

Он увлек своего гостя, долго водил его по лаборатории, запросто рассказывал, точно старому другу, о своих опытах.

Быкову не удалось работать с Павловым. Помешала война: как врача его призвали на фронт. Научные занятия были заброшены, дни он проводил в госпитальной приемной, ночами штудировал Канта и переводил с латинского Гарвея.

Лишь семь лет спустя осуществилась мечта молодого ученого. Зимой двадцатого года Быков пишет Павлову письмо, — на этот раз он обязательно придет, если только ему будет позволено. Ответ прибыл по телеграфу: «Приезжайте».

Снова тот же радушный прием:

— С приездом, Константин Михайлович, с приездом... Теперь, выходит, всерьез. Ну, ну, в добрый час...

Он знакомит его с ассистентами, рассказывает о последних открытиях. Теперь дело за новым помощником, лаборатория ждет его трудов и идей.

— С чего же мы начнем? — робко спросил молодой человек.

— А вы собачку готовьте...

На языке лаборатории это значило: оперативным путем вывести наружу слюнную железу и выработать у животного ряд временных связей.

— А с темой как будет? — робко спросил Быков.

— Есть у вас своя — хорошо, нет — я дам вам свою.

Быков остался в лаборатории Павлова. Кровеносная система, секреция почек и печени, деятельность селезенки и кишечного тракта привлекли его внимание на долгие годы.

★

Живой организм рождается лабораторией на полном ходу. Фантазия с трудом проникает в тайну того, что возникло уже как единое новое. Разгадка нередко возникает тогда лишь, когда природа сама частично приоткрывает свою тайну.

Исследуя мочеотделение у собаки, Быков однажды столкнулся с непонятным явлением. При вливании животному через прямую кишку ста кубических сантиметров воды, как правило, наблюдается усиление выделения мочи. Физиологически это понятно: избыточная жидкость, всасываемая в кровь, разбавляет ее, и организм спешит удалить лишний балласт. Но вот однажды ученый вводит воду в прямую кишку и выпускает ее тут же наружу. В кровь проникнуть вода не успела, а секреция мочи повышается точно так же, как если б вода оставалась внутри организма. Похоже на то, что прямая кишка непосредственно связана с почками, — механическое раздражение одного органа вызывает реакцию другого. Физиолог посмеялся бы над таким предположением, анатом такую глупость не стал бы обсуждать. Вернее всего: экспериментальное животное было больным, случайно вмешалась патология.

Неприятный сюрприз! Факты, добытые на ненормальном животном, — бесполезны. Прделанные опыты лишены достоверности...

Но с другим животным повторилось то же самое. И третья, и четвертая собаки реагировали точно так же. «Патология» удивляла своим постоянством. Казалось, природа подсказывает исследователю тайну новой закономерности.

Однажды, когда опыт был случайно проведен в другом помещении, прежний порядок восстановился. Деятельность почек стала строго соответство-

вать количеству вводимой в организм воды.

Шалости физиологии, — кто их не знает? Быков решил уже вернуться к работе, оставленной по милости «навязчивого случая», когда открылось другое обстоятельство: в новом помещении «непонятное» стало повторяться. Одно лишь прикосновение трубки к прямой кишке уже усиливало выделение мочи.

Позже оказалось, что одно пребывание животного в станке, без вливания ему воды, без всякого прикосновения трубки к прямой кишке, уже вызывает усиленную секрецию мочи. Безразличные для организма предметы повышали и понижали деятельность почек! Но какими путями?

Механизм мог быть только один: прямая кишка, соприкасаясь с водой или трубкой, сигнализирует об этом полушариям мозга. Оттуда следуют импульсы к почкам, возбуждая в них различные реакции. После нескольких сочетаний образуется временная связь: сама комната, станок и прочая обстановка становятся раздражителями, условно действуя на организм как вливание воды.

Интересная схема; но всякому известно, что органы растительной жизни лишены связи с корой мозга. Мы тогда лишь узнаем о состоянии нашей печени, селезенки, сердца, желудка и почек, когда их поражает страдание.

Быков забыл о своей прежней задаче, «случай» цепко владел его мыслями:

— Надо проверить, условный ли это рефлекс. Если клизменная трубка, станок или само помещение могут стать раздражителями, могут усиливать секрецию мочи, то по принципу временных связей всякое явление внешнего мира может сыграть ту же роль...

Он вводит животному воду, сопровождая вливание стуком метронома, и вскоре убеждается, что на известном сочетании одни удары метронома действуют возбуждающе на почки. И свисток, и звонок, и электрическая лампочка создают такой же условный рефлекс. Почка способна поддерживать связь с внешним миром.

Это было удивительно, невероятно; исследователь даже растерялся. Если верны его расчеты, у него есть средство влиять на секрецию почек, управлять ими извне, произвольно повышать и снижать их реакцию. Какое важное открытие для медицины! Сколько возможностей для клинициста! Вызывать мочеотделение по звонку... — он, кажется, сделал открытие. Никто до него таких результатов как будто не получал. Дайте вспомнить, — неужели никто? Волнение мешало ему спокойно подумать и ответить себе.

— Надо сделать передышку: горячая голова — неважный советчик.

Дома он вынул из шкафа старую книгу в кожаном переплете — трактат о латинской грамматике — и долго восхищался красотой языка древних римлян. Его мысли бродили вокруг подвигов Цезаря, стихов Овидия Назона и страстных речей Цицерона. Грамматику сменила книжка, добытая у букиниста. На полях и обложках ее встречались замечания на греческом языке. Скромный учебник медицины доживал третий век.

Теперь, пожалуй, пора обсудить, что случилось. К коре мозга, говорил Павлов, должны быть пути от всякой нервной системы. Так оно и есть в самом деле. Не от чего приходиться в изумление!..

Быков все более убеждался, что никакого открытия нет. Условные рефлексы почек ничем не отличаются от условных рефлексов слюнной железы. Все было предсказано и предвидено Павловым, никаких оснований для излишних восторгов.

Ученый был доволен, он избежал ошибки, упреков в нескромности. Есть ли что-нибудь позорней ложной шумихи в науке!

Быков придвигает бумагу, чернила и садится писать. Затруднения всего легче решать на бумаге, по порядку — с основы основ...

У него свой метод думать и спорить, — спокойно, без шума, уверенно, вдумчиво. На столе появляются книжечки-свидетели, книги-обличители с закладками и загнутыми страницами. Руки

его гладят их, нежно касаются, чуть-чуть, осторожно, как милых друзей.

Рука Быкова спокойно скользит по бумаге, строки ровные, четкие. Каждое слово продумано, взвешено, с ним трудно расстаться, — где уж спешить!

Один вид кровотокащей раны вызывает у зрителя сужение кровеносных сосудов. Охлажденное тело его дрожит. «Кровь стынет» — говорим мы. Лицо смертельно бледнеет, в обескровленном мозгу блекнет сознание. Свойство крови резко меняется, она приобретает способность быстрее сворачиваться. Точно некая сила подготавливает ее к испытанию. Кто создает этот сложный процесс? Чей импульс «подсказывает» кровеносной системе средство защиты от воображаемого зла?

Неприятная весть, обида и страдания решительно меняют деятельность легких и всего аппарата обмена. Слово предупрежденная о предстоящей борьбе, о бедствии, угрожающем жизни, в движение приходит сложная система защиты. Дыхание учащается — откладывается запас кислорода, спешно выводится наружу углекислота, — мы говорим: «Человек задыхается от волнения». Из селезенки в кровеносную систему стремительно входит поток ярко окрашенной крови — резерв гемоглобина в подмогу. Поверхностные сосуды расширяются, тело краснеет, нам сразу становится жарко.

Снова чья-то разумная воля связала внутреннее с внешним, далекое с близким.

Чувствам страха, боли и ярости предшествует усиленное выделение сока надпочечников — адреналина. Он влияет на свертываемость крови, меняет давление в сосудах и освобождает из печени сахар для питания мышц... Измученный путник, взирая ярость в себе мыслью о ненавистном враге, при этом почувствует прилив свежих сил. Идет ли спор вокруг мяча у футбольных ворот, напряженная ли борьба за карточным столом, или серьезный экзамен подвергает испытанию нервную систему, — адреналин уже тут. И в крови, и в моче легко обнаружить са-

хар. Даже у кандидата футбольной команды, ждущего очереди для вступления в игру, организм уже подготовлен — анализ покажет избыток свободного сахара.

Всюду, где внешние силы ставят в трудное положение организм, внутренний аппарат спешит помочь ему своими ресурсами. За внутренними физиологическими переменами следует наружное проявление эмоций.

Трезвый практик — ученик Павлова — предался мечтам: не одна только почка, — все внутреннее хозяйство должно быть связано с корой полушарий! И печень, и сердце, и дыхательные органы, несомненно, образуют временные связи с предметами внешнего мира. Он докажет это опытом на экспериментальном животном! Гипотеза, научно не обоснованная, не может служить ни клинике, ни физиологии.

Опыты с почек переносятся на печень. Быкову важно знать, как при тех же обстоятельствах поведет себя этот важный для жизни орган.

Собаке предварительно наложили фистулу — и через брюшину открыли доступ к желчному пузырю.

Три месяца ушло на изучение нормальной секреции желчи. Было точно установлено количество и качество выделяемого сока. Настала пора пустить в ход аппарат временных связей, попробовать средствами внешнего мира влиять на образование и секрецию желчи. Метод работы мало отличался от методики опытов с мочеотделением. В вену вливали разбавленную желчь, что приводит обычно к повышенной выработке желчи в печени, и выжидали, когда сама обстановка эксперимента станет искусственно влиять на этот процесс.

Два дня собаке вводили желчь в вену. На третий случилось то, чего ждали: одна лишь подготовка к вливанию — раскладывание инструмента и растирание спиртом места предполагаемого укола — повышала желчеотделение. Процедура опыта и обстановка действовали так же, как самое впрыскивание желчи в вену. Почти три недели длилось влияние обстановки: посторон-

ние для организма предметы управляли важнейшей функцией его.

— Мне кажется, Константин Михайлович, — сказала ему одна из помощниц, — мы очень помогли медицине, оказали ей большую услугу.

Он взглянул на нее и чуть усмехнулся:

— Где нам спасти медицину, успели бы только обосновать то, что клинике давно уже известно.

Странный ответ! Разве их открытие не так уже важно?

— Я не совсем понимаю вас.

— Открытие серьезное, не спору; но умные врачи давно догадались, что некие причины постороннего характера способны влиять на организм, изменять обмен веществ, работу кишечника, сердца. Случалось нередко, что мочеизнурение, желтуха, бронхиальная астма, медвежья болезнь, грудная жаба и страдания желудка исчезали с переменой обстановки. Происходило то, что мы называем угашением временной связи. Устранялось влияние неизвестного раздражителя, больного освобождали от невидимого врага... Из множества связей, образующихся в нашем мозгу, есть счастливые и опасные для жизни. Любой предмет или явление в сочетании со случайным страданием может потом искусственно его восстанавливать, стать незримым бичом организма.

Радостная весть, неожиданный приезд любимого человека, письмо близкого друга, исцелившие смертельно больного, могут надолго сохранить над ним свою власть. Благотворные силы будут жить в обстановке, в предметах — свидетелях счастливого события, образовавших временную связь в мозгу исцеленного.

С тех пор как опыты с мочеотделением открыли возможность образования временных связей на почке, Быков уже не отходит от своей цели. Он начинает исследовать селезенку.

Этот орган его глубоко занимает. Он намерен искать в нем нервные влияния, хотя волнует его совершенно иное, — химия, таинственные процессы ее. Слишком сложны они здесь, очень спорны и туманны функции самой селезенки.

Изучить деятельность какого-нибудь органа — значит увидеть его, ощупать, прослушать, зарегистрировать его движения, анализировать выделения — познать в норме. Средств много: выводят наружу его внутренний проток, накладывают фистулу. Но как быть с органом, лежащим в самом кровеносном токе, неизменно наполненным кровью? Как изучить его в норме, когда важную особенность его — чувствительно реагировать на малейшее психическое раздражение — наблюдать невозможно?

Поколения физиологов безуспешно пытались решить эту задачу.

Быков перемещает селезенку со всеми ее связями, нервными и кровеносными, из глубины подреберья под кожу живота, устраняет неудобство для наблюдений, созданное природой. Орган выступает на брюхе, как желвак. Теперь его можно прощупать, можно увидеть его размеры, наблюдать за движением.

Впервые в истории физиологии функции селезенки изучались на нормальном животном. В тетради наблюдателя появились любопытные сведения. Укол булавкой в заднюю конечность животного или раздражение индукционным током вызывает резкое сокращение этого чувствительного органа. Появление кошки в поле зрения собаки вызывает «скачок» селезенки. Каждое сокращение ее вносит свежую струю крови в общий поток, и, будь кожа животных прозрачна, подобно нашей, мы увидели бы, как собака и кошка при встрече краснеют от негодования.

Опыт поставили со всеми предосторожностями. Морду собаки закрыли экраном; ни электродов, ни того, как прикладывали их к коже, она не видела. И все же после нескольких электрических ударов одно лишь прикосновение электродов к коже вызывало уже движение селезенки. Невинный предмет—лишенный тока электрод—управлял деятельностью внутреннего органа!

Долго обманывать селезенку не удалось, сокращения падали, временная связь угасала. Однако новый разряд в кожу восстанавливал условный рефлекс.

Потом власть электрода передоверили

свистку, — уколы в конечность сочетали с коротеньким свистом. И что же? Одно лишь звучание вызывало сокращение селезенки!

Чем сильнее был условный раздражитель, тем дольше сохранялось его влияние. Собака пугалась, делала оборонительные движения — безобидный сигнал действовал на нее удручающе. Так невинный звук, совпавший однажды по времени с трудным испытанием, пугает нас целую жизнь.

Задача была решена. Опыты доказали, что кора мозга образует временные связи и с селезенкой; она влияет на деятельность этого органа точно так же, как и на печень, как и на почку.

И еще один опыт.

Введенный в кровь адреналин обычно приводит в движение селезенку. Сочетав эту операцию с метрономом, отбивающим сто двадцать ударов в минуту, легко убедиться, что один стук аппарата действует на организм, как адреналин. Но это еще не все. Оказывается, то, что достигается при частоте метронома в сто двадцать ударов в минуту, не повторяется при шестидесяти: селезенка, судорожно вздрагивающая в первом случае, сохраняет спокойствие при другом. Откуда эта способность так тонко различать сигналы из внешнего мира? Похоже на то, что между селезенкой и слухом животного существует какая-то связь.

Ответ может быть только один: из органа сознания в селезенку и обратно идут непрерывные сигналы. Селезенка дает знать о своем состоянии коре полушарий, оттуда следуют импульсы. Переводчик Гарвея мог повторить слова знаменитого ученого: «Мне кажется, что объяснить эти факты иначе, чем сделали мы, будет очень трудно...»

Один из помощников Павлова как-то сделал следующее: он выгнул железную трубу и пропускал через нее холодную воду. В охлажденный эмеевик экспериментатор вводил свою руку и изучал ее реакции. Кровеносные сосуды резко сокращались от стужи. Это было в порядке вещей, физиологически закономерно. Но вот ученый вводит руку в эмеевик под звуки свирели. Та же

ледяная вода, та же кольцами согнутая труба и единственно новое — несложная песня где-то вдали. Казалось — что общего между кровеносной системой ученого и чьим-то наигрыванием на примитивном инструменте? Однако несколько сочетаний, и связь становится вдруг очевидной: змеевик не охлаждали, температура руки не отличалась от температуры тела, а кровеносные сосуды ее резко сужались. Одни лишь звуки действовали на нее точно так же, как ледяная вода.

— Может быть, музыка имеет свои преимущества, — думал ученый, — так ли уж изучена взаимосвязь организма с искусством? Почему, например, одна гамма звуков ввергает нас в скорбь, а другая навеивает веселье?

Опыт был переделан. Охлаждение руки в змеевике сочетали не со звуками свирели, а с запахом аммиака, распыляемого в этот момент. Руку несколько раз вводили в змеевик, выделяя при этом безразличные для процедуры газы. Вонючие пары образовывали временную связь и действовали на сосуды так же, как нежная мелодия свирели.

Эффектный опыт остался бесплодным: не доведенный до конца, он ничего не принес ни клинике, ни физиологии, и Быков начал там, где окончил ученик Павлова.

Опыт проделали заново, проверили шаг за шагом с самого начала. Реакции повторились в точности: одно лишь звучание метронома вызывало сужение кровеносных сосудов; мигание электрической лампы — их расширяло. Но Быков на этом не остановился.

— Если кровеносные сосуды, — не успокаивался ученый, — чутки к изменениям внешней среды, если они, как и почка, селезенка и печень, регулируются высшим отделом нервной системы, — нельзя ли с помощью временных связей проникнуть в тайну патологии этих сосудов, экспериментально воспроизвести картину болезни?

К прежним опытам ничего не прибавили. Поворот выключателя электрической лампы расширял у испытуемого кровеносные сосуды, стук метронома

сужал их. Изменили только порядок, испытания холодом и теплом производили не отдельно, как раньше, а впереводку: за стужей тепло, и наоборот. Мускулатуру сосудов подхлестывали, лишая ее передышки. Жестокий опыт, разрушительный: вот звучит метроном; полминуты, минута, и идет ледяная вода; тотчас за этим загорается электрическая лампа; змеевик уже дышит теплом...

Так длится недолго, — в реакциях сосудов вдруг наступает перелом. Электрический свет, вызывавший их расширение, начинает сужать их, метроном, наоборот, — расширять. И, что всего удивительней, метроном с частотой в шестьдесят колебаний, до того безразличный для кровеносной системы, приобретает вдруг власть над ней. Похоже на то, что сбитый с толку организм стал все воспринимать превратно: холод — как тепло, и тепло — как холод.

С помощью условных раздражителей Быков вызвал сосудистый невроз, болезнь, широко известную клинике. То, что обычно является результатом нравственных и физических страданий, сложнейших отношений организма к внешней и внутренней среде, — воспроизведено одним лишь стуком безобидного метронома и миганием электрической лампы.

★

Изо дня в день росли богатства лаборатории, черпавшей сокровища из золотоносного источника павловских идей. Быков уходил глубже и глубже за грань того, что казалось непостижимым.

Изучение временных связей на внутренних органах зашло далеко. Нервные влияния были всюду проверены, оставалось только неясным, какими путями движутся сигналы в кору мозга, а оттуда — импульсы к исполнительным органам. Идут ли они по одной колее — по нервам, или есть еще один путь — гуморальный — русло крови, лимфы и секретов желез? Вопрос не новый, веками оспариваемый; можно было бы пройти мимо него, как мимо многих

иных неразрешенных задач, но ответ был необходим для физиологии.

Во времена Гиппократы, Галена, Парацельса и Гарвея, когда никакого представления о нервах не было, току крови приписывали все явления связи в организме. В XVIII веке становится известным значение нервной системы, и гуморальная теория оттесняется. В середине прошлого века вырастает учение о железах внутренней секреции, химических свойствах крови и влиянии их на организмы. Механика исчислила, что скелетная мышца реагирует на раздражение через две или три тысячных секунды, а железы и внутренние органы — лишь спустя целые секунды. В науке заговорили о двух видах связи: телеграфной — нервной и почтовой — гуморальной.

Наконец, появилось новое учение, говорившее о том, что нет ни «почты», ни «телеграфа»: секреты желез, лимфа и кровь, — то, что называется гумором, — влияют на проводимость и раздражимость нервов, а те в свою очередь выделяют химические продукты, используя кровеносную систему для связи.

Быков держался того убеждения, что в живом организме нет однокоек. «Жизнь есть совокупность отправлений, противящихся смерти», — повторял он Биша, — нельзя успешно бороться за существование, когда к жизни ведет один только путь, а к гибели — тысяча.

На одной из лекций в университете ученый так определил свои предложения:

— Рядом с нервными стволами разместились сплетения, несущие подсобную службу. Сигналам и импульсам, направляющимся в мозг и обратно к исполнительным органам, тоже обеспечена запасная колея. В самом нерве вдоль магистралей, по которой следует импульс, вырабатываются вещества, — миниатюрные секреты большой возбуждающей силы. На станциях и полустанциях изливаются в кровь предвестники идущего сигнала. Так, параллельно с телеграфом, несутся отправления почтой...

Быков мог бы на этом успокоиться;

но он решил пойти дальше. Ему захотелось своими глазами увидеть капельную секрецию нервов и изучить ее. Кто знает, не пригодится ли она в клинической практике?..

Так как в крови это вещество разрушается сразу же, как только оно выполнит свое назначение, опыты велись с искусственной циркуляцией физиологического раствора в кровеносной системе. Вместе с ассистентом доктором Курциным Быков создал подлинное чудо.

Последуем за ученым в его лабораторию, присмотримся к опыту неспеша, осторожно. В нем все поражает до мелочей.

Перед нами рыба голова на пробковой пластинке. Она закреплена металлическим зажимом. Кругом ни капли воды, а голова вот уже много часов чувствует себя превосходно. Не будем удивляться, — она дышит, распахивает и закрывает жаберные крышки, вращает глазами. Точно ее никогда из воды не извлекали, — она захватывает ртом воображаемую воду, глотает ее. Она уверена, что плавает, — плавники движутся то спокойно, то резко, как бы уносят ее вперед. Пережив свое тело, голова словно акклиматизировалась в лаборатории, окончательно применившись к земной атмосфере.

Приготовления к этому опыту были проведены искусно, поразительно быстро и точно. Вращающийся нож мгновенно отделил голову от туловища, проверные руки закрепили ее на пластинке, торопясь сохранить жизнь мозгу — деликатнейшему органу, всегда умирающему первым. Кровеносный сосуд, идущий к мозгу, был соединен с аппаратом, откуда поступает богатый кислородом солевой раствор. Там, где жидкость оттекает из мозга, трубка связала вену с пробиркой. Таков скромный рецепт обращения водной обительницы в земную.

Затем начинается другая часть работы. Экспериментаторы находят окончания блуждающего и симпатического нервов и раздражают их электрическим током. Голова рыбы превращена в аппарат для выработки нервной секреции. Целый день работает этот чудесный

инструмент физиологии, изготавливая нужную ученому секрецию. Голова рыбы умирает лишь тогда, когда прекращается ее питание.

В дни международного физиологического конгресса рыбею голову показывали гостям-иностранцам. Ее с интересом разглядывали корифеи мировой физиологии, лауреаты нобелевской премии: Леви, Кэннон, Бакк, Фельдберг, Гедуум, Като. Леви долго любовался препаратом и жал руку Быкову и Курдину, неизменно повторяя: «Sehr gut... Prachtvol». А Бакк, этот серьезный бельгиец, около часа провел у рыбею головы, расспрашивал, допытывался, просил сообщить ему в Швейцарию результаты работ. Японский делегат, знаменитый Като, поручил своему ассистенту перенять методику эксперимента над рыбею головой.

Можно ли было не поражаться? Чувствительнейший из мозговых центров — дыхательный — до последней минуты сохранял свои функции без признака упадка, на одном уровне! Один из гостей заметил как-то Быкову:

— Это не ваш стиль работы, не так ли? Павловская школа предпочитает, как я слышал, делать опыты на нормальном животном.

Ученый ответил с улыбкой:

— Вы считаете, что рыбе чего-нибудь нехватает? Опыт производится в абсолютно нормальных условиях...

Некоторое время спустя полученный ученым материал был проверен на тепловых животных: жидкость, прошедшая через мозг рыбы после раздражения у нее блуждающего нерва, усиливала у собаки движение кишечника, а «симпатическая» жидкость сдерживала его. В результате раздражения тройничного и обонятельного нервов были получены вещества, вызывающие у собаки усиленную деятельность сердца.

Теперь Быков поставил перед собою новые труднейшие проблемы. Он решил выяснить, во-первых, — какая связь между нервными и гуморальными путями? Замещают ли они друг друга, или только дополняют? И, во-вторых, — ограничивается ли деятельность нерва выделением миниатюрной секреции —

вестников возбуждения, или у него своя, чисто нервная сигнализация?

Помощницей в этой работе профессор избрал свою недавнюю студентку. Способная девушка много сделала для успеха задуманного дела.

Профессор и ассистентка принялись дружно за опыты. Они удалили у собаки мочевой пузырь и вывели наружу мочеточники. Моча больше не накаплилась, поступая непрерывно в подвешенные склянки. По делениям на них экспериментатор мог наблюдать интенсивность выделений каждой почки. Когда собаке вливали воду в прямую кишку, уровень в склянках повышался. Процесс этот сочетали со звуками рожка и образовали временную связь: звуки действовали на животное мочегонно.

Тогда правую почку извлекли на свет и изолировали ее от влияний внешнего мира: перерезали все видимые нервные волокна, сняли капсулу почки, сквозь которую проходят нервные сплетения, сосуды и мочеточники добела смазали раствором карболки. Никакие импульсы к оперированному органу теперь дойти не могли, все пути к нему были отрезаны.

— Я должен вас огорчить, — сказал ученый помощнице, прежде чем проверить, сохранились ли временные связи, — и сильно огорчить... Обе почки одинаково будут отзываться на сигналы из внешнего мира.

— Но ведь мы правую лишили проводников! — изумилась ассистентка. — И почему вы так думаете?

Роли переменялись, профессор был невозмутимо спокоен:

— Я наблюдал это давно, когда впервые изучал условные рефлексы на почках.

— Зачем же мы повторяли этот эксперимент?

— Потерпите, узнаете...

В опытной камере тихо. Никто не шевельнется, идет проверка всей проделанной работы. Ученый и его помощница не сводят глаз со склянок, прикрепленных к мочеточникам. Звуки рожка врываются в тишину, вспыхивают и гаснут. В замкнутой и тесной клетушке это звучание, идущее откуда-то сни-

зу, рождает смутное чувство тревоги. На собаку оно оказывает другое влияние: мочеотделение у нее нарастает.

Быков не ошибся. Правая почка, как и левая, сохранила временную связь. В одном лишь между ними была разница: левая отзывалась на сигналы мгновенно, а правая — с небольшим опозданием. Почка, лишенная нервов, стала медлительней. Она исправно работала, на ней можно было выработать новые рефлексы, но похоже было на то, что левая сохранила телеграфную связь, а другая — только почтовую. Когда прекратили вливать воду в прямую кишку, звуки рожка перестали влиять на левую почку, правая же долго еще отвечала усилением мочеотделения. Вместе с нервной регуляцией животное утратило аппарат тончайшего приспособления. Действующий регулятор был громоздок и малоподвижен.

— Вы все еще не догадываетесь, зачем я повторил этот опыт? — спросил девушку ученый. — Из двух путей, по которым следуют импульсы, мы выключили один; теперь разрушим второй — гуморальный...

Водный обмен — эта основа основ гуморального потока — регулируется, как думают, придатком мозга — гипофизом. Этому важному центру Быков решил нанести сильную травму, нарушить его функции и глубоко расстроить, таким образом, гуморальные пути. В науке все еще не гонимы споры, кто именно регулирует водный обмен. Быков шел наугад, опираясь только на логику.

Собаку подвергли жестокой операции — наложили кольцо на ножку придатка мозга. Три дня спустя над животным уже делали опыты, рожок в камере снова звучал. Левая почка откликнулась усиленным мочеотделением, правая же полностью утратила способность отвечать на условные раздражения.

Когда вливали воду в прямую кишку, почка усиливала отделение мочи, но связать этот процесс с условным раздражителем не удавалось. Левая почка попрежнему могла образовывать временные связи: ее лишили гуморального

пути; однако оставался еще один — нервный.

Путей было два, безусловно...

★

Быков сидит один за столом. Он размышляет над книгой. Перед ним бумага и чернила, — затруднения легче всего разрешать на бумаге. Сомнения осаждают его. Профессор спорит с самим собой.

— Вы не можете убедить меня, — настойчиво звучит в его ушах размеренная речь, — что внутренние органы чувствительны. Вы отлично знаете этот опыт: если повысить стрихнином возбудимость нервной системы кролика настолько, что прикосновение к коже вызывает общие судороги, животное все-таки останется спокойным, когда мы станем в это время резать и колоть его сердце, желудок, кишки и печень. А раз нет болевой чувствительности, т.е. реакции мозга на раздражение, — нет и участия полушарий в регулировании этих органов...

Павлов на это отвечал:

«При нынешнем изучении механизмов нервной системы опыты делаются на только-что искалеченном операцией животном. Естественно, что мы очень затруднены открыть законы нормальной деятельности нервной системы, так как нашим искусственным раздражением приводим ее в хаотическое состояние...»

Быков мог бы кое-что добавить еще, но он деликатно молчит, предоставляя воображаемому противнику возможность продолжить спор:

— Какие у вас, профессор, основания утверждать, что внутренние органы обладают способностью воспринимать раздражение через нервы и кровь и доводить свои импульсы до коры мозга?

На этот вопрос Быков должен ответить, как ни строг был бы суд:

— Я сказал бы больше... Эту сигнализацию из одного внутреннего органа кора мозга передает в другой. Существует система взаимосвязи между отдельными частями живого целого. В организме не редкость, когда деятельность

одного механизма связана с ослаблением другого; внешние обстоятельства угнетают работу внутренних органов. И, наоборот, под влиянием глубоких забот, напряженного внимания или выживания люди забывают дышать, теряют аппетит. Внезапный страх подавляет молочную железу — у кормилиц исчезает молоко. Радость, наоборот, возбуждает: заслышав ржание жеребенка, кобылица не в силах сдержаться, роняет молоко на ходу. В период полового созревания припухает щитовидная железа и дегенерирует зубная. Гормоны желез меняют соотношение обмена, одни усиливают белковый и солевой обмен, иные задерживают тот или другой. Они снижают и повышают выделение фосфора, кальция, магния, калия, натрия, возбуждают кроветворные органы.

— Но где доказательства, что эти процессы регулируются корой головного мозга? Почему не допустить, что они завершаются в спинномозговом стволе? — не унимается воображаемый противник.

Быков отвечает:

— Одной собаке через фистулу вливали воду в желудок, подкармливая ее в это время мясо-сахарным порошком. Другой собаке в момент орошения желудка пускали в кожу электрический ток. Третьей — при тех же обстоятельствах вливали в рот кислоту. После нескольких сочетаний у животных образовалась временная связь. На вливание жидкости каждая собака отвечала по-разному: первая собака облизывалась, вторая отдергивала лапу, третья с чувством отвращения роняла слюну. Раздражение желудка, столь же безразличное проявление, как звонок и удары метронома, стало условным раздражителем. Общеизвестно, что слизистая желудка лишена всякой связи с лапой собаки и слюнной железой. Знаем мы также, где образуются временные связи. Только через кору мозга могли сигналы желудка дойти до скелетной мускулатуры и до железы. Еще один пример: измученные долгим переходом бойцы падают с ног от усталости. Беспорывные бои истощили их. Бойцы ло-

жались, готовые забыть об опасности. Но явился их любимый полководец и обратился к ним с речью. Он точно оживил их, освободил заторможенные силы, скованные самовнушением.

На путях и перекрестках жизни нет мертвого покоя, — непрерывно идут сигналы от низшего к высшему и дальше к соседу, близкому или дальнему, кого сигнализация эта касается. Спинной мозг бывает только передатчиком, головной — высшим арбитром, регулятором.

— Любопытная схема, — слышится Быкову холодный ответ, — ее надо, очевидно, так понимать... Из внутреннего мира непрерывно идут сигналы: «Мы здесь, на посту, нам мешают такие-то силы, шлите поддержку из резервов...», «Воздействуйте на моего соседа, он расстраивает мою жизнедеятельность... Если помощь не явится, наступит несчастье...», «У меня все благополучно, кислотность чуть-чуть повышена, сигнализировать железам, дайте щелочи...»

Насмешка воображаемого оппонента раздражает ученого, и он становится вдруг деликатным. Странная манера — чрезмерной любезностью выражать свое презрение противнику:

— Не так надо понимать нашу схему... Тут нет разброда, бестолкового перезванивания вверх и вниз. Если собаке вводит через фистулу в желудок или в двенадцатиперстную кишку теплый бульон, к полушариям пойдут сигналы различного смысла и значения. Каждый орган сигнализирует о себе, претендует на что-то, но только кора мозга дано изменять уровень деятельности одного во имя интересов организма в целом. Когда у собаки удаляют мозжечек, она лишается способности владеть своим телом. Проходит время, и кора мозга берет на себя функции мозжечка, животное как бы выздоравливает... В этой сложной механике не все гладко и просто. Миллионы лет формировалось высоко организованное животное. Менялись климаты, среда, под их влиянием возникали и отмирали различные органы и комбинации нервов. Исчезновение их не всегда было

полным, ненужные, обреченные, они оставались среди живых. Триста таких рудиментов несет в себе человек. Природа долго хранит память о своих мертвецах. Как в былые эпохи, когда функции их так были важны, они продолжают посылать сигналы в мозг, напоминая о себе, требовать и настаивать на чем-то...

Чем резче звучит голос противника и злее замечания его, тем предупредительнее ответы Быкова:

— Вы неправы, нет, нет... Мы образовали у собаки временную связь на звуки метронома и орошение желудка. И первый, и второй условные раздражители вызывали у животного слюноотделение — внутреннюю подготовку к приему пищи. Два сигнала находились в руках экспериментатора: один из внешнего мира, а другой из внутреннего. Казалось, если одновременно пустить оба сигнала в ход, собака ответит на них так же, как на каждый в отдельности. Случилось другое. Орошение желудка и стук метронома всегда вызывали слюноотделение; когда же оба сигнала были приведены в действие одновременно, — они сделали поведение собаки сумбурным. Точно силы, пришедшие извне и изнутри, столкнулись и вступили в борьбу! Когда сумятица улеглась, испробовали раздражители в одиночку. Ввели воду в желудок животного. Ответом было обильное слюноотделение. Зато звуки метронома вызвали удивительно слабую реакцию. Голос, поданный изнутри, заглушал требования внешнего мира. Мозг явно отдавал предпочтение сигналам внутреннего мира. Но если так мощно раздаётся его голос и требования его стоят в

первом ряду, почему мы так редко слышим его призывы? Мы чувствуем свой желудок, печень и почки лишь тогда, когда их поражает страдание. Казалось бы, это странно; но что стало бы с нами, если бы тысячи сигналов беспрерывно загромождали наш мозг? Облегчило ли бы это нашу борьбу за существование? Ту же участь разделяют сигналы из внешнего мира. До нашего слуха не доходит бой часов, когда мы заняты делом, но в минуты ожидания, когда время приближает желанную цель, их тиканье становится невыносимым...

...Профессор устал спорить с собой, возражать неутомимому противнику. Сегодня ему особенно трудно; надо было обдумать план серьезного эксперимента. Он бился с сонмом противников, возражал им, как мог...

Мы не гадаем уже больше о том, что творится в органах внутреннего мира, по тому, как проявляются условные рефлексy. Временные связи стали инструментом возбуждения и торможения жизнедеятельности в любой части организма. «Кора мозга, — стало ясно Быкову, — находится под воздействием раздражений, идущих изнутри и извне. С одной стороны, внешний мир с его вечно меняющейся средой, сложными формами борьбы за существование, на которые надо ответить, а с другой — огромное хозяйство внутреннего мира.

Два ряда устойчивых фактов стоят перед корой, и от того, как правильно она их разрешит, зависит благополучие всего организма...»

Быков спокойно отодвигает бумагу, — ему нечего больше прибавить.

Горький в борьбе с литературным распадом

Ан. ВОЛКОВ

★

Общезвестно значение А. М. Горького как организатора и вдохновителя литературного движения нашей советской эпохи. Однако и в предреволюционное время великий пролетарский писатель был непримиримым борцом против реакционной литературы, был неустанным собирателем передовых прогрессивных писателей.

В годы реакции после поражения революции 1905 года большое значение имела борьба Горького с идеями литературного распада — отказа от общественных, гуманистических традиций недавнего прошлого русской литературы.

Участие Горького в работе социал-демократической партии — это факт, связанный не только с биографией пролетарского писателя, но и с его творчеством. В революционном движении он увидел единственную правду жизни. В хаосе и сутолоке капиталистического общества Горький нашел спокойных и уверенных в себе борцов, которые подобно машинисту Нилу из пьесы «Мещане» могли сказать: «Я этого порядка не хочу! Я знаю, что жизнь — дело серьезное, но не устроенное...»

Поэма «Человек», напечатанная в первом сборнике «Знания», — программное произведение Горького. Здесь он ярко и последовательно выразил свой идеал человека. Этот герой не только протестант против социального угнетения, против мира мещанской пошлости, но и активный преобразователь жизни, борец за светлое будущее всего человечества.

Горький противопоставляет этих людей, достойных имени человека, всевозможным пошлякам, обывателям и мещанам, беспомощным интеллигентским хлюпикам, вольным и невольным пособникам эксплуататоров.

Выехав за границу в январе 1906 года, Горький не только не прекратил своей работы по сплочению революционных и демократических сил русской литературы, а еще более усилил эту деятельность. Острота и принципиальность этой деятельности обуславливаются тесной связью Горького с большевистской партией и дружбой с ее великим вождем В. И. Лениным.

Характеризуя эту эпоху, Ленин писал: «Годы реакции (1907—1910). Царизм победил. Все революционные и оппозиционные партии разбиты. Упадок, деморализация, расколы, разброд, ренегатство, порнография на место политики»¹. Настроения деморализации и упадка нашли свое выражение и в литературе. Начиная с 1907 года возникают в обильном количестве альманахи, сборники, на страницах которых дискредитировались революционеры, развенчивались вчерашние кумиры, проповедывались порнография и садизм. В этих сборниках принимали участие не только откровенные реакционеры, но и бывшие поборники демократизма. В это же время среди литераторов получают

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXV, стр. 176.

широкое распространение настроения пессимизма и разочарования. От «Знания» отходит целая группа писателей, не согласных с последовательной революционной линией, проводимой Горьким.

Ряд литераторов откровенно солидаризируется с «Вехами». На страницах «Современного мира» печатается «Санин» Арцыбашева. Другие авторы специализируются на эротических темах, стремясь найти «выход» из «душной общестственности». В альманашном хоре особенно выделяются «Шиповник», возглавляемый Л. Андреевым и Ф. Сологубом, и «Жизнь», выходявшая при участии А. Куприна и Д. Айзмана.

Горький всю силу своего авторитета и таланта направляет на то, чтобы противодействовать распаду, поддерживать и объединять писателей, оставшихся верными демократическому знамени. В борьбе с идейным распадом Горький всецело осуществляет линию большевистской партии. Ленин пишет ему: «Я тысячу раз согласен с Вами насчет необходимости систематической борьбы с политическим упадочничеством, ренегатством, нытьем и проч¹».

Кратковременное сближение Горького с группой А. Богданова по философским вопросам не помешало ему руку об руку с Лениным и большевиками бороться с реакционной литературой. Горький был чужд богдановского сектантства — его многообразная деятельность никак не укладывалась в рамки группы «впередовцев». Именно в эти годы устанавливается оживленная переписка между Лениным и Горьким. В своих письмах Ленин обращается к писателю, как к другу, посвящает его в детали партийной жизни и делится политическими новостями. В письме от 25 февраля 1906 года Ленин откровенно высказывает свое отрицательное мнение о горьковской статье, предназначенной для «Пролетария», и замечает в то же время: «Мы должны подражать из-за философии так, чтобы

«Пролетарий» и беки, как фракция партии, не были этим задеты. И это вполне возможно.

И Вам следует, по моему, этому помочь. А помочь Вы можете тем, что будете работать в «Пролетарии» по нейтральным (т.-е. ничем с философией несвязанным) вопросам литературной критики, публицистики и художественного творчества и т. д.»¹

Именно в это время Ленин называет Горького крупнейшим представителем пролетарского искусства. И писатель всей своей деятельностью оправдывает эту высокую оценку. Его статья «Разрушение личности», хотя и была напечатана в редактированном Богдановым сборнике «Очерки философии коллективизма», однако в ней ничего богдановского не было. Горький отдал известную дань богоискательству в своей повести «Исповедь», но, как он указывает в письме к Брюсову, был сам недоволен этим произведением.

Характерно, что по поводу письма Ленина с резким отзывом об «Исповеди», которое Владимир Ильич не отослал, Алексей Максимович писал: «Напрасно не послали». Влияние Ленина сказалось во всей литературной деятельности писателя. Так после критического замечания Ленина о «Современнике», в котором принимал участие Горький, последний обращается к редактору «Современника» Амфитеатрову с письмом, в котором также критикует позицию журнала, а вскоре и совсем порывает с ним.

В борьбе с ренегатством в среде литераторов Горькому принадлежит почетная роль. Он решительно противодействует растлевающему влиянию декаденса. Это была не просто литературная полемика, а большой исторический спор, борьба за человека, в самом глубоком смысле этого слова. Горький выступает со статьями «Разрушение личности», «О современности», «О карамазовщине», «Еще о карамазовщине», «О цинизме», в которых дает уничтожающую критику «новейших» писателей, дискредити-

¹ В. И. Ленин. XXVI Ленинский сборник, стр. 43.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXVIII, стр. 530.

рующих образ человека, парализующих его волю к борьбе.

В своих статьях революционный писатель анализирует процесс разрушения личности, видя его корни в мещанском индивидуализме, в отрыве личности от коллектива. В то время как в классической литературе человек изображался с широким общественным и идейным кругозором, в «новейшей» литературе он выступает скорее как существо зоологическое. Горький вскрывает причины вырождения и обнищания литературы. Главное зло литературы этого времени Горький видит в утрате ею «социально-педагогического» значения. Литераторы, — указывает он, — «находятся в сильном подчинении подленьким интересам все растущей уличной прессы и вольно или невольно служат ей, неправомерно компрометируя себя в глазах читателей-демократов — самого ценного читателя в стране».

Горький разоблачает «деятелей» распада, объявлявших себя представителями «свободной литературы». Он показывает, что эта «свобода» понимается исключительно, «как торговля словом, как свобода лжи, клеветы и клоунского издательства над святынями». Эти слова целиком перекликаются с мыслями Ленина в статье «Партийная организация и партийная литература» (1905 г.): «Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинах, проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству? Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая на изнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания»¹.

В буржуазной литературе этих лет

борьба за «освобождение личности» принимала довольно своеобразное выражение. Характерно, что и такие писатели, как Арцыбашев, Каменский, именовали себя представителями «свободной литературы», а на самом деле у них речь шла о свободе от всяких общественных норм и даже норм приличия. Именно в таком смысле боролся за «освобождение личности» Каменский. Герой его рассказа «Белая ночь» врывается в чужие квартиры, пытается разрушить «предрассудок» о том, что входить можно только к знакомым.

Горький болезненно переживает падение литературы. В письме к Пятницкому (своему сотоварищу по издательству «Знание») Горький писал: «У меня, видимо, развивается хроническая нервозность, кожа моя становится болезненно чуткой — когда дотрагиваешься до русской почты, пальцы невольно сжимаются в кулак и внутри груди все дрожит — от злости, презрения, от предвкушения неизбежной пакости. Я не преувеличиваю. В чем дело? Дело в том, что я люблю русскую литературу, люблю страну и верю в ее духовные силы. Это большая любовь. И вот я вижу что-то безумное, непонятное, дикое, отчего мне делается больно и меня охватывает облако горячей мучительной злости. Народ наш воистину проснулся, но пророки — ушли по кабакам, по бардакам. Вижу, что Куприн, Андреев — талантливые люди — идут рядом с хулиганами, которые, прикрываясь именами журналистов, рекламируют какой-то банкирский дом...»¹

Резко обрушившись на своих вчерашних соратников, Горький противопоставляет им новые растущие силы в русском народе. Он видит рост демократии в массах и отмечает это в том же письме: «А страна, как это ясно для меня, нуждается в сильных, здоровых рабочих людях, в простой, яркой и здоровой литературе. Я получаю отовсюду сведения о кружках самообразования, о жадном интересе к самопознанию и философии. Кто удовлетворит эту жажду?

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. VIII, стр. 389.

¹ Письмо от 4 октября 1908 г. (Дата получения Пятницким.) Архив Горького.

Мои бывшие товарищи Андреевы, Курпины, Чириковы — это люди, за которых до отчаяния стыдно мне»¹.

Горький стремится организовать разобщенные силы и направить их на борьбу с распадом. В письме от 26 декабря 1907 года он дает указания Пятницкому: «Вообще нам — «Знанию» — необходимо занять боевую позицию, необходимо определенно встать против всей этой сволочи, которая с таким шумом ныне поднимается на первые позиции»². Алексей Максимович предлагает ввести в сборниках «Знания» отдел литературно-критических и философских статей: «Необходимо дать отпор г.г. идеалистам, мистикам и всякой всячине, ютящейся в «Русской мысли», «Живой жизни», «Факелах» и других щелях литературных»³.

Вся эта борьба ведется во имя человека. В новых исторических условиях писатель продолжает ту линию, которую он осуществлял раньше, выступая против одностороннего, мрачного изображения жизни. Выходец из низов, Горький больше чем кто-либо видел человеческую пошлость и мерзость и в то же время верил в победу хорошего над плохим, человека над зверем. В одном из своих писем Алексей Максимович выразил свой взгляд на жизнь: «И страшно за людей, и больно, и стыдно за них, но — вера в доброе начало человека и в победу этих начал — не падает. Почему? Потому что я знаю людей, видел их много в разных положениях: в горе и радости, дурных и хороших, смешными и жалкими, в грязи и на высоте, — а, в конце-то концов, ото всего, что я взял у них, в душе моей отложилось хорошее, крепкое чувство к ним»⁴. Всем своим творчеством Горький борется за то, чтобы каждый из людей был человеком, достойным этого гордого имени; вспомним его строки из поэмы «Человек»: «Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний — хочу, чтобы каждый из лю-

дей был человеком! Бессмысленна, позорна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно весь уходит на то, чтобы другие пресыщались их хлебом и дарами духа».

В своих произведениях писатель показал, что тупые, пресыщенные мещане лишь временные хозяева жизни, что будущее принадлежит не им, духовным и моральным выродкам, а новым людям, знающим цель и смысл борьбы. Полемику с мещанской литературой Горький ведет не только в статьях и в процессе своей организаторской деятельности, но и в художественных произведениях. Вещи его, написанные в эти годы, кладут резкий водораздел между его творчеством и произведениями «новейших» писателей.

Интерес к пролетарскому революционному движению в Сормове, связь с большевистской партией в дальнейшем, наконец, работа с большевиками в годы первой русской революции, — все это вдохновило писателя на создание замечательных образов пролетарских революционеров. Сказка «Товарищ», написанная в 1906 году, по своему стилю напоминает поэму «Человек». В ней горьковский идеал человека выражен так же декларативно, но уже с большей конкретностью: «Среди мрачной суеты, горя и несчастья, в судорожной схватке жадности и нужды, в тине жалкого себялюбия, по подвалам домов, где жила беднота, создававшая богатства города, невидимо ходили одинокие мечтатели, полные веры в человека, всем чужие и далекие, проповедники возмущения, мятежные искры далекого огня правды». И эта жгучая правда — в новом слове: «товарищ».

Сказка «Товарищ» созвучна реалистической повести «Мать», хотя и написана в условно-нравоучительной форме. Эта вещь играла большую пропагандистскую роль.

Сам Горький придавал сказке «Товарищ» большое значение; напечатав эту вещь в тринадцатом сборнике «Знания», он одновременно выпустил ее отдельной книгой в Берлине на русском языке и вскоре переиздал на трех язы-

¹ Архив Горького.

² Там же.

³ Там же.

⁴ М. Горький. «Материалы и исследования», т. I, стр. 336.

как — шведском, финском и русском. «Товарищ», по мнению Горького, так же, как и «Мать», должен был играть организующую роль в пролетарской революционной борьбе, волна которой еще держалась на высоком уровне. Вслед за «Товарищем» в четырнадцатом сборнике «Знания» появляется пьеса «Враги». Здесь даны уже в развернутом плане положительные образы пролетарских революционеров. Они стоят в центре пьесы. Старик рабочий Левшин, глядя на своих товарищей рабочих, замечает: «Хороший народ расти начал. Этак-то пойдем, выпрямимся мы». Актриса Татьяна сочувствует рабочим, но недоумевает: «Почему они так просты. Так просто говорят, просто смотрят — почему?» Ей кажется, что революционер должен быть каким-то необыкновенным существом. Муж Татьяны — Яков, также симпатизирующий рабочим, отвечает на ее вопросы: «Они спокойно верят в свою правду».

Эта глубокая вера в свое дело чувствуется во всех словах и поступках рабочих, она придает силы, поднимает на героизм и самопожертвование. Пролетарский героизм отличен от героизма в понимании революционеров прошлых времен, в частности народников, не имевших прочной опоры в массах. Рабочий Рябцов, действующий во «Врагах», готовый пожертвовать собой за рабочее дело, расценивает свой шаг как естественный долг перед коллективом. Самопожертвование Рябцова во имя своих товарищей и своего дела ничего общего не имеет с народнической жертвенностью. Сколько мужества и стойкости проявляют рабочие во время происшедшего на заводе события. Они выступают не обвиняемыми, а обвинителями, они верят не только в правоту своего дела, но и в его торжество. Это особенно чувствуется в последних словах Левшина, которыми заканчивается пьеса: «Нас не вышвырнешь, нет! Будет, швыряли! Пожили мы в темноте беззакония, довольно! Теперь сами загорелись — не погасишь! Не погасите нас никаким страхом, не погасите!»

В психологическом облике Левшина есть те же черты, которыми отмечен

характер машиниста Нила в «Мещанах», — оптимизм, бодрость. Рабочие в пьесе Горького — носители подлинно благородных начал, тогда как их враги — те, кто претендует на благородство, — морально опустошенные и низкие люди. Моральная красота облика рабочих пленяет Татьяну, честную интеллигентку, понявшую правду рабочего дела. Наблюдая поведение Левшина на допросе, она дважды восклицает: «Эти люди победят!»

Пьеса «Враги» восстанавливала правдивый образ революционера как носителя высших, благородных человеческих качеств.

В пьесе «Враги» автор показал людей в их отношениях, тесно связанных общими интересами, общими идеями. Он впервые в русской литературе дал образ пролетарского коллектива. Это было антитезой индивидуалистическому изображению человека, характерному для литературы распада.

Еще более сильным ударом этой литературе явилась повесть «Мать», которая в буржуазной среде вызвала недовольство и многочисленные разговоры об упадке таланта Горького и одновременно привлекла к нему внимание всех представителей прогрессивной литературы и широких трудовых масс России и Запада. Повесть еще более повысила роль и значение Горького как организатора и вдохновителя революционно-демократической литературы. Представители подлинной народной демократии — писатели из среды рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции — признали в авторе «Матери» учителя жизни, художника, указывавшего реальные пути борьбы за светлое будущее, утверждавшего веру в окончательную победу рабочего класса. В. И. Ленин дал высокую оценку «Матери». Еще до выхода повести он так отзывался о ней: «Книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя»¹.

¹ М. Горький. В. И. Ленин. Избр. соч., т. II, стр. 675.

В повести «Мать» героини-работницы изображены высокосоциальными людьми с ясным пролетарским мировоззрением. Таков прежде всего Павел Власов, крепко связавший свою судьбу с революцией, заражающий своим революционным энтузиазмом массы. Павел Власов, рассказывая матери о «людях, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду», горячо восклицает: «Это лучшие люди на земле!» Горький изобразил своих героев в развитии их революционного самосознания. Он убедительно показал, как Ниловна постепенно, шаг за шагом, приобщается к революционной работе своего сына и его товарищей, убеждаясь на личном опыте в правоте их идей.

В изображении революционеров с наибольшей силой сказался новаторский характер горьковского реализма, совершенно не понятого буржуазной критикой, создавшей легенду о схематизме и искусственности образов «Матери». Зато рабочие-читатели сразу же увидели в повести, и прежде всего в образе Павла, правду о революционерах, правду о себе. В «открытом письме» к Горькому рабочие-большевики писали: «В лице Павла в русской литературе, можно сказать, впервые выступает рабочий, проникшийся всеми фибрами души духом того идеала, который несет освобождение от оков жизни не только рабочему классу, но и всему человечеству, который рисует нам новую, гармонично-красивую, свободно-радостную жизнь всеобщего счастья»¹.

Герои «Матери» резко противостоят псевдореволюционерам из «Тьмы» Л. Андреева, «Навях чар» Сологуба, «На весах жизни» Винниченко, «Морской болезни» Куприна.

На фоне этих произведений «Мать» Горького звучала во весь голос, утверждая подлинную революционную правду, показывая в лице революционеров лучших людей народа. Повесть явилась мощным оружием в борьбе с врагами пролетариата.

Горький и в дальнейшем проявляет интерес к образам революционеров.

Ленин, с которым писатель делился своими творческими замыслами, рекомендует ему создать еще что-нибудь вроде «Матери»¹. Горький задумывает написать повесть «Сын», намереваясь показать в ней во весь рост образ большевика. Однако этот замысел писателю осуществить не удалось. Зато, как указывает на основе изучения материалов С. Касторский, повесть «Лето» (1909 г.) и рассказы «Романтик» (1910 г.) и «Мордовка» (конец 1910 г., напечатана в 1911 г.) являются эскизами к «Сыну». В этих произведениях действуют революционеры—работники, крестьяне, интеллигенты, — образы их художественно раскрываются в духе «Матери». Особенно значительна повесть «Лето», в ней — бодрый призыв к революционной борьбе, уверенность в своих силах: «С праздником, великий русский народ! С воскресеньем близким, милый!»

Характерно, что в многочисленных письмах к литераторам Горький все время внушает веру в близкую победу народа и призывает к бодрости духа. «Желаю всего доброго, а главное бодрости духа»² — пишет он Е. Милицыной (1910 г.). С подобными призывами писатель обращается не только к собратьям по перу, но и к своим многочисленным корреспондентам из России.

В пьесе «Чудаки» (1910 г.) Горький создает положительные образы интеллигентов. Герой пьесы — писатель Мастаков — восклицает: «Я верю, что победит светлое, радостное — человеческое... Я ишу вокруг себя этих явлений... Жизнь — щедра, она мне их дает!» И далее: «Мне нравится указывать людям на светлое и доброе в жизни, в человеке... Я говорю: в жизни есть прекрасное, оно растет, давайте любовно поможем росту человеческого, нашего!»

Пропасть отделяет Горького от тех, кто вольно или невольно зачеркивает светлое в жизни человека, кто рисует его односторонне, в мрачных тонах, кто

¹ «Правда», 19 июня 1936.

² Архив Горького.

плохое в людях выдает за всю правду о них. Эту сторону правды Мастаков отнюдь не отрицает, но оц против того, чтобы она закрывала хорошее и убивала веру в завтрашний день.

«Мне просто до боли жалко людей, которые не видят в жизни хорошего, красивого, не верят в завтрашний день... Я ведь вижу грязь, пошлость, жестокость, вижу глупость людей — все это не нужно мне! Это возбуждает у меня отвращение... но — я же не сатирик! Есть еще что-то — робкие побегии нового, истинно человеческого, красивого — это мне дорого, близко... Имею я право указывать людям на то, что люблю, во что верю? Разве это ложь? Разве хорошее менее реально, чем дурное?»

В «Чудаках» Горький вновь обращается к своей трактовке правды в искусстве, данной еще в ранний период, в частности, в очерке «Читатель». Устами Мастакова он говорит: «Правда? Порой она такая дрянь... точно летучая мышь, кружится, кружится над твоей головой, серенькая, противная... Зачем они нужны, эти маленькие правды, чему они служат? Никогда я не понимал их значения... Ну, вот—моя старуха,— это ложь, скажут мне, уж я знаю, что скажут! Таких старух нет—будут кричать. Но, Лена, сегодня — нет, а завтра будут... Ты веришь — будут!»

Так в новых исторических условиях с особенной остротой встал тот же вопрос, к которому Горький неоднократно возвращался и раньше, и после пьесы «Чудаки». Постановка этого вопроса в годы реакции была тем более важна, что всевозможные натуралисты, под предлогом изображения правды, всячески концентрировали внимание на мелочах жизни, преимущественно из области узкосемейной и половой, дискредитируя и развенчивая всякие возвышенные стремления и идеалы человека. Именно с позиций этого ограниченного натурализма противники Горького упрекали его в том, что он не показал отрицательных черт в характерах его революционеров, а значит, не сказал всей правды о них. В упрек Горькому ставили образ Ниловыи, якобы надуман-

ный и нереальный. Между тем, в этих упреках понятие реализма подменялось понятием натурализма. На эти незаслуженные упреки можно было бы ответить словами Мастакова: «Таких старух нет — будут кричать. Но... сегодня — нет, а завтра будут...»

В новых исторических условиях пьесой «Чудаки» Горький напоминал о своих художественных принципах, которые теперь с особой силой нашли свое выражение в его творчестве. Показав среду, где нужно искать человека, достойного этого имени, Горький нарисовал также и противоположные слои общества. Он создал образы людей — двуногих животных, для которых скотское отношение друг к другу — основной жизненный принцип. В таких произведениях, как «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Последние», «Васса Железнова», писатель показал мещанство во всей его омерзительности и духовном ничтожестве.

Как видим, расхождение Горького с литературой буржуазного декаденса и в частности со своими былыми соратниками нашло глубокое отражение в его художественном творчестве.

Наиболее ярко и полно это расхождение характеризуется на примере личных и творческих взаимоотношений Горького с Л. Андреевым, которого Алексей Максимович очень ценил, как художника, считал его «человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины». В Андрееве Горький видел «человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет, единственного друга в среде литераторов».

Однако, когда этот писатель повернул вправо и начал отходить от демократического лагеря, Алексей Максимович дал ему суровую отповедь:

«Андреев совершенно лишен общественного инстинкта,—писал Горький,— он глубоко зоологически эгоистичен, но—несколько смущен этим — все еще стыдится органического недостатка своего и, чтобы прикриты, убить свой стыд, оправдать себя, упорно доказывает себе

самому и читателю всегда одни и те же два—или вернее—одно положение: бытие бессмысленное, а стало быть, и всякое деяние бесцельно. Человек — жертва жизни, а не строитель ее и не хозяин»¹. В этих словах—коренное различие двух писателей. Главный порок Андреева, по мнению Горького, — в неправильном взгляде на социальную среду, окружающую человека, на народ. Алексей Максимович замечает о «Сашке Жегулеве»: «Жегулев» затеян широко, в его лице, как мне кажется, предполагалось дать некоторое историческое лицо — человека нам знакомого, русского интеллигента, который приносил себя в жертву на алтарь служения интересам народа. Мать этого стремления — Византия, христианство, а Саша Погодин — воплощение его, — и вот он попадает в среду безличную, в среду гnedых, которые и есть русский народ. Эта среда, принимая его, убивает в нем Погодина-человека, вызывая к жизни Жегулева-зверя»².

В письме к Пятницкому, характеризуя рассказ Андреева «Заключение зверя», Горький отмечает в нем стремление писателя показать в человеке зверя: «Животное в нем всегда и всегда; оно понуждает его отрицать, бороться с человечеством — чистую, поэтически настроенную девушку велит изнасиловать, революционера свалить в грязь, человека вообще — нарисовать пошло, мелко, бессильным. И все это глупо, все это пакость»³.

Горькому, конечно, глубоко чуждо такое отношение к человеку. «Для меня человек, — писал А. М., — всегда победитель, даже и смертельно раненый, умирающий».

Иногда под видом «освобождения», «революционности», Андреев, по существу, утверждал такие идеи, которые были в корне враждебны освободительному движению. На страницах «Шиповника» Андреев выступил с «Письма-

ми о театре», в которых формулировал новый взгляд на искусство и классическую литературу. Он видит порок классической литературы в том, что она не проникала «в ту таинственную область, где царят совсем особые законы». В этом отношении Андреев видит особую заслугу декадентов. Так, Андреев, по существу, приходит к утверждению теорий декадентов. Л. Андреев резко расходится с Горьким также по поводу отношения к инсценировкам произведений Достоевского в Художественном театре.

В ряде писем Андреев упрекает Горького в том, что он переменял свою позицию, стал «другим». На самом же деле, сам Андреев решительно отходит от Горького, который всегда был последовательным революционным борцом. В этот период Андреев отдаляется от тех принципов, которые исповедывала группа писателей, объединенных вокруг журнала «Знание», что вполне соответствует его враждебности реализму. Впоследствии Горький в «Жизни Клима Самгина» одним метким штрихом вскрыл существо и функцию Андреева в эти годы. Дронов, предлагая Климу Самгину издавать газету, так представляет себе ее программу: «Привлечем все светила науки, литературы, Леонида Андреева, объявим войну реалистам «Знания», — к чорту реализм! И политику вместе с ним! Сто лет политиканили — устали, надоело! Все хотят романтики, лирики, метафизики, углубления в эти тайны, в кишки дьявола». Весьма показательно, что к «Шиповнику» Л. Андреева, противостоящему «Знанию», тяготели всякого рода декадентские и полудекадентские элементы. В «Шиповнике» участвует Борис Зайцев, являющийся одновременно участником мистических «Факелов», в издании «Шиповника» выходит полное собрание сочинений А. Ремизова. На страницах альманаха «Шиповник» находят приют декаденты — Бальмонт, Минский и др.

В лагере, враждебном Горькому, оказался и ряд других писателей, ранее объединявшихся вокруг «Знания». «Только Бунин, — писал А. М. в письме к Пятницкому, — верен себе,

¹ М. Горький. Материалы и исследования, т. 1, стр. 179.

² М. Горький. Материалы и исследования, т. 1. Письмо к Львову-Рогачевскому, стр. 179.

³ Там же.

все же остальные пришли в какой-то раж и видимо не отдадут себе отчета в делах своих»¹. И действительно, в эти годы Бунин продолжает сотрудничать с Горьким. Он встречается с ним на Капри, и эта встреча оказывает на него значительное влияние. По совету Горького, Бунин принимается за повесть «Деревня». После выхода ее (1910 г.) он пишет Горькому: «Вы представить себе не можете, до чего ценны для меня Ваши слова, какой живой водой брызнули Вы на меня». «Деревня» имела в ту эпоху бесспорно прогрессивное значение. В противовес столыпинской «идиллии» и народнической сусальности писатель дает картину голода и нищеты деревни. Эта картина является обвинительным актом господствующему классу. В повести «Лето», появившейся почти одновременно с «Деревней», Горький также дает резкую критику столыпинской действительности.

Но по этим произведениям мы наглядно видим существенное различие между позициями Горького и Бунина. Писатели по-разному оценивают уроки 1905 года. Горький говорит о том, что в деревне не погасли революционные огни. В центре внимания художника — группа крестьян, ведущих революционную пропаганду в народе. Бунин, наоборот, не видит в крестьянстве той силы, которой суждено когда-либо преодолеть вековую тьму рабства и невежества. Бунинские мужики лишены не только каких-либо революционных стремлений, — у них нет никакого интереса к событиям, происходящим за пределами их села. «Ждали великого деревенского бунта, но никто и бровью не повел» — так характеризует писатель настроение крестьянства в дни революции 1905 года. Народ в представлении Бунина не ждет «праздника» и не верит в его наступление.

Автор «Деревни» и в других своих произведениях, созданных в эти годы, так же подходил к отражению жизни крестьянства. В рассказах «Веселый двор», «Сто восемь» дана потрясающая

картина нищеты и голодной смерти. Но крестьяне в рассказах выглядят какими-то дикарями.

Горький резко разошелся с Буниным позже, когда Бунин встал на сторону врагов революции.

Если в первые годы пребывания за границей Горький всецело руководил «Знанием» и особенно сборниками, то чем дальше, тем труднее становилось ему осуществлять это руководство. Его отсутствие в России, разумеется, не могло не отразиться на «Знании» и на сборниках, которые заметно стали хиреть в эти годы. Пятницкий, фактический руководитель «Знания», далеко не всегда противодействовал проникновению в сборники идейно чуждых демократии произведений, таких, например, вещей, как «Легенда старого замка» Чирикова, «Рассказ» Г. Лазарина и др.

В полном согласии с Лениным Горький выступает против всякого рода псевдодемократических «речистов», ставя их на одну доску с «вехистами». В статье «О русской интеллигенции и национальных вопросах» Горький утверждает, что «раскол между демократией и тою частью интеллигенции, идеологами которой являются вехисты», есть, конечно, раскол по линии классовых интересов и классового «мироощущения».

В ответ на приглашение Короленко участвовать в протесте против смертной казни, организуемом кадетской «Речью», Горький писал: «Я думаю, видите ли, что все эти «речисты» и «вехисты» сами начнут вешать, дайте-ка им силу! Скорее в чорта поверю, чем в искренность людей, которые вчера были нигилистами, а сегодня, оставаясь в душе таковыми же, притворяются не только верующими, а почти, церковниками; вчера выдавали себя защитниками демократии, а ныне наименовались «оппозицией Его Величества. Просто-душно говоря — я желал бы, чтоб их тоже повесили куда-нибудь»¹.

В другом письме к Короленко, опять возвращаясь к этому вопросу, Горький

¹ Архив Горького.

¹ Архив Горького. Письмо от 4 ноября 1910.

отвергает возможность сотрудничества с кадетской демократией: «Необходимость снова строить широкую демократическую платформу, — замечает он, — это ли не аксиома? А «Речь» становится все более антидемократичной»¹.

Вместе с тем Горький продолжает с большим уважением относиться к Короленко, как к своему учителю. В письме к Белоусову Алексей Максимович рекомендует кандидатуру Короленко в качестве редактора журнала «Путь». После смерти Толстого Горький пишет большое письмо Короленко, в котором делится своими сокровенными мыслями о великом писателе. В многочисленных письмах к начинающим писателям Алексей Максимович рекомендует им учиться у Короленко. Но вместе с тем он отрицательно относится к стремлению Короленко связать свой подлинный демократизм с псевдодемократами из кадетской «Речи».

Горький подвергает резкой критике позицию журнала «Современный мир», который в это время растерял свои демократические лозунги. В письме к Кранихфельду (июнь 1912 г.) Горький писал: «Считая себя социалистами и демократами, вы очень мало внимания обращаете именно на демократию, на те настроения, которыми она живет, то «брожение без дрожжей, которое затемняет ее сознание. Почему Вы, например, не следите за такими изданиями, каковы «Народная Семья», «Искры Жизни», «Живое Слово», «Жизнь для всех», «Сибирская Жизнь», провинциальные сборники произведений писателей из народа», Битнерово предприятие «Гимназия для всех» и на все, чем питается современный массовый читатель? Следить за этим движением — наша обязанность. — Извините меня, вы ведете журнал холодно, лениво и небрежно; в нем не чувствуется единства и ясного сознания цели, преследуемых Вами»².

В отличие от псевдодемократов из «Современного мира», Горький, живя вдали от России, успевает следить за всеми малейшими ростками народной

демократии, и недаром он в этом же письме заявляет: «Я плохо понимаю, для чего и в каких целях издается «Современный мир», мне кажется, что вы, господа, живя в Питере, живете гораздо дальше от России, чем я, и не слышите ее наиболее громких воплей»¹.

В письме к Мурашеву Горький поддерживает его стремление «создать хорошую демократическую газету»², но он выражает сомнение в том, что такая газета будет организована. Горький ищет пути для связи с подлинными представителями демократии. Он принимает участие в журналах «Заветы» и «Современник» и через них устанавливает связь с многочисленными писателями из народа. К нему устремляется поток рукописей, из которых он отбирает все талантливое и ценное. Благодаря этому вниманию в «Современнике» появляются имена писателей, связанных с народом, в их числе Шолом Алейхем и И. Вольнов. Однако руководитель журнала «Современник» Амфитеатов склонен был рассматривать рукописи таких писателей как принудительный ассортимент, в то время как Горький видел именно в них наиболее ценный материал для журнала.

В результате расхождения с Амфитеатовым, а также под влиянием критики «Современника» в письме Ленина Горький в конце 1911 года порывает с этим журналом.

В 1911 году Горький принимает участие в руководстве литературным отделом журнала «Заветы». Он привлекает в «Заветы» молодых писателей. Сохранилось значительное количество писем Горького к Миролюбову, редактору журнала, с характеристикой творчества начинающих писателей. Однако эта прекрасная инициатива Горького не всегда находила поддержку в редакции. Так, предложение о привлечении в «Заветы» национальных авторов не было осуществлено. Кроме того, А. М. не мог согласиться с линией журнала, на страницах которого был напечатан клевет-

¹ Архив Горького.

² М. Горький. Материалы и исследования, т. I, стр. 294.

¹ Архив Горького.

² Там же.

нический роман Ропшина-Савинкова. Из-за этого он порвал отношения и с «Заветами». В письме к Миролубову от 8 июня 1912 года Алексей Максимович писал: «Да, Виктор Сергеевич мне очень неприятно было видеть роман Ропшина в первой же книжке, я считаю, что, сделав это, вы нарушили данное мне обещание. Мне кажется, что нарушено также и еще одно «обещание» — не привлечены к сотрудничеству иноплеменные литераторы, о чем говорилось и с необходимостью чего вы были согласны. Эти нарушения дают мне право считать и себя свободным от обещания сотрудничать в «Заветах»¹.

Годы подъема вызвали большой размах творчества писателей из народа. Именно в этот период вокруг легальных большевистских изданий — «Звезды», «Правды», «Просвещения» — оформляется и спланируется передовой отряд пролетарских писателей. Статья Горького «О писателях-самоучках» появилась как раз на рубеже этой новой эпохи. Статья была опубликована в феврале 1911 года в журнале «Современный мир», и в это же время на страницах газеты «Звезда», издаваемой большевиками совместно с группой меньшевиков-партийцев, начинают появляться стихи пролетарских поэтов. В феврале 1911 года на страницах «Звезды» печатается стихотворение рабочего Д. Одинцова, будущего правдиста и участника первого сборника пролетарских писателей. В апреле 1911 года в «Звезде» напечатано стихотворение Л. Зилова «Рабочий», характерное реалистическое изображение пролетарского коллектива, готовящегося к революционным действиям. Влияние статьи Горького сказалось на потоке произведений рабочих в «Звезду», которая с осени 1911 года целиком переходит в руки большевиков. В связи с этим происходит резкое изменение поэтического отдела газеты. На ее страницах появляются имена поэтов, активных участников революционного подполья — Л. Старка, А. А. Богданова, Г. Шапира, И. Воинова и других. В их

стихах мы видим выражение последовательно-революционных идей. Многие произведения, печатавшиеся в «Звезде», вызвали многочисленные цензурные преследования, нередко оканчивавшиеся конфискацией номеров. Цензура рассматривала стихи «как призыв к бунтовщическим действиям».

Поэтический отдел «Звезды» так же, как и общеполитические ее отделы, откликался на все важнейшие вопросы рабочего движения и политической жизни страны, — газета печатала стихи, посвященные студенческому движению, приезду английских парламентариев; газета в стихах бичует партию «Народной свободы», бьет по конституционным иллюзиям, еще сохранившимся в среде рабочего класса. Горький внимательно следит за беллетристикой, печатающейся в «Звезде», к участию в которой он привлекается Лениным. Он печатает в «Звезде» несколько сказок, вызвавших горячее одобрение и благодарность Ленина. Горький и Ленин обмениваются впечатлениями о газете.

Хотя после перехода «Звезды» в руки большевиков в поэтическом отделе происходит резкий перелом, однако, на страницах «Звезды» еще не проявилось массовое литературное движение, которое характерно для следующего правдистского периода. И. В. Сталин, характеризуя эту эпоху, указывал, что «в центре этой борьбы за партийность, за создание массовой рабочей партии стояла «Правда»¹.

На страницах «Правды» товарищ Сталин писал о задаче воспитания литераторов из среды рабочих. Уже в первом номере редакция призывала своих читателей-рабочих к активному сотрудничеству в газете, к литературному творчеству. Несколько позже «Правда» печатает статью под заглавием «Рабочие писатели», в которой читаем: «Начало положено: будем же тщательно оберегать и дружеской рукой поощрять каждое рабочее дарование, каждый проблеск рабочего таланта. Начинайте, товарищи рабочие, выработать из се-

¹ Архив Горького.

¹ Сб. «Путь Правды» (материалы и воспоминания), изд. «Октябрь», 1923, стр. 21.

бя редакторов и рабочих журналистов, и рабочих художников литературы. Об этом надо постоянно заботиться, на это надо уделять силы и время.

Шире дорогу рабочему! Да здравствует рабочий писатель!»¹

«Правда» не только печатала произведения пролетарских писателей, она руководит пролетарским литературным движением теоретически и практически. Статьи «Правды» того времени о литературе представляют до сих пор большую ценность в борьбе за формирование социалистической эстетики. «Правда» проводила ту же линию в литературе, — она выступала против тех же противников, что и Горький. Недаром она горячо поддержала выступление Горького и защищала его от нападок реакционной литературы. «Правда» печатает статью «Поход против М. Горького», в которой разоблачает лживость и продажность либеральной и реакционной прессы, ополчившейся против М. Горького в связи с его выступлением по поводу инсценировки романа «Бесы» Достоевского Московским Художественным театром»². Газета поддерживает борьбу Горького против ликвидаторской беллетристики в статье «По поводу одного рассказа»³.

Так же, как и Горький, «Правда» боролась за реализм в искусстве, против декадентства. В статье «Возрождение реализма» говорилось: «Несомненно, многие из этих писателей (реалистов.— А. В.) чужды рабочему движению и идеологии пролетариата. Однако, несмотря на это, своим творчеством, своими исканиями и сомнениями они выражают новый сдвиг общественных сил, возврат демократических кругов общества к жизни... Вот почему русские декаденты склонны рассматривать реализм в связи с марксизмом. Вот почему они страстно, порой даже злобно критикуют реалистов, ибо в них они видят отголосок нового движения»⁴.

«Правда» поддерживает демократи-

ческую реалистическую литературу и защищает ее от нападок декадентов. Здесь она целиком поддерживает Горького.

Ленин, горячо одобряя литературную деятельность Горького в эти годы, настойчиво и неоднократно приглашает Горького к участию в «Правде», делится с ним своими мыслями о газете. В январе 1913 года Ленин приглашает Горького заведывать литературным отделом «Правды»: «В «Правду» пишу сегодня, чтобы они, спросив Тихонова, напечатали, что Тихонов и Вы заведуете беллетристическим отделом «Правды». Не так ли? Черкните и им, ежели не напечатают»¹.

Однако в «Правде» Горькому не пришлось заведывать литературным отделом, главным образом из-за провокатора Черномазова, который всячески тормозил привлечение Горького. Но Горький активно участвует в газете, печатает в ней ряд произведений и привлекает к ее участию молодых пролетарских писателей.

В «Правду» перешли все основные авторские кадры «Звезды». Здесь активно сотрудничают молодые писатели — Белозеров, Обрадович, Гмырев, Одинцов, Самобытник, Гастев-Дозоров, Котомка, Логинов, Поморский, Бердников и другие, многие из которых были тесно связаны с Горьким и впоследствии были привлечены к участию в сборнике пролетарских писателей. Поэзия «Правды» представляет собой более высший этап классового самосознания по сравнению со «Звездой». Тот же центральный мотив — призыв к бодрости, оптимизм и уверенность в победе — получает здесь ярко выраженную революционную интерпретацию. Показательно, что многие стихи, появившиеся на страницах газеты, посвящаются Горькому. Влияние Горького чувствуется во многих произведениях, проникнутых революционно-романтическим настроением. Романтические образы Горького вызывают многочисленные подражания. Вместе с тем в стихах и рассказах, печатавшихся на страницах «Правды», мы видим органическую связь со всем со-

¹ «Путь Правды», № 67, 22 апреля 1914.

² «За правду», 4 октября 1913.

³ «Правда труда», № 6, 17 сентября 1913.

⁴ «Путь Правды», № 5, 26 января 1914.

¹ Письма Ленина Горькому, стр. 79.

держанием газеты — дается критика фабричных порядков, указывается на те или иные злоупотребления фабричной администрации и т. д. Часто появляются корреспонденции в стихах, иногда подписанные сразу несколькими авторами. «Правда» полно и многообразно отражала рабочую жизнь и вызывала живой отклик своих читателей.

«Правда» осуществляла руководство провинциальной большевистской прессой. Ее примеру следовали местные газеты, которые также обильно печатали на своих страницах беллетристические произведения рабочих. Стихи и рассказы мы встречаем в газетах «Современная жизнь» (Баку), «Заря Поволжья», в журнале «Работница» и других. Многие из этих произведений подвергались преследованиям цензуры.

«Правда» напечатала несколько обзоров журнала «Просвещение» и горячо приветствовала устами своих читателей привлечение к заведыванию литературным отделом журнала Горького. С приходом Горького в «Просвещение» вокруг журнала группируются кадры молодых писателей, произведения которых находят место на страницах журнала. Здесь напечатаны стихотворения Л. Старка: «Старик», «В весне», «На улице», «Радость»; С. Астрова, стихи Д. Семеновского, рассказы Л. Германова, Ивана Войнова и других писателей, ранее связанных с Горьким перепиской.

Работа в «Просвещении», как вспоминает А. Маширов-Самобытник, тесно сблизила Горького с поэтами-передовиками. Горький был заинтересован пролетарским литературным движением, получавшим все больший и больший размах. Он горячо откликается на мысль «Правды» и рабочего издательства «Прибой» об издании первого сборника пролетарских писателей.

Редакция «Правды» в статье, посвященной истории рабочей печати к двухлетнему юбилею газеты, писала о поэтическом отделе: «Почти все стихи и рассказы нашей газеты принадлежат рабочим. Выделился целый круг рабочих поэтов. Стихотворения целого ряда рабочих прямо великолепны. Мы уверены, что сборник рабочих стихов и беллетри-

стики, подготавливаемый к изданию рабочим издательством «Прибой», составит очень заметное литературное явление». «Правда» систематически пропагандирует на своих страницах идею пролетарских литературных сборников, которые в тех условиях являлись одной из лучших форм выращивания молодых писателей. Идею сборника принялся осуществлять литературный кружок, работающий при «Правде». Кружок начал отбирать произведения писателей, печатавшихся на страницах «Правды». Этот кружок работал в Народном доме Паниной, где устроился Маширов, скрываясь от полиции. Собрания происходили после спектаклей. Именно на собраниях кружка секретарь редакции «Правды» сделал сообщение о намерении издательства «Прибой» выпустить сборник пролетарских писателей. «Через некоторое время, — вспоминает А. Маширов, — тов. Тихонов-Серебров, один из редакторов будущего сборника, посетил наше собрание и сообщил нам, что Алексей Максимович ищет встречи с пролетарскими писателями и хочет вместе с ними рассмотреть отобранные для сборника произведения»¹.

Через некоторое время собрания кружка посетил Горький, который вместе с участниками его разбирал произведения, отмечая их достоинства и подвергая товарищеской критике. Как вспоминает А. Маширов, Горький был поражен размахом работы «Правды» и ее влиянием на рабочие массы: «Значит, у нас в России две власти, — шутиливо говорил Алексей Максимович, — власть «Правительственного вестника» и власть рабочей газеты «Правды»². Горький вступает в тесный контакт с редакцией «Правды» и сразу же становится душой готовящегося сборника. Он ведет личные беседы с авторами отобранных рукописей, дает советы и указания.

В предисловии к сборнику Горький оговаривает художественную слабость напечатанных в нем произведений, но он объясняет это тем, что «писателю

¹ А. Маширов. Пролетарские писатели и Максим Горький, «Ленинградская правда», № 75, 29 марта 1928.

² Там же.

рабочему мешает изложить свои впечатления ярко и точно — т. е. художественно — его малое умение пользоваться пером, инструментом писателя, мешает незнакомство с техникой дела, а самой крупной помехой является недостаток слов — невозможность выбрать из десятка их самое простое, сильное и красивое». Вот почему Горький в своем предисловии заостряет внимание молодых писателей на трудностях писательского ремесла и необходимости преодоления этих трудностей: «Работа литератора крайне трудна: писать рассказы о людях не значит просто «рассказывать», это значит — рисовать людей словами, как рисуют их кистью или карандашом. Необходимо найти наиболее устойчивые черты характера в данном человеке, необходимо понять наиболее глубокий смысл его действий и писать об этом настолько точно и яркими словами, чтобы со страниц книги из-за черных ее строк, из-за сети слов читатель видел живое лицо человека, чтобы связь чувств и действий героя казалась ему неоспоримой. Нужно, чтоб читатель чувствовал: все прочитанное им, именно так и было, иначе быть не могло». И Горький заканчивает свое предисловие знаменательными словами, призывающими к овладению культурой: «Один из поэтов, участников в сборнике, восклицает: «Вперед к культуре мировой!»

Добрый путь, товарищи! Да здравствует разум и воля, создавшие мировую культуру!»

Наряду с работой по сплочению русских пролетарских писателей Горький проявляет заботу о национальных литераторах. Он живо интересуется переводом и изданием их произведений, сам составляет проекты сборников. В письме к Черемному в 1910 году он делится своей радостью в связи с прочтением стихов Якуба Коласа и Янки Купалы: «Знаете ли вы белорусских поэтов Якуба Коласа и Янко Купала? Я недавно познакомился с ними — нравятся! Просто, душевно и, видимо, поистине народно. У Купалы есть небольшая поэмка «Евдеечная песня» — вот бы перевести ее на великорусский язык»¹. В письме к Вересаеву (22 августа 1912 г.) Горький указывает, что внимание к национальным литературам «снова и быстро укрепило бы пошатнувшийся престиж русской литературы»².

Именно здесь, в подлинно народной литературе, тесно связанной с массами, Горький видит источник нового расцвета литературы. Этому расцвету он посвящает всю свою дальнейшую деятельность как организатор и вдохновитель передового литературного движения, воспитатель новых поколений писателей.

¹ Архив Горького.

² Там же.

Лирика Янки Купалы

Е. ЯНКЕЛЕВИЧ



В одном и том же 1882 году родились два крупнейших поэта Белоруссии — Янка Купала и Якуб Колас. Почти одновременно вышли их первые книги: «Жалейка» Купалы (1908) и «Песни-жалобы» Коласа (1910). Кажется, будто разбуженная громом 1905 года, заснеженная белорусская «вёска» послала в литературу двух своих «ходаков» — двух лучших своих людей, правдивых и талантливых, чтобы они «за всех» сказали о ее горе и нищете. Но в угнетенном, замученном народе таилось столько сил, а в его песнях столько поэзии, что горячее слово земляков сразу послужило призывом к борьбе. Так зарождалась революционная поэзия Белоруссии.

Жизненный путь Луцевича (такова фамилия поэта) во многом объясняет гражданскую стойкость Купалы. Навсегда запечатлелись в памяти поэта долгие годы черной работы и тяжелое время, когда сразу умерли отец, брат и младшие сестры. После их смерти Купала отправился искать «легкого хлеба». «Эдак три года, — пишет он в своей автобиографии, — прослужил у пивоваров. Так попал в такое пекло, какого еще никогда не испытывал». Пивовары сыграли в его жизни примерно ту же роль, что булочник Семенов в биографии Горького. Двадцати четырех лет Купала в Вильно работает сначала библиотекарем, потом сотрудником газеты «Наша нива». С тех пор началась неустанная творческая рабо-

та: переводы украинских, польских, русских поэтов, в том числе образцовый перевод-переложение «Слова о полку Игореве», редактирование журналов и рукописей и самое важное из всех дел — создание многих томов превосходных оригинальных поэтических произведений.

Но и теперь поэт орденоносец, 35-летний юбилей творчества которого ныне отмечает вся страна, ничего не утратил из своей ненависти к прошлому. Последние стихи его говорят об этом так же ясно, как и первые. В 1910—1912 годах, когда, по справедливым наблюдениям Горького, крепло революционное сознание широких масс, а часть русской интеллигенции в испуге отшатнулась от прежних идеалов, — традиции славного прошлого продолжали, наряду с демократическими писателями России, молодые литераторы Белоруссии и Украины. То были традиции реализма, и Горький, не колеблясь, ставил достойных продолжателей в пример ренегатам. «В Белоруссии, — писал он, — есть два поэта: Якуб Колас и Янка Купала — очень интересные ребята. Так примитивно просто пишут, так ласково, грустно, искренне. Нашим бы немного сих качеств. О, господи, вот бы хорошо-то было».

Как верна эта характеристика! Как подтверждается она лучшими стихами Купалы, такими, как «Две березы», «Отцветание» или знаменитая «Наша вёска».

Горе да камня,
Узкие полоски —
Это наше поле,
Поле нашей вёски.

Курные оконца,
Свету в них ни крошки —
Это наши хаты,
Хаты нашей вёски.

Лапти да сермяги,
Божьей мати слезки —
Это наши люди,
Люди нашей вёски.

Кабаки, остроги,
Крестики, березки —
Это наша доля,
Доля нашей вёски.

Но в этих грустных мотивах нет ни намек на примиренность. Купала во все не хочет увековечить посевы — «воробью по колено» и дождливые пейзажи «с двумя тычками деревьев». Наоборот, он весь устремлен в будущее. И как только заходит речь о доле селянина, голос его мужает и крепнет. Это определяет отношение поэта к народному творчеству. Сохранившиеся с древнейшей поры обрядовые образы Купала перерабатывает в демократическом духе. В народе поется: жатва подобна битве. И Купала не раз обращается к косцам с призывом, достойным Шевченко: «Звона песен и кос я дождусь или нет, на другой, на великой косьбе». В народе поется о победе весны над зимой, и в 1908 году поэт призывает не страшиться надвигающихся туч: «Не скажи, что тяжелые тучи надвигаются вновь без конца... Снова будет весна». И стихотворение кончается так, будто чей-то второй мужественный голос утверждает смысл повтором: «Будет весна».

Уже по ранним произведениям мы вправе заключить о ясности реалистического зрения Купалы. Проявляется это прежде всего в том, что он отчетливо видит классовую дифференциацию белорусской деревни.

Вместе с писарем, попом, паном и жандармом мужик-богатый, староста входят в число ворон, которых слишком много, но которых, увы, некому стрелять. (Стих. «И как тут не сме-

яться».) В эпоху «наввих чар» и «громокипящих кубков» Купала, продолжая некрасовскую линию, рассказывал о том, как паны, «походя, бьют кулаками». «Жалейка» была своеобразной энциклопедией скорбной крестьянской жизни. Мужик, поле которого побил град, тщетно молит пана о суде. Мужика выбрасывают из избы. У мужика отбирают землю наследники умершего помещика, так же, как у Некрасова. Все это изображено необычайно живо, с введением диалогов, с краткими описаниями. Ряд мрачных картин с натуры, очерк или фельетон в стихах вполне заслуживали те почетные для Купалы — порицания, которыми некогда поклонники «чистой поэзии» осыпали Некрасова.

Поэтические особенности Купалы проявляются и в описании пейзажей и женской красоты: черные косы, белое личико, синие очи. Таково народное представление о красоте, закрепленное в постоянных эпитетах. Купала, как и всякий поэт, тесно связанный с народным мышлением, верен этой фольклорной традиции. Живописный элемент в творчестве Купалы — явление второстепенное. Зато элемент музыкально-ритмический составляет душу его поэзии. Уже крупный белорусский поэт Богданович в «Нашей ниве» отмечал богатство рифмовки в стихах Купалы.

На разные лады настраивал свою жалейку Купала, чтобы исполнить великий плач над белорусским селом. Изображая страдания белорусского крестьянства и отвергая безропотную покорность некоторой его части, Купала ставит в пример «односельчанам» тех, кто борется за лучшее будущее. Правда, те, кто борются, нигде не названы по имени. В словаре Купалы тогда не было слов «город», «рабочий», «машина», «фабрика», «стачка» и т. д. К тем, кто борется, дореволюционный Купала всегда относился с глубоким уважением, хотя конкретного представления о борцах с самодержавием не давал и о революции говорил, либо как о новом восстании вооруженных косами мужиков, либо как о некоем светлом празднике.

Слабости Купалы, проявившиеся в индивидуалистических стихах последующего периода (сборник «Гусяр»), все равно, какую бы они окраску ни носили — пессимистическую или оптимистическую, — были совершенно закономерны. Они выражали отчаянье поэта перед тяготами жизни в условиях порабощения. Отсюда временный уход в индивидуальное мироощущение. Развитие реализма поэта могло происходить только на основе дальнейшего идейного созревания, углубления знания и расширения творческого опыта. Горький недаром наряду с похвалами употребил слово «примитивно» применительно к творчеству обоих крупных белорусских поэтов. Не представляя себе точно роли рабочего класса, после 1905 года уже нельзя было объективно верно наметить и задачи крестьянства в свержении царизма. Оставалось мечтать! Но так как Купала был по натуре реалистом и не принимал должное за сущее, то в его творчестве на небольшое время появляются пессимистические ноты, достигающие в сборниках «Дорогой жизни» и «Наследство» большого напряжения. Таковы стихотворения: «Темное царство», «Смейтесь», «Могильщик» и многие другие.

Но Купала слишком тесно был связан с селом, с крестьянством, слишком много было в нем подлинной любви к родине, чтобы стать эгоцентриком. Даже когда в «Дороге жизни» поэт писал штампованную фразу о том, что «душа жаждет небытия», он тут же реалистическим сравнением мотивирует эту жажду. Ведь крестьянская жизнь — это «сухой, играющий зерном», — не видеть бы эту жизнь, уйти на волю от «опоганных могил» предков. Точно так же в символистском по художественной манере «Сне на кургане» русалкам даны биографии солдаток.

Созданием чисто реалистических произведений, как, например, в том же «Гусяре» поэма «За чужую елку», Купала как бы боролся с чуждыми ему влияниями и искал новых путей для воплощения своих идеалов поэта-демократа.

С честью преодолевал Купала соблаз-

ны мнимого идеалистического «снятия» жизненных трудностей, и в этой борьбе сознание его крепло, мужало, обогащалось.

Сложная мучительная борьба Купалы за укрепление своего мировоззрения достигает в «Спадчыне» своего высшего выражения. Вообще же она присутствует, начиная с «Гусяра», во всем его дореволюционном творчестве. В результате этой внутренней полемики Купала всякий раз возвращается к мотивам «Жалейки», поднимая старую проблематику на все высшую ступень.

Купала остается реалистом и тогда, когда он приходит к своему знаменитому трагическому обобщению: «Эх, і страшна ж ты, земля родная; эх, страшна ж ты, жыццё людзкае!..», и тогда, когда, разрушая всяческие иллюзии, одну за другой рассматривает все стороны крестьянской жизни до революции.

Выбирая из сокровищницы иностранных литератур объекты для своих переводов, подлинные поэты всегда руководятся родственными идеями и чувствами. И, конечно, Купала не случайно перевел великолепное стихотворение Коноплицкой «Три дороги». Задолго до этого он превзошел тему поэтессы в своем «Ці ж нядоля мая?!». Бедняку дано на выбор два исхода — острог или могила. Еще раньше поэт указывал в качестве третьего временного прибежища на кабак. «Нямой рыбай аб лед біся век-вяком, і ў магілку паваліся бедаком». Центр «Шляхам жыцця» выражен именно в этих точных словах. Что скрывается за этими и множеством им подобных стихов — сила трагического переживания, рождающая гнев, или безысходная покорность? От ответа на эти вопросы зависит оценка современным читателем основного в творчестве дореволюционного Купалы.

В письме к Коцюбинскому А. М. Горький писал: «В книжку мою вложен листок — песня и ноты, нечто вроде «Белорусского гимна», должно быть.

Меня эта вещь взволновала. Угрюмо.

«А кто это их, не один миллион

Научил кривду несть, разбудил их

сон?»

Беда, Горе».

Славяне.

Помните великорусскую песню «Мы не сами-то идем, — нас нужда ведет, нужда горькая?»

Это — эпитафия к нашей истории — истории пассивных людей. Это — крик древней крови, отравленной фатализмом. Именно под это несчастье Л. Н. (Толстой. — Е. Я.) и подводил философское основание, от него исходя, ему подчиниться звал».

Понимал ли сам Горький «Гимн» Купалы как проявление покорности, фатализма? Ни в коем случае. Этому противоречит множество данных, в первую очередь целостный смысл стиха, особенно его заключение, во-вторых, Горький не стал бы переводить стихотворение, восхищаться им, равно как и его автором (как он поступает хотя бы в конце того же письма к Коцюбинскому), если бы оно совпадало хотя бы одной из граней с умонастроением столь ненавистных ему толстовцев. Наконец, Горький упоминает об этом же «Гимне» уже в другом месте в контексте, прямо исключающем эту мысль. Указывая на несомненное пробуждение народного сознания и противопоставляя его декадентству, Горький ссылается на произведение Купалы, как на замечательное выражение этого сдвига широких масс. Там же, в статье «О писателях-самоучках», он дает ценный, до сих пор не выполненный совет рассмотреть эту песню в связи с идеологией «Нашей нивы».

Горький видел в Купале поэта, показавшего, как у миллионных крестьянских масс пробуждается стремление создать достойную человека жизнь. Следовательно, Купале удалось выразить одну из существеннейших сторон революции.

В Купале ничего не поймет тот, кто рассматривает его вне, а не внутри революционного крестьянского движения.

Уже в 1907 году он написал: «Людзі мучацца беспрасветнасьцю, праклінаючы поле роднае. Гэй папраўся ты, адмяніся ты, разбудзіся ты, поле роднае!..» С тех пор Купала не уставал будить мужика. В его укорах и гнев

по поводу долгого сна земляков («Что ты спишь, мужичок») была подлинная тревога за своего читателя-товарища. Мягкий лиричный Купала становится мастером иронического обращения не только к чужакам, но и к своим. И в «Спадчыне», продолжая через шесть лет тему «Жалейки», он укоряет земляков примером иных, уже пробудившихся народов. «Ідуць народы в лета ў лета к жыцьцю, к сьвятлу з бяды, з жуды, а мы як цені з таго сьвету, ідзем, ня знаючы куды».

Скорбный тон большинства вещей Купалы непосредственно отражает народные настроения, порожденные объективным положением вещей.

Творческое созревание Купалы своеобразно показывало рост и идейное развитие самого народа. Живая связь с народом всегда оказывалась достаточно сильной, чтобы обогащать Купалу опытом передовой культуры и обеспечивать в его творчестве тематику, важную для миллионов. Поучительно наблюдать, как, обогащенный всеми достижениями поэтического мастерства, возвращается Купала к фольклору и поновому перерабатывает его с точки зрения передового человека сложной и противоречивой эпохи.

И тут простые сопоставления могут быть всего убедительнее. Сравните почти геометрическое построение «З асенніх напеваў» в «Жалейке» и «Як у лесе зацвіталі» в «Шляхам жицця». Оба стихотворения восходят к народной песне. Параллели и контрасты наличествуют и в первом, и во втором. Но «Не гудзі так в осень непогодой дзикаі не крываўся сэрце з нядолі вялікой» почти напоминает формулу, тогда как во второй песне в переживания влюбленных вплетается смутный и ласковый говор леса. И дело не только в том, что три пары соответствий располагаются в некую единую линию. Этот композиционный принцип знает и песня. Дело в том, что третий отрывок кончается умолчанием удивительной чистоты и целомудрия: встреча, объятия и вместо, казалось бы, неизбежного для сотен поэтов поцелуя — несмелый взгляд удивленных, застыдившихся своего же сча-

стья людей. Уже созрела и покраснела рябина. Это издавна значит: настало время брачной любви. А два человека все еще стоят на опушке леса, прислушиваясь к доносящемуся из темной дали напеву гусей и журавлей. С глубоким уважением к переживаниям крестьянина написана эта вещь.

С большой нежностью создана «Долгожданная». В этой вещи симметрия уже целиком подчинена музыке, выразительности пауз. Мы сказали бы, что едва измененные повторы, служащие границами меж первым и последним свиданием, говорят на языке лирики о лежащем между ними промежутке ясней, чем если б он был подробно описан. Особенно хороши сходные демифрены в «Двух тополях» — насколько они изощренней и богаче всех предыдущих опытов Купалы в этом духе. Сравните, наконец, строфику и ритм «Отцветания» с бедным песенным хореем и почти неизменной четырехстрочной строфой начинающего Купалы. Всюду вы увидите огромные различия — различия мастера от неискушенного поэта. Но всюду вы заметите и несомненное сходство.

Общее сказывается и в том, что Купала неизменно, начиная с первой книги, вкладывает в описание явлений природы человеческие переживания, менее интересуясь абрисом вещей, чем отношением к ним человека, и в том, что он неизменно, хоть и по-разному, использует фольклор, и в том, что такие стихи, как «А кто там ідзе?» и «Гэта крык, што жыве Беларусь», относящиеся к разным периодам творчества, одинаково могут служить эпиграфом ко всему последующему Купале. Вся лирика Купалы — взволнованный рассказ о том, как живет Белоруссия. И если иногда до революции Купала в некоторые моменты скорбел о недостаточной организованности революционных сил среди белорусского крестьянства, то его стремление к будущему не теряет своей силы, и поэтический голос не заглушается. Бесспорно, в этих дореволюционных стихах поэт подчас становился абстрактным. Но зато в нем росли гнев и ярость угрюмого библейского проро-

ка. Тут Купала подает руку Шевченко с его псалмами и подражанием Иезекиилю. И тут, и там эти произведения глубоко атеистичны. Они заимствуют из древних апокрифов только ораторскую патетическую форму, а по сути обращают ветхозаветные проклятия против бога, царя, эксплуататоров. Таково потрясающее стихотворение Купалы, где, подняв свой крест среди могил, он молит солнце испепелить его своим гневным оком, иссушить его, как слабую лилию, но все лишь затем, чтобы первая кара поразила крест, на котором он распят. Таковы же гневные богоборческие укоры царю неба и земли, в чьей власти крошить Перунами горы и скалы, но который еще доселе не уничтожил ни одной вековой неправды.

В гениальном творчестве Шевченки ветхозаветные проклятия уживаются рядом с «Мені так любо, любо стало не наче в бога» или «Выйшла з хати веселая сміючись мати» или с соловьем, который не позволяет поучать. И у Купалы — совсем по-шевченковски — рядом с упомянутыми стихами соседствует цикл «Она и я». Он написан примерно в том же году, что и цитированные выше сонеты. Можно без конца перечитывать эти дивные стихи, пожалуй, лучшие из созданных Купалой.

Уже самое начало удивительно:

На крыжавых пуцінах з ей сустрэўся
Куды ісці не ведала яна,
І я не ведаў...

Перед нами, как на картинах художников Возрождения, — «всемирный ландшафт»: просторный, гулкий, и на этом фоне, через семь столетий, повторяется дантовская встреча. Пусть не буквально — не в лесу, не с Виргилием, а среди бескрайных дорог изгнанник встречается с другой изгнанницей мира. И какая-то одна высокая, торжественная нота звучит в пространстве:

— Над ей, заручанай у шлюбнай белі,
І нада мной, ахутаным у мрок.

Так стоят они — заблудившиеся путники — под ношей дум, и тогда невольно припоминаются терцины гордого флорентинского страдалца. Два силуэ-

та уходят вдаль — гордые, скорбные, лишенные проводника, не знающие путей, и все-таки они приходят в рай.

Адам пашет, Ева прядет, и первоизданный холодный мир заполняется выточенными ткацкими станками, плугами, боронами, ушатами, корытами. И каждая вещь, как в гомеровские времена, сделана им — человеком, Адамом. Она — результат его труда, умения, сноровки. А пока он ходит за сохой, Ева ткёт и белит, и задает корм животным. Ибо ныне птицы и животные заполнили мир своим теплым дыханием, а цветы и травы одарили его цветом и запахом. И в неразрывном ладу со всем окружающим трудятся и отдыхают два влюбленных друг в друга человека.

Это — воскресшая, хоть никогда и не существовавшая, сельская Лада. Утопический крестьянский рай при этом абсолютно реальный, ибо он точный сколок с обычной крестьянской избы, которую выстроил бы себе каждый трудящийся хозяин, когда бы не налоги, жандармы, помещик, суд. Такова реальнейшая из абстракций, созданных Купалой. Она выросла из вековых мечтаний крестьянства, воплощенных в фольклоре. Купала населил вневременный и внепространственный пейзаж символизма точнейшими бытовыми реалиями, поэт отделил двух людей от всего человеческого коллектива и в то же время воссоздал в них типичнейшие и благороднейшие образы крестьянина и крестьянки, сделал их глубоко жизненные отношения моделью и образцом всех человеческих связей. «Она и я» — произведение единственное в своем роде.

Купала для этого цикла собрал лучшие цветы народной поэзии. Каким перлом, например, является лишь незначительно измененное начало веснянки: «Ой, брала выясна у сонца ключы, адчиняла сырую зямельку».

Какую яркость фольклорного реализма дарит его картинам точно записанный текст заговора, сопровождаемый обрядным хождением. Подлинная крестьянская любовь к своей скотинке, к единственной короле соседствует в стихах с тревожной мыслью о том, что лишь за несуществующим железным

тыном можно сохранить свое добро от царей, лесных, полевых, водяных.

Купала как бы отменяет разделение на низкое и высокое в поэзии. В атмосфере труда и любви обычное становится высокой поэзией. Поэтому образы поэта необыкновенно просты, конкретны и в то же время торжественны. Они как бы открывают вторую, скрытую от нас сторону явлений. Каждый из них говорит о большем, чем значит. Таковы лен в поле, сходный с лучами, выравнивающий плечи лес, даже холодная, жалящая, как шмель, вода, в которой «она» белит полотно, чтобы оно было бледное, как месяц, белое, как молоко в глиняной миске, совсем такое, как спелая соломинка.

Чудесна эта домовитость, в которой нет ничего мещанского; конкретность без тени приземленности.

Столь многопланное развитие образов, полных глубокого смысла и в то же время абсолютно свободных от всякой самоцельной игры, характерно для цикла «Она и я».

Цикл этот — результат глубокого проникновения поэта в фольклор, в самый дух оптимистического реализма, который свойственен народному эпическому творчеству. Безымянные певцы наделяли бедняков силой и славой. Так поступали они, ибо страстно хотели видеть своего народного героя свободным и независимым. И Купала всем сердцем почувствовал правду этой мечты. Уж в «Гусляре» поэт так завершал описание благословенного летнего пейзажа: «Эх! каб, здаецца, ды щчасьце да гэтага! Эх! каб, здаецца, менш гора і сьлёз!..» После этого мы неоднократно встречаем у него картины в духе позднее написанного цикла, но как-раз горе и слезы мешают вольному течению этой струи в его творчестве. В изменившихся социальных условиях в военные годы (1914—1916) — усиление реакции, с одной стороны, и пробуждение революционного движения — с другой, — поэт по-новому перерабатывает народное творчество. Мечта поэта далеко опередила действительность, но все же оказалась где-то сбоку, на отшибе от нее. Купала рисовал идеал, привлекательный

для миллионов крестьян. Все более крепла у поэта оптимистическая уверенность в будущем торжестве революции.

С Октября датируется новая жизнь страны и поэта. Купала принадлежал к той немногочисленной группе лучших писателей старшего поколения, которые восприняли революцию, как раскрепощение долгожданное и радостное: то, что было, уже не вернется. Восходит золотое солнце, чтобы отныне всем светить своими лучами,—писал Купала в восемнадцатом году. Но в восемнадцатом году подлинно народные поэты не могли ограничиться одами революции, нужно было организовать ее защиту. «Мобилизованным и призванным» чувствует себя в годы интервенции Купала. Никогда еще голос его не был так силен, а образы так патетичны, как в тех стихах, где речь идет о самом главном—победит ли воля народа, или снова удастся загнать белоруссов в панское ярмо. За день до стихов о золотом солнце написаны строки:

Мужык — дзікун крывею упішысь свежай,
Запрог цябе у няволю, у батракі,
І тваю маці — Бацькаўчыну рэжа,
Жывую рве на часьці, на кускаі...

Паўстань, народ! Прачніся, Беларусе!
Зірні на Бацькаўчыну, на сябе!
Зірні як вораг хату і зямлю раструсіў,
Як твой навала злыдняў скарб грабе!

Стихи эти говорят об огромной тревоге за судьбу своей страны. В них — весь Купала, с особенной остротой и радостью воспринявший прежде всего факт освобождения Белоруссии. В условиях максимально угнетенной окраины Русской империи Купала будил классовое и национальное самосознание белоруссов, звал их во имя свободного развития родины на борьбу с польскими оккупантами.

Однако в период, последовавший за интервенцией, поэт на некоторое время подпал под влияние националистических идей. Он полностью заплатил за эту ошибку плохими стихами и искренним горем обманутого человека. Но горький опыт не проходит даром для людей, умеющих учиться на своих ошибках. Отныне на всю жизнь в Купале живет

священная ненависть ко всем врагам народа. Страстно и просто произнес он им свое суровое осуждение: слова об иссохшей осине, — казалось бы, самой мертвой, самой равнодушной природе,— все же отвергающей убийц.

Мала іх павесіць
на сухой асіне,
бо нават асіна
ад сябе адкіне.

Как подлинный гуманист, Купала умеет так же сильно любить, как и ненавидеть. Об этом прежде всего свидетельствуют его стихи, посвященные молодому поколению — белорусскому комсомолу. Уже в 1923 году Купала посвящает ему свое стихотворение «Орленята». Луначарский назвал это стихотворение «гимном, в котором целиком отражается его (Янки Купалы — Е. Я.) сегодняшняя радость». Действительно, «Орленята» приближаются к гимну: их торжественность, приподнятость, гиперболитичность — несомненные признаки взволнованной величием совершающихся событий поэтической души.

Однако абстрактность словаря Купалы справедливо вызывала беспокойство. Не уподобится ли поэт пресловутой «железной ласточке, которая, взвиваясь высоко в небо, терлет из виду землю». Тридцатые годы окончательно развеяли эти сомнения. Купала создал не только большое реалистическое полотно «Над рекой Оросей», но и ряд лирических шедевров, в которых чувства нового, социалистического человека получили достойное воплощение.

Со старым Полесьем — этой болотной тайгой Белоруссии — он распрощался в замечательном предисловии к поэме. Мхи, лишайники, лихорадка, болотная нечисть, которые так пленяли декадентов, отвергнуты им без сожаления. Отвергнуты во имя строительства Чонгарской коммуны. Поэта не могла не увлечь идея превращения болота в пашню. Здесь человеческая сила наделяет силой, благородством и красотой самую природу. Тут человек создает разумную жизнь, нечто важное, полезное для всех людей, созданное ценою своих никем не потребованных, а добровольно

принесенных страданий и лишений. Замысел поэмы-очерка Купалы о самоотверженном отряде коммунаров-красноармейцев — замечателен. Однако сама поэма во многом уступает замыслу. Все же чувствам, которые привели к написанию «Над рекой Оресой», суждено было воплотиться. Это произошло в ряде чудесных стихотворений. Лучшее из них — «Гости». Люди нового села — доярки и пастухи — усаживаются за широкий стол:

І селі мы з павагай дзіўнай нейкай
За стол, дзе быў пірог, і лён, і мёд...

Поэт недаром говорит об «нейкай дзіўнай павазе». В стихотворении празднеству возвращено его высокое значение. За столом братства и дружбы сидит поэт с родным ему по крови и духу народом. «Пирог и лён и мёд» в этом контексте не требуют пояснений. Дары общественного народного труда несут в себе глубокий смысл новой великой демократии, а потому с глубоким уважением вкушает их тот, кто всей душою проникся красотой новых человеческих отношений:

Такого гонару не меў ніколі,
Як я на гэтае зямлі жыву...

Это превосходное стихотворение кончается проникновенной деталью, которая свидетельствует о необычайной душевной деликатности новых хозяев земли и жизни. Гости выходят, так и не попросив поэта сложить песню об их колхозе. У них «отваги нехватало». Но Купала давно уже научился понимать их самые затаенные мысли. Поэтому так много у него песен о счастливой колхозной жизни. Крепка дружба поэта и с народами других республик Советского Союза. На языке поэзии об этом говорят «сосны» — выносливые и стройные деревья, по всей земле социализма поднимающие свои зеленые вершины. И советы, и законы конституции, и люди Сталинской эпохи, и неувядающая природа необъятной родины свидетельствуют о нашем нерушимом единстве.

Но замечательней всего то, что, создав этот емкий и значительный образ,

мудрый мастер нигде не поддался искушению превратить его в аллессию:

Сосны далекія,
Блізкія сосны!
Сэрцу вы любяы
З весны да весны.

Купала, который так охотно раньше прибегал к абстрактной символике, теперь с теплым лиризмом говорит о нашей жизни, о наших людях даже там, где, казалось бы, речь идет об одних только вечно зеленых деревьях. Эта мудрость поэта, который предоставляет мысли читателя шириться самой и развиваться, говорит о все возрастающем мастерстве поэта.

Окончательное преодоление символизма Купалой связано с расширением его кругозора после революции. Попржнему оставаясь поэтом, кровно связанным с родиной, Купала теперь посвящает великодушные стихи борьбе международного пролетариата, с особенной гордостью и мастерством рисуя результаты победы пролетариата в братских республиках Союза. Стихи о Крыме и Кавказе — совершенно новое явление в творчестве Купалы. В них богатство красок, тщательность описаний и какое-то уверенное, торжествующее спокойствие. Белорусский критик А. Кучар хорошо писал о том, что для дореволюционного Купалы не существует описаний, фона — радости изображения и созерцания. Огромное внутреннее беспокойство разрывает едва намечающуюся описательную ткань. Безудержный лиризм — как непосредственное выражение страдания народа — заставляет снова и снова фиксировать порывы собственного гнева, отчаяния, скорби. Оттого так динамична, так ритмически разнообразна поэзия Купалы. Но отсюда же некоторая нервность, перенапряженность, равно как и суженность тематики. Скорбное «я» поэта заполняло большинство стихов, оставляя мало места для всего разнообразия красок и звуков зримого мира.

Мужественное спокойствие новых полереволюционных стихов Купалы — глубоко радующее явление. Ибо это ощущение гармонического ясного мира те-

перь уже не воплощаемая в отдельных произведениях мечта о невозможном счастье, а глубокое ощущение счастья, разлитого во всей природе.

Сокам чырвоным наліты гранаты,
дружна, бы яблыкі, дрэва абселі.
Шастае лісце пахучай гарбаты,
лісце і шоўкам калышыцца у белі...

Грузія, дружная з сонцам краіна,
Як-жа ты сэрца і думкі салодзіш.
Вочы тут бачаць цуды з'яў дзіўных
Вушы тут чуюць напевы стагоддзяў.

Даже ритмика у Купалы ныне иная. Она ничего не утратила в своей выразительности, но в ней хозяйская гордость, спокойствие, неторопливость:

У вырай сабраліся гусі,
І жораў азваўся пад небам...
Пльвуць па шляхах Беларусі
Абозы чырвоныя з хлебам.

Асення сонца спакойна
У прасторах нямых пахаджае,
гуляе под сцягам чырвоным
колгасное свята ураджаю.

И обзревая осенний простор, заполненный мельницами и тракторами, водами и жнейками, Купала ныне с охотой предается описанию. Ибо перед ним — его прежняя, но во много раз обогащенная мечта — счастливая жизнь трудящихся, которой наслаждаются не «он» и «она», а миллионы друзей, товарищей, братьев. И эти миллионы людей позабыли о сохах: они поют, сидя на тракторах, новые песни:

Калгаснік усеўся на трактор,
Стаптаўшы мінулаго імя,
зямлі наравісты характар
нарогамі стружа стальнымі.
За скібаю скібу, як стружкі,
машына умеляя сцэле...

Эти строки написаны поэтом, в стихах которого, как мы отмечали выше, не было раньше ни одного «городского» образа, ни одного «городского» слова, — теперь же чувство единства пролетария и крестьянина так сильно и органично развилось в поэте, что определило целиком новый строй образов, создало новую поэтику. И традиционный железный конь соседствует с образом земли, которую, как металл, резцом токарного станка стружка за стружкой взрезает водимый уверенной рукой трактор. Норовистый характер земли преодолевает новый человек, всадник на железном коне и опытный токарь полей. Для него пишет Купала свои песни. Совсем еще недавно прозвучали новые строфы поэта о еще вчера измученных, а сегодня счастливых людях Западной Белоруссии. О новых хозяевах на освобожденной земле поет Купала, от всего сердца радуясь тому, что отныне слитые в единый народ белорусские крестьяне будут пахать единую пашню и пасти коней на едином пастбище. И свою лучшую, свою самую звонкую песню Купала посвящает любимому Сталину, тому, под чьим руководством объединенные белорусы вместе со всеми народами Союза строят достойную человека счастливую жизнь.

Книги о Маяковском

Л. ТИМОФЕЕВ

★

К десятилетию со дня смерти талантливейшего поэта революции вышел ряд книг, посвященных Маяковскому — человеку и художнику.

Книги эти весьма различны по своему характеру. Среди них имеются и частные исследования отдельных сторон жизни и деятельности поэта, и воспоминания о Маяковском людей, которым довелось с ним встречаться и работать, и попытки дать общую характеристику его творчества, и, наконец, художественные произведения, образно воссоздающие облик Маяковского.

В кратком обзоре, естественно, трудно охарактеризовать сколько-нибудь подробно каждую из вышедших книг. Мы поэтому сосредоточим свое внимание на тех важных для понимания деятельности Маяковского проблемах, которые поставлены в книгах, и на том, как эти проблемы разрешены.

I

Нужно начать с того, что биография Маяковского до сих пор еще не изучена, в ней много еще «белых пятен». В этом отношении бесспорно заслуживают благодарности читателя книги В. Катаняна «Рассказы о Маяковском» и В. Перцова «Наш современник».

Книга В. Катаняна состоит из очерков, освещающих отдельные факты из жизни Маяковского. Она умело написана, насыщена свежим, любовно собран-

ном материалом и, бесспорно, полезна. Большую работу проделал и В. Перцов: в книге его использованы и неопубликованные материалы, и большое количество воспоминаний людей, знавших Маяковского. Автор застенографировал около 40 бесед о Маяковском и сумел дать много новых фактов, освещающих ранний период жизни Маяковского, в особенности его революционную работу до Октября. К книге В. Перцова мы еще вернемся, но она, так же, как и книга В. Катаняна, свидетельствует о том, что изучение биографии поэта ведется серьезно и плодотворно.

Биографии Маяковского посвящена и небольшая книжка М. Поляновского «Маяковский—киноактер»; в ней, более или менее исчерпывающе, освещена связь Маяковского с кинематографией, его выступления в качестве киноактера, попытки поэта создать новый тип сценария.

К числу таких же полезных работ по отдельным вопросам можно отнести книжку И. Эвентова «Маяковский—плакатист» и А. Февральского «Маяковский—драматург». Но изучение биографии Маяковского, при всей первостепенной важности этой работы, есть лишь подступ к осуществлению более сложной задачи.

Известные слова товарища Сталина о Маяковском — лучшим, талантливейшем поэте советской эпохи—поставили перед нашей критикой ответственную задачу:

изучить опыт Маяковского и сделать выводы, имеющие огромное значение для развития как советской поэзии, так и литературы в целом. Как Маяковский развивался, как разрешил задачу революционного новаторства в литературе; в чем основные черты того замечательно-го облика советского художника, который живет в сознании миллионов читателей Маяковского, — вот вопросы, которые стоят перед теми, кто изучает творчество поэта.

Один из поэтов, сыгравших несомненную роль в поэтическом развитии Маяковского, — Александр Блок, — очень хорошо определил связь с эпохой, которая характеризует творчество большого поэта:

«Личная страсть... всякого поэта насыщена духом эпохи, ее ритмы, ее размеры, так же, как ритмы и размеры стихов поэта... внушены ему его временем, ибо в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он «свое» и «не свое», поэтому в эпохи бурь и тревог важнейшие и интимнейшие стремления души поэта преисполняются бурей и тревогой»¹.

Именно эта неразрывная связь с жизнью своей родины сделала Маяковского лучшим поэтом революции.

Оценка литературы, вышедшей к десятилетию со дня смерти Маяковского, и определяется прежде всего тем — в какой мере она сумела поставить эти вопросы, в какой мере приблизилась к тому, чтобы ответить на них.

Нужно сразу же сказать, что общая оценка этой литературы мало утешительна. Прежде всего, характерно то, что за эти десять лет еще не создано сколько-нибудь значительных работ, которые вплотную подошли бы к анализу поэтического мастерства Маяковского, характера его новаторства, эволюции его творчества. Книги такого рода, к сожалению, не были изданы.

В какой-то мере этот пробел заполняют книжки, в которых сделаны попытки обрисовать жизненный путь Маяков-

ского и определить общее значение его творчества. Это книги С. Трегуба «Владимир Маяковский», А. Фадеева «Маяковский» и названная уже книга В. Перцова. Книги С. Трегуба и А. Фадеева весьма невелики по объему и содержат лишь самую общую характеристику творчества Маяковского.

Более подробно и систематически осветил жизненный путь Маяковского В. Перцов; наряду со свежим биографическим материалом он дал и содержательную, но, к сожалению, крайне сжатую схему развития творчества Маяковского.

II

Благодаря тому, что работы о Маяковском, и биографические, и общего характера, не дают еще, как мы видели, сколько-нибудь полного о нем представления, особенное значение приобретают воспоминания о поэте.

Это — книги В. В. Каменского «Жизнь с Маяковским», В. Б. Шкловского «О Маяковском» и С. Спасского «Маяковский и его спутники». Весьма близки к ним по типу книги Л. Кассиля «Маяковский сам» и Н. Кальма «Большие шаги». Они обращены к детской аудитории и говорят о Маяковском в беллетристической форме, но основаны и они в значительной степени на мемуарной литературе.

Наконец, в какой-то мере имеет мемуарный характер и наиболее крупное произведение, посвященное Маяковскому, — поэма Н. Н. Асеева «Маяковский начинается».

Очевидна ответственность, которая лежит на мемуаристах. То, что они говорят о Маяковском, особенно авторитетно в глазах читателя, ибо вспоминают о великом поэте люди, на долю которых выпало счастье быть в непосредственной близости с Маяковским. Их точка зрения, их оценки ощущаются читателем в какой-то связи с Маяковским, получают известную санкцию именно благодаря этой близости к нему мемуаристов.

В то же время те факты, о которых рассказывают авторы, требуют тщатель-

¹ А. Блок. Сочинения, т. VIII, стр. 102.

ного осмысления. Эти факты должны быть даны в связи с общей перспективой развития Маяковского.

Имя Маяковского — это синоним непрерывного движения, неустанного стремления «быть с веком наравне». Воспоминания о том или ином периоде жизни Маяковского должны связывать этот этап со всем процессом жизни Маяковского; о нем нельзя вспоминать, так сказать, статически. Маяковский говорил о том, что он шагает через свои книги, т.-е. уходит от них вперед. Вспоминать о Маяковском — значит рисовать его жизнь в свете этого непрерывного стремления поэта вперед, это значит показывать, как в каждом периоде зреют ростки нового.

Вот это чувство масштаба и темпа, необходимое для мемуариста вообще, а для тех, кто говорит о Маяковском, в особенности, к сожалению, в значительной мере отсутствует в тех книгах, которые посвящены воспоминаниям о Маяковском. Этим объясняется то чувство, которое испытывает читатель при чтении мемуаров В. Шкловского, С. Спасского, В. Каменского; надо прямо сказать: это чувство неудовлетворенности.

Не будем благодарны к мемуаристам; книги их написаны с искренней любовью к Маяковскому, они, несомненно, дают много интересных и новых деталей из жизни поэта. Было бы неверно, как это делали некоторые участники недавней дискуссии в Союзе писателей, совершенно зачеркивать значение этих книг, в частности книги В. Б. Шкловского. Но все же многие упреки, обращенные к ним, справедливы именно потому, что мемуаристы не сумели найти масштаба для своего материала. Поэтому они не улавливают подлинного значения тех или иных явлений жизни Маяковского, отмечают в них лишь внешнюю сторону и поэтому невольно прижимают Маяковского. Наоборот, мелкие явления, которые в той или иной степени были связаны с Маяковским из-за отсутствия масштаба и перспективы, преувеличиваются, получают значение, которого они вовсе не имели, поэтому малое незаслуженно становится боль-

шим, большое — малым, ошибки, казалось бы частные, получают принципиальное значение. В то же время эти ошибки имеют для нас не только и даже не столько историко-литературное значение.

Основная проблема творчества Маяковского — это проблема новаторства, т.-е. проблема всего советского искусства; основное в биографии Маяковского — это облик советского писателя, т.-е. опять-таки проблема всей советской литературы. Потому так остро воспринимаются ошибки книг, которые были уже названы, что они задевают самые существенные вопросы нашей «сейчасней» (пользуясь словом Достоевского) литературной жизни. Да иначе и быть не может, когда речь идет о Маяковском.

Мы не будем поэтому детально останавливаться на частных вопросах, которые затронуты в мемуарах. В них рассказано много интересного и свежего о жизни Маяковского. Понятно, что не все в этих воспоминаниях в достаточной мере точно (особенно у В. Каменского): и очевидцам свойственно ошибаться, одно и то же событие они, зачастую, в зависимости от темперамента, воспринимают совершенно различно; так, например, С. Спасский, рассказывая о том, как Бурлюк стал вешать картины на наружной стене дома на Кузнецком Мосту, замечает: «Москвичей в ту пору трудно было удивить... Случайная, наспех образовавшаяся толпа довольно спокойно относится к событию... Знакомые хлопают Бурлюку» (стр. 138). Об этом же у В. Каменского рассказано так: «Увидели колоссальную толпу и скопление трамваев... кончилось взрывом аплодисментов» (стр. 204). Даже один и тот же мемуарист иногда говорит разное об одном и том же. У В. Б. Шкловского на стр. 22 читаем о том, что Бурлюк «очень много умел», а на стр. 38, — что «Бурлюк не много умел» и т. д. Дело, конечно, не в этих мелочах. Дело в том — в какой мере представления мемуаристов о жизни Маяковского помогают нам понять ее подлинное значение в историческом, а не только в бытовом плане.

III

Внимание мемуаристов оказалось сосредоточенным, главным образом, на раннем периоде литературной жизни Маяковского. Основным вопросом, который необходимо выяснить для понимания этого периода, является вопрос об отношении Маяковского к футуризму. Может показаться, что это уже устаревшая проблема, далекая от современных литературных интересов. Один из ораторов на упомянутой дискуссии в Союзе писателей заметил даже, что футуризм имеет такое же отношение к современности, как крещение Руси.

Очевидна, однако, непродуманность такой точки зрения. Футуризм теснейшим образом связан с именем Маяковского, тем самым художественные принципы футуризма получают известную санкцию. Несомненно, что некоторые из этих принципов еще дают себя иногда знать в современной поэзии. Но дело не только в этом. Футуризм — это новаторство, и выдвигаемые им вопросы имеют прямое отношение к современности. Поэтому-то определить отношение Маяковского к футуризму — значит поставить очень существенный вопрос живой литературной современности. Отождествление Маяковского с футуризмом стало, к сожалению, общим местом для многих критиков и литературоведов и проникло даже в школу. Так в журнале «Литература в школе» (1940, № 5), в разработке, посвященной изучению творчества Маяковского в школе, находим указание на то, что Маяковский «возглавляет русский футуризм».

Интересующие нас книги утверждают и усиливают эту точку зрения: для В. Шкловского, Л. Кассиля, С. Спаского, В. Каменского и других нет никакого сомнения в том, что путь Маяковского — это путь футуризма, понимаемого как нечто целостное и противопоставленное всей литературе начала XX века, как новое художественное открытие, дающее искусству новые перспективы развития.

«На тихом фоне благодушной, сытой, салонной литературы, — говорит Л. Кас-

сил, обращаясь к детской аудитории и, следовательно, давая ей наиболее установившиеся точки зрения, — уже раздаются задорные голоса русских футуристов. Эти люди считают, что нельзя следовать старым принципам искусства» (стр. 31). Очевидно, что такая постановка вопроса полностью исключает критическое отношение к футуризму, освящает его именем Маяковского. Можно быть только благодарными футуристам за то, что они отвергли старые принципы салонной, сытой литературы своего времени. (В это время писали Блок, Белый, Брюсов, Вересаев, Серафимович, наконец Горький. Вероятно, из самых различных упреков, которые гипотетически могли бы по своему адресу предполагать эти писатели, упрек в «сытости» и «салонности» не пришел бы им в голову!)

Дело не в этой, мимоходом брошенной Л. Кассилем формулировке, которой он, конечно, не думал придавать сколько-нибудь большое значение. Дело в том, что с ней связано ходовое и тем более опасное заблуждение, мешающее правильно разобраться в проблемах литературы (и тем самым в путях ее развития) вообще. Поэтому-то и нужно подробно остановиться на этом круге вопросов. У нас и до сих пор многие полагают, что поэзия сводится прежде всего к «постоянному уходу за языком... уходу за словесной стихией...»¹ Бесспорно исключительное значение работы поэта над языком, но к ней никоим образом нельзя свести поэзию.

Задача поэта — в изображении человека во всей его целостности, во всем богатстве его переживаний и поступков. Слово является лишь средством осуществления этой задачи. Изолированная работа над словом теряет смысл и не имеет, строго говоря, прямого отношения к поэзии. Футуризм в целом крайне сужал задачи поэзии, подменял их в значительной мере чисто словесным изобретательством, формалистической игрой в слово, которое можно назвать обесцеленным. Поэтому-то русский формализм

¹ Н. Асеев. «Дневник поэта», «Прибой», 1929, стр. 72.

в литературоведении возникал как-раз в связи с футуризмом. Непонимание этой ограниченности футуризма влечет к неправильной оценке поэзии вообще. Излишняя переоценка футуризма в мемуарах закономерно приводит к оживлению формализма. Это и произошло в книге В. Шкловского. «Поэты Хлебников, Маяковский, Василий Каменский выдвигали иную поэтику, — пишет он. — Во имя ее выдвинута теория остранения» (стр. 121—122); и далее: «Я создал теорию, ограниченную моим тогдашним пониманием, и этим затруднил понимание того, что было в ней правильно» (стр. 144).

Так, прикрываясь именем Маяковского, возвращается в какой-то мере к современности формализм. Отсутствие масштаба приводит к тому, что малое в литературе изображается как большое, неверное — как правильное и вредное — как полезное.

IV

В какой же мере мы действительно имеем право отождествлять Маяковского с футуризмом? Что его сближало с этой группой? Отличали ли его от футуризма какие-либо существенные творческие черты? Вспомним, что М. Горький, например, не отождествлял Маяковского с остальными футуристами. Известны его слова, записанные Б. Юрковским: «Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Вл. Маяковский. Поэт — большой поэт»¹. Эта же мысль была повторена в горьковской «Новой жизни» в 1917 году:

«Смолкли барабаны футуристов. Школа литературных «низвергателей» оказалась сама низвергнутой безжалостной рукой времени. Остался один — Маяковский, но не потому, что был футурист, а потому, что оказался обладателем выдающегося поэтического дарования»².

Сам Маяковский оставил противоре-

чивые определения своей связи с футуризмом. Подписывая футуристические манифесты и декларации, он в то же время еще в 1914 году заявил, что считает футуризм лишь «маркой как «треугольник»... красным плащом тореадора»¹. В 1915 году он вообще заявил, что «футуризм умер как особенная группа» (т. I, стр. 396). В чем смысл этих противоречий? Бесспорно, что в начале своей деятельности Маяковский разделял теоретические взгляды футуристов на искусство. Одно из основных положений футуристов состояло в том, что форма не зависима от содержания. Поэзия, — говорилось в сборнике «Дохлая луна», — «не поставляет себя ни в какие отношения к миру, не координируется с ним, и все остальные точки ее возможного пересечения с ним заранее должны быть признаны незаконными...»²

Крученых заявлял, что «новая словесная форма создает новое содержание» («Слово как таковое»). Он писал: «Через мысль шли художники прежние к слову, мы же через слово к непосредственному постижению»³.

Представление о роли словесной формы было у футуристов настолько велико, что они доказывали, что «слово меняет свое качество в зависимости от того, написано ли оно, или напечатано...»

Маяковский, в свое время нащупывая свой путь в поэзии, отдал, несомненно, дань этим взглядам, попав под влияние Д. Бурлюка. «Бурлюк... всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг» — вспоминал Маяковский⁴. Сам Бурлюк писал о Маяковском: «Приручил вполне; стал послушным; рвется на пьедестал борьбы за футуризм»⁵. Маяковский, явно повторяя мысли Бурлюка, писал, что искусство — это «свободная игра познавательных способностей»⁶. Это несо-

¹ Сочинения, 1939, т. I, стр. 358.

² «Дохлая луна», 1919, стр. 10.

³ Собрн. «Трое», 1913, стр. 24.

⁴ Сочинения, 1928, т. I, стр. 19.

⁵ В. Каменский. «Жизнь с Маяковским», 1940, стр. 8.

⁶ Сочинения, 1939, т. I, стр. 312.

¹ «Резец», 1939, № 17—18, стр. 21.

² «Новая жизнь», 31/XII, 1917, цит. по В. Катаняну «Рассказы о Маяковском», 1940, стр. 28.

мненная перефразировка слов Канта, говорившего, что в искусстве познавательные силы... находятся... в состоянии свободной игры... воображения и рассудка»¹. «Содержание безразлично» — заявлял тогда же Маяковский в статье «Два Чехова» в 1914 году².

«Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влить в нее вино или помой — безразлично. Идей, сюжетов — нет... Не идея рождает слово, а слово рождает идею» — писал он в той же статье (стр. 342).

Эти примеры бесспорно говорят о том, что Маяковский теоретически стоял на позициях футуризма (так же, как, например, «Из улицы в улицу» практически связано с футуризмом). Однако вопрос значительно сложнее, чем это может показаться с первого взгляда. Марксистская школа, пройденная юношей Маяковским, не могла все же не сказаться на его воззрениях на искусство, и, наряду с формулировками, усвоенными от Бурлюка, у Маяковского прорываются мысли, свидетельствующие о понимании им общественной значимости искусства. Уже в 1913 году он пишет:

«История искусства, если только она способна стать наукой, будет наука общественная.

Беря какой-нибудь факт из области красоты, история искусств интересуется не техническим способом его выполнения, а общественными течениями, вызвавшими необходимость его появления, и тем переворотом, который вызывается данным фактом в психологии масс»³.

В первой же статье в том же году Маяковский говорил об общественной полезности работы художника:

«Если разделение труда вызвало к жизни обособленную группу работников красоты, если, например, художник, бросив выписывать «прелести пьяных метресс», уходит к широкому демократическому искусству, он должен дать обществу ответ, при каких условиях его

труд из индивидуально необходимого становится общественно полезным»¹.

В 1914 году Маяковский снова повторяет эту мысль².

Маяковский в те же годы увлечения футуризмом заявляет, что «каждый цикл идей рожден и крепится своим укладом жизни» (т. I, стр. 348), что «мелкодейные пьесы, пожив несколько часов, умирают для репертуара» (т. I, стр. 313); он требует от искусства умения выразить «величайшие внутренние переживания» (т. I, стр. 313), говорит о «слове, нужном для жизни» (т. I, стр. 370), призывает художников «итти от жизни, а не от картин» (т. I, стр. 384) и утверждает, что «задачи писателя — найти формально тому или другому циклу идей наиболее яркое словесное выражение» (т. I, стр. 338); именно эти мысли позволили Маяковскому сказать впоследствии в предисловии к сборнику «Ржаное слово» (1918), что политик, красноармеец, поэт делают одно дело: «идея одна, чувство одно. Разница только в способах выражения» (т. I, стр. 468).

V

Очевидна вся несовместимость этих мыслей Маяковского с ортодоксальным футуризмом Бурлюка и Крученых. Что же сближало его с ними? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ясно представить себе литературную обстановку, которая окружала Маяковского накануне войны.

Как и всегда в эпохи общественных кризисов, в литературе с необычайной остротой стоял вопрос о человеке, о его трагической судьбе в буржуазном мире. И каждое большое литературное течение, каждый большой писатель давали свой ответ на этот вопрос. Характерно — с какой одинаковой остротой переживали это падение человека такие разные писатели, как Блок и Горький.

Эту большую тему эпохи Блок решал в плане страстного романтического про-

¹ «Критика способности суждения», СПб, 1898, стр. 61.

² Сочинения, 1939, т. I, стр. 338.

³ Сочинения, т. I, стр. 321.

¹ Сочинения, т. I, стр. 312.

² Сочинения, т. I, стр. 327.

теста против жизни, обрекавшей человека на падение. Его лирический герой, превратившийся в живого мертвеца, бродящего среди людей, своей гибелью обличал этот «страшный мир» и звал к борьбе с ним.

Социалистический реализм М. Горького позволял ему увидеть черты нового человека, человека будущего, и противопоставить его человеку капитализма. Пафос гуманизма Горького в том и состоял, что он не только разоблачал капиталистический строй, превращавший человека, пользуясь выражением Маркса, в «нечеловеческого человека», но и рисовал того «человеческого человека», которого создавала борьба за социализм.

Футуризм в своей основе тоже по существу выступил против человека, каким его создавал буржуазный мир. В этом был основной смысл того демонстративного протеста футуризма против всей буржуазной культуры, который он осуществлял с такой энергией. Но футуризм мыслил свою борьбу за человека лишь негативно, лишь как освобождение его от пут буржуазной культуры, не давая ему ничего взамен. Гуманистический пафос человека у футуристов весьма своеобразен: это пафос человека, вернувшегося к первобытному примитивизму. «Руссоизм» Хлебникова, являющийся одним из основных мотивов в его творчестве, чрезвычайно характерен. Хлебников стремится вернуть человека к простейшим и здоровым чувствам. Герой его «Лесной девы» и многих других произведений — это человек, который еще не отошел от природы, живет единой с ней жизнью.

«Нечеловеческого человека» буржуазного мира футуризм пытался заменить человеком, сведенным к простейшим, первичным побуждениям; отсюда тот физиологизм, который характерен для Бурлюка («каждый молод, молод, молод, | в животе чертовский голод, | будем кушать камни, травы»), Крученых («лежу и греюсь близ свиньи»), Хлебникова (борьба людей за самку в «Лесной деве»). Поиски футуризмом новой формы словесного выражения отвечали этому его содержанию. Примитивный

человек не нуждался уже в сложной системе понятий, необходимой для развитого мышления. Печально знаменитая «заумь» и представляла собой не что иное, как создание языка, отвечающего состоянию человека, еще не ощущающего необходимости мыслить. Это язык междометий и звукоподражаний, близкий к детскому языку, возвращающий человека к первичным стадиям языкового развития (ибо в футуризме, с этой точки зрения, было очень мало «futurum'a» и очень много «plus-quam-perfectum'a»).

Если футуризм был, следовательно, бессилён и беспомощен в своей положительной программе, то в его разрушительном отношении к буржуазной культуре были и своя логика, и свой пафос.

Маяковский в своем творчестве несравненно превосходил футуризм. Он почти с самого начала вбирал в свое творчество и тему предельных человеческих страданий в «страшном мире» (в этом смысле он ближе к Блоку, чем к какому-либо другому поэту XX века), и пафос веры в нового «человеческого человека» (М. Горький, к которому Маяковский ближе всего). Для него футуризм был лишь одним из слагаемых на пути создания новой социалистической лирики. Он сам прекрасно определил свое отличие от футуризма, заметив, что у Бурлюка «гнев обогнавшего современников мастера, у меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья» и далее: «Вплотную ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах» («Я сам»). В статье 1915 года «О разных Маяковских» он чрезвычайно глубоко объяснил смысл своих футуристических приемов: «А не для того ли только нож хулигана... чтоб... каждый из вас перешел к гордости и силе?.. Разве он не только для того позволяет называть себя Заратустрой, чтоб непреложны были слова, возвеличивающие человека?» (т. I, стр. 391—393). Поэтому Маяковский ощущал футуризм как нечто преходящее в своем творчестве. «Футуризм умер как идея избранных... не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погрешу-

ки шута чертеж водчего, и голос футуризма, вчера еще мягкий от сентиментальной мечтательности, сегодня выльется в медь проповеди»¹.

Понятно, таким образом, что связь с футуризмом была существенным моментом в поэтическом развитии Маяковского, ибо его сближал с ним протест против окружавшей их жизненной обстановки, но в то же время Маяковский неизмеримо превосходил футуризм и совершенно не укладывался в его рамки. Связь Маяковского с футуризмом В. Перцов тонко определил как «блок температуров», не более (стр. 34). Вне широкой литературной перспективы, вне понимания основного смысла поэтической деятельности Маяковского понять эту связь, определить ее удельный вес — невозможно.

Между тем у мемуаристов сцены тесного бытового общения Маяковского с футуристами настолько крепко удержались в памяти, что заслоняют подлинное величие Маяковского. Для С. Спасского вопрос вообще крайне прост: «В квартире Бриков, — пишет он (стр. 59), — закладывалась школа Маяковского...» В. Шкловский стремится этому же «бытовому» восприятию сложнейших литературных вопросов придать в какой-то мере обобщенное, теоретическое выражение. Поэтому в его книге много неверных и неприемлемых формулировок. Напряженная идейная борьба в литературе XX века зачеркивается им с легкостью необычайной: «В поэзии, — заявляет он, — шла гражданская война формы» (стр. 30).

Творчество Маяковского характеризуется им с недопустимой упрощенностью. «Маяковский любовался фарфоровыми чайниками и летящими булками на трактирных ставнях» — пишет он (стр. 26), не замечая характерного уже для ранних стихов Маяковского трагизма в изображении города.

Творчество Маяковского вдруг сводится к безнадежной личной трагедии, от которой спас его лишь Октябрь: «Его увела от жизни любовь. Сердце рвется к выстрелу, а горло бредит брит-

вою... Октябрьская революция сохранила Маяковского» (стр. 99—100). А далее следует неожиданная и правильная фраза: «Маяковский вошел в революцию, как в собственный дом» (стр. 101). Но ведь Маяковского только-что «увела от жизни любовь»; трудно понять эти исключаящие друг друга определения.

Самое творчество Маяковского иногда характеризуется В. Шкловским в форме, вряд ли доступной любому читателю: «Он вошел в поэзию... с недостроенным, сдвинутым, разложенным образом. Он вдвинул образ в образ» и т. д. (стр. 37). Надо оговориться, что виной многих недоразумений, которые возникают при чтении В. Шкловского, является отчасти его манера изложения.

Гегель говорил, что подлинный стиль в искусстве, это, прежде всего, — отсутствие манеры. У В. Шкловского эта нарочитость манеры повествования прямо гипертрофирована. Стиль легкой беседы с непрерывными ассоциативными переключениями и назойливой афористичностью приводит к нечеткости мысли в целом. Автор так напряженно обдумывает каждую фразу, что уже не успеваает позаботиться о совокупности их. Прием перестал быть средством оживления повествования, а превратился в самоцель и, так сказать, омертвляет речь автора.

Для читателя В. Шкловский, прежде всего, — мемуарист (хотя он сам и стремится отказаться от этого, говоря, что его книга «не мемуары, не исследование. Системы здесь нет, писатель не будет исчерпан, и биография не будет мною написана» — заявляет он, доведя читателя до 177 страниц!), он тот, кто видел Маяковского, он рисует его быт («толстый медный самовар стоял на столе. Перед ним булки, баранки. Маяковский стоял у окна» и т. д., стр. 31), и в этом его особенная авторитетность и ответственность. Но, внушив к себе доверие, ибо он знает все до мелочей, все, вплоть до баранок, В. Шкловский вдруг столь же авторитетно заявляет, что в поэзии шла война формы или что Маяковский был увиден

¹ Сочинения, 1939, т. I, стр. 396.

любовью от жизни, т.-е. выдвигает положения, совершенно неверные. Все это в связи с самоваром воспринимается читателем как нечто достоверное: об этом говорит очевидно, он тоже стоял у самовара, он знает. А очевидно уж давно отклонился от истины на весьма большое число градусов.

Таким образом, и проблема, весьма важная для понимания Маяковского, оказалась в мемуарах освещенной неверно. Вместо того, чтобы показать не только его связь, но и отличие от футуризма, они слили его с ним. Тем самым оказалась неверно освещенной и проблема новаторства. Освятив именем Маяковского футуризм, мы неизбежно толкаем молодого, например, поэта на неверный путь новаторства, к эпатированию, к голой выдумке, к формализму. Формализм—болезнь, которая проявляется весьма различно. Он может сказаться не только в желаниях удивить читателя неожиданным словом вроде «кукси-кум», но и в поисках «острых тем», когда писатель не изучает нового человека нашей эпохи, а ищет неестественных способов и нелепых людей и приходит к искажению действительности.

Неуменье найти правильный масштаб для своего материала привело мемуаристов еще к одной — частной, но, на наш взгляд, весьма существенной — ошибке: к необычайному преувеличению роли Хлебникова в истории нашей поэзии.

VI

Н. Асеев в поэме «Маяковский начинается» пишет о Хлебникове: «Он был Маяковского лучшим учителем». Маяковский, — говорит Асеев, — доверял Хлебникову, «словно старшему брату, удивившему за руку вдаль по полям». В. Шкловский говорит, что «Хлебников ощущал будущее» (стр. 25), В. Каменский без оговорки цитирует Бурлюка: «Хлебников указал новые пути поэтического творчества... Хлебниковым созданы вещи, подобных которым не писал до него ни в русской ни в мировой литературе никто... Он тот исток, из коего и в грядущем возможно за-

рождение новых прекрасных ценностей» (стр. 137—138). С. Спасский так говорит об исторических работах Хлебникова: «Стремление его было уловить ритм истории... им владело инстинктивное убеждение, что развитие человечества диалектично и закономерно. Через определенные отрезки времени событие вызывает свой противоположный. И, присматриваясь к хронологическим датам, можно эту закономерность исчислить. Такая идея в понимании Хлебникова не заключала никакой мистики. Хлебников был вполне позитивен... путем различных подсчетов Хлебников пришел к заключению, что основное число человечества — 317. Это значит, что событие через 317 лет или через число лет, кратное 317, переключается с другим событием, родственным ему, хотя и происходящим на ином историческом уровне» (стр. 72—73).

Об исследованиях Хлебниковым языка С. Спасский говорит: «Это было типичное задание, напоминающее неосуществленные замыслы Микель-Анджело» (стр. 72). Так читателю рисует Хлебников. В какой мере это верно? Вспомним, что сам Маяковский заметил, что для него Хлебников «один из учителей» (т. II, стр. 483), что «его тихая гениальность тогда (в 1913 году. — Л. Т.) была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом» (Бурлюком. — Л. Т.; «Я сам»), что, по словам Бурлюка, «Владимир Маяковский никогда особенно не любил и не понимал Хлебникова как поэта» («Красная стрела», Нью-Йорк, 1932, стр. 11). Но дело не в этом. Маяковский оставил о Хлебникове и такие замечания, из которых видно, что он высоко ценил его талант. Но Маяковский же очень тонко и точно указал на те ограничения, которые необходимо учитывать для понимания Хлебникова. Он писал: «Хлебников не поэт для потребителя. Его нельзя читать. Хлебников — поэт для производителя. У Хлебникова нет поэм. Законченность его напечатанных вещей — фикция» (т. II, стр. 475).

Эти замечания чрезвычайно важны и интересны. Дело в том, что Хлебников, бесспорно, поэт исключительной одарен-

ности и поэтической силы выражения. Но он был человеком психически неуравновешенным, и поэтический его дар не мог в нем проявиться полно и совершенно. И дело не столько в его отдельных формалистических стихотворениях, сколько в общем характере его творчества. У него можно найти отдельные строки, строфы, даже много строф исключительной силы и ясности, но они сейчас же перебиваются строками слабыми и не имеющими отношения к предыдущим. Хлебникова интересует лишь самый процесс создания поэтического произведения, но не его результат, ибо у него нет необходимой для законченного художественного творчества собранности. Он одержим большими идеями так же, как болезненно и его словоизобретательство; при всем его остроумии и блеске оно содержит в себе элемент сомнамбуличности. Его стихи похожи на сновидение, ослепительно яркое, но местами и нелепое. Стихи Хлебникова трудно читать не потому, что они просто трудны для понимания или формалистичны, а потому, что в них вообще по большей части нет четкого организующего стержня.

В той мере, в какой творчество Хлебникова было им самим осознано (а он, несомненно, при всей болезненности был ярким мыслителем), оно развивалось в том идейном плане, о котором мы говорили выше. Хлебников был испуган и даже возмущен буржуазным миром, но он звал назад от него, а не вперед. Революционная тематика, появившаяся у него позднее, идейно весьма расплывчатая. Не нужно забывать, что «Ночь перед Советами», на которую часто указывают, в основе — лишь вольный пересказ Короленко («В облачный день»), а «Не шалить» не идет далее ассоциации революции с Пугачевым.

Поэтому-то творчество Хлебникова, бесспорно, во многом интересное, не может быть признано при наличии элементарного историко-литературного и теоретического масштаба крупным эпикальным явлением. Оно своеобразно, но не более. Оно весьма интересно для поэта и теоретика поэзии благодаря иногда исключительно острому подчер-

киванию тех или иных особенностей поэтического слова. Но делать из Маяковского продолжателя Хлебникова на основании личных симпатий мемуаристов к Хлебникову — нельзя. Хлебников преподносится читателю как нечто бесспорное, весь его облик и поэтический путь модернизируется, но для этого нет никаких оснований, это не вытекает из интересов советской поэзии, не в этом ключ к новаторству, к которому она должна стремиться.

Н. Асеев писал в своей статье 1917 года (перепечатанной, однако, в сборнике 1929 года): «Люблю стихи Хлебникова больше Пушкина»¹. Но это факт биографический; он не имеет общественного значения. Мемуарист, когда он вспоминает о своем жизненном пути, естественно, имеет право на субъективность, он отнюдь не обязан быть историком. Но воспоминания о большом человеке современности не могут быть признаны личным достоянием мемуариста. Здесь он обязан проверять себя с точки зрения, выходящей за пределы его субъективности, он должен быть не только мемуаристом, но и историком.

Если он этого и не делает, он все равно остается историком, только плохим. Не искажая фактов, он незаметно для себя искажает их исторический смысл.

Поэтому-то и возникает, казалось бы, странный спор — спор с мемуаристами. О фактах ведь не спорят. Но в том-то и поучительность ошибок, допущенных авторами книг о Маяковском, что, не найдя нужного масштаба для своего безусловно интересного материала, они заставляют читателя спорить с ними.

VII

Талантливейшую поэму Н. Асеева «Маяковский начинается» мы здесь рассматриваем только в «мемуарном» разрезе.

Во многом мы должны быть благодарны автору поэмы. Она, несомненно, одно из крупнейших явлений советской поэзии последнего времени. Ни в каком

¹ Н. Асеев. Дневник поэта, 1929, стр. 8.

другом произведении так полно и сильно не передано обаяние Маяковского. Поэт воспроизвел многие черты человеческого облика живого Маяковского. Единая эмоциональная волна проходит через всю поэму и полностью захватывает читателя. Маяковский в поэме поставлен лицом к лицу с эпохой, и это хорошо; он наедине с ней, а это уже плохо. Большие поэты не могут быть одиноки. Их величие в том и состоит, что они улавливают основные общественные настроения; Белинский очень глубоко это выразил в статье «Стихотворения Лермонтова»: «В таланте великом избыток внутреннего, субъективного элемента есть признак гуманности. Не бойтесь этого направления: оно не обманет вас, не введет вас в заблуждение. Великий поэт, говоря о себе самом, о своем я, говорит об общем — о человечестве, ибо в его натуре лежит все, чем живет человечество, и потому в его груди всякий узнает свою грусть, в его душе всякий узнает свою и видит в нем не только поэта, но и человека, брата своего по человечеству. Признавая его существом, несравненно выше себя, всякий в то же время сознает свое родство с ним... По этому признаку мы узнаем в нем поэта... народного, в высшем и благороднейшем значении этого слова — поэта, в котором выразился исторический момент русского общества»¹. А Маяковский в поэме Асеева, в сущности, один. Правда, в уровень с ним поставлены и футуристы, но об этой ошибке мы уже говорили достаточно. Даже Крученых Асеев уделил большое внимание:

Теперь
начать о Крученых главу бы,
Да страшно:
Завоев журнальная знать...
Глядишь —
и читатель пойдет на убыль,
А жаль:
О Крученых надо бы знать.

Но что общего между Маяковским и Крученых помимо их эпизодической близости накануне войны 1914 года? Что общего, например, между поэтиче-

ской работой Маяковского в 20-е годы и такими стихами Крученых, выпущенными в свет в 1922 году (кн. «Голодняк»):

Миз-ку-а — бун-о-куз
Са-ссакууми!!! Зарья!!! Качрюк!

И здесь быт превращается в историю, малое объявляется большим, Левитан смешивается с В. Розановым, а Горького в поэме, рисующей эпоху, когда выступил Маяковский, вообще нет.

VIII

Книги о Маяковском стали предметом обсуждения в Союзе советских писателей, но о них говорили немного. Сама дискуссия была мало удачна, заставив вспомнить слова Маяковского о том, что «подъем литдрак» еще не есть литературный подъем (т. X, 1933, стр. 314—315). Но все же дискуссия была полезна. Она отчетливо поставила вопрос об отношении Маяковского к футуризму и, главное, вопрос о традициях Маяковского в современной поэзии. Сам он очень ясно определил эту свою традицию: «Я лично по двум жанровым картинам проверяю свои стихи.

Если встанут из гробов все поэты, они должны сказать: у нас таких стихов не было, и не знали, и не умели.

Если встанет из гроба прошлое — белые и реставрация, мои стихи должны найти и уничтожить за полную для белых вредность» (т. IX, 1931, стр. 271).

Маяковский был глубоко прав потому, что в своем творчестве он с необычайной разносторонностью выразил внутренний мир советского человека во всей конкретности его переживаний, с его пламенным патриотизмом. «Любить свою родину, — писал Белинский, — значит, пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере своих сил спешествовать этому»¹. Маяковский видел в своей родине осуществление идеала человечества и от-

¹ Белинский. Избр. произв., 1907, т. I, стр. 505.

¹ Белинский. Избр. произв. 1907, т. I, стр. 478.

сюда черпал свою творческую силу. И социалистический человек, во всей его многомерности нарисованный Маяковским, действительно, был неприемлем для старого мира, и тем самым стих Маяковского не мог быть похожим на стих старых поэтов (хотя и вбирал в себя найденные ими формы речевой выразительности). Смысл стихотворной формы состоит в том, что она представляет собой предельно сосредоточенное выражение передаваемого ею лирического переживания в наиболее отвечающих ему формам речевой выразительности: интонациях, ритмах. И новизна переживаний, которые рисовал Маяковский, необходимо требовала новизны их выражения, напряженнейших поисков новых слов и интонаций; без них эти переживания не были бы конкретными, жизненно убедительными. Отсюда напряженнейшая работа Маяковского над формой. Она была в то же время и работой над содержанием, ибо без нее оно не могло бы осуществиться в полной мере и с полной силой.

«Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются никогда, другие задерживаются, переворачиваются и выворачиваются по нескольку десятков раз, пока не чувствуешь, что слово стало на место... Начинаешь снова перекаивать все слова, и работа доводит до иступления... аж слезы из глаз (буквально)...» И там же Маяковский приводит 12 вариантов одной строки: «Для веселия планета наша мало оборудована» — в качестве примера того, «сколько надо работы класть на выделку нескольких слов»¹.

Традиция Маяковского — это величайшая идейная напряженность, т.е. тщательное отыскивание в человеке современности — основного, нового, ведущего в нем, и вслед за тем — величайший труд поэта, столь же напряженная работа над словом, ибо без нее содержание не получит своей конкретности, т.е. не станет явлением искусства.

В этом единстве и скрыта, в частности, сущность мастерства Маяковского.

И давно пора сказать о том, в какой мере является обязывающей эта его традиция для современных поэтов. Маяковский писал когда-то в статье о Блоке, что «некоторые... взяв какое-нибудь Блоковское слово, развивают его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство» (т. II, стр. 473). То же происходит отчасти и с Маяковским сейчас. Не справляясь с его традицией в целом, многие наши поэты усваивают себе лишь отдельные ее элементы. Им кажется, что они продолжатели Маяковского.

Таковы в значительной мере опыты Кирсанова. Поиски чисто словесной новизны, необычно звучащего слова для него иногда превращаются в самоцель. «Звуковая сторона кажется также многим самой целью поэзии, это опять-таки низведение поэзии до технической работы». Эти слова самого Маяковского (1927, т. V, стр. 420) очень точно определяют его отношение к такому роду восприятию его традиций.

Остановимся на одном примере: у Кирсанова есть стихотворение, которое называется «Ундервудный Мадригал», и построено оно на обыгрывании комбинаций звуков в той их последовательности, которая дана на клавишах пишущей машинки Ундервуд, расположенных в три ряда¹:

Мое перо.
старинный друг
Слети,
воробышком чирикнув
С моих
невыхпачканных рук
Чернил
- рембрандтовой черникой
И мне милай,
чем лучше стих
(Поэзия
нудна, как пролежень!)

Порядок звуков
йукенгшцах,
Порядок звуков
фывапролдж
Я осторожно
в клавиш бью,
Сижу не чванно, не спесиво
И говорит мне,
как, «спасибо»

Моя машинка
«Ячсмитьбю»

¹ Кирсанов. Дорога по радуге, 1928, стр. 90.

¹ Сочинения, 1927, т. V, стр. 406, 407, 420.

Ясно, что и по поводу этих стихов Пушкин сказал бы, что у него таких не было, но это не будет говорить в пользу Кирсанова, ибо в его поисках формальной новизны нет необходимости. Мы не чувствуем здесь того содержания, которое с непреложностью требует именно данной формы для того, чтобы благодаря ей проявиться именно так, а не иначе. Л. Толстой писал Н. И. Страхову: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел ввиду выразить романом, то должен бы был написать роман тот самый, который я написал «начала» (26 июля 1876). Такова необходимость формы в подлинно художественном творчестве. Между тем в словесной новизне, как таковой, будет ли это новизна слов, ритма, рифмы и т. д., нет художественного смысла, если мы не ощущаем, для чего она нужна.

Поэтому-то стихи, построенные на том, чтобы обыграть неожиданные словосочетания «моягода», «мояблоко», «счастливое дерево», «диризяблик», «дирижаворонок», «дирижяблоко», «пролежабль», «держабль», «дирижабры» и т. п.¹, не художественны, ибо им не хватает той содержательности, которая делает форму художественно функционирующей. Мы не говорим здесь вообще о творчестве Кирсанова и о его возможных других достоинствах. Нам важно указать лишь на эту его принципиальную ошибку в понимании традиции Маяковского.

Возьмем обратный пример. Песни В. И. Лебедева-Кумача имеют самое широкое и заслуженное распространение. Естественно, что симпатия читателя переносится и на стихи этого автора. Но в своих стихах он иногда в такой степени избавляет себя от необходимости найти нужную форму, что самое содер-

жание из них улетучивается. Вот строфа из стихотворения «Носители правды и культуры» (речь идет о приходе Красной армии в освобожденную Украину)¹:

Две девушки бойца застенчиво спросили:
— А дорого у вас берут за зуб вставной?

Ну, вот за свой, вы сколько заплатили?
— Я не платил копеечки одной.

Здесь уже нет никакой новизны, но все же вряд ли старые поэты были бы обрадованы такой строфой.

Если Маяковский изводил «единого слова ради тысячи тонн словесной руды», то здесь эта руда совсем нетрогнута.

Мы остановились лишь на одном из многих существеннейших вопросов, которые встают в связи с вопросом о традиции Маяковского, в связи с определением принципов его поэтического творчества.

Маяковский самыми неразрывными узами связан с основными творческими принципами современности.

Поэтому-то изучение его жизни и творчества не может быть сколько-нибудь плодотворно, если оно будет лишено того исторического масштаба, вне которого в нем нельзя правильно разобраться. Лишь при этом условии творческий опыт Маяковского будет наиболее глубоко воспринят советской литературой.

Книги о Маяковском — яркий пример того, что несоблюдение такого масштаба снижает значение богатого и интересного материала, которым располагали мемуаристы.

Но в целом эти книги в то же время — свидетельство все более широко развертывающегося изучения Маяковского, и в этом в частности их положительное значение.

¹ Кирсанов. Мои желания, 1938, стр. 11 и 30.

¹ В. И. Лебедев-Кумач. Боевые песни и стихи, 1940, стр. 23.

Писатели Казахстана

Александр ДРОЗДОВ

★

1

К двадцатилетию своей республики казахские прозаики пришли с сознанием того, что поработали они много и плодотворно. Руками их насажен сад казахской прозы, и сталинское время таково, что из года в год этот сад дает всё лучшие и всё большие урожаи. Нередко, когда заходит беседа о прозе братских восточных республик, приходится делать оговорку в том, что проза этих республик началась только вчера, что она еще не достигла возмужалости, что, наряду с произведениями, способными войти в фонд всесоюзной советской литературы, можно встретить произведения незрелые, избалованные еще неокрепшую, неуверенную руку их творцов. Казахская проза в этом отношении не составляет исключения: как явлению сложившейся литературной жизни, ей нет и двух десятков лет. Трагические судьбы казахского народа, до революции почти поголовно неграмотного, кочующего по необозримым пространствам своей родины в поисках пастбищ и воды, народа, отравленного предрассудками родового быта, умученного байством и русским царизмом, — трагические судьбы этого народа сложились так, что о развитии прозаической литературы до революции не могло быть и речи. Социальный протест находил отражение в устном творчестве народных певцов, в литературе, исключительной по своей поэтической силе.

В XIX веке в духовной жизни казахского народа засиял яркий гений в лице Абая Кунанбаева, великого гуманиста и поэта, родоначальника письменной казахской литературы. В истории своего народа он сыграл ту же роль, какую сыграл Пушкин в истории нашего народа. Значение этого высокоодаренного человека для казахской советской поэзии необычайно велико. Но проза — в силу упомянутых исторических условий — развивалась в Казахстане медленней; известны лишь единичные произведения Алтынсарина, Торы-Айгырова, Кубеева, которые нельзя поставить в ряд с поэзией Абая.

Таким образом, казахская проза как широкое литературное явление, как сложившийся литературный жанр зачалась в советские годы, под солнцем сталинской национальной политики, в условиях социальной и творческой свободы.

Значит ли это, что советским прозаикам Казахстана довелось строить литературу на голом месте, на непочатой целине? Утверждать этого нельзя. Литературная почва была подготовлена стойкими и сильными традициями народного творчества, деятельностью Чокана Велиханова, всей деятельностью Абая и его последователей, и эти традиции, этот культурный «закал» легко обнаружить в произведениях современных казахских прозаиков. Идеи коммунизма, движущие советскую литературу, раскрыли перед ними горизонты и освети-

ли их творческий путь. Под ударами Октябрьской революции рухнула стена национальной обособленности, отделявшая кочевой народ от соседних братских народов. Мировая культура, произведения мировой литературной классики становятся достоянием казахских масс; в казахских театрах поставлены Гоголь, Островский и Шекспир; на казахском языке выходят «Дон Кихот» и «Мои университеты», Байрон и Пушкин. Многие советские писатели переведены на казахский язык, и все чаще появляются произведения казахов на русском языке — сближение двух братских литератур начато, и творческие результаты этого сближения не замедлят сказаться со всей силой.

2

«Старейшими» прозаиками в Казахстане можно назвать Сабита Муканова и Мухтара Ауэзова, — понятно, взяв слово старейшие в кавычки: ветерану казахской прозы Муканову сейчас всего только сорок лет от роду, — он ровесник нашего века. Оба эти писателя имеют неоспоримые заслуги перед советской литературой: помимо своей работы в области прозы Муканов выступает как поэт, критик и литературовед, Ауэзов — как литературовед, переводчик Гоголя и Шекспира, драматург и ученый собиратель казахского фольклора. Оба они находятся в той счастливой полосе творческой жизни, когда замыслы толпятся и силы в расцвете.

Жизненная судьба этих талантливых писателей в корне различна. Сабит Муканов — сын батрака и сам в прошлом батрак, пастух и беспризорник, шатавший по аулам в поисках полуобглоданной кости; в детстве он достаточно хлебнул горя и знает, что значит голодные слезы и что значит дрожать под небом лютой зимы. У него были свои мектебы — свои жизненные университеты, — и есть творческая закономерность в том, что впоследствии из-под его пера вышла эпопея собственной жизни, так и названная им: «Мои мектебы», литературно навеянная Горьким, но рожденная собственной судьбой.

Пришла революция, и линия жизни Муканова чудесно изломилась. В восемнадцатом году, на восемнадцатом году своей жизни, он овладел грамотой. Грамота раскрыла перед ним мир. Он ощутил в себе дарование, о котором раньше и не подозревал: род деятельности был избран раз навсегда, он понял, что на литературных путях его служение народу будет плодотворней, чем на всяких иных. Сейчас, на двадцатом году республики Казахстана, популярность Муканова в казахском народе огромна.

В этом писателе прежде всего привлекает его многообразный жизненный опыт, знание старого аульного быта, глубокое знание своего народа и его политических движений. Муканова влечет к большим вещам, он стремится охватить значительные периоды народной жизни. Пишет он широкой, размашистой фразой, правда, не всегда хорошо сделанной, любит подробные описания, подробные характеристики и отступления умозрительного порядка. Проза его, несмотря на эти недочеты, добротна, добросовестна, серьезна. Даже в подстрочниках чувствуется самостоятельный писательский почерк Муканова.

Русскому читателю известен роман Муканова «Сын бая», написанный в 1929 году. Роман несет на себе следы малого литературного опыта; при всей своей познавательной ценности, при отдельных острых характеристиках роман лишен того, что можно назвать «равновесием частей»: фигура алаш-ордынца, байского последыша Буркута сделана интересней и ярче, чем фигуры Батес и других людей нашего лагеря. В силу этого картина соотношения классовых сил оказалась неверной. Роман этот, в сравнении со всем тем, что написано Мукановым позже, в особенности с такими вещами, как «Мои мектебы» и «Загадочное знамя», кажется робко-ученическим.

За последние годы дарование Муканова окрепло, он пишет уверенней, и «Загадочное знамя», сейчас подготовляемое к печати на русском языке, несомненно, займет в советской литературе достойное место.

В центре романа поставлен учитель Аскар, интеллигент, видящий нищету и угнетение своего народа и бессильный помочь ему. Время глухое. Аскар одинок. Путь героя от партизанского культуртрегерства к учению большевиков, от бессильного протеста к революционной борьбе составляет сюжетную линию этого искреннего, пытливого, усердно выписанного романа.

Есть у Сабита Муканова произведение совершенно своеобразного жанра — я говорю о «Балуан Шолаке». Это биографическая поэма в прозе. Повествуется в ней о народном любимце Шолаке — силаче, борце, народном акыне и предводителе восставших, лице действительно существовавшем. Поэма написана легко, жизнерадостно, она полна веселья и остроумия и говорит о гибком стиле Муканова, о его чутье слова, о любовном собирании им народных поговорок и пословиц.

Иным путем — сложным и извилистым — пришел в советскую казахскую литературу Мухтар Ауэзов. Он представляет собою тип писателя-ученого, знатока восточной литературы, усердно собирателя народного фольклора. В прошлом Ауэзов долгое время находился в плену буржуазно-националистических влияний, и нужно было преодолеть немало трудностей, переосмыслить свое отношение к миру, честно продумать свой путь писателя, прежде чем занять в казахской литературе то почетное место, какое он сейчас занимает.

Писать он начал с 1917 года. Его рассказы сразу сделались известны: в них намечалось то своеобразие писательской манеры, та своя, ему одному присущая литературная повадка, в которых уже тогда можно было угадать будущего оригинального мастера. Он был широко, европейски образованным человеком, но круг идей, питающих его, ограничивал, подсекал его силы, притуплял зрение и слух. Он не видел и не понимал антагонизма классовых сил в народе и, стало быть, не понимал пути своего народа. В патриархально-родовом быте аула он хотел видеть исконное, крепкое и доброе

начало, нетленную красоту человеческих отношений.

Так родились под его пером рассказы «Красавица в трауре», «В могиле Сыбана», «Бурная эпоха». Рассказы эти можно было бы назвать неподвижными, ибо они говорят о неподвижной, утрясенной веками жизни, которой Ауэзов хочет отказать в праве на движение вперед. Но, в свете нашего понимания действительности, эти романтически приподнятые рассказы движутся, но движутся они назад, уводя в прошлое, сопротивляясь расцвету новой жизни. Продолжай Ауэзов в этом роде, — он умер бы как художник.

Этого, по счастью, не случилось. Ауэзов скоро понял мертвенную, реакционную «красоту» своих литературных опытов. Уже в ту сложную и тяжелую пору своего творчества он пишет вещи, в которых побеждает реалистическая тенденция; правда пробивается наружу, опрокидывая «красивые» вымыслы. Мухтар Ауэзов пишет «Жизнь беззащитных» — повесть смелую, сильную и взволнованную. Художник увидел, что в ауле нет социальной идиллии, что баи и нищая голь — исконные враги, враги не на живот, а на смерть. Это новое понимание действительности придает новые силы творчеству Ауэзова. Он пробует себя в новом жанре. Вслед за «Жизнью беззащитных» появляется пьеса «Байбише и Токай» («Первая и вторая жена»), пьеса целеустремленная и едкая, высмеивающая отношение к женщине, как к вещи.

С 1932 года Мухтар Ауэзов пишет о наших днях. О колхозах («Крутизна»), об интеллигенции («Переживания Хасена»), о пограничниках («Охотник с беркутом»), о новых отношениях мужчины и женщины («Жамиля»).

Деятельность этого литератора, как я уже указывал, чрезвычайно многообразна. В настоящее время он работает над романом об Абае — большой труд, в котором поставлена задача показать во весь рост, «во всю ширину плеч» образ казахского мыслителя и поэта. Талантливая работа, поскольку можно судить о ней на основе опубликованных отрывков.

3

Габит Мусрепов работает в литературе давно. Но если оглянуться на путь, пройденный писателем за минувшие годы, в глаза бросается некая особенность в практике Мусрепова: его творческое непостоянство. Он не только стремится работать во всех жанрах сразу, переходя от рассказа к оперному либретто, от романа к сценарию, но и частенько охладевает к начатым вещам, бросая их на полдороге.

Наряду с такими ясными по замыслу и выполнению новеллами, как «Мать» или «Талпак Тонау», он пишет рассказ «Побежденный Есрафил», сумбурный по настроению и ложно-патетический, искусственно-приподнятый по тону. Это рассказ о бурне, о ветре Есрафил, побежденном волею советских людей — строителей. Ветер описан как некая богатырская, темная, косная, мстительная сила, дан как символ старой жизни, а люди, наши рядовые советские ударники, показаны в манере беглого газетного очерка, и рассказ ломается, два приема не соседствуют, не уживаются вместе, рассказ производит впечатление творческого лабораторного опыта, который не удался и который не стоило бы выносить на люди.

Рассказ этот очень характерен для Мусрепова и его творческого «поведения»: с одной стороны, он говорит о недостаточной профессиональной выдержке, а с другой — о неустанных поисках формы, о поисках сильно звучащего слова и непроторенных путей в литературе.

Творческие срывы, метания от жанра к жанру и ряд незаконченных, брошенных на полдороге романов создали Мусрепову репутацию писателя, которому многие жанры не под силу, многие темы не по плечу.

Это мнение о Мусрепове, на мой взгляд, совершенно несправедливо: метания его шли не от слабости, а от жадности, от хорошей писательской жадности к жизни и тем вопросам, которые она каждодневно ставит. А так как казахская проза молода и — куда ни глянь — везде новая тема, то, вполне естественно, у молодого писателя ко все-

му горит душа, на все чешутся руки. Он всем болен зараз и всем взволнован, всюду хочет творчески наступать, по всем направлениям высылает разведки. Как недисциплинированный, а потому и ненадежный часовой, он легко бросает пост у еще не исчерпанной темы, чтобы встать на часы у другой.

Конечно, с точки зрения ответственной и зрелой литературы, этот способ работы не может дать положительного результата: одной жадности восприятий в литературе мало, помимо «пламени воображения творческого» нужен еще, по слову Баратынского, «холод умаверяющего». Габит Мусрепов, уже в силу одной своей яркой талантливости, не мог не притти к такому выводу. Его последняя пьеса «Козы Корпеш и Баян Слук» — лучшее произведение, вышедшее из-под его пера, — говорит о полном равновесии замысла и выполнения.

Закономерна и понятна тяга писателя к золотому фонду народного эпоса. В XIII—XIV веках в недрах казахского народа, одаренного исключительной поэтической силой, родилась легенда о чистой, самоотверженной, высокой любви девушки Баян и юноши Козы. Легенда эта прекрасна. В ней сказались глубокий лиризм народа-кочевника, сила его чувств, его стремление к справедливости. Много вариантов этой поэмы ходит по пескам и жайляу Казахстана, однако сущность их одна: любовь как сила, движущая и поднимающая жизнь, любовь как высшее напряжение душевной жизни человека, как союз молодых сердец, ничем не рушимый. Поэтические красоты легенды неисчислимы, они, как звезды, как самоцветы. Вышедший в свое время в Алма-Ата перевод краеведа тов. Тверитина не в состоянии, к сожалению, передать этих красот, — вполне понятен поэтому творческий интерес к легенде не только казахских, но и русских поэтов. В то же время нельзя не отметить чисто познавательной ценности легенды.

Прочитайте пьесу Габита Мусрепова: вы услышите топот табунов и песни акынов; и скрип кочевых повозок в желтых песках, вой знойного ветра и звон гололедицы и тонкое пение стрелы в

ней отражена вся жизнь народа, затерянного в пустыне, его родовой быт, власть богатства и предрассудка, давившая его, уродливость экономических отношений.

В творческой интерпретации Мусрепова сюжет сложился так: в степях живет Карабай, богатч, стяжатель, алчная душа, владелец огромных табунов; у него дочь на выданье — Баян; он тяготеет к ней, она для него — проклятие неба; что доброго он может ждать от нее? Дочь приведет в дом мужа, муж покусится на его табуны. А женихи уже теснятся у юрты. Среди них — Кодар, человек бурного сердца, тяжелых страстей и слабой, легко внушаемой воли.

В детстве Баян была неразлучна с мальчиком Корпешем, своим погодком. Карабай, опасаясь, как бы дружба детей со временем не переросла в любовь, выгнал мальчика и его мать из аула. Прошли годы. И девушка, и юноша, не зная друг друга, живут предчувствием любви. Их любовные поиски, их томление, назревание высокой страсти даны в пьесе, как песня. Пьеса течет широким романтическим потоком. Между любящими встали Карабай, его темный советчик Жантык и Кодар, добивающийся руки Баян. Трагедия назревает. По наущению Жантыка Кодар из-за угла убивает Корпеша. Карабай, потерявший все свои табуны, сходит с ума; в отрешках, растерзанный, одержимый, он бродит в степи, клича жеребцов. Кодар ищет и не находит смерти. Баян в отчаянии и тоске по любимом закалывает себя кинжалом на могиле Козы Корпеша.

Было много опасностей и легких соблазнов в трактовке этого истинно шекспировского сюжета. Почему, казалось бы, не пойти дорогой мелодрамы — сюжет легенды строится на противоборстве злодейских и благородных образов, совершенно законченно и недвусмысленно очерченных, на противоборстве образов, доведенных до художественной гиперболы? Или, соблазняясь легкостью трактовки, не отдать предпочтения форме историко-бытовой драмы — в легенде много добротного бытового материала, развернуто показан аульный обиход, и

сватовство, и набеги, и земное, низкое скопидомство Карабая? Наконец, можно было пойти и по самому простому и легкому пути — инсценировать легенду, благо ее композиционная стройность, разнообразие ее фабулы сами толкали на этот накатанный путь.

Художественное чутье Габита Мусрепова оберегло его от этих соблазнов, которые, несомненно, снизили бы художественную ценность пьесы. Пьеса его написана не по легенде, а на основе ее. Сохранив за собою свободу в обращении с материалом, — что для него, как для художника, являлось необходимостью, — он создал романтическую народную трагедию, трагедию крупных страстей и крупных образов. Сам автор говорит, что Козы Корпеш и Баян Слу — это казахские Ромео и Джульетта. Этим самым он дает ключ к системе образов своей пьесы и называет имя своего великого учителя. И очень радостно признать, что пьеса свободна от упреков в голой подражательности Шекспиру; Шекспир для Мусрепова не образец, который он послушно копирует, но учитель, творческому методу которого следует.

Язык пьесы отличный. Поэтическая сторона мусреповского дарования позволила ему добиться музыкального звучания слова, пьеса воспринимается как трагедия-поэма, и ее нельзя не расценить как значительное явление современной казахской литературы.

4

Казахская проза только начинает разворачивать свои силы, вся она — в становлении, в периоде накопления художнического опыта. В упомянутых выше произведениях, принадлежащих перу сравнительно давно работающих писателей, можно найти наряду с сильными образами образы схематические; литературная ткань произведений кое-где не прочна и легко рвется. Но читатель, пристально следящий за движением казахской прозы, не может не заметить ее сильного роста, как мировоззренческого, так и художественного. Об этом говорит работа и старшего поколения писателей

(Муқанов, Ауэзов, Мусрепов, Сабир Шарипов), и младшего поколения.

Но было бы ошибкой, говоря о творчестве младшего поколения, обойти молчанием помехи, стоящие на его пути. Эти помехи существуют, и о них нужно говорить со всей товарищеской прямо-той, потому что это в интересах как литературы, так и самих писателей.

Среди литературной молодежи пользуется известностью Альжапар Абишев, писатель трудолюбивый, способный и деятельный. Он пишет примерно лет шесть-семь. Срок немалый для жизни в социалистической литературе, которая должна работать в темпе страны. А для нашей страны шесть лет — срок, в который укладываются полторы пятилетки. Опрометчиво думать, что романы и пьесы возникают по строгому плану, как новые дома в городах, — литература делается иными силами человека, нежели дома. Но если за шесть лет молодой писатель не обнаруживает движения вперед, то нужно задуматься над тем, что ему путает ноги.

Литературный путь Абишев начал карагандинскими очерками, потом написал рассказ «Кок-Даул», потом задумал и осуществил большую пьесу «За родину». Прекрасный, казалось бы, скачок: от очерка к пьесе, написанной на жаркую тему современности, на жгучую тему наших дней — об истинных друзьях народа и активных его ненавистниках. Возможно ли желать большего? Писатель за шестилетний срок разорвал границы фиксирующего очеркового жанра и перешел к труднейшему синтезирующему жанру, в котором работают такие признанные современники, как Погдин, Вургун, Ауэзов, Мдивани.

Какая же получилась пьеса?

В прологе Куртумбет, прислужник баев, убивает одного из вожаков народного восстания 1916 года, прячет концы в воду и берет на воспитание его сына Иркена. Проходит 20 лет. Мы видим Куртумбета на посту заведующего советской шахтой. Иркен, коммунист, инженер, влюблен в Гульжан, дочь Куртумбета. Она ничего не знает о прошлом отца, не догадывается о его вражеской деятельности, ничего не видит,

ничего не слышит; ее назначение в пьесе — давать вводить себя в заблуждение и не мешать развитию интриги.

А отец — злое начало пьесы — вместе с алаш-ордынцами пытается взорвать шахту. Здесь происходит много событий, развернутых Абишевым с несомненным чутьем внешне эффектных сценических положений. Враги вступают в заговор — то висят на волоске, то умело прячут концы в воду. Гульжан, влюбленная в Иркена, подозревает его в дурных чувствах и дурных поступках. Появляется «ложная» соперница. Интрига вяжется ради интриги — не всегда искусно, но всегда, к сожалению, искусственно.

В результате всех этих событий, благодаря энергии партсекретаря Зины и рабочего Керима, благодаря находчивости Иркена и своевременному вмешательству органов НКВД, пьеса приходит к благополучному концу.

Уже из этого беглого изложения видно, что вся пьеса держится на одном сцеплении фабульных узлов, на внешней интриге. Нет характеров даже статичных, не говоря уже о том, чтобы найти характеры в движении, в развитии, в становлении или падении. В пьесе подвизаются только имена, перечисленные в списке действующих лиц, имена которыми названы чисто абстрактные, всякой жизненности лишённые категории социального или морального порядка: враг, друг, носитель советской правды или носитель суеверий, человек-добродетель или человек-злодей.

Может ли голая категория жить в пьесе натуральной и яркой жизнью литературного образа? Способны ли персонажи-ярлычки на живую человеческую речь? Имеют ли они силу художественной убедительности? Понятно, нет! Вот речь Куртумбета (ярлык: «человек-злодей»): «А, убежать хочешь?.. Предать?.. А, все наши планы раскрыть? Меня, меня предать?.. Что же!.. Не склонившись перед советским судом, выпью яду! (Готовит себе яд.) Лукавое сердце! Сердце, которому даже я боюсь верить! Ты дрожишь?! Все пошло прахом. Погибай, ненасытная душа! Стори, мое сердце!» и т. д. А вот речь

Гульжан (ярлык: «человек-добродетель»): «До чего ты докатился! Кто ты?—животное, на котором лежит проклятие народа! Ты — шакал, съедающий своего детеныша. Что я вижу? Человек, которого я называла отцом, — змея, шакал!»

И, наконец, пример декламации Иркена (ярлык: «носитель советской правды»): «Довольно болтовни! Мы зорки: ваше намерение поджечь шахту и погубить сотни рабочих было нам известно пять дней назад. Поэтому вам и не удалось нанести ущерб нашей стране. Ваши пути отрезаны. Вы хотели съесть нас, но мы боролись за правое дело, а правда, как тебе известно, в огне не горит».

Прекрасные чувства владели Абишевым, и намерения его ясны: откликнуться творчеством своим на горячую тему современности. Тем более хочется это подчеркнуть, что в современной казахской прозе заметно увлечение темами историческими — в ущерб темам сегодняшнего дня. Абишева как писателя всегда интересовала, всегда волновала и влекла наша действительность, в которой он вырос и которой обязан своим местом в жизни. Чем же объяснить последнюю его неудачу? Как могла родиться эта творчески не выношенная и мировоззренчески ограниченная пьеса?

Абишев увидел лишь внешний рисунок событий и, не сумев раскрыть природы их, вполне естественно, сбился на авантюрно-приключенческую мелодраму, на искусственные фабульные ходы — и, тем самым, ушел от жизни. Жизнь, во всей ее сложности, во всех ее противоречиях, во всем ее блеске, во всей ее одухотворенности оказалась не под силу Абишеву, потому что он отстал от нее в своем сознании, потому что идеи, вдохновляющие жизнь нашей страны, опередили писателя. Жизнь как материал пьесы оказалась ему не под силу. Под силу оказалось лишь плетение сюжетных узоров, которые ни заметить жизни, ни отразить ее течения не могут.

Мы знаем много примеров затяжного «выпадения» писателей из литературы

как неизбежного следствия застоя: тот духовный багаж, который вчера еще позволял шагать в ногу с передовыми людьми страны, сегодня, не будучи обогащен и расширен, отшвыривает писателя на линию обоза. Этому закону нашей действительности в равной мере подчинены и сильные, и слабые писатели, потерявшие ощущение нового. Без понимания нового литературе не одержать решительных успехов. На всех этапах развития социалистического общества советская литература одерживала такие успехи. «Цемент» Гладкова, «Поднятая целина» Шолохова, «Санаторий Арктур» Федина, «Танкер Дербент» Крымова, «Как закалялась сталь» Островского, «Педагогическая поэма» Макаренко — все эти произведения, столь различные по силе или своеобразию таланта, имеют один общий признак: они на разном материале по-новому отражают и осмысливают жизнь.

Все они — творческий отклик писателей на темы, волнующие современников — работников и строителей социализма. Однако, литературная молодежь наша в известной своей части, и Альжапар Абишев в том числе, забывает, что отклик рукописью и творческий отклик еще далеко не одно и то же. Владея самыми малыми литературными способностями, можно написать решительно всё, и так скоро, как только успеет перо пробежать по бумаге. Рукопись получится, — а литература? Как часто появлялись, да еще и теперь появляются произведения, буквально наступающие событиями на пятки, но легкомысленные в самом дурном значении этого слова. В них есть подобие жизни, но нет ни жизни, ни искусства. Говоря о современности, они оскорбляют ее, лишая ее подлинных красок, подменяя дыхание жизни формалистическими эффектами. Вполне понятно, что произведения эти не задерживаются в литературе, возбуждая к себе только внешний интерес, и забываются тотчас же, как только прочитана последняя страница или досмотрен последний акт.

«Истинная поэзия, — писал Гоголь, — не в эффектах, не в пестром

убранстве, а в глубоком исследовании жизни. Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенно истинным».

Можно ли в наше время извлечь из предмета необыкновенное, к тому же являющееся совершенной истиной, т.е. типическое, можно ли сделать это, не занимая идейных высот эпохи? Абишев должен видеть по себе, насколько подобные попытки являются в литературе безнадежными. И он должен со всем мужеством и честностью разобрататься в корнях своей неудачи, чтобы в дальнейшем не топтаться на месте (что творческой спячке подобно), а начать подъем.

Но это одна сторона дела. Вторая его сторона в том, что Абишев подошел к жанру, не будучи к нему готовым. Горький не раз отговаривал литературную молодежь от стремления к большим литературным формам, от стремления, не подкрепленного ни писательским опытом, ни широким мировоззрением, ни достаточными знаниями. Здесь всегда возможны и неизбежны срывы.

Вот что писал Горький:

«Все великое — или, скажем, крупное, — создается из малого. А у нас повелось так, что молодой пистолет стреляет в читателя сразу — романом, когда же его, за неудачный выстрел, более или менее грубо облают, он более или менее неискренно начинает писать кому-нибудь покаянные письма: «сам вижу и знаю недостатки книги моей». В сущности, сам-то он, до поры, пока его не ткнут носом в кисель его сочинения, ничего не видит, не знает, да и не обнаруживает охоты знать. А покаянные письма обижено сочиняет с тем расчетом, что малограмотность ему простят, потому что он: молод, был «пастухом», «кузнецом», «грузчиком» и т. д. Чем ты был, это читателям — особенно нашим — не очень интересно; они сами, в большинстве, сегодня не то, чем были вчера, а завтра будут не теми, чем являются сегодня. И если ты становишься литератором, так должен понять: лите-

ратура — дело глубоко ответственное, а читатель наш имеет право требовать от писателя работы совершенно честной, чистой, отношения к нему более бережливого, более уважительного, чем к железу или корове».

Алексей Максимович умел писать резко, потому что всем большим сердцем своим любил литературу и знал ее решающее значение в духовном развитии народа. Резкость, прямота Алексея Максимовича помогла многим на первых шагах литературной работы, да и не только на первых.

«Литература — дело глубоко ответственное».

Вполне дееспособный писатель, имеющий некоторые заслуги перед казахской литературой, терпит неудачу — нужно доискаться до корней этой неудачи, ибо вопрос этот принципиальный, вопрос достаточно запущенный, уже типический для известной части нашей молодой литературы. Лежит ли вина всецело на плечах молодого писателя? Понятно, нет. Работа с молодыми требует бережливости и повседневного усердия. Очень часто внимание к молодежи мы подменяем холодным регистраторством: писатель написал рассказ или пьесу, — стало быть, это действующий и вполне благополучный писатель. Так создается атмосфера ложного благополучия в литературе, губительно действующая на неокрепшие таланты.

Счастливо избежал ошибок Абишева другой молодой казахский драматург Ш. Хусаинов, выступивший с новой пьесой «Шолпан». Действие этой пьесы разворачивается в уйгурском колхозе. Центральное лицо пьесы — молодая студентка Шолпан, девушка нашего времени, очень мягко, очень человечно написанная Хусаиновым. Жизнь полна свершений и надежд, люди завязывают новые отношения, но старый быт еще держится по углам, как паутина. В пьесе живо показано столкновение старого и нового, отживающих привычек и новой социалистической морали. Это — пьеса о любви, о ревности, о женщине, равноправной в жизни и в чувстве. Атмосфера пьесы легка, диалоги быстры, характерны, фигуры намечены смело, и

пьеса была бы совсем удачна, не испорти ее надуманная, неправдоподобная коллизия.

Сюжет пьесы построен на «тайне», которую берегут от Шолпан. Мать Шолпан, давно разойдясь с Ризахоном, вышла замуж вторично, за старика Розака, одержимого страстью к анаше. Шолпан — дочь Ризахона, но ее держат в убеждении, что она дочь Розака. От девушки скрывают ее «позор», скрывают его и от Розака, отечески влюбленного в девушку, и от колхозников; все сложные ходы пьесы, все столкновения действующих лиц держатся на этой тайне, совсем не зловещей и, в сущности, не имеющей никакого значения в наши дни даже для стариков. Нарочитая, надуманная коллизия только мешает свободному движению в пьесе человеческих характеров, выписанных Хусаиновым с большой наблюдательностью и свежестью.

Хорошо работает в жанре короткого рассказа молодой писатель М. Кайбалдин: в его новеллах, своеобразных и композиционно лаконичных, есть вполне зрелое чувство стиля, и лучшей среди этих прозаических миниатюр мне кажется миниатюра «Конский череп» — о мальчике, плененном ханом. К творче-

ству этого писателя необходимо внимательно присмотреться.

Характерная черта: последние свои рассказы М. Кайбалдин написал на русском языке; известная несвобода в обращении с языком еще связывает его. Эта несвобода при упорном труде должна исчезнуть, и тогда в лице Кайбалдина мы будем иметь писателя, литературно владеющего казахским и русским языками и тем самым имеющего возможность сыграть немалую роль в деле сближения двух братских литератур.

Казахские прозаики до сих пор переводились на русский язык от случая к случаю, и лишь в последнее время наметился сдвиг: вышла антология казахской литературы, выходит большой сборник современной литературы, подготовлены к печати отдельные издания лучших образцов казахской прозы. Но проблема переводов не решена до сих пор. Это тем более обидно, что казахские прозаики в большинстве своем владеют русским языком и могут стать тонкими истолкователями собственных подстрочников. Дело, таким образом, за русскими писателями, участие которых в переводах не только полезно, но, в наших условиях, и просто необходимо.

Заметки о прозе в журнале „Знамя“*

А. КУКАРКИН

★

«Знамя» относится к числу немногих литературно-художественных журналов, имеющих свое определенное лицо. Подавляющая часть художественных произведений, стихотворений и публицистических статей, составляющих основное содержание десяти вышедших номеров журнала, посвящена оборонной тематике. События в Монголии и Финляндии, освобождение Красной армией народов Западной Украины и Западной Белоруссии от ига польских панов, героическое военное прошлое русского народа, гражданская война, первая империалистическая война, современное международное положение — все это нашло свое отражение на страницах «Знамени».

Но это лишь одна сторона дела. Четкость профиля не определяет, естественно, всех качеств журнала. Достоинства и недостатки его могут быть выявлены только при рассмотрении отдельных произведений, которые здесь печатались.

Наиболее крупными вещами, опубликованными в уже вышедших номерах журнала, являются: роман Леонида ШUTOва «Знамя полка», повести Юрия Вебера «Поход адмирала Шпее», Ореста Ровинского «Гангут», Виктора Авдеева «У нас во дворе», Симоны Шульман «Сын», киносцены Б. Лапина и Э. Хацревина «Военный корреспондент» и новые главы из 2-й части «Дусимы» А. Новикова-Прибоя. Мы здесь не гово-

рим о литературе, носящей мемуарный характер; о ней речь будет итти ниже.

Странное впечатление остается после прочтения произведения Леонида ШUTOва «Знамя полка». Автор назвал его романом, но это скорее историческая повесть, вернее — разрыхленный, без какой-либо идеи и сюжетной линии, монтаж, основой для которого послужил отдельный эпизод из насыщенной событиями истории гражданской войны. Здесь нет развернутых характеристик, красочных и всесторонне обрисованных портретов. Даже образы главных действующих лиц — комиссара, а затем командира Первого пролетарского полка Ладунни, подростка-бойца Андриюши Гаевого, командира Семена Ведерникова — не раскрыты ШUTOвым, а нарисованы им схематично, как-то наспех. Образы эти прежде всего мало интересны. Они созданы по давно установившемуся, но, к счастью, встречающемуся теперь в литературе значительно реже шаблону «положительного героя». Писатель почти не показывает их человеческие качества и характерные черты. Герои Леонида ШUTOва не представляют собой ярких, неповторимых индивидуальностей; они не волнуют читателя, не остаются надолго в его памяти, а расплываются в общей массе действующих лиц. Образы махрового бандита «батяки» Махно и некоторых других исторических личностей (таких очень немного) чрезвычайно бледны, односторонни и ничем не отличаются от

* «Знамя», №№ 1—10, 1940.

образов, которые мы неоднократно встречали в произведениях ниже среднего достоинства, написанных еще в двадцатых и начале тридцатых годов.

Однако совершенно отказать Л. Шутову в художественном чутье и способностях было бы неверно. Он владеет даром слова, умеет давать описания природы, в ряде случаев удаются ему и батальные сцены (например, захват бронепоезда белых). Можно указать также на удачные характеристики некоторых эпизодических персонажей, в частности, на образ мечтательного пулеметчика Анастасенко, на любителя «сказок и чудесных историй» кашевара полка Егора Курихина. Но и эти образы лишь слегка намечены, и читатель не успевает с ними как следует познакомиться, не успевает полюбить их.

Отдельные удачи не спасают положения, и читатель, получив, вместо обещанного ему большого эпического полотна, незначительную, не только по широте охвата действительности, но и по своим художественным достоинствам, повесть, остается обманутым в своих ожиданиях.

Не один подзаголовок «роман» вводит читателя в заблуждение — этому способствует и самое начало произведения. Стилизуя свой язык под древнерусский народный эпос, автор пишет:

«Широки украинские степи... Степью вскормлены поколения предков наших, что оставили по себе высокие курганы, звучные песни, славу степных боев и походов. Слезами платили матери и жены за славу, за горечь пленения половецкого, и пролитые в степи слезы рассыпаны прозрачными солончаками, а плач звучит в песнях, трогая сердца потомков.

Затоптаны, перепаханы, заросли травой и рассыпались в прах кости безвестных ратников и коней из полку Игорева. Тиха и задумчива степь, памятниками былых боев стоят курганы, и вечный ветер, то тихий и ласковый, то бурный и злой, овеивает их. Кем только, степь, твой простор не был выхожен, кто только не хотел тобою владеть и зачерпнуть шеломом Дону... Отшумели бои, забылись и песни о них, лишь ты,

степь, осталась все тою же, что была столетия назад, как в дни полка Игорева и битв с половцами; тихо шумишь ковyleм и перешептываешься с ветром и травами о чем-то своем, мудром и большом».

В скобках отметим, что все эти «красивые» фразы не только лишены всякого смысла, но порой даже противоречивы. В самом деле, если автор в первом абзаце говорит, что предки наши «оставили по себе... звучные песни, славу степных боев и походов», то во втором — он уже утверждает обратное: «Отшумели бои, забылись и песни о них...» И тут же вспоминает о полку Игоревом, хотя воспоминание это дошло до нас именно при помощи песен.

«Широкий эпический» стиль начала произведения ничем не оправдан и возбуждает в читателе лишь ожидание до самых последних страниц повествования чего-то значительного. Но писатель замкнулся в очень узких рамках, и его ничто не интересует, кроме истории Первого пролетарского полка. При этом эпизоды борьбы этого полка с белогвардейщиной оторваны от всех событий гражданской войны, и невольно создается впечатление, что в те времена был только один фронт и ядром этого фронта являлся Первый пролетарский полк. Часть здесь совершенно незаконномерно выдается за целое.

«Знамя полка» Леонида Шутова представляет собой не роман, а, в лучшем случае, материал для романа, который мог бы лечь в основу большого художественного произведения.

Теме гражданской войны посвящена также и повесть Виктора Авдеева «У нас во дворе». Рамки здесь, как это явствует из самого заглавия, еще более сужены, чем у Л. Шутова. Рассказ ведется от имени двенадцатилетнего мальчика Тимы. Он живет в отдаленной казачьей станице, растет и воспитывается у деда, в богатой купеческой семье.

Отец Тимы был учителем, умер он в якутской ссылке, и «в доме деда говорить о нем было запрещено». Когда в станицу пришли красные, старик-купец захотел было удрать оттуда, но не успел, и красногвардейцы, с помощью ба-

трака Егорки Сяпина, нашли его, спрятавшимся на сеновале. Беднота не любила «Сильча», он притеснял ее и наживался исключительно за ее счет. Над купцом был устроен народный суд. На коленях он вымолил у мира прощение, но стоило только красным отступить временно из станицы, как им были забыты все обещания, он с радостью встречает белогвардейцев, а «предателя» Егорку решает запороть до смерти.

Все эти события производят, конечно, большое впечатление на ребенка. «Меня жгло чувство стыда за деда, даже какая-то обида поднялась против него, чего раньше никогда не было». Ему противны пьяные офицеры, он ужасается звериной расправой над пленными. Егорку он решает во что бы то ни стало спасти, и когда это ему с большим трудом удается, мальчик отправляется вместе с ним на розыски красных.

Как видно из самого содержания повести, В. Авдеев стремится показать лишь переживания и реакцию ребенка на огромной важности события, совершающиеся на его глазах, показать развитие и становление его характера.

Развитие это тесно и органически связано с происходящими событиями. Весь сложный и мучительный по своим глубоким противоречиям процесс формирования характера героя, когда происходит резкий перелом детских привязанностей и первых представлений о мире, как в фокусе, отразился на отношениях мальчика к Егорке Сяпину. При обыске и аресте деда он был возмущен его поступком и искренне возненавидел этого человека, который раньше принадлежал к «их двору», а теперь «прёдал» своего бывшего хозяина и «благодетеля». Но в дальнейшем это чувство начало постепенно сглаживаться, терять свою остроту и заменилось чувством недоумения и даже сомнения в справедливости прежних его, вернее, дедовских, суждений о жизни и людях. В последующих сценах он убеждается в ложности внушенного ему представления, что большевики режут людей, что это — «арестанты, выпущенные из тюрьмы, и у них должны быть хвосты сзади». Егорка не только не спалил дом деда, но даже про-

стил ему все его издевательства и несправедливости, которые пришлось ему претерпеть в бытность его работником у купца.

Егорка вместе с другими красногвардейцами мечтал о будущей счастливой и радостной жизни. В этих мечтаниях и надеждах он был не одинок, с ним была вся станица. И только дед-купец стоял в стороне от всенародной радости.

«— Как же так? — в полном недоумении думал я. — Вся станица гуляет? Неужели только одним нам худо? Я, как и всегда дети, принимал существующий порядок, будто «так и должно быть». Есть богатые — так богом положено; есть бедные — так богом положено. В доме у нас принято было говорить: «Мы — люди. Торговля — кит, на ней держава стоит», а остальной народишко вроде шушеры. И теперь я впервые подумал: «Может, и правильно, что деда хотят «разбуржуить»? На поле мы не работали, одеты ходили чисто, ели-пили досыта и деду все были должны. Почему это так?»

Все эти мысли и сомнения глубоко запали в душу ребенка. Он жадно искал разрешения всех мучивших его вопросов. Как мы уже видели, сама жизнь дала ответ на эти вопросы.

Гражданская война дается в восприятии мальчика, и он сам, несмотря на полученное им воспитание в богатой купеческой семье, правильно оценивает события и в силу сложившихся обстоятельств самостоятельно определяет весь свой дальнейший жизненный путь. «Маленьким-то оно, знать, виднее, где правда» — говорит о нем Егорка.

Авдеева, может быть, следует упрекнуть в ограниченном освещении значительной темы, в узости его кругозора. Но с поставленной задачей автор, по нашему мнению, справился, а большую он перед собой и не ставил. Сознание, внутренний мир подростка раскрыты убедительно; его мысли, чувства и отклики на явления действительности всегда непосредственны и правдивы. Образ героя глубоко жизнен и типичен.

Удались писателю не только образ главного героя, но и другие персонажи

повести. Запоминаются читателем и рельефная фигура деда-купца, и глубоко трагический образ «мужичонки» Ся-сина, и несколько шаржированный образ «тети Зои». Язык повести ясен и прост, сюжетная линия развивается умело. Благодаря всему этому повесть от начала до конца читается легко и с интересом.

На историческую тему написаны повести «Гангут» Ореста Ровинского, и «Поход адмирала Шпее» Юрия Вебера. «Гангут» переносит читателя в начало XVIII века, во времена Северной войны. В 1714 году молодой русский флот в битве при Гангуте одержал первую морскую победу — разгромил более сильную и технически лучше оснащенную шведскую эскадру. После этой битвы Швеция была вынуждена пойти на уступки, и вскоре был подписан мирный договор.

В качестве действующих лиц повести выступают, как правило, одни лишь исторические деятели: Петр I, генерал-адмирал Апраксин, Павел Ягужинский, шведские адмиралы Ватранг и Эреншилд и многие другие. Не удовлетворяясь этим, Ровинский, как видно, для «полноты исторической картины» выводит на сцену и Меньшикова, и Екатерину, хотя они произносят всего лишь по две-три фразы и являются фигурами случайными, ненужными для повествования. Вымышленные же персонажи играют в повести эпизодическую и чисто служебную, связующую роль.

Описывая ход исторических событий, автор наибольшее внимание уделяет личности Петра. Но художественного образа этого замечательного человека у него не получилось. Изобразительные средства, которыми располагает Ровинский, чрезвычайно ограничены. О Петре мы здесь узнаем ровно столько, сколько можно узнать из любого научно-публицистического очерка. Не только психологически раскрыть этот глубокий и сложный образ, но и дать его внешний портрет автор не смог.

В связи с повестью «Гангут» следует сказать несколько слов о языке истори-

ческих произведений. Орест Ровинский считает, очевидно, что верная передача истории требует натуралистического воспроизведения старинного языка. Особенно засорена архаизмами речь его героев. Для примера достаточно будет привести несколько фраз. Вот говорит капитан Зваевич: «...Пошли мы на крепость Выборг. Через лед морем с Котлина острова марш свой восприяли. Оную крепость взяли штурмом. От сего устроилось Санкт-Петербургу крепкое обезопасение». А вот речь Петра: «Ну, любезные командиры и бомбардиры. Шведы крепко стерегут нас. Одержав великие победы на суше, не гоже нам уступать им на море. Извольте давать советы, как без великого конфуза вылезти из столь тяжелой диспозиции?» Как мы видим, автор здесь немного «переусердствовал» и временами попросту коверкает язык своих героев.

Об этой так называемой «подлинной» передаче писателем отдельных слов и выражений языка действующих исторических лиц хорошо сказал как-то немецкий драматург прошлого столетия Фридрих Геббель: «Подлинная речь героя так же мало уместна, как его настоящий сапог в живописном портрете». В историческом произведении подлинными должны быть прежде всего мысли и чувства изображаемых героев, а язык их, сохраняя соответствующий исторический колорит, неизбежно должен претерпеть некоторую модернизацию. Если автор не умеет показать общественные отношения определенной исторической эпохи, не в состоянии раскрыть психологию людей этого времени, то никакая архаическая языковая стилизация ему не поможет. В случае же удачного разрешения основной задачи, стоящей перед художником, ненужным окажется и языковое подражание.

Если весьма сомнительны художественные достоинства повести Ореста Ровинского «Гангут», то еще более очевидно публицистическое задание автора в «Походе адмирала Шпее». Этого, впрочем, не скрывает и сам Юрий Вебер. В «прологе», говоря о гибели в декабре 1939 года германского «карман-

ного» линкора «Адмирал Шпее», он пишет:

«Этот трагический эпизод напоминает нам об одной мало известной странице истории первой мировой войны. Ровно двадцать пять лет тому назад примерно в этих же водах (южной части Атлантического океана. — А. К.) разыгрался заключительный акт другой морской драмы, связанной также с именем адмирала Шпее.

Вот как это происходило...»

И дальше следует подробный пересказ событий, связанных с гибелью эскадры адмирала Шпее. Это читается с интересом, написано легко и в достаточной мере литературно. Но ничего общего с художественным произведением «Поход адмирала Шпее» не имеет. Ю. Вебер и не претендует на это и даже не пытается создать художественные образы. О самом адмирале сказано здесь так, как о нем рассказал бы и автор публицистического очерка. А кроме Шпее, мы не найдем у Вебера по существу ни одного действующего лица. Между тем в подзаголовке, дразня любопытство читателя, выведены многообещающие слова: «Историческая повесть». Приходится иногда удивляться тому, как легко присваивается публицистической работе марка художественного произведения!

В отличие от уже разобранных нами вещей повесть Симоны Шульман «Сын» построена, если можно так выразиться, на современном материале. Правда, завязка относится к годам гражданской войны, но основная идея произведения раскрывается через события, происходящие уже в наши дни.

В 1918 году, досыта хлебнув «горького солдатского житья», возвращается герой повести Анохин в родную деревню. Здесь он сходится с крестьянкой Марьей Митягиной, но вскоре опять уходит в партизанский отряд. За время его отсутствия у Марьи рождается сын. Возвращения Анохина, как тот потом узнал, она не дождалась и «променяла на другого». Мучимый злобой и сомнениями, он уходит от нее вторично, на этот раз навсегда.

Прошли годы. Анохин стал полков-

ником и начальником N-ской авиационной школы. Он женат, имеет дочь. И вот однажды он «прочитал в списках молодых летчиков, прибывших для усовершенствования, фамилию Митягина». Сначала «ему и в голову не пришло, что это может быть сын Марьи; но, едва увидев его, сразу понял, что это именно он».

Теперь начинается то «самое главное», ради чего и была написана повесть. Автор стремится создать целую драму и показывает жестокие мучения и вновь возродившиеся сомнения в душе Анохина: его это сын или не его? Появление Митягина он воспринимает, как «непоправимое несчастье».

«Эти частые колебания и постоянное нервное напряжение очень скоро вконец издергали полковника... Раньше всегда внимательный, он был теперь часто мрачен, раздражался по пустякам, часами молчал и старался уединиться... Он долго ворочался без сна, часами лежал лицом к стене и раздумывал над тяжелой путаницей, которая обрушилась на него и из которой, казалось, не было никакого выхода... Короткий сон на рассвете не приносит облегчения. Он вставал разбитый, с чувством тоскливой неудовлетворенности, с глубоким неуважением к самому себе». И так далее, и тому подобное.

Переживаниям Анохина посвящена почти вся повесть. Но читатель не сочувствует этим переживаниям и даже не понимает их. Чего, казалось бы, проще, вызвать к себе юношу и поговорить с ним «на чистоту»? Все препятствия к этому разговору созданы только воображением Анохина и, главным образом, самого... автора.

Но вот полковник, наконец, решает поехать на Дальний Восток к Марье и разрешить все мучительные вопросы. Как и следовало ожидать, Митягин оказался его сыном. Впрочем, об этом тот и сам говорит отцу после его возвращения.

Большая, важная тема об отношениях отца к сыну, об обязанностях и чувстве долга перед ним и перед всем обществом в повести Симоны Шульман оказалась обедненной. Анохин — коман-

дир Красной армии — является по своим моральным устоям, в представлении Шульман, вполне советским человеком и вполне достойным своего высокого звания. На самом же деле, это глубоко эгоистическая натура, ему дороги лишь собственные интересы, свое собственное спокойствие. За все время, когда Митягин находился вдали от него, Анохин ни разу не побеспокоился о судьбе мальчика, хотя вопрос об отцовстве не был разрешен и существовали веские основания считать отцом именно его. Случай поставил их лицом к лицу. И на этот раз полковник думает только о себе, погружается в пучину личных чувств и переживаний. Но о внутреннем состоянии Митягина он ни разу не подумал. Не подумала обо всем этом, очевидно, и сама Симона Шульман.

О «Военном корреспонденте» Б. Лапина и Э. Хащревина сказать что-либо трудно. Это даже не законченный сценарий, а всего лишь, по осторожному определению самих авторов, отдельные киносцены. Точно так же не имеет смысла говорить сейчас и о новых главах из второй части «Цусимы» А. Новикова-Прибоя. Это замечательное произведение заслуживает особого и более детального анализа.

★

Кроме повестей в «Знамени» был напечатан также целый ряд небольших рассказов. По значительности темы выделяется среди них «Учитель» Даниила Соколова. Но вместе с тем это, пожалуй, и самый неудачный рассказ.

По случайному совпадению обстоятельств Владимир Ильич Ленин остается на ночлег в одной сельской школе. Между ним и местным учителем происходит разговор, который и составляет основное содержание рассказа, его идею.

«Учитель, как видно, долгое время ни с кем не делился своими мыслями и потому хотел сразу и обо всем высказаться перед гостем». Эта фраза автора определяет весь характер беседы: говорит, по существу, один учитель, а Ленин вставляет лишь отдельные за-

мечания. Таким приемом писатель как бы снимает с себя часть ответственности. Но и это его не успокаивает. Все наиболее существенные замечания, которые Соколов вкладывает в уста Ленина, являются попросту цитатами из ленинских статей, слегка, конечно, перефразированными. Весьма сомнительно, чтобы Владимир Ильич в дружеском разговоре с учителем, человеком, кстати сказать, глубоко и всесторонне образованным, стал бы говорить таким образом: «Только пролетарская революция и сможет возродить народы, нации и племена, обреченные капитализмом на вымирание». Или в другом месте: «Да, такая революция могла быть только в России. И только в России она смогла принять такой размах и одержать неслыханные победы. А почему? Мы, Иван Петрович, хорошо знаем ту силу, которая обеспечила нам эту победу. Этой силой явился русский рабочий, цвет международного пролетариата, с его исключительной энергией, силой дисциплины, самопожертвованием и невиданным героизмом, с его авангардом, партией, вооруженной самой передовой и творческой теорией...» Автор здесь показал малое чутье слова, непонимание различия речи разговорной от доклада или статьи. Речь Ленина же, как мы знаем, отличалась удивительным богатством и разнообразием.

«Художественно» обработанные Соколовым цитаты из работ Ленина обладают, бесспорно, гораздо меньшей содержательностью, чем оригинальный контекст, и в неизмеримо меньшей степени воссоздают интеллектуальный облик Владимира Ильича, чем любая из его работ.

Когда советский художник берется за такую большую тему, когда он хочет создать образ великого гения человечества, он должен, конечно, в полной мере чувствовать взятую им на себя ответственность, а не избегать ее всевозможными окольными путями.

Почти все остальные рассказы, помещенные в «Знамени», легко разбиваются на две группы. Первая из них, куда относятся, в частности, рассказы Льва Шапиро и Ал. Исбаха, явно тяготеет к

жанру очерка. Рассказы эти представляют собой, в основном, отдельные зарисовки из походной записной книжки писателя.

Другие рассказы — «Франсуаза» Б. Изакова, «Ласковый старик» Ник. Шпанова, «Чайка» А. Эрлиха, «Привидения из Хуккаярви» Льва Рубинштейна — удивительно похожи один на другой. Роднит их, естественно, не однородность сюжета, а определенное композиционное построение. О чем бы в них ни говорилось, — о распространении ли нелегальных коммунистических листовок во Франции во время первой империалистической войны, или же об отравлении мальчика белополяком-диверсантом, — эти рассказы в своей основе имеют не художественный образ, а остро занимательную ситуацию с традиционной, зачастую неожиданной, концовкой. Рассказы привлекают внимание читателя своими интригующими заголовками, возбуждают его интерес после первой же прочитанной страницы, но никакой самостоятельной художественной ценности они не представляют, а «Франсуаза» Б. Изакова и «Ласковый старик» Ник. Шпанова даже отталкивают своей бездумностью, холодным равнодушием к человеку.

★

Значительное место в журнале «Знамя» занимает литература воспоминаний. В первую очередь следует отметить мемуары генерал-майора А. А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю». Эти интересные записки крупного военного специалиста правдиво изображают историю последних десятилетий царской власти. Опубликованная в этом году вторая часть мемуаров посвящена, главным образом, русско-японской войне и заканчивается назначением А. А. Игнатьева на военно-дипломатическую работу во Францию.

Особого внимания заслуживают также записки Р. Кармен «Год в Китае». Страницы дневника кинооператора чередуются здесь с путевыми заметками, зарисовками боевых эпизодов, различ-

ными описаниями и многочисленными рассказами о жизни китайского народа, ведущего героическую борьбу за свою национальную независимость.

Помимо этого в журнале мы находим «Записки военного корреспондента» Н. Каржанского, воспоминания героя Советского Союза М. Слепнева «Трагедия в проливе Лонга», дневник батальонного комиссара Н. Гаглоева, принимавшего участие в боях с белофиннами... Список может быть продолжен, он достаточно велик, а главное — чрезвычайно разнообразен.

Все упомянутые выше авторы пришли в литературу «со стороны», из других профессий. Обладая богатым житейским опытом, они стремятся поделиться с читателями своими знаниями и впечатлениями, рассказать им о тех событиях, участниками или очевидцами которых они были. Значение записок и воспоминаний этих людей трудно переоценить, причем достоинства их определяются не только тем, что они являются историческими документами, но и теми качествами, которые сближают их в известной степени с произведениями художественной литературы. Герой Советского Союза М. Слепнев не просто ведет хроникальный рассказ о поисках им совместно с Ф. Фарихом в 1929—1930 годах американского летчика Эйельсона и механика Борланда, а воссоздает происшедшие события, пользуясь зачастую средствами художественного изображения, прибегает иногда к домыслу и фантазии. Летчики, командиры Красной армии, деятели самых различных областей науки, техники и искусства внесли за последние годы новую и свежую струю в советскую литературу.

К этому циклу тесно примыкают многочисленные фронтовые очерки, отдельные зарисовки, походные дневники, которые вели советские писатели на фронтах в Монголии, Польше и Финляндии. Среди других мы встречаем здесь имена Вс. Вишневского, В. Шкловского, Вл. Лидина, Евг. Петрова, С. Вашенцева, Ал. Исбаха, Ник. Шпанова. Каждый из этих писателей обладает своей, особой манерой письма, своей, особой творческой индивиду-

альностью, и уже в силу одного этого их записки представляют большой интерес. В целом же они создают яркую и многообразную картину происшедших исторических событий.

Возможно, что все эти воспоминания, дневники и записки и не войдут в основной капитал художественной литературы, но по глубине чувства истории, по широте диапазона, по увлекательности и вместе с тем подкупающей простоте повествования они выгодно отличаются, как мы уже могли убедиться, от многих так называемых «художественных»

произведений. Во всяком случае, некоторые из этих вещей показывают нам то, чего мы мало нашли в рассмотренных нами вещах, а именно — характерные черты человека нашей, советской эпохи. Для «Знамени» уже стало правилом регулярно печатать записки и воспоминания бывалых людей. И в этом — одна из крупнейших заслуг редакции журнала. Но, к сожалению, эти вещи не могут целиком заменить собой полноценную художественную прозу, в которой на страницах журнала ощущается большой недостаток.

Литературная жизнь современной Франции

Мих. АПЛЕТИН

★

I

Не приходят с июня месяца французские литературные журналы. Да их и нет во Франции. Но из приходящих за последнее время газет можно узнать, как «литературно» подготовлялась капитуляция, как новые,—нет, старые, очень старые люди, — проделывая «революцию», хотят поставить литературу на службу «новому порядку».

В то время, когда потерпевшая первые серьезные поражения армия союзников откатывалась на поля Северной Франции, правители Франции готовили капитуляцию.

В эти дни из-под пера наемных литераторов выходили дневники «очевидцев» и другой «вдохновляющий» на борьбу материал. Здесь можно было прочесть о неприступности «линии Вейгана». Оплаченное «вдохновение» автора доводило для читателя эту «линию» до побережья Ламанша.

На помощь таким свидетельствам «очевидцев» шли заклинания, уверявшие в том, что «Вейган знает средство», как остановить врага. Аргументация при этом достаточно примитивная и «убедительная»:

«Я верю в это... Я знаю, что этот человек получит все, что он хочет, и слабого делает сильным» (!) («Нотр комба», 31/V).

Стратег из «Нувель ревью франсез» (1/VI) Жак Полан приводил другие доводы, как обеспечить победу. Он при-

знавал силу врага, но утверждал: «Ее сопротивляемость не равноценна наступательной силе, ее защита — ее нападению».

Свои расчеты на победу он строил на силе «изобретательства», на «ремесле генералов» и надежде на образующийся «союз справедливых»... «от папы Пия XII до президента Рузвельта». Однако, наученный примером союзов и джентльменских соглашений за последние три года, автор свои окончательные расчеты возлагал на «примирение всех французов» и... «молитву за тех, кто сражается».

Другие, как Пьер-Мак Орлан, воспылали верой в колониальные войска.

Жюль Ромэн верил в Швецию и авансом приветствовал ее «героическое сопротивление».

Бельгиец Метерлинк, уже с начала войны устроившийся в приветливой Ницце, проклинал своего короля Леопольда за капитуляцию, заявляя, что «не иначе как немецкая кровь внезапно проснулась в жилах короля».

Радетели о «чести Франции» писали: «Таинственный глубокий инстинкт говорит вам, что сейчас на вас обрушится смертельная опасность... смерть парит над городом, над нацией... Вся ее жизнь — ее настоящее и прошлое поставлено на карту», и призывали к войне... «против внутреннего врага». Эмигранты, живущие во Франции, — немецкие и испанские прежде всего, — шли в ряды с «внутренними врагами нации».

Те, кто вел Францию к разгрому, имели «перспективы»: лозунг «сделать Францию французской» появлялся на страницах реакционной печати. Другие были задушены войками «за свободу и демократию» и не могли разоблачить подлинного содержания этого лозунга.

Мобилизация сил на борьбу с наступающим всей своей мощной военной техникой врагом шла и по линии критики минувшего десятилетия, «пересмотра интеллектуальной жизни», определения «своего долга».

Одна за другой газеты, зная своих хозяев, в разных формах декламировали о «стесняющей дыхание тревоге», о терзаниях «неизлечимыми укурами совести»: «Мы плохо прожили нашу жизнь».

Книги, смакующие «страдания», расхваливались как подходящий материал для чтения («Эвр», 21/V и 4/VI). Капитуляцию готовили лицемерными словами о ценности жизни: «Сейчас ничто, как бы ценно оно ни было, не имеет значения и не может иметь его по сравнению с французскими жизнями, которые явятся ценою спасения».

Настойчиво призывали «в разгар наступления, которому подвергается христианская цивилизация, не забывать бурный поток католического духа за последние десятилетия».

Андре Моруа в «Фигаро» в серии статей продолжал расхваливать дружбу с Англией, ее армию.

Бывший генеральный комиссар информации Жан Жироду проявлял особую активность и в течение недели перед наступлением германской армии на Северную Францию, с 30 мая по 6 июня, опубликовал статьи: 1) «Ставка войны», 2) «Право подчиняться команде», 3) «О предательстве», 4) «Пересмотр формулы». Подчинение всего целям войны, максимальная организованность — вот о чем говорил в них Жироду.

Некоторые издатели торопились «на помощь» выпуском десятков религиозных книг: за неделю в середине мая вышло 22 таких книги.

Книжка Жоржа Ляховского — жалкие потуги пигмея поразить коммунизм как учение, «противоречащее законам

природы», — направлялась против «внутренних врагов», как и против внешних.

После «радостной неожиданности», что «Англия, казалось, наконец поняла и увлекла нас, т.е. Францию, за собой», Арман Птижан в июньском номере «Нувель ревью франсез» выражает надежду на успех, аргументируя ее своеобразными доводами: «Против нас тот своеобразный закон истории, согласно которому революции обычно торжествуют над консерваторами, проникнутыми дряблостью».

«Революция» этого «нового порядка» означает самую отчаянную реакцию, национальный крах, голод, террор, звериный национализм.

Произошел развал, капитуляция. Беспримерное в истории Франции поражение. Десять миллионов людей бросили свои жилища в оккупированной зоне и двинулись к югу; бездомные, голодные, несут они великое негодование против виновников катастрофы.

«Идеологи» пришли на помощь незадачливым стратегам, храбрым лишь в войне с народом своей страны. По их утверждению, которое они старались внушить читателям, то, что произошло в июне, — не настоящее поражение: «Единственное подлинное поражение — это поражение культуры и цивилизации». «Новому социальному порядку», провозглашенному Петэном и теми, кто находится за ним, нужна была армия пропагандистов, и они собирали ее вокруг «Фигаро», «Тан», «Пти журнал» и прочих печально известных газет.

Кадры культурных работников рассеялись преимущественно в неоккупированной зоне.

Издательские базы, театры, кинотеатры — все было сконцентрировано главным образом в Париже или около него. Эти культурные центры оказались в оккупированной зоне и оторвались от той части страны, где собралось две трети населения. «Победу культуры и цивилизации» стали готовить такие лица и органы прессы, мракобесие которых известно всей стране и за ее рубежами. Солдафоны, имеющие свои проекты «насчет лицеев и гимназий»,

стали действовать. По этой части начались такие «порядки», что не стало ни старых, ни новых книг, журналов, театров, негде было проявить даже фильм о заседании «национального» собрания, нет школьных учебников, нет продуктов «духовного снабжения». Объявляется курс против иностранного влияния в области литературы, театра, кино. «Задумывать и руководить» — вот даже какую функцию бойкие журналисты обещают интеллигенции.

Правда, признают, что «место интеллигенции в такие времена менее удобно».

Люсьен Ромье в «Фигаро» (31/X) признает возможность безработицы интеллигенции, с чем трудно бороться. Это признание о «возможности» запоздалое: безработица охватывает широкие круги интеллигенции — писателей, актеров, киноактеров, художников, инженеров и др.

В исключительно тяжелом положении оказываются научные учреждения и научные работники. Деликатная «критика» положения интеллигенции, сводящаяся к подчеркиванию роли интеллигенции, сопровождается призывом к бережному с ней обращению и некоторой защите: «На время бури не приносят в жертву компас».

Что же происходит на фронте литературы?

Развитие литературы пока выражается по преимуществу в разговорах о ней. Издательское дело в катастрофическом положении. Центром полиграфии был Париж и некоторые другие города оккупированной зоны. Издатели бросили свои предприятия, рукописи, книжные склады и убежали в неоккупированную часть страны. Издательство «Ла нувель ревью франсез», например, оставило в оккупированной зоне в производстве 100 книг, и только 5 книг оказались в неоккупированной.

В «свободной» зоне настоящий книжный голод. Магазины почти пусты. На складах только никому не нужные дипломатические книги разных цветов — белые, синие, желтые — и другие сомнительного качества «документы».

«Поддержание духовной жизни» приходится проводить пока по преимуществу через газетки, репутация которых уже давно не вызывала у честного читателя двух мнений.

Писатели рассеялись по неоккупированной территории. Кто поближе связан с первым или вторым «призывом» правительственной верхушки и побыстрее на ноги, оказался далеко от Франции. Жюль Ромэн — в Нью-Йорке. Уезжая, он сделал еще один «красивый» жест: опубликовал обращение Федерации пэнклубов с призывом не складывать оружия, перьев в том числе, забрал архив «аполитичной» организации писателей и через Лиссабон перемахнул за океан.

Андре Моруа — член «Французского бюро информации в США» — вдруг появился в Нью-Йорке. Храбрый союзник Метерлинк тоже там. Неистовый Дюамель незаметно оказался в Париже и скромно заседает в академии, Жироду — в Кюссе. Поль Моран подбирается к уютному Виль-франш-сюр-мэр (недалеко от Ниццы). Поль Клодель обитает в своем поместье в Бранг. Леон Додэ около Лиможа, откуда проявляет свои заботы о желательном ему «будущем» литературы.

Тяжело положение передовых писателей Франции. Они в разных местах страны. Ромэн Роллан — в оккупированной зоне, в Везеле. Муссиак — в тюрьме. Где другие, — неизвестно.

Активно организуют литературу «будущего» и оплевывают литературу предвоенную Андре Билли, Леон Додэ. Анри Биду в Виши, так сказать, на виду у маршала докладывает, «куда шла литература до налетевшего шквала». Поль Ребу выступил с «философско-политической» книгой о событиях. Герцог Левис Мирпуа (есть еще во Франции и такой! — М. А.), — в Арьеже, недалеко от места, куда, как возможных политических заложников, опасавшиеся революции власти согнали в лагери несколько тысяч человек, — пишет о бомбардировке Эвре во время июньского разгрома.

Пресса печатает сведения о десятках писателей реакционеров, монархистов, и

все это, за незначительными исключениями, литературные ничтожества, но где те, кто представлял передовую литературу Франции за последние годы, — об этих писателях ни слова. О них говорится вообще, и лишь иногда с некоторыми из них расправляются в инспирированных выступлениях—статьях. Их пытаются вычеркнуть из литературы. Но господа Билли и Додэ распоряжаются без хозяина: прогрессивные писатели — там, где народ, где рабочий класс, где лучшие представители интеллигенции. Вместе с народом они мучительно переживают позор, к которому правители привели страну.

Они, а не другие писатели, составляют основное звено в развитии французской литературы. О них мы еще услышим.

II

Как же и в какой обстановке проходит «мобилизация духа» по литературной линии, как идет обработка интеллигенции?

«Фигаро» в этом деле — на передовых позициях. Одной из причин «увлечения» этой газеты, устроившейся в Клермон-Ферран, литературными беседами по субботам является желание «во время скорби и принуждения» найти в «священном лесу», о котором говорил устаревший символизм, «лучшее прибежище» для мысли, и в этом прибежище «насладиться невинными радостями». Что же делается в далеко не невинных поисках наслаждения «невинными радостями»?

Начинается с попыток разгрома предвоенной литературы. Выявляется, что приемлемо из «старого». Много говорится о литературе завтрашнего «будущего», рассматриваются судьбы романа, поэзии, драмы и критики. Вырабатываются требования к литератору, так сказать, — «профиль писателя» в новой обстановке. Много слов о маразме предвоенной литературы и высокопарных заявлений о грядущем литературном возрождении. Маразм же правящих кругов — капитулянтов в войне, ими же затеянной, — именуется «духов-

ной революцией», будто бы предвещающей расцвет творчества.

Все, что было в литературе последних двух десятилетий, рассматривается, как отображение разложения французского общества. В числе основных виновников — и реалистическая литература с ее материализмом. Для «Фигаро» — это «гнусный материализм», присущий «не только пролетариату». Гром и молнии обрушивает новый блюститель нравов на литературу недавнего прошлого за увлечение «разнузданными политическими страстями». От романа он ждет «множества чувств», а от этих чувств он ждет «убеждения и поступков». Речь идет об ориентации на будущее, о котором говорят в обстановке национального кризиса, краха, царящего «смятения в умах и сердцах» после ужасного поражения 1940 года, оправиться от которого, по словам пресловутого монархиста Леона Додэ, лишь начинает помогать «славный маршал Петэн». С звериной злобой и яростью Леон Додэ пишет «против смертоносных идей и ложной идеологии, порожденных революцией».

У теперешних реорганизаторов государства — ненависть к прошлому своей страны, в истории которой были великие события, особенно к французской революции конца восемнадцатого века, к Парижской Коммуне, к народному фронту, к компартии. Ненависть к французскому народу и ее лучшим представителям сливается с желанием окончательно поработить этот народ, его рабочий класс, растоптать передовую интеллигенцию.

Наемные писательские шавки лают на французский пролетариат и его партию, стоят на задних лапках перед нынешними властителями.

Какие же условия предвидят «реорганизаторы» литературы? Экономическая база, конечно, не забыта. Буржуазия, — как говорит А. Билли, — «подвергнется таким глубоким изменениям, что ее нельзя будет узнать. Другой образ жизни создаст ей совершенно иную душу и чувства». Такого материального положения для любимчиков буржуазии, как было раньше, Билли не ожидает: «бур-

жуазия завтрашнего дня слишком обеднеет».

Автор этих «предвидений» жестоко ополчается на «чаровников», заставивших в литературе «умолкнуть разум». Рядом с унаимистами, сюрреалистами и футуристами у него идут и большевики. Многих писателей он готов прикритить к «позорному столбу».

Предвоенная поэзия также вызывает возмущение автора из «Фигаро». Если проза, роман в частности, не нравится ему тем, что в нем молчал разум, то поэзией он недоволен потому, что в ней было много «умствования», при котором «слова и образы связываются друг с другом случайно».

«Поэтический кризис», «вырождение лирического искусства», этот автор связывает с кризисом национальным. Это совпадение он теперь считает признаком катастрофы. В новой поэзии он хочет видеть для «масс публики» «утешение и надежду». В появлении «поэзии восстановления» он верит, поскольку существует поэзия поражения и катастрофы.

Автору приковано оправдывать «революцию в обратном порядке»: «Эта поэзия родится, как и наше национальное возрождение, из подлинной революции». От ее творцов потребуется «порвать с системой ассоциативных образов, введенных Рамбо и Малларме». И «гению», который необходим для такой поэзии, по мнению автора статьи, пожалуй, трудно будет избежать специально создаваемых ограничений.

Предвидя изменение романа, вслед за изменением нравов, Билли предсказывает возможность исчезновения «романа-люкс», «романа стилизации», именуемого им также «художественным романом».

Тип «философского» и «нравственно-го» романа для него уже погибшее дело, как и романа «нигилистического» и «скандального». Будут существовать какие-то нравы, — пусть не такие шикарные, — будет жить роман нравов, по преимуществу эмоциональный (не как у Поль Морана).

Тут Билли не скупится на обещания и предсказывает «молниеносный успех» писателю, сумевшему первым передать

только еще зародившиеся у нового поколения в атмосфере несчастья волны чувств.

С грехом пополам, допуская возможность возрождения романа исторического, Билли считает, что «первым фаворитом завтрашнего дня намечается регионалистский и провинциальный роман».

Увеличение распространения он предвидит для семейного романа (конечно, дешевого; у читателей не будет много денег!) и повестей для молодежи. Это, конечно, все для того, чтобы воспитывать массы в духе «нового строя», от которого пахнет четырех-пятивековой плесенью.

Писатель Раймон Кэно тоже озабочен судьбой романа и требует, чтобы этот жанр нашел «свою органическую основу, стиль, ритм», ориентируя его на «музыкальные элементы, на требование формы, на некоторую строгость», на растворение в области поэзии как «главной и первоначальной формы всякой литературы». Внимание к форме подчеркивается и в развитии всех возможностей языка, принятии литературой языка народного, разговорного.

Андре Билли не верит в поэзию, потерявшую читателя, не верит в возможность развития романа в форме поэтической или лирической. На таком пути он видит возможность исчезновения романа. Билли этого не хочет.

В отношении поэзии тоже хотят воздействия на массы, «жаждущие утешения и надежд». И снова мечты о «неоромантизме», где индивидуум «окажется с глазу на глаз с новыми божествами и будет сокрушаться о своем рабстве». Это ему еще разрешается, но только про себя, «с глазу на глаз с новым божеством», и в таких дозах, чтобы не разгневать победителя.

Допуская возможность появления «неоклассицизма», в реальной действительности совпадающего с конформизмом, авторы этих «перспектив» «самой вероятной, если не самой волнующей гипотезой» в области поэзии считают возможность «появления еще многих стихов в духе Бодлера, Верлена, Валери, Апполинэра и поля Элюара» («Фигаро», 9/IX—40).

Раймон Миллэ в «Тан» развивает мысль о том, что «перед лицом новых фактов у писателей найдется сказать нечто новое». Строя свои выводы на аналогии с периодами после великих войн, он ожидает «расцвета литературы».

Ему тоже маячит «возврат к более благородным и более классическим традициям».

Писатели - пропагандисты «нового французского порядка» — говорят ли о кино, о театре, об изобразительном искусстве или о литературе — всегда связывают эти вопросы с «новым периодом», с «новым строем», «новой основой». На этой «новой» основе они хотят иметь и «новую» литературу и «совершенно иной театр» (Андре Варно). Слово «возрождение» часто в этих случаях призвано сыграть роль ширмы, за которой литературные жучки пытаются играть роль художественных руководителей. От авторов пьес требуется держать «выше голову и с доверием ожидать грядущих дней». Эти призывы людей, употребляющих иногда слова о честности, требуют от драматургов пьес, «чистых, простых и сильных» (Жорж Роллен).

«Вдохновленное новым (!) национальным духом, французское драматическое искусство», по мнению «Фигаро», может родиться и расцвести в неоккупированной зоне».

«Пти журнал» вторит «Фигаро», заглядывая в дебри исторически далеких времен и там находит подтверждение, что «драматическое искусство родилось из потребности общины выразить себя для самой себя». В ремесленном, областном, общинном драматическом искусстве он готов видеть «богатое надеждами будущее».

О, знамение времени! «Пти журнал» выступает против «низменных вкусов и лени зрителя... против чересчур совершенных технических средств... и завершившего упадок искусства ремесла театрального «литератора».

Итак, долой профессиональный театр, да здравствует приспособленный к «новому социальному порядку» театр для «потребности крестьянина, деревни, области». Разглагольствуют о театре под

открытым небом. Для этого нужно немного: странствующие комедианты, мастера на все руки, — столяры, декораторы, музыканты и актеры одновременно. Они-то и должны, согласно надеждам изобретателей, служить делу «развлечения духа» на заводах, в поселках, и в... лагерях.

Вчерашний день театра отбрасывается, а день будущий уходит в далекое прошлое, хотя это прошлое и скрывается под маской «нового порыва к великому и прекрасному». «Марианн» соглашается взять кое-что из старого театра: «Клодела — за лирическое дыхание»; «Жироду — за конец «Троянской войны не будет», за десять сцен «Электры» и за «Зигфрида»; «Рейналя — за глубину, серьезность, классическую поступь». Бурдэ признается автором «Слабого пола». Жюль Ромэн — «Нок'а».

Подавая свою программу на более высоком уровне, чем дают реорганизаторы, «Марианн» соглашается удержаться даже «краткость, молниеносные экскурсии в глубину неведомой области души» — от Ленормана и Кромелинка.

Здесь путь «эпохи театра греческого, елизаветинского и французского».

Путь же этот конкретизируется как «иллюстрация легенд, традиций, мифов», восхваление гражданских и военных достоинств, надо думать, в плане «нового порядка», ибо в «Марианн» так и сказано: комментирование «основных вопросов, которыми занято общество». Отводится тут место стилизации «народных празднеств, парадов» и «общеизвестных типов людей».

Пафос автора статьи «поднимается» до вершин трагедии, ставящей высокие цели, и до притягивания драм Дидро.

На фронте драмы «Марианн» готова взять реванш и требует оградить французский театр от иностранных влияний. От этих оградителей за тысячи километров чувствуется и антисемитизм.

Разрешение этой проблемы служащие «возродители» видят прежде всего путем изгнания «из театров, получающих субсидию, всех не-французов, занимающих административные должности».

Это рассматривается, как «охрана высших интересов культуры и цивилизации», ибо, по утверждению реставраторов, вдохновляемых греческим театром, средневековыми мистериями и театром романтического, «единственное подлинное поражение — это поражение культуры и цивилизации». Июньский разгром для них не достаточно подлинное поражение. Больше всего они боялись своего народа.

Не выходят книги, но «Фигаро», «Пти журнал» и «Ган» усиленно занимаются реорганизацией всех видов литературы. За прозой, поэзией, драмой пришла очередь критики, пишут о «будущем критики».

Говорят о том, как критик — судья прекрасного — превращается в моралиста, находя в этом «наиблагороднейший смысл своего существования». Издательством над литературой звучит на страницах этих газет требование от критика «высокой нравственности». Однако, боясь как бы «нравственность критика» не шагнула через край, автор разъясняет: «Не может быть и речи о том, чтобы литературный критик был «мятежником, систематическим антиконформистом».

Недопустимо и меньшее нарушение: «Не надо, чтобы деятельность его (критика!) носила характер деятельности лица, возбуждающего преследование в исправительном суде».

Трудность для критиков «оставаться в плане интеллектуальном» особенно смущает автора статьи, и он предостерегает их, чтобы они не забывали подчеркивать в новых книгах «химеру, моральную путаницу и беспочвенные идеи». В высоком стиле это называется «независимым суждением о созданиях духа». Автор за то, чтобы были кри-

тики, но с многозначительной оговоркой: «разумеется, литературные». Такая оговорка, по меньшей мере, уместна, так как других критиков у французских властей более чем достаточно. Недаром нелегальный орган ЦК компартии Франции пользуется огромным успехом.

Перед началом разгрома А. Руссо в «Фигаро» 1 июня утверждал, что, когда «вернется мирный строй», литература покажет «образец серьезности, честности и величия». Пока что это «величие» заключается в призывах приспособиться к требованиям архиреакции, именуемой для обмана масс «национальной революцией».

Просматривая французские сегодняшние газеты, все чаще наталкиваешься на специфические, ставшие для некоторых кругов сакраментальными фразы о «конкретизации французского духа», о «подлинно французской мысли». Это все формы, в которых реализуется лозунг: «Франция должна быть французской». Отсюда поход против иностранного в культуре, отсюда и декретированный антисемитизм. Эта «конкретизация нового духа» пронизывает все области политической жизни Франции.

Вот что можно узнать из десятка французских газет.

Вот что копошится в темном углу французской литературы и в курортных захолустьях Франции, но это не та литература, которая с достоинством представляла среди прогрессивного передового человечества французскую культуру. Настоящая литература живет и будет жить, как жив и будет жить рабочий класс и народ Франции. Ее не задушить ни прикармливанием некоторых литераторов, ни «божией милостью», ни бешеным террором.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЛЕО КИАЧЕЛИ — «ГВАДИ БИГВА» *

Лео Киачели — один из крупнейших современных грузинских писателей. Некоторые его произведения широко известны и в русских переводах. В этих книгах писатель пленяет своим творческим проникновением в большие жизненные явления, дает реалистическое изображение памятных исторических событий, радуется художественным мастерством. Таков его роман «Таризель Голуа» — первое произведение о революции 1905 года в грузинской деревне (этот роман выдержал более 10 изданий). Таков и роман «Кровь» — о подпольной революционной работе в Грузии в годы реакции, наступившей после 1905 года. Такова повесть «Крейсер Шмидт», в основу которой лег реальный исторический факт убийства белогвардейским офицером в Сухуми в начале 1918 года матроса с большевистского военного судна.

Лео Киачели выступил продолжателем классических традиций грузинской литературы XIX века. Во время чтения лучших вещей Киачели нельзя не вспомнить о героях Александра Казбека, Ильи Чавчавадзе или Эгнате Ниношвили. Возрождая их традиции, Киачели вносит в то же время много нового: то, что рождено социалистической эпохой.

В рецензируемом романе Киачели пытается показать обновление человеческого сознания, ломку характера трудового крестьянина, характера, сложившегося в процессе рабского труда на жалком клочке земли.

События романа происходят в мингрельской деревне, в колхозе «Оркети». Кругом чайные и мандариновые плантации, лимонные сады. На небольшом лугу, что тянется вдоль опушки, пасется колхозное стадо, кругом высятся новые колхозные дома. Здесь живут люди, умеющие не только хорошо работать, но и радостно жить.

Главный герой романа пятидесятилетний колхозник Гвади Бигва — натура сложная и противоречивая. Гвади Бигва весел и печален, мудр и наивен, мужественен и слаб. Он очаровывает жизнерадостностью, природным юмором. Он затейник, прекрасный сказочник и певец. Но есть и другой Гвади Бигва. Это Гвади, находящийся в плену старых предрас-

судков, не доверяющий новому; он норовит увильнуть от колхозного труда, иногда ленив, недисциплинирован; его берет под свое влияние Арчил Пория, некогда «хозяин», а ныне управляющий колхозным лесопильным заводом. С необычайным мастерством рисует Киачели смену настроений Гвади.

Автор показывает, как преображаются люди, когда к ним проявляют внимание, доверие, любовь. Председатель колхоза, молодой, энергичный большевик Гера, разглядел в изломанном жизнии Гвади хорошие человеческие начала и протянул ему руку. На объединенном митинге двух соревнующихся колхозов Оркетского и Санарийского Гера предложил выбрать Гвади в члены комиссии по проверке договора социалистического соревнования. Гвади встречают торжественно, все просят его выйти на трибуну; он переживает не испытанное им еще ощущение своей полноценности, радости от оказанной ему чести. Он говорит колхозникам: «Значит, и меня за человека признали, чириме? Ничего не стою, а вот подняли все-таки, да? За что такая честь?..»

Гвади кажется, что он становится лучше, в нем растет сознание своего достоинства, стремление поддержать свой авторитет избранника родного колхоза, не споткнуться, не упасть. Вспыхивает самому еще не понятное чувство гордости, желание постоять за честь своего колхоза.

«Стемнело, наступила ночь, а Гвади все думал да думал, поспешая обычной своей инохостью домой. Он не шел — летел; от тайного восторга, казалось, выросли крылья. Сколько новых сил бурлило в нем!.. Мерециялось, что стоит только скинуть ветухую одежду, и он сызнова родится на свет, станет другим человеком, и будет ему совсем иная цена, иная честь... Не может быть речи о том, что Гера ошибся, оказав ему такое доверие. Напротив: сегодня он только исправил свою давнюю ошибку».

Лео Киачели рисует далее, как Гвади освобождается от чувства подавленности и как пробуждается в нем та беспредельная честность, которая заставляет его быть решительным и смелым. Разоблаченный Арчил Пория, бегущий от ареста, перед тем, как покинуть село, собирается поджечь лесопильню. Проницательный Гвади выслеживает его темной

* Перевод с грузинского Е. Гогоберидзе. Гослитиздат, Москва, 1940.

нчью и предотвращает поджог. Борясь в одиночку с озверевшим врагом, Гвади убивает его и успокаивается «только тогда, когда под ногами у него погасли последние искры». В решающий, серьезный момент, в момент опасности, угрожавшей колхозу, Гвади действует, как советский человек, для колхоза он рискует жизнью.

Автор прекрасно знает, что Гвади не легко освободиться от привычек и наклонностей, воспитанных прошлым. У него сильны мелкобуржуазные инстинкты. Для того, чтобы Гвади почувствовал себя на месте и мог работать вровень с остальными колхозниками, ему нужно было бы пройти серьезную школу коллективности, он должен был бы почувствовать всю красоту, все величие социалистического труда.

К сожалению, в романе Лео Киачели дело обстоит не так. Прежде всего удивляет читателя непропорциональность частей: широко показан Гвади — лежебока, паут, болтун, — и очень сдержанно, скупо показан перелом, происшедший в его душе. Совершенно очевидно, что меньше колхоза понимать и ценить человека, общественное доверие встряхнули нашего героя, заставили его о многом переждать; в результате он рвет связь с Арчилом Пория, пробравшимся в колхоз, и смело выполняет свой гражданский долг.

Но читателю хотелось бы более подробно и всесторонне видеть, как в душе Гвади загорается любовь и уважение к общественному делу, как происходит переворот в его взглядах на труд. Читатель ждет от писателя более глубокого показа нового рождения Гвади.

Автор живо нарисовал среду, в которой живет Гвади Бигва. Перед нами проходят колоритные фигуры колхозников, перекраивающих лицо старой деревни своими руками, коллективным трудом создающих новую жизнь. Это требовательный и горячий бригадир Зосимэ. Это лучшая из стахановок, активная колхозница Марина, которую втайне любит Гвади Бигва. Это воинственный старик Онисэ — остроумный и находчивый, великий охотник до работы и шутки.

Онисэ, как и другие колхозники, уверен в своей правоте и силе коллектива и достойно отстаивает интересы общественного артельного хозяйства. Все они подкупающе привлекательны. Оптимизм этих людей, их твердая вера в коллектив, их активность рождены социалистической действительностью. Когда колхозник Гоча Саландия, бывший середняк, также несущий в себе наследие «чувств» старого мира, отказывается участвовать в артельных работах, предпочитая заниматься своим личным хозяйством, Онисэ дает ему понять:

«—С кем ты, мужик, вздумал тягаться? С кем, спрашиваю я тебя? Протри глаза, оглядись, как следует... Не осилить быку буйвола, рога обломает. Слыхал? Мы же — коллектив? Пойми — коллектив!»

Киачели удалось воспроизвести характерные особенности быта грузинской деревни и ее среды — живой, горячей, общительной. Пи-

сатель хорошо передает своеобразие крестьянства Западной Грузии, его живой, гибкий и выразительный язык.

С особым вниманием и мастерством изображает писатель ребят. Он обнаруживает здесь всю силу своего знания детской психологии и речи.

Умело и правдиво изображены маленькие сыновья Гвади Бигва — Бардгуня, Гутуня, Кучуня, Китуня, Чиримия. Киачели открывает в них новые, неожиданные черты, свойственные детям нашей страны, освобожденным от нищеты и унижений. Особенно хорошо и любовно создан образ старшего из сыновей — 12-летнего Бардгуня, умного мальчика, «такого же предводителя среди подростков, как Гера — среди взрослых колхоза».

Бардгуня смел, прямодушен и трудолюбив — в нем живет забота о колхозных делах, о домашнем хозяйстве, о младших братьях. Он ненавидит ложь и обман. Ему чуждо угодничество. Мы видим, что любовь к отцу перемежается у мальчика с чувством нелюбви, с горечью и тревогой за его положение в колхозе, в родном селе. Характер мальчика очерчен выразительно. Когда Гвади Бигва пытается уклониться от своих обязанностей колхозника и собирается на базар, Бардгуня взволнованно следит за ним:

«Глаза мальчика выражали явный упрек. Поведение отца показалось ему подозрительным, слова не внушали доверия. Однако выразить свои чувства вслух он не решался.

Настороженный, полный тревоги взгляд мальчика упал на хурджин, с которым Гвади собирается ехать на базар, причем особое его внимание привлекла наглухо завязанная половина хурджина, а не та, из которой торчала голова козленка.

Отцу, обеспокоенный поведением Бардгуня, шагнул к столбу. Он накинул бурку на плечи и заслонил хурджин от пытливого взгляда сына...

— А как же с работой, бабайя? Ты, видно, забыл: тебе нынче выходить надо. И то Гера вчера забегал. Обязательно, говорит, чтобы в лес на порубку пришел, да чтобы не отлынивал. С ним такое бывает... Не то, говорит, из списка постройщиков вычеркнем. Так и велел передать. У нас, говорит, с сарийцами соревнование, всем селом налечь придется...»

Маленькие герои романа Киачели поражают творческим воображением, взволнованной любознательностью, желанием служить правде, интересам общества. И эту особенность живо передал писатель. Вот Бардгуня во время очередной игры с младшими братьями выстраивает их в шеренгу, но в мальчике ныне какая-то особая серьезность и требовательность.

«Он обращался с ними так, как будто урок гимнастики вовсе не был игрой». Бардгуня поставил перед каждым из своих братьев задачу сорвать с любого дерева мандарины и подать ему. И потом, когда оказалось, что только Гутуня и Китуня могут свободно со-

рвать плоды с мандариновых деревьев, Бардгуния снова выстроил их.

«...Когда ребята подтянулись, Бардгуния ястребом налетел на стоявших рядом Гутуния и Китуния, схватил Гутуния за пионерский галстук и в упор спросил:

— Ты знаешь, товарищ, что означает этот галстук?

— Знаю, товарищ командир, — живо отозвался Гутуния, который уже кое-чему выучился в школьном пионерском отряде.

— Знаешь, что пионер не должен врать?

Бардгуния пристально посмотрел брату в глаза.

— Знаю! — твердо ответил Гутуния.

— Знаешь? Так говори: трогал зрелые мандарины? Это ты сорвал их и съел?

На лицах братьев отразилось крайнее изумление...»

Несмотря на некоторые недостатки, «Гвади Бигва» — лучшее из всего написанного Лео Киачели. Именно здесь с наибольшей силой проявилось высокое литературное мастерство писателя. Большой творческий опыт Киачели сказан в искусстве диалога (роман построен, главным образом, на диалогах, очень легких,

динамичных, жизненных, остроумных), в простоте, ясности литературного стиля, в тщательной и тонкой обработке деталей сюжета.

В течение ряда лет Киачели не в силах был избавиться от некоторой безысходности и бесперспективности, которые звучали в его произведениях («Майя», «Алмастир Кибулан», «Упрямый собственник», «Крейсер Шмидт» и др.). У героев этих вещей все было в прошлом. В этом отношении «Гвади Бигва» — свидетельство идейного роста писателя. «Гвади Бигва» — роман жизнеутверждающий, роман о людях, строящих зажиточную колхозную жизнь, роман, открывающий для героев широкую, ясную перспективу. Это значительный шаг вперед в идейно-творческом развитии писателя.

Секретарь ЦК ВКП(б) Грузии К. Н. Чарквиани отметил еще три года назад: «В лице Киачели сейчас мы имеем художника с большими возможностями, твердо стоящего на идейных позициях советской литературы».

Лео Киачели сейчас достиг высокого уровня своего литературного развития, и читатель вправе ждать от писателя новых замечательных произведений.

Е. Сикар



ЭСТОНСКИЙ ЖУРНАЛ «ВИЙСНУРК»

«Вийснурк» («Пятиугольник») ¹ — эстонский журнал литературы, искусства и культуры — молод, как молода сама Советская Эстония: первый номер «Вийснурка» вышел в августе этого года.

Журнал пользуется большим вниманием со стороны революционной общественности Эстонии. Об этом свидетельствует между прочим состав широкого редакционного совета, в котором мы, наряду с видными писателями и художниками, видим имена руководителей политической жизни Эстонии — И. Вареса-Барбаруса, И. Лаурстина, Н. Андресена, П. Кэвэрдо и других.

В результате большой работы, проделанной по пропаганде «Вийснурка», журнал выходит тиражом в 14 тысяч, — явление, дотоле не известное в Эстонии, где романы расходились в количестве 500—600 экземпляров, сборники стихов — в числе 200—300 экземпляров.

Если представить себе отвлеченную цифру четырнадцать тысяч в виде массы живых подписчиков и покупателей журнала, то обнаружится революционный смысл этой цифры. Обнаружится, что «Вийснурк» проник на заводы и фабрики, завербовав себе читателей среди тех, кто в буржуазной Эстонии был далек от литературы и искусства. И это важно: чтобы создать подлинную советскую, социалистическую культуру, литература и искусство Эстонии прежде всего должны перешагнуть через

те преграды, которые в буржуазной Эстонии отделяли духовный мир интеллигенции и ее художников от широких слоев трудящихся, должны пробиться к народу, связаться с ним, опереться на него.

Каково содержание нового журнала? Это — художественная проза и стихи, статьи по изобразительному искусству и архитектуре, по литературоведению, статьи о литературах Запада, переводы произведений советских писателей. На страницах журнала — прекрасные снимки с картин, скульптур и архитектурных сооружений.

Программа журнала широка, разносторонняя, но лицо его пока еще несколько неопределенно, — черты этого лица не установились. Наряду с почти газетной публицистикой мы встречаем подчас отвлеченную, написанную трудным языком статью по сложным вопросам литературоведения и искусствоведения. Но этой неопределенности, свойственной на первых порах почти каждому новому журналу, очевидно, скоро придет конец.

Уже сейчас редакция приступила к осуществлению интересного замысла: в каждом из номеров журнала она будет освещать культуру одной из шестнадцати союзных советских республик. Это безусловно правильно: нашим новым республикам, только что вступившим в семью народов СССР, необходимо широко и систематически знакомиться с культурой братских народов.

Ноябрьский номер «Вийснурка» посвящен в основном культуре, литературе и искусству

¹ «Võisnurk», №№ 1—4, Таллин. 1940 г.

РСФСР, т.е. главным образом русской литературе и русскому искусству. Понятно, насколько трудно, вернее, почти невозможно на нескольких десятках страниц журнала, отведенных этой теме, дать сколько-нибудь исчерпывающее представление об экономике, культуре, литературе и искусстве крупнейшей из союзных республик. В журнале на 30—40 страницах даны: политико-экономический очерк, снабженный картами, статья о русской советской литературе (М. Серебрянского), статьи о театре, музыке, изобразительном искусстве, о народном творчестве, отрывок из «Тихого Дона», стихи советских поэтов. Все это имеет, конечно, немалое познавательное значение, но в силу обилия материала большинство статей носит почти энциклопедически-справочный характер. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем, при ознакомлении с другими республиками, внимание было бы обращено не столько на количество познавательного материала, сколько на качество его подачи, на то, чтобы в живой, доходчивой форме показать наиболее своеобразное, значительное, характерное для данной культуры.

Нам кажется, что, освещая культуру братских республик, редакция не следует забывать и об эстонской. В каждом из вышедших номеров «Вийснурка» мы находим статьи о советских художниках (о Репине, о графике Страносове, о советской скульптуре и т. д.). Но при этом журнал не дал ни одной статьи о старейшем, крупнейшем эстонском художнике Кристьяне Рауде, чье 75-летие недавно отмечала эстонская пресса.

Эстонская литература и искусство переживают сейчас бурные, незабываемые дни: страна требует от писателей отражения революционных событий, новых песен, повестей, пьес; художникам впервые приходится украшать площади городов; через полгода в Москве состоится декада эстонского искусства, к подготовке которой, наряду с квалифицированными мастерами, привлечены участники самодеятельных кружков, — вся эта большая, сложная, революционная творческая практика эстонского искусства должна найти отражение и теоретическое обобщение на страницах журнала. Мы не сомневаемся, что со всем этим редакция справится.

Из статей и очерков об эстонской литературе и эстонском искусстве, помещенных в вышедших номерах журнала, нам хотелось бы отметить следующие: очерк Карла Михкла «Годы становления и роста И. Варбаруса» (№ 1) и статью Виллема Раама об известном эстонском скульпторе Яне Коорте (№ 3). Такие статьи и очерки, в живой, доступной форме знакомящие читателя с жизнью и творчеством крупнейших эстонских писателей и художников, полезны. Народ, в прошлом оторванный от искусства, нуждается в знакомстве не только с художниками братских республик, но и со своими собственными.

Статья Бориса Лукатса «Вопросы искусства», помещенная в сентябрьском номере

«Вийснурка», заслуживает внимания тем, что общие вопросы искусства пытается ставить на конкретных примерах из практики эстонских художников.

Переходя к оригинальной художественной прозе (ее в журнале немного), мы должны отметить ее социальную актуальность: рассказ П. Валаака «Задние колеса» (№ 1) повествует о событиях этого лета в эстонской деревне, рассказ А. Хинта «Особое мнение» (№ 2) посвящен изображению учительского быта и жизни школы в недавнем прошлом. Самым значительным и по размеру и по содержанию является повесть А. Якобсона «Оскар Тийтус шагает через порог» (№№ 3 и 4). Повесть эта, которую можно причислить к проблемной литературе в хорошем смысле этого слова, разрабатывает очень актуальный для Эстонии недавних, да и нынешних дней вопрос об интеллигенции, о ее положении в обществе, о ее задачах в момент революции, о ее отношениях с рабочим классом. Повесть Якобсона поднимает глубокий вопрос о том разладе, который существовал в условиях буржуазной Эстонии между передовыми представителями рабочего класса, его политическим авангардом и передовыми представителями интеллигенции. В лице героя повести Оскара Тийтуса автор показывает человека, преодолевающего этот разлад, перешагивающего «через порог», отделяющий его от борьбы того класса, из которого сам он вышел и от которого временно отделился.

События повести относятся к зиме 1939/40 года, когда, под влиянием договора о взаимопомощи с Советским Союзом и доносящихся в Эстонию раскатов войны СССР с финской белогвардейщиной, в среде эстонской интеллигенции, да и всего эстонского общества, происходил процесс политической дифференциации. Автор умело показывает всю сложность этого процесса, простирающую от того духа корпоративности, которая царила в среде интеллигенции и получала свое начало еще в стенах университета, где, как известно, процветали, носившие отпечаток средневековья, студенческие корпорации с их специфическими нравами, со знаками внешнего отличия, с попойками и дуэлями.

Автор тонко показывает также, как интеллигент, умом понявший правду коммунизма, переходит от теорий, от умозаключений к живой практике сотрудничества с рабочим классом и его партией.

Повесть А. Якобсона—одно из тех произведений, в которые авторы вкладывают не только профессиональную привычку к наблюдению и размышлению над явлениями жизни, но и самые задушевные свои мысли и переживания, так сказать, основной капитал своей личности. Так как эти мысли и переживания серьезные, искренни и значительны, так как они свойственны значительной части лучших представителей эстонской интеллигенции, то и повесть Якобсона значительна, находится, если можно так выразиться, на столбовой дорожке эстонской современной литературы. Да и сам А.

Якобсон, председатель образованного недавно оргкомитета союза эстонских писателей, избранный депутатом Верховного Совета СССР, является одной из центральных фигур эстонской литературы. Сравнительно молодой (род. в 1904 г.), он написал большое количество романов и повестей, являясь одним из тех немногих эстонских писателей, в поле зрения которых всегда входила жизнь трудового народа.

Помимо художественной прозы, «Вийснурк» печатает интересные воспоминания о недавнем прошлом, о годах борьбы коммунистической партии и рабочего класса с реакционным правительством Эстонии. Таковы воспоминания Сельмы Тельман о Кингиссепе, И. Саата об Октябрьской революции и о восстании 1924 года в Эстонии, П. Кэвздо о погибшем большевике Яне Томпе и другие.

Наиболее зрелыми из стихов, помещенных в номерах журналов, оказываются стихи, обращенные в прошлое: эпиграммы Августа Алле,

А. Антсона и Айры Каал, тюремные стихи Лены Паркер, проникнутые суровой грустью. Недурны переводы Маяковского, сделанные эстонским поэтом П. Кэрнером и др.

Стихи, посвященные революции, событиям сегодняшнего дня, в большинстве «митинговые», что вполне понятно, так как эстонским поэтам впервые приходится выступать в трудном жанре политической поэзии, давая быстрый отклик на большие события.

Интересно стихотворение Иоганнеса Сютисте «Земля поворачивается на восток», которое сам автор называет «слихо-монтажем». Написанное свободным стихом, не без влияния Маяковского, стихотворение это, вернее поэма, повествующая об июньских событиях в Эстонии, своим меняющимся ритмом передает то твердую поступь шагающих толп, то вольный ветер с Балтики, ветер революции. Хотелось бы, чтобы эту широкую поступь революции живо почувствовали и другие эстонские поэты и прозаики.

Л. Тоом

АЛЬМАНАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ *

Выход в свет первого альманаха азербайджанской советской литературы на русском языке является большим и важным событием в жизни многонациональной литературы народов СССР.

Книга открывается вступительной статьей азербайджанского литературного критика Мамеда Арифа, в которой он дает краткий обзор роста и развития литературы Азербайджана послереволюционного периода.

Альманах содержит два крупных раздела — поэзии и прозы, — причем прозаические произведения ряда азербайджанских современных писателей в русском переводе даются в альманахе впервые.

В разделе поэзии напечатаны стихи Самеда Вургун, Сулеймана Рустама, Мамеда Рагима, Мирварид Дильбази, Р. Нигяр и других. В этот же раздел вошли лучшие образцы творчества ашугов: Гусейна Бозалганлы, Наджафа, Асада и других.

Проза представлена именами: Дж. Мамедкули-Заде (Молла-Насреддин), А. Ахвердова, Сулеймана Сани, Джафара Джабарлы, Абдулла Шаик, М. С. Ордубады, Мир-Джалала, Мехти Гусейна, Сабита Рахмана, Сулеймана Рагимова и других.

Стихи и песни поэтов-ашугов даны в переводах: Н. Асеева, М. Светлова, В. Луговского, А. Адалис, П. Панченко, М. Алигер и других.

Отрывки из романов, рассказы, новеллы и очерки азербайджанских современных прозаиков переведены главным образом Азизом Шарифом и Л. Векиловой.

Раздел поэзии в альманахе знакомит нас с целым рядом замечательных поэтических произведений современных азербайджанских поэтов.

Первое место среди поэтов, представленных в альманахе, по заслугам занимает поэт орденносец Самед Вургун, прошедший в своем развитии трудный и сложный путь творческих исканий.

В первых стихах Вургуну было много недостатков: длинноты, напыщенность, отвлекающий риторизм. Но путь истинного поэта, пытливые и настойчивые поиски новых языковых форм, серьезное изучение классической литературы позволили С. Вургуну по-новому раскрыть волновавшие его темы, помогли ему обрести «свой голос».

Главные темы творчества Вургуну — это советская родина и новый социалистический человек.

Стихотворение «Азербайджан» Самеда Вургун (перевод А. Адалис) проникнуто глубоким патриотизмом:

Можно ль душу из сердца украсть? —

Никогда!

Ты — дыханье мое, ты — мой хлеб и вода!

Предо мной распахнулись твои города.

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!

Эта строфа повторяется в стихотворении, как обрамляющий и скрепляющий его рефрен. Вместе с тем первая строка этой строфы все время меняется, приобретая новую силу и углубляя смысл любви человека к родине, где «ветер по вышкам гудит», где «желтеют лимоны в колхозных садах», где «море темно», как «сок, еще не превращенный в вино».

* Изд. «Азернешр» (Азгиз). Баку, 1940.

В стихотворении «Память» (перевод Н. Асева) поэт передает извечное, но осмысленное по-новому чувство любви сына к матери, который, расставшись с ней, пишет, чтобы она не грустила, что он помнит:

Треск огня и дым родного дома —
Как все это близко и знакомо!
Сырость хаты, дерево тахты,
Бедной жизни мелкие черты.

Это стихотворение заканчивается пожеланием поэта видеть «новый день». Он мечтает о том, чтобы люди читали его стихи, чтобы «высокий, драгоценный облик» матери «встал до самых легких облаков».

Стихотворение «Горе чинары» утверждает ценность человека, который способен посадить «своей рукой» хотя бы один росток нового.

Почти все стихотворения Самеда Вургуна эмоционально напряжены, проникнуты оптимизмом, разнообразны по тематике и красочно передают яркую природу его родины.

Другой крупный поэт Азербайджана — Сулейман Рустам, как и Самед Вургун, с самого начала поэтической деятельности стремился к новаторству в поэзии. Его не удовлетворяли традиционные формы поэзии прошлого века. Но сразу Рустам не мог найти своих особых поэтических приемов. Долгое время в его стихах — пылких и призывных — ощущалась оторванность от реальной действительности, неумение пользоваться ее ярким, разносторонним материалом. Неудачи первых шагов своего творчества он все же преодолел. Большое влияние на исход этого процесса оказала поэзия В. Маяковского.

В последних стихах Сулеймана Рустама, отмеченных свежестью образов, уже ощущается дыхание новой, многогранной и кипучей жизни.

В стихотворении «Сталин» Рустам поэтически показывает неразрывность великого вождя с жизнью его народа.

Над великой землей твое слово звучит,
Ты над юностью нашей незыблемый щит,
Мы дремучее дерево жизни трясем,
И из темных ветвей разлетается сон.
Мы идем за тобой через время, вперед,
И нельзя разграничить тебя и народ!
Это — сердце твое неумолчно гудит
В необъятной, могучей народной груди.

Стихотворение «Романтика ночи» (перевод В. Державина) вводит читателя в мир людей, творящих новую жизнь:

Ночь меня задевает крылом на лету,
Не смыкая ресниц, я глажу в темноту.

И за ленинской книгой не спит в эту ночь
Комсомола — страны черноглазая дочь.
И не спит инженер, беспокоейством томим,
Диаграммы и карты лежат перед ним:
Скоро вышки подымутся в бухте, как флот,
И струя нефтяная фонтаном забьет.

Страстностью и стремительностью отличается стихотворение Сулеймана Рустама «Чапаев». Поэт нарисовал в нем картину борьбы и гибели

«Чапая», поэтически утверждая бессмертие народных героев.

Выдающимся представителем лирической поэзии Азербайджана является Мамед Рагим. Его перу принадлежат многие из лучших произведений современной азербайджанской лирики. Уменьше мечтать, не отрываясь от реальной действительности, органическое слияние близкого с далеким и настоящего с будущим — характерные черты его творчества. Эту особенность поэта-лирика можно проследить по стихотворению «Мечта поэта».

Я мечтаю сквозь года, заглянуть вперед.
О счастливых днях земли слушай, мой народ!
Про мечту, мою мечту, светлую мою,
В чистой песне от души я тебе спою.

Не лишены своеобразия, свежести, яркости языка и многие другие стихотворения азербайджанских поэтов — Абдулбаги Юсуф-Заде, Османа Саривели, Зейнала Халила, Джафара Хандана, Дильбази, Р. Нигяр, Алекбера Джафарова, Гуммета Али-Заде и других.

В раздел поэзии включены также лучшие произведения народного творчества Азербайджана; имена ашугов Гусейна Бозалганлы, Наджафа, Асада, Мирзы Байрамова и других, представленных в альманахе, хорошо известны народу по их песням и стихам. Передавая из поколения в поколение вековые традиции славных творцов народной поэзии, они создают новые прекрасные образцы советской эпической песни. Великая Октябрьская социалистическая революция внесла много солнечного тепла и радости в их творчество. Свои самые чудесные творения ашуги посвящают Ленину и Сталину.

Приведем здесь строки из песни ашуга Мирзы Байрамова «Сталину»:

Оплот всех трудящихся, родины вождь,
Чья слава превыше всех гор, о Сталин,
Как яркое солнце, ты мир озарил,
Где царствовал мрак до сих пор, о Сталин!
Мирза ненавидит прошедшие дни.
Да здравствуют новой эпохи огни!
Мой стих, о зажиточной жизни звени!
Прими мой привет и восторг, о Сталин!

Раздел поэзии альманаха завершается драматическим отрывком в стихах из исторической пьесы Самеда Вургуна «Вагиф». Центральным героем пьесы является великий поэт и деятель Азербайджана XVIII века Вагиф. Основная тема — борьба азербайджанского народа против вторжения иранского шаха Каджара. Вагиф — воплощение народной мудрости, силы и высоких патриотических чувств. История здесь переключается с гражданскими мотивами, близкими нашей эпохе. Мастерское раскрытие сложнейших движений человеческой души сочетается в пьесе «Вагиф» с необычайной простотой изложения. Образы пьесы обличены в прекрасную стихотворную форму, афоризмы нередко поднимаются до глубины философских обобщений, драматическое действие развивается с неослабевающим напряжением. Но в отрывке дана только первая кар-

тина (пьеса состоит из 11 картин) и по ней русскому читателю трудно судить о художественной ценности всего произведения в целом.

Раздел прозы открывается новеллой «Почтовый ящик» — известного сатирика Дж. Мамед-Кули-Заде (Молла-Насреддина), являющегося одним из основателей и предшественников азербайджанской советской прозы.

Проза Мамед-Кули-Заде реалистична. Все, что принадлежит его перу, написано простым, понятным, образным языком. Благодаря этому он стал одним из самых популярных писателей Азербайджана.

В рассказах Молла-Насреддина, раскрывающих перед читателем всю неприкрашенную правду жизни, часто слышится, как у Гоголя, «смех сквозь слезы». Именно поэтому самые сатирические с внешней стороны моменты в новелле «Почтовый ящик» (написан в 1903 г.) одновременно полны трагизма.

К хану, в город приехал из его поместья крестьянин, по имени Наврузали, и привез с собой подарок «от трудов своих рук». Он вводит ослика во двор и уже хочет его разгрузить, как вдруг хан (слуга которого занят другими делами) вздумал дать Наврузали поручение: сбежать к почтовому ящику и опустить письмо. Крестьянину невдомек, что такое «письмо», что такое «почтовый ящик»!

Хан подробно объясняет и наказывает не потерять. Крестьянин убегает и пропадает... Хан ждет — час, другой, третий... Наконец, его вызывают в полицейское управление, чтобы он «поручился» за арестованного Наврузали. Оказывается, крестьянин бросил письмо в почтовый ящик, но в это время пришел почтальон для выемки писем. Наврузали попытался его усомнить: «Ты куда, голубчик, тащишь письма? Люди оставили их здесь не для того, чтобы ты уносил...» Но, когда почтальон не послушал, «от гнева потемнело в глазах» у крестьянина. Произошла драка, потом Наврузали избил и забрал.

Жалкую и тяжелую жизнь Наврузали, навевающую на читателя глубокую грусть, автор передает скупым языком человека, хорошо знающего все стороны народного быта.

Дж. Мамед-Кули-Заде избегает сгущения красок, но лирика его рассказов так искренна и глубока, что невольно вызывает у читателей сильные эмоции.

В произведениях послереволюционного периода элементы трагизма и грусти исчезают. И это закономерно... Если бы в альманах были включены рассказы, созданные им в советский период («Авось, и возвратят» и др.), то читатель легко бы мог проследить по ним прогрессивную эволюцию в творчестве писателя.

Старейший прозаик орденоносец М. С. Ордубады известен прежде всего как автор крупного романа «Гавриз туманный».

В альманахе Ордубады представлен отрывком из романа «Мир меняется». Это произведение посвящено революционной деятельности

С. М. Кирова в Астрахани во время гражданской войны и показывает его в момент белогвардейского мятежа в осажденном городе. Меньшевики и всеры всячески помогали восставшим белобандитам. После контрреволюционного мятежа товарищу Киров получена предательскую телеграмму Троцкого о сдаче Астрахани, якобы «в стратегических целях и для выпрямления фронта». Но Киров не подчинился изменническому приказу. Он связался по прямому проводу с Лениным, и Владимир Ильич одобрил его действия. Отрывок заканчивается описанием обороны Астрахани.

К сожалению, этот отрывок не дает целостного образа пламенного борца и трибуна революции С. М. Кирова.

Роман Мир-Джалала «Манифест молодого человека, несомненно, является наиболее сильным и интересным произведением в современной азербайджанской прозе.

Молодой автор этого произведения окреп и вырос под непосредственным влиянием классика азербайджанской прозы Молла-Насреддина.

В альманахе творчество Мир-Джалала представлено отрывками «Грустная повесть» и «Манифест» (это IX и XIX главы романа «Манифест молодого человека»).

В IX главе писатель повествует о судьбе пастушонка Бахара. В надежде отыскать старшего брата мальчик поехал в незнакомый город и работал у мясника. В зимние холода мясник выгнал его на улицу, придравшись к тому, что будто бы мальчик присвоил хозяйский рубль. Маленький Бахар, оказавшись на улице, замерз. «Его рваная шапка темнела на снегу, и, подобно ее хозяйину, никому не была нужна...»

В XIX главе автор дает описание жизни брата Мардана в современных условиях, в советской стране. Неожиданно, из разговоров друзей, Мардан узнает о том, как погиб его брат. На фоне новой, свободной жизни Мардана еще более трагично звучат строки об ужасной жизни бедняка в прошлом.

Молодой прозаик Азербайджана Мехти Гусейн, как и другие авторы сборника, заслуживает пристального внимания.

Обладая острым чувством нового, он живо откликается на все важнейшие события нашей действительности и, поднимая в своих произведениях боевые вопросы, умеет правильно и своеобразно, творчески разрешать их. Читатели знают Мехти Гусейна по роману о гражданской войне в Азербайджане «Половодье». В альманахе напечатан его рассказ «Родственник». Главный герой рассказа — председатель уездного ревкома — Хасай. Брат жены Хасая и его личный друг Исмиев арестован чрезвычайной комиссией. Но Хасай уверен в политической честности своего родственника и берет на себя поручительство. Исмиева освобождают из-под ареста. Однако Исмиев убегает из города, и тогда Хасая все становится ясно. Он сам настаивает своего родственника и задерживает его.

Столкновения с тещей, болезненные отношения с женой, после ареста ее брата, чувство гнева, вызванное бегством Исмиева,— все это нарисовано в рассказе тонко и искусно.

Интересен помещенный в альманахе рассказ «Соловей ведеречивый» Сабита Рахмана — молодого писателя Азербайджана, известного читателям своими сатирическими новеллами, сюжетно остроумными рассказами.

Перевод на русский язык не передал полностью всего богатства содержания и остроумной игры слов, которыми так насыщен этот рассказ.

Мы хотим еще остановиться на рассказах «Мать» М. Джаббара и «Друзья» Али Велиева. Оба рассказа воссоздают образ великого Сталина в те годы, когда он работал в бакинском подполье, и говорят об огромной, беспредельной любви к нему трудящихся масс.

В рассказе «Мать» Джаббар говорит о женщине-азербайджанке Гюльназ, у которой полицией арестован за революционную борьбу и брошен в тюрьму сын. Гюльназ полна желанием спасти сына. Жандармский полковник, к которому она пришла просить об освобождении, говорит ей: «Отыщи в городе Коба (Сталина), выдай его нам — и тогда мы освободим твоего сына и дадим денег». Джаббар умело раскрыл перед читателем душевные муки матери, ее горе, ее желание спасти сына и незаметно, шаг за шагом, показал, как везде Коба (Сталин) помогал беднякам, облегчал жизнь трудящимся. И поэтому вполне убедительно звучит конец рассказа, когда мать узнает, что друг, помогавший ей в одинокой

и бедной жизни, поддерживавший ее морально, и был сам Коба. И тогда мать просит прощения и, садясь «у его изголовья, оберегает его сон, ожидая восхода солнца», будучи вся полна стремлением сохранить его жизнь ради будущей счастливой жизни своего сына.

Здесь очень хорошо переданы переживания матери и умело слиты психологические моменты рассказа с пейзажем. Это дает сильную эмоциональную окраску всему произведению.

Али Велиев в рассказе «Друзья» тоже повествует о товарище Сталине. Достоинство обоих произведений в том, что в них ярко видно, как тесно был связан товарищ Сталин с рабочей массой, как он жил среди народа в самой гуще событий.

В общем, материал альманаха подобран удачно. Хорошо переведены стихи. Лишь при переводе «Вагифа» В. Гурвичу не удалось полностью передать на русском языке самобытность и оригинальность пьесы.

Превосходно переведены Азизом Шарифом новеллы Дж. Мамеда-Кули-Заде «Почтовый ящик» и А. Ахвердова «Святая могила».

Но зато хуже перевод отрывка из романа Мир Джалала «Манифест молодого человека», рассказов Али Велиева «Друзья» и М. Джаббара «Мать». Например: «Все вокруг молчало. Лишь метель завывала, а беспощадный ужас пулей неся к детскому сердцу, чтобы остановить его биение, смять его...» и т. д. («Манифест молодого человека», перевод А. Шарифа, стр. 210).

Такие фразы режут слух и портят общее хорошее впечатление, которое оставляет альманах.

М. Эфендиев



О ПЬЕСАХ НЕЛИТЕРАТУРНЫХ И НЕТЕАТРАЛЬНЫХ

Как часто приходится театрам встречаться с пьесами, в рыхлом материале которых тонет действие, длинные рассуждения заменяют поступки персонажей, идеи не определяются характерами героев, а являются чем-то внешним. Понятна нескритичность, с какой набросились театры на пьесы Пристли, отличающиеся неожиданными композиционными приемами, приемами, которые находятся в полном соответствии с идеями Пристли. Острая форма пьес заслонила чуждую советскому театру пессимистическую концепцию автора. Это должно заставить наших драматургов поразмыслить над вопросами соответствия передовых идей советской драматургии литературно-сценическому их воплощению.

Однако это ни в коем случае не должно означать механического переноса формы пьес Пристли на советскую драматургию, как это сделал Евгений Пермяк. Он придумал комедийный конфликт, взял форму пьесы Пристли «Опасный поворот», позаимствовал почти целиком некоторые ремарки и, подведя,

так сказать, «идеологическую» базу, написал комедию «Серебряная ложка»¹.

«Одна и та же пружина может привести в действие и адскую машину, несущую разрушение, и патефон, доставляющий удовольствие. У нас все пружины всех систем и конструкций должны работать на пользу наших людей и наших идей. Этим принципом руководился автор, работая над комедией «Серебряная ложка», отменяя все остальное».

Это философское введение, которое должно быть, видимо, начертано на театральном занавесе, дополняется рассуждением действующих лиц:

«Р а и с а. Тебе не кажется, что эта трагедийная английская пружина способна закрутиться и у нас?»

Лидия Лазаревна. В нашем механизме шестерни не те. Раскручивать ей нечего. Ведь если там у них все построено на подло-

¹ Евг. Пермяк. Серебряная ложка, комедия. Управление по охране авторских прав, Отдел распространения. 1940.

сти и лжи, насилии и разврате, то где это у нас?

Раиса. Разве и у нас не привирают, не изменяют, не воруют?

Лидия Лазаревна. У нас это не существо, а, так сказать, невыдержанная крапива. Хотела бы я видеть такого чудака, который захотел бы закурить ее у нас. Я думаю, что в лучшем случае получился бы веселый водевиль, где все кончается не выстрелом, а смехом».

«Пружина» закручивается в советской семье. Пропала серебряная ложка. И вот советские люди, члены одной семьи, начинают подозревать друг друга в воровстве. Можно бы заподозрить молочницу и маляра, но их не было в этот день на даче. Подозревают в краже подружку дочери Люсю, затем домработницу, двадцать один год прослужившую в доме и ставшую членом семьи, жениха — «рубашу-парня» (ремарка автора), дочь, мать, отца. Вне подозрения не остается ни одно действующее лицо. Члены семьи устраивают допрос, сыск, подтвергают друг друга моральному истязанию, вспоминают старые грехи, подтверждающие возможность кражи, и притом клянутся своей принципиальностью и сопровождают подозрения сентенциями такого рода: «Но ты же проповедаешь всем о крапиве, которая растет на клумбе человеческой души и глушит новые и чистые цветы. Поли свою крапиву. Дергай...» «Не позволяй крапиве расти в тебе».

Пермяк выступает в роли «борца» за ликвидацию пережитков капитализма в сознании людей. Является ли всеобщая подозрительность той чертой, которая осталась от старого общества? Думаем, что нет. Вражеская агентура пыталась посеять эту подозрительность среди советских людей, ей этого не удалось. Пермяку кажется обратное. Он выводит на сцену как будто бы прочную советскую семью и показывает, что, стоит только дать незначительный толчок, взаимное доверие рушится, на смену ему приходит подозрение. Члены тесного кружка в «Опасном повороте» много дурного знают друг о друге, но молчат из деликатности. Члены семейного кружка «Серебряной ложки» при малейшем поводе обвиняют друг друга в мелком жульничестве, воровстве. И это автор считает принципиальностью. Однако автор и здесь подводит «идеологическую» базу: раздор в семью внесла «старорежимная» ложка, купленная за фунт хлеба у солдата в 1917 году. Все члены семьи оказываются абсолютно безгрешными, за исключением матери, продавшей, не спросив у мужа, караулевую шапку и бобровый воротник, и все члены семьи ужасаются, — как она продала чужую собственность!

Персонажи комедии борются с возникающим в них чувством подозрительности. «Если вы подумали сегодня, что я украла вашу ложку, так завтра вы превратно истолкуете мою дружбу с Мишей, а послезавтра легковерно поверите гнусному клеветнику, что я бандит, шпион, враг народа, диверсант» — го-

ворит Люся и... тут же начинает подозревать в краже жениха своей подружки.

Герои комедии «философствуют»: «По мелочам мы узнаем друг друга. Часто дырявые носки зачеркивают всю нарядную одежду». «Каждый лишний бантик, цветочек, завитушечка украшают любовь». «В любви играют свою роль и лишний бантик, и чулки». «Сольем в один бокал и дар богов, и порожденные беса. И будем пить, как символ, всех нас и каждого в отдельности».

Впрочем, чтобы показать сквернейший язык и пошлые сентенции автора, пришлось бы выписать почти всю пьесу. Автор пыжится изо всех сил, чтобы вызвать смех у читателя, но, несмотря на «цикл импровизации трагической игры», «цикл смеха» и прочие остроты, читателю совсем не смешно.

Не отстает в «остроумии» от Пермяка Я. Ялунер — автор комедии «Пропавшее сокровище»¹: «Вы знаете, что такое для певца горло? Это все равно, что ноги для полотегра». «Гeben зи мир опохмелиться». «Человек — это не дважды два четыре». «Когда жены и мужья остаются за тысячу верст, такие дела начинаются, только треск стоит. Какой треск? Кусты трещат».

У Ялунера участвуют в пьесе украинцы, горцы, колхозники; они, разумеется, говорят ломаным русским языком, не лучше разговаривают и русские персонажи комедии. Летчик Власов спрашивает: «Интересно, какие в Москве погоды?» Высшее проявление любви героини комедии Вали Галатовой: «Идиот... идиот мой золотой!», «Дурак мой золотой». Мыслями герои Ялунера не богаты.

Певица Валя Галатова едет на курорт. После отдыха ей предстоит гастрольное турне по Америке. На курорте за ней ухаживают наперебой: женихи стремятся овладеть богатством знаменитости. Валя думает, что людьми двигают настоящие благородные чувства, но при помощи одной прodelки убеждается в том, что не все люди благородны, есть и себялюбцы-карьеристы, и в результате знаменитая певица при бурном одобрении отдыхающих выходит замуж за счетовода, которого полюбила еще до того, как прославилась. Такова «проблема», которую решает Ялунер.

Пермяк и Ялунер кабинетным путем обдумывают «проблемы» и «конфликты», мобилизуют в памяти своей все слышанные когда-либо остроты, собственные обывательские идеи и мыслишки влагают в уста советских людей и безостановочно кропают ничтожные пески. Пермяк пишет много, Ялунер вслед за антихудожественной «Ольгой Ивановной»² выпустил пошлую комедию: вместо вдумчивого изучения жизни оба вступили на путь драмодельства. Бесславный путь!

¹ Я. Ялунер. Пропавшее сокровище, комедия. Управление по охране авторских прав, Отдел распространения. Москва, 1940.

² См. рец. Г. Ленобля, «Новый мир», № 11—12, 1940 г.



Движущей силой, композиционным стержнем ряда комедий стала «маленькая ложь». Философия «маленькой лжи» утверждается в «Серебряной ложке»; лгут как отрицательные, так и положительные персонажи «Пропавшего сокровища»; на лжи построена комедия Ксении Львовой «Счастливая ошибка»; «маленькая ложь» — стержень комедии В. Масса и Н. Куличенко «Дорога к сердцу».

В «Серебряной ложке» говорится:

«Мы еще не дошли до тех времен, когда линия мыслей абсолютно совпадает с тем, что мы говорим». «Если умалчивание приносит людям зло, это — ложь, если оно делает им лучше, это — этикет». В «Пропавшем сокровище» разоблачаются проходимцы только благодаря спасительному обману.

В комедии «Дорога к сердцу»¹ все персонажи — положительные, «сплошные таланты», как говорит один из героев. «Ложь не должна нас пугать, если мы знаем, что она служит добру делу» — говорит героиня комедии. А дальше развертывается банальнейшая водевильная схема: он любит ее, она не любит его, но ее подруга любит его, и тогда она делает вид, что любит другого, а он обижается и влюбляется в подругу, и все кончается свадьбами. И остается посоветовать авторам сделать слова одного из персонажей эпиграфом комедии: «Но мы еще часто переписываем себя, на одном месте топчемся».

Апологеты «маленькой лжи» не находят значительной темы для искусства комедии, им приходится надумывать мелкие и лживые комедийные ситуации, им приходится вводить ложь в качестве основного стержня комедии, да еще «философски» оправдывать маленькую ложь. Но оборотной стороной маленькой лжи не может быть большая правда искусства, а лишь «правденокча» (по меткому выражению народного артиста СССР Л. М. Леонидова), художественные качества комедий оказываются ничтожными, а идейки вредоносными.

Проблема чувства и долга, борьба, примирение, победа долга или чувства — одна из важнейших тем мировой драматургии. Эта тема проходит через драматургию античности, через драматургию эпохи Возрождения, когда торжество человеческих чувств выражало торжество гуманистических идей.

Утверждение права на чувство, бережное отношение к человеческим чувствам характерно для нашей действительности, в которой выше всего ценится человек. И наряду с этим в некоторой части советской драматургии культивируется нигилистическое отношение к человеческим чувствам. Эта порочная тенденция сказывается в комедии Масса и Куличенко, где героиня заявляет: «Мы и чувствам не должны подчиняться. Они должны нам служить, а не мы им». Техпромфинплан, раскраска стендов для сельскохозяйственной выставки — все оказывается выше любви человека. Персона-

жей комедии заботит мысль, как бы исползовать любовь для выполнения производственного заказа. Такое принижение человеческих чувств чуждо советской действительности, чуждо подлинному искусству социалистического реализма.

Драматургия — самый трудный вид литературы, говорил Горький. Об этом забыли и некоторые маститые авторы пьес, забыли о требовательности к собственному труду писателя и уважении к читателю. Легковесное отношение к драматургическому искусству зачастую передается и способному автору, как это вышло у Ксении Львовой, пьесу которой «Счастливая ошибка»¹ издал Центральный дом культуры железнодорожников. Кстати, с каких пор руководителями этого учреждения овладела страсть к поощрению отечественной драматургии? Может быть, это произошло потому, что действие происходит на полевой станции, а действующие лица одеты в железнодорожную форму.

Автор делает все, чтобы смешить: место действия называется «Глухарки», герои комикуют, в ремарках пишется «в комическом ожидании», а мы до конца пьесы так и остаемся в ожидании комического.

Ремарка: «В 1-й картине II действия через пейзаж, нарисованный на заднике (бледнозеленая весенняя даль торфяных болот, распускающийся ольшаник, розовая утренняя заря), через шелканье соловья и огромную тишину над дощатым вокзалом должна быть передана атмосфера всей пьесы. Эта картина — лирический узел пьесы». Все это уже было тысячи раз — и бледнозеленая даль, и розовая заря. И наша советская драматургия развивается, а автор не хочет учиться, и получается так, будто никаких пьес и не бывало до «Счастливой ошибки». Каждое действующее лицо рисует какой-нибудь одной краской: Петр Ильич — «высоко принципиален», Михаил Иванович, наоборот, — «по своей природе человек несамостоятельный», Савич — «подозрителен и недоверчив к людям», Анчуков — «человек, поглощенный своей специальностью», Валя и Сергей — «здоровые, жизнерадостные молодые люди». Язык коверкается посмешнее: «к завтрему», «округ складов ходимши», «восемь сынов», «идтить», «убег», «завсегда», «буза», «физиономия лица», «которая с понятием», «откуда вы его знаете, чтобы заручаться», «не откажите задержаться» и пр., и пр.

Важная тема комедии — борьба патриотов своего города, своего села, своей станции за культуру, за украшение жизни в каждом уголке нашей страны, но решается эта тема неудачно.



Примитивное решение серьезнейших тем характеризует драму Е. Яновского — «Хозяин»².

¹ Ксения Львова. Счастливая ошибка, комедия, Центральный дом культуры железнодорожников, 1940.

² Е. Яновский. Хозяин. Драма. «Искусство», Стеклографическое издание. 1940.

¹ В. Л. Масса и Ник. Куличенко. Дорога к сердцу, комедия. Управление по охране авторских прав. Отдел распространения, 1940.

Пьеса посвящена жизни колхоза-миллионера, борьбе с вредительством в сельском хозяйстве, теме: народ — хозяин. Колхоз должен приступить к севу. План посевной райземотделом объявляется вредительским, колхозу предлагается другой план, задача которого — подорвать кормовую базу животноводства. Руководители колхозного села пасуют, и только народ разоблачает вредителей и решает сеять по прежнему плану. К сожалению, колхозный актив показан очень мало мыслящим. Здесь явное снижение облика советских людей. Круглов говорит и действует так, что всякий ребенок увидит в нем врага, только руководители села этого не понимают. Секретарь парторганизации Жигалин живет и работает со своей женой — агрономом — в одном селе много лет, любит ее, но сразу, без всяких оснований, подозревает ее во вредительстве (вот где «Серебряная ложка» сказала). Председатель колхоза хочет выполнить волю общего собрания: сеять. «Опомнись, Федор, — возражает председатель сельсовета, — выступайшь против вышестоящей инстанции». Коммунист Шимко написал пятьдесят семь клеветнических заявлений, но только под занавес собираются ставить о нем вопрос. Образ жены председателя колхоза — подражание Лушке из «Поднятой целины», но какое жалкое подражание: Феня, гулящая бабенка, заглядывающаяся на всех мужчин, пьяница, в последнем акте, как и следовало ожидать, дает сощобязательство и перерождается. Автор боится что-нибудь не досказать: и дом культуры, и оперный кружок, и пирожные, стенгазета, румба, автомобиль, пилочка для маникюра,

третий том «Тихого Дона» — все есть, не хватает только правды и чувства меры.

Чувство меры! — немногие наши драматурги могут им похвалиться. Из деревни в город идет машина. Вбегает человек: «Машина идет?» — и просит выполнить поручение; вбегает второй, третий, но автору мало. Девять человек выбегают на сцену с вопросом: «Машина идет?» И наряду с дешевым комикованим — нагнетание ужасов со счастливыми концами. И, разумеется, искаленный язык: «обознакомимся, пожалуй», «красивше», «ружо» и т. д.

Занимательность не есть авантюризм, вот чего не понимают некоторые авторы. Появление в драматургии черт авантюризма, шерлокхолмсовщины, с одной стороны, и черт слезливой мелодрамы, с другой стороны, — явление безрадостное.

★

Горький неоднократно призывал учиться ремеслу писателя. Он боролся за идейность литературы, за чистоту русского языка, за образность, художественность литературной речи. Пренебрежение к глубокому познанию жизни, к языку и форме определяет низкое качество многих драматургических произведений последних лет. Бедность, засоренность, искоренность языка, отсутствие характеров, слабость драматургической формы определяют неценничность этих сочинений. И многие пьесы из тех, что распространяются управлением по охране авторских прав и выпускаются стеклографическими изданиями «Искусства», оказываются явлением и нелитературным, и нетеатральным.

И. Явник

★

АЛ. ШУБИН — «СВЕЖИЙ ВЕТЕР» *

«Свежий ветер» — повесть о судьбе группы молодых людей, проведенных вместе дни детства и юности. Жители провинциального города, учащиеся одного класса гимназии, они в годы революции разошлись в разные стороны, заняли разные места в жизни. Большинство из них нашло настоящую жизнь: Аверьянов стал директором МТС, Гнучий — райпрокурором, Зильберман — директором диспансера. Все эти люди сразу нашли свое призвание. Иначе дело обстоит с Леонидом Стрешневым, с большими усилиями выбившимся на свое подлинное поприще, ставшим крупным художником. И, наконец, сила традиций старого собственнического мира в повести показана в образе Киреева. Последний оказался врагом советского общества, индивидуалистом и растратчиком. Жизнь действующих лиц повести «Свежий ветер» как бы должна служить иллюстрацией судьбы целого поколения людей нашей страны, встретивших юность в годы революции.

* Повесть. Воронежское областное книгоиздательство. 1940.

Нужно сразу сказать, что автор не сумел благодарный замысел — нарисовать путь человека к социалистическому самосознанию — воплотить правильно и художественно убедительно. Настоящее искусство своим неизменным условием предполагает естественность развития действия, т. е. читатель должен быть убежден, что герои произведения будут говорить и действовать именно так, а не иначе. В повести Ал. Шубина этого нет. Особенно сказались надуманность в образе главного персонажа повести художника Леонида Стрешнева, в связи с которым развертывается все действие и группируются остальные образы повести. Уже первая наша встреча со Стрешневым и его товарищами свидетельствует о том, что писатель больше придумывает, нежели наблюдает. Разгорелся спор на традиционную тему об искусстве утилитарном и чистом:

«Вмешательство Зильбермана разожгло и обострило спор.

— Ты... ты брось эту утилитарщину! — разгорячился Киреев. — Ты не сердись, но вещи нужно называть своими именами — ведь ты подходишь к искусству с точки зрения гешефт-

махерства. Полезно — значит, красиво. Чисто национальное: «Ах, такой хороший предмет. Что вы из-под себе думаете? Он, наверно, стоит тысячу...»

— Сашка, тебе не стыдно?! — вспыхнул Гнучий, — это... хамство...

— Не стыдно! Утверждаю, что совершенно не случайно Зильберман и Коська остались при общем мнении... Угнетенный пролетарий и представитель угнетенной нации... оба, разумеется, тянутся прежде всего за полезным и «хорошим», что стоит подороже. Эстетика нищих!» (стр. 23).

Читатель сразу видит авторскую тенденцию: совершенно ясно, что ярый сторонник чистого искусства — Киреев — будет врагом нового, социалистического общества, а сторонники утилитарного искусства станут по другую сторону баррикад. Тем более, что Киреев сразу же назван «белоподкладочником». Все это хорошо для схемы, но жизнь не всегда развивается по гимназическим схемам, и ее подлинного дыхания в повести Ал. Шубина мало.

Для того чтобы нарисовать сложность развития Стрешнева, автор проводит его через ряд жизненных испытаний, типичность которых сомнительна, а характер показа примитивен. Неудачная женитьба отрывает Стрешнева от искусства на долгие годы. Ксения, его жена, мечтает о креп-де-шине и котиковых манто, оклеивает комнату обоями, которые мешают занятиям живописью. Все это возможно, но характер изображения борьбы старого с новым в повести «Свежий ветер» не поднимает, а снижает тему, придает ей плоскую, поверхностную трактовку. Вот как, например, воплощены в повести политические разногласия между Стрешневым и Ксенией:

«Страна осуществляла первый пятилетний план. С магазинов спадали вывески частных, в лесах и кирпичной пыли росли этажи заводов. Стрешнев сдвиг в командировки и видел, как маленькие квадраты и косяки полей сливались в громадные массивы.

Вначале пассажиры сбегались к окну:

— Глядите, вон трактор!

— Где, где?!!

Потом стали удивляться иначе:

— Посмотрите, вон еще сохой пашут!

— Сохой? Неужели?

Бежали к окну и смотрели.

Ксения выглядела уставшей:

— Леня, представь: понадобилось мне для отделки серо-розового шелка. Обежала все магазины и не нашла. И нужно-то всего четверть метра...

Стрешнев улыбался.

— Тебе смешки, а ведь самому же приятно видеть меня нарядной...

Да, это было приятно, но Стрешнев твердо знал, что было нужно, чтобы Ксения осталась без шелка. Нужно для того, чтобы были построены новые заводы.

Ксения тоже понимала, в чем дело, и угадывала его мысль:

— Мне эти твои заводы ни к чему! Зачем мне шелк, когда мне сорок лет будет? И ты

тоже хорош! Ударник! Работаете днем и вечером... на что похож стал...

Стрешнев махал рукой и садился за стол с книгой» (стр. 80—81).

Совершенно закономерен уход Ксении от Стрешнева к техническому директору какого-то треста, умеющего ее обеспечить всем необходимым.

Укажем еще на одно испытание, придуманное Ал. Шубиным для своего героя. Художник попадает на вечеринку, куда за плату собираются дамы для увеселения мужского общества. Испытание состоит в том, что сам писатель не знает, как вытаскать Стрешнева из пошлости, в которую он его здесь окунул. Невольно и сам положительный герой начинает говорить плоские и неумные вещи. Возьмем, например, тон изыщной беседы положительного героя с положительной в будущем героиней Евой:

«Вдоль стола плывут головы. В упор смеется красивое женское лицо:

— Здесь свободное место. Присаживайтесь, будем знакомы, меня зовут Ева, а вас? Леонид? Леонид, Леонард, Лео. Сегодня, Лео, вы будете моим соседом. Ничего не имеете против?

Белые, ровные зубы. Эта женщина, должно быть, улыбается всегда. Бок-о-бок нежное, шелковое плечо, прядь пепельных волос.

— Передайте икру, это для вас... Вы должны выпить за наше знакомство... Да, конечно, и я.

Тонкие пальцы несут за талию искрящуюся, рубиновую рюмку:

— Видите, я пью!..

— Ева, вы всегда смеетесь?

— Всегда.

— А плачете когда-нибудь?

— Конечно, когда портниха испортит платье. Но сегодня я хочу смеяться, с вами или над вами, зависит от вас. Пейте. Мужчины смеются, когда пьют, иначе они думают о делах. Это скучно.

Белая рука с блестящими ногтями пододвигает тарелку:

— Чего вам положить, Лео? Вы мне нравитесь, мы будем смеяться вместе...» (стр. 108—109).

Надуман отрицательный персонаж повести Киреев. Он нарисован без всякого чувства меры: «Я бы всю эту современность: и радио, и кино, и авиацию — все бы за один «Яр» или «Стрельну» отдал». В этом бесхитростном плане раскрывается все его дальнейшее поведение. Вообще, интеллектуальный уровень героев повести «Свежий ветер» ниже среднего уровня среднего советского человека. За исключением Стрешнева, Киреев — абсолютное зло, другие — сплошь оптимисты. Они не затрудняют себя глубиной мышления. Даже хорошо задуманный образ прокурора Гнучего, стойкого большевика, доброго и отзывчивого человека, не обогащается в тех местах повести, где он пытается раскрыть свою философию жизни, свои мечты. Сам же Стрешнев больше живет инерцией, нежели твердым сознанием.

Большая творческая ошибка Ал. Шубина состоит в том, что явления отрицательные изображены более широко и конкретно, нежели положительные. Нам гораздо более ясна жизнь Стрешнева с первой женой-мещанкой, нежели его хороший брак с Евой. Здесь автор умолкает. Мы представляем себе фигуру мошенника Киреева, его поведение, быт гораздо более полно, нежели труд настоящих людей: Гнучего, Суровцева, Аверьянова, Зильбермана. Все, что касается целенаправленной жизни главного героя в последний период, когда он почувствовал себя участником великой стройки, мало освещено; предшествующее же время растерянности и пассивности раскрыто более полно. А раз главнейшее не занимает соответствующего места, то книга Ал. Шубина получилась легковесной, поверхностной, так как она не показывает глубины духовного облика современных советских людей. Эти люди в повести оказались плоскими, менее интересными и умными, нежели в действительности. Автор умеет строить сюжет, но раскрытие внутреннего мира наших людей идет какими-то боковыми, второстепенными путями. Основная магистраль жизни и сознания со-

ветского человека раскрывается через его труд. И это самое главное прошло мимо автора повести «Свежий ветер».

Леонид Стрешнев — начинающий художник — на несколько лет оставляет свое дело и работает ответственным исполнителем в промкооперации. Но стоило ему оставить жену и побеседовать с Гнучим, как он чрезвычайно быстро создает первоклассное произведение живописи. Повесть Шубина не говорит о творчестве, как о труде, требующем времени, упорной учебы, настойчивости, усилий. Следовательно, она не мобилизует в этом направлении волю читателя.

По всем данным, Шубин — писатель одаренный, но он слишком много придумывает и в то же время недостаточно всматривается в жизнь: результатом этого являются творческие ошибки и недостатки повести, указанные выше.

Повесть «Свежий ветер» принадлежит к числу произведений, не обогащающих наше знание жизни, а следовательно, и нашу литературу. Прежде чем печатать ее, автору следовало бы над ней потрудиться.

★

В. Щербина

МИХ. БУБЕННОВ — «БЕССМЕРТИЕ» *

Осень 1918 года. Прикамские деревни и села переживают ужасы белогвардейской расправы. По Каме плывет баржа с виселицей. Это — пловучий белогвардейский застенок. Поручик Бологов — начальник конвойной команды — лично сам вешает и расстреливает рабочих и крестьян, заключенных в барже. Но революционный дух смертников непоколебим. Их стойкость и горячая вера в победу советской власти приводят к тому, что каратель Бологов терпит поражение. Он начинает сомневаться в своих «успехах» и становится алкоголиком. Убежавший с баржи партизан Мишка Мамай при содействии красного миноносца освобождает оставшихся в живых заключенных.

Таков в основном хороший замысел повести.

Однако автор не сумел художественно реализовать этот замысел. Герои повести схематичны, их поступки в большинстве своем лишены должной убедительности, язык засорен стилистическими красотами. Чтобы представить себе недостатки повести, достаточно ознакомиться с характеристикой героя.

Главный герой Мишка Мамай — «гордый, горячий и бесшабашный парень» — однажды весной почувствовал, что «с ним произошло что-то совсем непонятное, — видно, поднялись в нем какие-то особые дикие силы». Он каждую ночь пьянствовал, бил у сельчан окна, раскидывал плетни, затевал драки. Но автор не осуждает «героя». Оказывается, «на него

нельзя было обижаться, как и на весну, которая в эти дни подчас излишне буйствовала на земле».

Зимой Мишка Мамай «как-то вдруг, но горячо» полюбил солдатку Наташу Глухареву, которая получила «известие о смерти мужа где-то в Румынии и его пробитую пулей гимнастерку» (стр. 27).

Дальше идут описания мишкиной любви. На стр. 28 герой поднял свою любимую на руки «и, сам не зная почему, хохоча, пронес до своего огорода». Но на стр. 29 героиня при каждой встрече с Мишкой «бросит несколько слов, часто ехидных, засмеется, запрокинув черноволосую голову, и быстро скроется...» На этой же странице Мишка Мамай «тискал руки Наташи пониже локтей», а «она, откидывая голову, хохотала...» Иногда Наташа «становилась непривычно ласковой, а иногда, видно, тайной тоске по мужской силе, любовно перебирала его кудри и чуть внятно шептала:

— А ну, сожми меня. Силен ли?» (стр. 29).

Автор сообщает, что отец Мишки, крестьянин-середняк Василий Тихоньч, против женитьбы сына: «Эка, выбрал! Вдовую бабу! Дурак! Да случись, разве после кого-нибудь будешь доедать кусок?» (стр. 34).

Но, оказывается, Наташа и сама «отказывает» Мишке. Она любит его, но она не может забыть покойного мужа. И вот, чтобы «скорее забыть» мужа, она отдает нищему простреленную мужнину гимнастерку (?!).

В таких же тонах рисует автор и дальнейшую судьбу своего героя.

* Повесть. Татгосиздат. Казань. 1940, стр. 180.

Мамай «закипает бесшабашной яростью», говорит не просто, а «ехидно-спокойно» (стр. 43), «глаза его постоянно были налиты горячим зноем», даже любовь его к Наташе была «какая-то окаянная» (стр. 37).

Автора часто покидает чувство меры. Читателю не известны идеологические и психологические переживания героя, хотя он и становится вожаком партизанского отряда. Он изображается в повести как своеобразное «чудо природы». Вот он попал на баржу смертников. Поручик Бологов приказывает бить его розгами. Герой негодует... но негодует не против поручика, а против того, что бить его будет рябой солдат. «Такой сморчок бить будет! — негодуяше подумал Мамай. — Да еще рябой! Господи, хоть бы не рябой!» (стр. 13).

А когда Мамай узнал, что Наташа тоже находится на барже, он «так скрипнул зубами, что некоторые смертники шарахнулись в стороны. А через минуту он лежал у ног Наташи и в беспредельной ярости скреб ногтями доску...» (стр. 25).

Художественная незавершенность портит произведение. Вот, например, как описывает автор обстановку на барже:

«Ночью несколько человек расстреляли, и смертники, измученные страхом, крепко спали. Степан Долин (большевик. — М. К.) дышал хрипло, временами в груди его закипало что-то. Наташа Глухарева спала беззвучно. Один из дружинников «тихонько бредил во сне: похабно ругался, всхлипывал...» Татарин Шенгерей «стонал и чесал тело так сильно, что, кажется, должны были лететь лохмотья кожи» и т. д. (стр. 19).

Среди смертников находится большевик Иван Бельский. Все заключенные любили Ивана Бельского за его... «беслечный нрав» (?!). Несмотря на то, что каждого заключенного ждет виселица, среди них, «точно пробужденный ветерком, сдержанный и глуховатый прокатывался хохот» (стр. 21).

Заключенные давно требовали соломы. Поручик Бологов неизменно отказывал, но «тут как-то, задумчиво бродя по палубе, ...он вдруг решил сбросить в трюм солому» (стр. 44). И дальше следует такая картина:

«Никогда не было так легко и весело в трюме, как в эти минуты. Обрадованные смертники расхватывали снопы, и трюм был полон их возбужденных голосов:

— Вот теперь заживем!..

— А поручик ничего, сговорчивый.

...и некоторые хохотали даже» (стр. 45).

Вряд ли нужно доказывать, что в описанной «картине» мало правды!

Обедняет действительность автор и в описании взаимоотношений поручика Бологова со своими подчиненными, мобилизованными солдатами. Оказывается, белогвардеец Бологов по-братски заботится о солдатах, вместе с ними ест, пьет, и «солдаты с уважением следили за

поручиком» (стр. 57), «с тревожными криками» ухаживали за ним, когда он был болен, «облегченно вздыхали» при его выздоровлении (стр. 65).

Стиль повести далек от подлинной художественной литературы. Большинство героев выражает свои мысли трафаретными фразами. Собственный язык автора перегружен искусственной метафоричностью.

Вот примеры: собака «брезгливо шевелила ноздрями» (стр. 7); у поручика «не только португеза его заскрипела, но и плохо сложенные кости» (стр. 8); голос Ивана Бельского «расстирался по трюму, как дым по траве» (стр. 24); Наташа «уже в каком-то необычайном испуге прижалась к нему тугой грудью» (стр. 42); «догорали осколки вечерней зари»; «уже порхала вечерняя звезда» (стр. 60); «Мамай быстро и остро почувствовал себя опять разветвленным в мире» (стр. 61).

Поручик грызет семечки, и это «вдруг приняло для Мишки Мамай сокровенный, тревожный смысл, и он смотрел на поручика, широко раздувая ноздри» (стр. 61).

От кормы буксира «вился пышный павлиний хвост взбудораженной воды» (стр. 63); «мимо стожка вьется пышный хвост дыма» (стр. 145); «костер вилял хвостом» (стр. 146).

Наташе «казалось, что в ней рухнули все подпорки», ей «и шевелиться не хотелось. Зачем? Пусть тело лежит на соломе и гниет» (стр. 87).

Наташа «стояла перед глазами (Мамай) чаще всего в своей любимой позе — натянув кофту грудями, немного закинув голову и задумчиво, всем упруго-ласковым телом хохотала... ее тело, если подавить, должно бы скрипеть, — так оно упруго, свежо чувствовалось под ситцем» (стр. 114).

«Ядовитая улыбка мелькнула у тонких, упрямых губ» Мамай (стр. 114), он «схватил себя за грудь, защемил в железно-жестких пальцах кожу, потряс (кожу?) и — рванулся...» (стр. 115).

Солдат Ягуков «поворачивал большую голову, вздергивая густо рдевший нос...» (стр. 119).

Полагаем, что приведенные выше образцы стиля не нуждаются в комментариях.

Искренность и свежесть некоторых эпизодов повести (например, столкновения Шенгерей с поручиком) свидетельствуют об определенных творческих возможностях автора. Он, очевидно, одаренный человек. Но все это не может возместить художественные недостатки произведения. В таком виде издавать повесть не следовало. Татгосиздат и редактор книги должны были внушить автору, что его рукопись в значительной своей части является еще сырым, хотя и благодарным, материалом, который нужно было еще основательно обработать.

М. Корнев

ЛЕРМОНТОВ И КАВКАЗ *

В числе произведений, прежде всего приходящих на ум, когда начинаешь вспоминать Лермонтова, неизбежно будут: «Герой нашего времени», «Демон», «Мцыри». Среди меньших по объему припомнится и «Спор», и «Я к вам пишу» («Валерик»), и «Беглец», и «Тамара». Одним словом, как только начинаешь вспоминать Лермонтова, перебирать в памяти его шедевры, так сейчас же оказываешься в кругу «кавказских» произведений поэта. По преобладанию интереса к Кавказу Лермонтова нельзя сравнить ни с одним русским поэтом. Лермонтов — певец Кавказа.

Но, как это ни странно, до последнего времени мало занимались вопросом о том, в чем же именно выражается связь с Кавказом лермонтовского творчества, мало интересовались тем, как отразилось знакомство поэта с историей Кавказа, бытом и нравами населяющих его народов, с их фольклором на его творчестве.

Особенно это относится к ранним кавказским поэмам: «Каллы», «Аул Бастунджи», «Измаил-бей» и «Хаджи Абрек».

Неполнота наших сведений препятствовала выработке правильного взгляда на вопрос об отношении лермонтовского творчества к Кавказу.

При изучении ранних кавказских поэм Лермонтова исследовательский интерес замыкался в кругу чисто литературных сопоставлений. Настойчиво искали те литературные произведения — русские и иностранные, — под влиянием которых возникла и сформировалась та или иная поэма. И вследствие того, что отсутствовала одновременная работа по изучению связи с реальными обстоятельствами, каждая такая попытка все более отдаляла эти произведения от жизни. Все настойчивее выдвигался тезис: в ранних кавказских поэмах, собственно говоря, никакого Кавказа нет; Кавказ в них условный, декоративный, измышленный Лермонтовым; поэмы — упражнение в склеивании готовых кусков из других литературных произведений.

Вследствие сказанного совершенно правильной надо признать точку зрения Л. П. Семенова, автора книги «Лермонтов на Кавказе»: «В подавляющем количестве работ до последнего времени мало внимания уделялось вопросу об исторических и фольклорных источниках кавказских мотивов поэта; в ущерб изучению этого крайне важного вопроса слишком большое значение придавалось литературным влияниям, которые, обычно, трактовались в узком, специфически-формальном смысле» (стр. 10—11).

Обнаруживая хорошую осведомленность в литературе предмета, Семенов использует не только материалы своих собственных разысканий, но и работы других авторов, касавшихся данного вопроса. Собственно говоря, этой второй задаче он уделяет преимуще-

ственное внимание. Это отнюдь не является недостатком книги, так как до ее появления такой обобщающей работы не существовало. Эти материалы, являющиеся результатом предшествующего изучения лермонтовского творчества в интересующем нас плане, хотя и не столь обширные, вследствие указанной выше причины, конечно, собрать и обобщить было необходимо.

Не ограничиваясь рассмотрением творчества, автор сообщает также сведения о пребывании Лермонтова на Кавказе.

Наиболее интересен раздел, посвященный раннему творчеству Лермонтова, так как здесь автор уделяет много внимания самостоятельной разработке вопроса.

Касаясь поэмы «Измаил-бей», Семенов совершенно правильно указывает на то, что в лице Росламбака изображено подлинное историческое лицо — Рослабек Мисостов (стр. 36—37).

Но, воспользовавшись только теми данными, которые сообщает о Рослабке Мисостове историк кавказских войн В. Потто¹, Семенов не мог иметь всех необходимых материалов для того, чтобы разобратся в исторической основе поэмы и раскрыть чрезвычайно интересный факт. Семенов, не предполагая, что в поэме изображен какой-либо конкретный эпизод кавказской войны, думает только, что при ее создании Лермонтов мог иметь в виду разные эпизоды из тех событий, которые происходили на Кавказе в двадцатых и начале тридцатых годов девятнадцатого столетия (стр. 34 и 43). Это не так.

В поэме «Измаил-бей» описывается совершенно конкретное событие из истории кавказской войны.

В 1804 году Кабарда глухо волновалась. Предстояли выборы в «родовые суды». Эти суды были одним из средств угнетения кабардинцев. Поэтому кабардинцы не хотели производить выборы. Тогда командовавший войсками на Кавказе князь Цицианов отправил в Кабарду письмо. Цицианов «почтенным князьем, узденям и эфендиям Большой и Малой Кабарды писал: «Кровь во мне кипит, как в котле, и члены все мои трясутся от жадности напоить земли вашу кровию преслушников... Опомнитесь... Буде же нет..., ждите, говоря вам по моему правилу штыков, ядер и пролития вашей крови реками; не мутная вода потечет в реках, протекающих ваши земли, а красная, ваших семейств кровию выкрашенная...»²

Получив это письмо, кабардинцы возмутились. Началось восстание, бушевавшее в Кабарде многие годы. Кабардинцев поддерживали другие черкесские племена, жившие за Кубанью. Вождем кабардинцев, кото-

¹ В. Потто. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, т. I, 1885, стр. 693—694.

² Акты, собранные кавказской археографической комиссией, т. II, стр. 954.

* Л. П. Семенов. Лермонтов на Кавказе, 1930, Пятигорск.

рый «воздвиг великие смятения в Кабардах», был Рослаибек Мисостов.

В том же году, осенью, после того как восстание уже началось, в Кабарду с севера, из Петербурга, приехал возвращавшийся на родину русский офицер — кабардинский князь, происходивший из того же рода Атажукиных, к которому принадлежал и Рослаибек. В событиях, развернувшихся в Кабарде, он принял самое непосредственное участие. Этому возвратившегося на родину кабардинца русские называли коротко: Измаил-бей.

Уже первые строки лермонтовской поэмы позволяют установить, что Лермонтов пишет об указанных нами событиях и имеет в виду этих исторических лиц:

Старик и воин молодой
Князь отвагой и враждой.
Уж Рослаибек с брегов Кубани
Князей союзных поджидал...

В тот самый год, осенним днём,
Между Железной и Зменной,
Где чуть приметный путь лежал,
Цветущей, узкою долиной
Тихонько всадник проезжал...¹

Конец поэмы «Измаил-бей» постоянно вводил в заблуждение. Черкесы, желая обмыть труп их убитого вождя Измаил-бея, расстегивают чекмень, но, обнаружив под ним «белый крест на ленте полосатой», «ужасаются» и отказываются от того, чтобы предать земле прах убитого. «Белый крест» казался свидетельством того, что Измаил-бей тайно от своих соотечественников перешел в христианство. Так думает и Семенов (стр. 38).

Но никто при этом не обратил внимания на одну странность: почему крест был «на ленте полосатой»? Казалось бы, никогда крест, который носился на шее, как символ принадлежности к христианской религии, не привешивался к полосатой ленте.

Измаил-бей Атажукин за отличие во время штурма крепости Измаил (11 декабря 1790 г.) был награжден орденом Георгия четвертой степени. А этот орден — белый для 4-й степени — имел форму креста и носился на полосатой ленте.

Любопытно, что Лермонтов в своей поэме прямо говорит, что Измаил-бей не христианин. Рассказывая о трагической любви Измаила к русской, Лермонтов пишет:

..... ведал он,
Что быть не мог ее супругом,
Что разделял их наш закон...²

Утверждение о том, что Измаил-бей перешел в христианство, сохраняя это в глубокой тайне, вело к неправильному пониманию всей поэмы.

Среди действующих лиц поэмы «Измаил-бей» упоминается Бей-Булат — брат отца

Измаил-бея. Семенов предполагает, что прообразом этого персонажа является известный чеченский наездник Бей-Булат Таймазов.

Характеристика Бей-Булата у Лермонтова —

..... гонимый братом,
Убийцей коварным, Бей-Булатом,
Его (Измаил-бея. — А. К.) отец таился
много лет...—

не дает никаких оснований для сопоставления этого персонажа с историческим Бей-Булатом Таймазовым. Эпизод, упоминаемый Лермонтовым, относится к гораздо более ранней эпохе, чем та, в которую жил и действовал Бей-Булат Таймазов¹. Кроме того, Бей-Булат Таймазов — чеченец, отец Измаил-бея — черкес. Сведения об историческом Бей-Булате не совпадают со сведениями о лермонтовском персонаже. При этих условиях совпадение имен следует признать чисто случайным.

Касаясь другой ранней поэмы — «Аул Бастунджи», — Семенов высказывает предположение: «В основу поэмы могло быть положено одно из преданий, слышанных Лермонтовым на Кавказе» (стр. 32). Догадка эта совершенно правильна: действительно, в основе этой поэмы лежит черкесское предание. Но это предание Лермонтов мог слышать не только во время пребывания на Кавказе в 1825 году. Лермонтов жил среди людей, многие из которых хорошо знали Кавказ. Есть основания полагать, что в период создания своих кавказских поэм Лермонтов сталкивался также и непосредственно с некоторыми кавказскими горцами, жившими в это время на севере; от этих горцев, хорошо знавших фольклорные произведения и осведомленных также о происходящих на Кавказе событиях, Лермонтов мог получить много сведений.

По нашему мнению, Лермонтов в поэме «Аул Бастунджи» использовал распространенное среди черкесов и кабардинцев предание о Канбулате².

Скажем кстати, что самое слово «Бастунджи» отнюдь Лермонтовым не выдуманно. Это слово — турецкое (правильнее «бостанджи»), его значение — огородник, бахчевник. У кабардинцев существует предание, что такое имя носил один из аулов, существовавших около Бештау³.

В дополнение к тому, что пишет Семенов о поэме «Каллы», мы скажем, что в этой поэме Лермонтовым тоже использовано фольклорное произведение. Содержание его в общих чертах и с известной авторской обработкой передано Хан-Гиреем⁴.

¹ Деятельность Бей-Булата Таймазова охватывает период с первых годов XIX столетия по начало тридцатых.

² Хан-Гирей. Князь Канбулат, черкесское предание. «Русский вестник», 1844, № 1; Шора Бекмурзин. Ногомов. История адыгского народа, 1861, стр. 114—115.

³ Последнее сообщено мне А. Т. Шортановым.
⁴ «Черкесские предания» (отрывки из рукописи), «Русский вестник», 1841, т. II, стр. 3—78, 292—377.

¹ Полн. собр. соч. Лермонтова под ред. Эйхенбаума, т. III, стр. 196—197.

² Браки между магометанами и христианами, как известно, не разрешались.

Существенным добавлением к сведениям, сообщаемым Семеновым по поводу поэмы «Хаджи Абрек», служит сделанный им уже после выхода в свет его книги доклад, в котором он доказывает, что Лермонтов при создании своей поэмы использовал одно из бытующих на Кавказе преданий¹.

Касаясь биографической части этого отдела, следует указать на правильность замечания Семенова по поводу воспоминаний Е. И. Новиковой-Зариной. Новикова-Зарина со слов своей матери рассказывает, что в 1825 году Лермонтов со своей бабушкой гостил в семье ее отца, помощника коменданта крепости Анапа. Семенов говорит, что Анапа лежала далеко в стороне от тракта, по которому совершались переезды из России к кавказским водам. Поэтому рассказ о посещении Арсеневой семьи Новиковых в Анапе следует считать недостоверным (стр. 16).

В конце-концов с тракта можно было свернуть в сторону. Но есть другое обстоятельство, говорящее за недостоверность этого рассказа. В 1825 году Новиков никак не мог быть помощником коменданта крепости Анапа, так как Анапа в это время была турецкой крепостью и перешла к России в 1829 году. Поэтому Арсенева со своим внуком в Анапе в 1825 году, конечно, не была.

Мелкие замечания. Константиногорская крепость основана не в 1779 году, как пишет Семенов (стр. 13), а в 1780 году; Гюльденштедт составил свое описание серных источников (часть его книги «Reisen durch Russland») не в 1793 году (стр. 13), а гораздо раньше. В 1781 году Гюльденштедт уже умер. На стр. 46 Семенов пишет, что Измаил-бей «не надолго пережил Зару». Лермонтов в своей поэме не говорит о том, что Зара умерла. Корректорная ошибка вкралась во фразу «Сказания о «дивах» или «дэвах» широко распространены у горцев Северного Кавказа» (напр., у ингушей, чеченцев и грузин») (стр. 31, подч. нами. — А. К.). Грузины, как известно, не принадлежат к горцам Северного Кавказа.

★

Менее исследовательский характер, чем рассмотренный нами первый отдел, носит та часть книги, которая посвящена обзорно лермонтовского творчества 1837—1841 годов. Главную свою задачу Семенов здесь видел в том, чтобы систематизировать результаты изучения произведений этого периода другими авторами. Постановка этой задачи тем более законна, что запас сведений, накопленных в лермонтоведческих работах по отношению к этому творческому периоду, гораздо обширнее, а работы, обобщающей, подводящей итог этому изучению, не существовало.

¹ Доклад прочитан 27 марта 1940 года на заседании группы по изучению жизни и творчества Лермонтова Института мировой литературы имени Горького при Академии Наук СССР. Текст составленного Семеновым с лермонтовской поэмой произведения напечатан Юрием Казиз-Беком в его «Черкесских рассказах» (1896, стр. 185—207).

Со своей задачей Семенов справился хорошо. Так, например, не только для широкого читателя, но и для специалиста-лермонтоведа важное значение имеет тот подробный обзор результатов изучения «Тамани» (стр. 86—87) и «Княжны Мери» (стр. 88—93), который дает автор.

Кроме этой задачи, автор ставил себе еще, имея в виду широкого читателя, цели чисто информационные: указать, какие именно произведения, в какой последовательности и т. д. написаны Лермонтовым. Эти данные сопровождаются хронологическими датами и комментариями общего характера. Собственные разыскания автора о Казбиче (стр. 93—96) интересны и дают новый материал для характеристики этого реального лица, в какой-то мере послужившего прообразом лермонтовского персонажа.

К тому, что сообщает Семенов, мы хотели бы сделать дополнение. Реальный Казбич умер не в 1839 году, как пишет Семенов (стр. 95), а в 1840 году. Он был тяжело ранен при штурме горцами форта Вельяминовского (форт взят в ночь с 28 на 29 февраля 1840 г.) и через несколько дней после ранения умер¹.

К самостоятельным разысканиям автора относится его указание на гребенские песни, которые отразились на «Дарах Терека» Лермонтова (стр. 79—80), и замечание о том, что в заключительной части «Песни про купца Калашникова» есть место, схожее с отрывком из одной песни терских казаков (стр. 81). Кроме того, Семенов делает попытку разобраться в вопросе о том, при каких обстоятельствах написана «Казачья колыбельная песня» и отзвуки каких фольклорных произведений можно в ней обнаружить (стр. 132—135).

В стихотворении «Сон» Семенов также обнаруживает отзвуки гребенских песен (стр. 136—137).

Несколько критических замечаний. На стр. 71 Семенов пишет, что Лермонтов в 1837 году познакомился в Ставрополе с декабристом Н. И. Лорером. Семенов повторяет широко распространенную ошибку. В своих записках Лорер совершенно отчетливо говорит, что впервые познакомился с Лермонтовым только в 1840 году².

Ошибкой является и утверждение, что Тенгинский полк, в котором числился Лермонтов, в 1841 году находился в Темир-Хан-Шуре (стр. 201). Эта ошибка, повторявшаяся всеми без исключения авторами, с первого взгляда весьма малозначаща. На самом же деле она мешала понять одно важное обстоятельство.

Совершенно непонятен был и смысл написанного в очень резком тоне предложения Николая I командиру Отдельным кавказ-

¹ «Из числа более значительных горцев тяжело ранен Казбич (при штурме форта Вельяминовского. — А. К.), который вскоре умер...» Центральный военно-исторический архив, Военно-ученый архив (Москва), д. № 6408, ч. 1, л. 278. Показание бежавшего из плена от горцев рядового Петра Гаврилова от 16 марта 1840 года.

² Записки декабриста Н. И. Лорера, 1831, стр. 241.

ским корпусом Головину о том, чтобы «поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку»¹.

Тенгинский полк в это время находился на правом фланге (Темир-Хан-Шура была расположена на левом фланге), и тогда, когда Николай I послал свое строгое распоряжение на Кавказ, этот полк по личному же распоряжению Николая I выступал в экспедицию на черноморскую береговую линию, чреватую для него величайшими опасностями. Экспедиция эта завершена не была, так как обнаружилось, что продолжение ее было бы равносильно самоубийству. Но, и не доведенная до конца, эта экспедиция была, как пишет историк Тенгинского полка, одной «из кровопролитнейших на Кавказе»².

Попутно скажем, что самый выбор Тенгинского полка в 1840 году местом ссылки Лермонтова был сделан Николаем I далеко не случайно. В тот самый момент, когда он избрал для Лермонтова Тенгинский полк, Николай получил донесение с Кавказа, из которого явствовало, что полк попал в отчаянное положение и что ему грозит чуть ли не полное истребление.

Ермолов как-то сказал: «Там (на Кавказе. — А. К.) есть такие дела, что можно послать, да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в жи-

вых. И было бы законным порядком». Николай I эту истину знал хорошо.

Семенов высказывает сомнение в принадлежности Лермонтову так называемых «пятигорских экспромтов», относящихся ко времени пребывания Лермонтова в Пятигорске в 1841 году (стр. 132). Эти экспромты включены в собрание сочинений Лермонтова¹ и считаются принадлежащими ему, но так как они сохранились в устной передаче, то достоверными по тексту они не считаются: при устной передаче, как правило, вкрадываются отклонения от первоначального текста. В пользу своего предположения Семенов доводов не приводит.

Необходимо указать на корректурные погрешности. На стр. 85 «княгиня Лиговская» названа «княжной Лиговской», на стр. 109 есть более серьезная опечатка. Как известно, Лермонтов во время боя при Валерике 11 июля 1840 года проявил большую храбрость. Какое представление об этой храбрости Лермонтова будет иметь читатель, когда он прочтет, что все дело заключалось в том, что Лермонтов действовал «в самом тылу сражения в лесистом месте»? Гораздо больше шансов за то, что читатель поймет эту фразу в том смысле, который в очень слабой степени даст возможность составить себе подлинное представление о поведении Лермонтова во время боя, чем догадается, что здесь опечатка: вместо «пылу» — «тылу». Такие опечатки необходимо указывать в перечне опечаток. Это не сделано издательством.

Подводя итоги, следует сказать, что значение книги Семенова — в обобщении и систематизации имеющихся по данному вопросу материалов. Это сделано очень добросовестно и с хорошей осведомленностью в специальной лермонтоведческой литературе. Обстоятельной работы такого характера до сих пор не существовало. Тем, что в некоторых частях книга носит еще и исследовательский характер, значение ее повышается.

С. А. Андреев-Кривич.

¹ Том II, 1936, стр. 151—153.

Редколлегия: Л. М. Леонов
В. П. Ставский
М. А. Шолохов

Ответственный секретарь В. Р. Щербина

Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

16 печ. листов. Тираж 80000. Зак. 192.
А35193. Сдано в набор 19/ХII—40 г.—18/1—41 г.

Подписано к печати 17/1—4/II—41 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Центральный нотный магазин Могиза

НОТЫ для ФОРТЕПИАНО

БАХ, И. С. Инвенции 2 и 3 голосные. 7 р. 40 к.
БАХ, И. С. Французские сюиты. 7 руб.
БЕТХОВЕН, Л. Вариации. Том II. 16 руб.
БЕТХОВЕН, Л. Сборник пьес для фортепиано. Том I. 19 р. 50 к.
БЕТХОВЕН, Л. Сборник пьес для фортепиано. Том II. 20 руб.
БЕТХОВЕН, Л. Симфонии. Том I. 18 р. 70 к.
БЕТХОВЕН, Л. Симфонии. Том II. 16 р. 70 к.
ГЕНДЕЛЬ, Г. Сюиты. Том I. 8 р. 50 к.
Том II. 5 р. 30 к.
КОМИТАС, С. Танцы. 2 р. 70 к.
КУПЕРЕН, Ф. Избранные пьесы для клавирина. 11 р. 50 к.

РАМО, Ж. Избранные пьесы для клавирина. 13 р. 25 к.
ЧАЙКОВСКИЙ, П. Времена года. 12 пьес. 5 р. 20 к.
ЧАЙКОВСКИЙ, П. Детский альбом. 4 руб.
ШОПЕН, Ф. Ноктюрны. 9 руб.
ШОПЕН, Ф. Полонезы. 10 р. 50 к.
ШОПЕН, Ф. Этюды. 13 р. 30 к.
ШУБЕРТ, Ф. Сонаты. Том I. 12 р. 80 к.
ШУМАН, Р. Полное собрание сочинений. Том IV. 18 р. 50 к.
ШУМАН, Р. 25 пьес из «Альбома для юношества». 4 р. 50 к.
АСАФЬЕВ, Б. Кавказский пленник. Балет. 35 руб.
АСАФЬЕВ, Б. Бахчисарайский фонтан. Балет. 19 р. 50 к.

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ ВЕСПЛАТНО.

В требованиях необходимо указывать, какие именно каталоги вас интересуют, — для пения (сольного и хорового), для фортепиано, для инструментов (струнных, народных и духовых), для оркестров (симфонического, струнного, джаза и духового) и т. д.

НОТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ ЗАДАТКА.

Пересылка за счет заказчика.

МОСКВА 31, Неглянная, 14. НОТЫ ПОЧТОЙ МОГИЗА.

НА ВСЕ КУРОРТЫ СССР

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКУ ИЛИ
КУРСОВКУ НА НЕОБХОДИМЫЙ ВАМ МЕСЯЦ,
ПОЛЬЗУЯСЬ РАССРОЧКОЙ В ОПЛАТЕ.

АВАНСЫ на ПУТЕВКИ и КУРСОВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТНЫХ и РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРОРТНЫХ КОНТОРАХ, а в гор. МОСКВЕ — ВСЕ-СОЮЗНОЙ КУРОРТНОЙ КОНТОРОЙ (Крымская пл., В. Чудов пер., 8, т. Г-6-49-96).

В МОСКВЕ В 32 СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
КАССАХ ПРИНИМАЮТСЯ ЦЕЛЕВЫЕ
ВКЛАДЫ ПОД

ПУТЕВКИ и КУРСОВКИ

